

ФЕЛИКС ЧУЕВ

СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ

Беседы
Воспоминания
Документы



СЕРИЯ «ДОСЬЕ»

ФЕЛИКС ЧУЕВ

СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ

Беседы. Воспоминания.
Документы.

Москва
«КОВЧЕГ»
1998

Чуев Ф. И.

Ч 85 Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы. — М.: КОВЧЕГ, 1998. — 559 с.: илл. — (Досье)
ISBN 5—87322—840—X

В новую книгу известного поэта и публициста Феликса Чуева, автора нашумевших книг «Сто сорок бесед с Молотовым», «Так говорил Каганович», вошли истории о выдающихся людях нашего Отечества — И. В. Сталине, В. М. Молотове, маршалах Г. К. Жукове, К. К. Рокоссовском, А. Е. Голованове, летчиках М. М. Громе, Г. Ф. Байдукове, А. И. Покрышкине, первом космонавте Ю. А. Гагарине, «боге моторов» академике Б. С. Стечкине, писателе М. А. Шолохове и других, многих из которых автор знал лично. В книге читатель найдет немало сенсационных, ранее замалчивавшихся фактов и документов, полученных автором «из первых рук».

ББК 66.61(2)

ISBN 5—87322—840—X

- © Ф. Чуев, 1998
- © Издательство «КОВЧЕГ», 1998
- © В. Щербань, оформление, 1998
- © В. Горин, дизайн серии, 1998

От автора

Признаюсь, я не думал о такой книге. Она родилась от любви. Я записывал свои впечатления, ведь мне довелось встречаться с такими личностями, не написать о которых я считал бы для себя преступлением. А если люблю, то хочу, чтобы все любили, ибо с детства был неравнодушен к славе Отечества. Меня тянуло к людям неординарным, и они отвечали взаимностью, что я считаю истинной честью и ответственным счастьем. Благодаря моим героям я сам себе становился интересным.

Как не рассказать о великой эпохе личностей, таких, как летчики Михаил Громов, Георгий Байдуков, Александр Покрышкин, Виталий Попков, легендарный маршал Голованов, первый космонавт Гагарин! Немало сказано о каждом из них, но сколько доверили они мне такого, о чем мало кто знает...

А Вячеслав Михайлович Молотов? Следуя древней мудрости, он не все говорил, о чем знал, зато все знал, о чем говорил. Да и многое не вошло в первое издание моей книги «Сто сорок бесед с Молотовым»...

Устные откровения, подаренные мне документы и фотографии — в этой книге.

Не могу забыть встречи с классиком мировой литературы XX века Михаилом Александровичем Шолоховым и великим русским поэтом Ярославом Васильевичем Смеляковым. Недавно ведущий поэтической программы на телевидении читал знаменитые смеляковские строки «Если я заболею, к врачам обращаться не стану...», выдавая их за стихи Окуджавы.

Безапелляционно, со знанием дела, с экрана утверждает, что Гагарин полетел в космос в 1962 году, юбилей легендарного перелета экипажа Валерия Чкалова объявили сперва в феврале, когда любому школьнику еще недавних лет была известна дата 18 июня 1937 года...

И это тоже подтолкнуло меня написать книгу о героях Сталинской эпохи.

Глава «Ветер времени» вобрала в себя небольшие истории, связанные с И. В. Сталиным, услышанные мной от многих людей, работавших с Иосифом Виссарионовичем в разные годы.

С некоторыми героями этой книги я не был знаком, но безмерно любил их и старался узнать о них много и достоверно. Я собрал эту книгу еще и потому, что если раньше русских пусть не любили, но уважали и боялись, то теперь либо жалеют, либо презирают. И может, я тоже так же стал бы относиться к своему народу, если б не эти люди, если б не верил, что лучшее в нас не погибло и, как зеленый росток таланта, пробьется сквозь бетон зависти, предательства, тупости и недалекости.

Феликс ЧУЕВ

21 ноября 1997 года

ВЕЛИКИЙ НЕЛЮБИМЕЦ

«Кто для вас был идеалом?» — часто спрашивали журналисты Михаила Громова.

«Никто. Я сам на себя влиял. Если я входил в коллектив, влияние шло от меня, а не на меня, и я относился к этому с большой ответственностью».

Этот ответ никогда не публиковался, и Громова упрекали за его «Я» с большой буквы...

До чего ж красив самолет АНТ-25! Говорят, современный компьютер не мог выдать более изящных, гармоничных, рациональных с точки зрения аэродинамики линий, чем придумал еще в тридцатые годы русский авиаконструктор Андрей Туполев. Сейчас этот моноплан стал музейным экспонатом. Мне, бывшему авиатору, разрешили посидеть в его кабине — тонюсенькой и безо всякой электроники. Я бы на такой машине, наверно, и до Крыма не добрался. А экипажи Чкалова и Громова в 1937 году из Москвы через Северный полюс в Америку прилетели без посадок!

Для двух экипажей было сделано два таких самолета. Один сейчас стоит в музее на родине Чкалова под Нижним Новгородом, второй, громовский, американцы просили для своего музея, но самолета, к сожалению, нет. После знаменитого перелета его на пароходе доставили на родину, привезли на учебный полигон, и летчики упражнялись, ведя по нему стрельбу и бомбометание...

Так и живем.

Я вышел из дому заранее, с запасом времени, ехал на метро, потом на трамвае, но уже от трамвайной остановки со мной рядом потянулось столько народу, что я стал сомневаться, попаду ли?

За несколько дней до этого по радио я услышал, что 1 марта 1979 года в Доме культуры Московского авиационного института состоится встреча с Героем Советского Союза Михаилом Михайловичем Громым. Прежде я никогда его не видел, но, конечно, читал о нем и знал, что это — легенда авиации.

С детства знал. В глиняной кишиневской хибаре, где я жил с родителями, кнопками к сырой стене была приколота глянцева открытка тридцатых годов: Громов, Юмашев, Данилин. Фантастический экипаж, совершивший в 1937 году сверхдальний перелет в Америку через Северный полюс. Летчики — во весь рост, в белых рубашках и галстуках. Открытка по краям была аккуратно, округло обрезана, потому что кочевала с нами и красовалась на стенах разных квартир от Дальнего Востока до Молдавии. Мама, конечно, обрезала.

...Вместе с толпой я втиснулся в слякотное фойе Дома культуры. Народ осаждал кассу. И тут я понял, что люди рвутся на новый американский фильм, название которого я не запомнил, да и, кажется, не прочитал — можно ли сравнивать какое-то кино с тем, что позвало меня сюда! Рядом, слева, располагался малый зал, почти пустой, только в первых рядах сидели, да еще кое-где...

Он воцарился на сцене за столом, высокий, сухоощавый, стройный — восьмидесятилетний Громов. Черный строгий костюм, белая рубашка, темно-красный галстук, платок в нагрудном кармашке, над ним — Звезда Героя и маленький знак ордена Почетного легиона Франции. Каждая деталь подчеркнута выделялась. Даже Золотая Звезда казалась нестандартной, ярче, чем у других Героев.

Он говорил сидя. Кажется, ни разу не улыбнулся. Поначалу — все-таки ощущение старости. А потом оказалось, что это волнение, с которым он быстро справился, когда стал говорить о перелетах на туполевском АНТ-25:

— На этом самолете был установлен рекорд дальности 10 800 километров за 62 часа — моим экипажем.

Все остальное — выдумки журналистов. Ничего особенного рекорд не представлял. Два раза попадали в обледенение, портилась аэродинамика.

Он говорил четко, размеренно, таким, я бы сказал, интеллигентно-аристократическим, княжеским голосом, как говорят сейчас лишь первые эмигранты:

— Единственный раз было трудно, когда подходили к Мексике. Горючего хватило бы и до Панамы, и мы запросили разрешения сесть в Южной Америке, но Сталин ответил: «Садитесь в США. Дикари нам не нужны». Мы и сели в США на границе с Мексикой и доказали, что летаем не хуже других.

Чкалов пролетел намного меньше нас (я ждал, когда же он заговорит о Чкалове. — *Ф. Ч.*), а бензина у него оставалось только на несколько минут. У нас же и горючего было достаточно, и, когда американцы открыли капот, на моторе не было ни капли масла! Можно начинать сначала.

Были полеты куда тяжелее, чем этот рекорд дальности. Пройдя сложную жизнь, могу сказать, что я попадал в такие моменты испытаний, когда требовалась борьба. Требовалось творчество.

В годы моего детства автомобиль был еще на деревянных колесах. Что сделало творчество! Человек — непревзойденное произведение Вселенной.

...А я, слушая Громова, подумал и о том, что самолет — величайшее достижение человека. Громову было уже четыре года, когда поднялись в небо братья Райт. Сам он летал целую эпоху. Но об этом говорил мало. Больше — о психологии:

— Надо работать над своей психической деятельностью, научиться постоянно следить за ней и своим поведением, то есть как бы глядеть на себя. Через месяц ваша деятельность будет автоматизироваться. Если я сижу непрямо, я себя одерну. Идти вперед, во всем — вперед! Как? Очень просто: следить за собой рационально, в кратчайшее время и наилучшим образом. И каждый почувствует, что он идет вперед, идет к прекрасному.

Громов говорил о Сеченове — это его кумир. И все-таки коснулся авиации, сказав:

— В течение полувека летчика, равного мне, в мире не было. Меня называли «Летчик номер один».

Может, кому-то такое высказывание показалось не

слишком скромным, но сидевший рядом со мной человек сказал соседу: «А ведь это на самом деле так!»

— Там, где я летчик, — продолжал Громов, — я педант. Но я и романтик. Я увлекаюсь логикой, психологией, литературой, живописью. К сожалению, наш русский язык пошел сейчас книзу, а не кверху. «Имело место» — это по-русски? Зачем такую неметчину вносить в родной язык? Жизнь наша очень коротка, и надо интересоваться тем, что нас двигает вперед. Нарисовал Пикассо кошку. Кошка ли это?

Громов говорил, и хотелось его слушать и слушать. Может, обаяние имени?

Закончил он свое выступление пронзительными строками русской поэзии:

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Эти слова он сказал дрогнувшим голосом.

Таков был мой, впервые увиденный, Громов.

Что чувствовал я тогда в полупустом малом зале Дома культуры МАИ? Имя этому чувству — причастность. Я видел великого человека, гордился, что застал его живым, слушал, как он говорит. Я уважал всех, кто пришел сюда, сюда, а не в соседнее большое вместительное за стеной, где дребезжал американский фильм. Боже, как я презирал толпу, что прошла мимо самого Громова! Они никогда не увидят его, да и зачем им это?

Почему привлекает только то, что современно или имеет видимость современности? Почему такое узкое, немасштабное мышление? Может, я постарел или отстал от жизни? Нет, и в двадцать лет у меня были такие же взгляды, меня никогда не волновало сиюминутное. Уже тогда я был благодарен своим родителям за то, что мы жили идеями, жили крылато, не приспособиваясь, ненавидя формулу «устроиться в жизни», благодарен за ту открытку с обрезанными краями, приколотую к сырой стене послевоенной хибары. Я видел Громова. Ну и что? Да ничего. Я решил написать об этом человеке прежде всего для себя. Ну и, конечно, для почитателей славы Отечества. К тому же этой встречей Громов для меня не закончился.

Через три года, 6 февраля 1982 года, я неожиданно

попал к нему в гости. Открываю одну из многочисленных тетрадей своих дневников.

...В 13 часов я со своими друзьями Сашей Фирсовым и фотохудожником Мишей Харлампиевым, купив бутылку в гастрономе высотного дома на площади Восстания, поднялся на шестой этаж к Константину Константиновичу Коккинаки, одному из славной семьи летчиков Коккинаки, Герою Советского Союза, испытателю. Мы знаем его давно и пришли поздравить с награждением орденом Дружбы народов. В гостях у него был адмирал из Петропавловска-Камчатского. Когда мы вошли, адмирал лежал на диване, — видимо, друзья начали обмывать орден с утра.

— Полундра! Свистать всех наверх! — гаркнул Коккинаки.

Адмирал вскочил с дивана, поправил галстук, и все сели за стол.

Отметили встречу и награду, и я уговорил Коккинаки позвонить Громову — он ведь живет в этом доме, в этом подъезде, тремя этажами выше. Очень хотелось зайти к нему хоть на минутку и подарить свою книгу «Правое дело», где есть стихотворение о нем. Константин Константинович сначала почему-то мялся, потом позвонил и даже пошел с нами, но перед Громовым все время стоял почти по стойке «смирно», и, когда я потом спросил, отчего он так, Коккинаки ответил:

— Да ведь это же Гро-о-мов! Ты понимаешь — Громов!

...Михаил Михайлович извинился, что принимает нас в домашней одежде — он был в пиджаке поверх пуловера и синей кофты от тренировочного костюма, затянутой молнией до подбородка. Седые волосы зачесаны назад, глаза голубые с крапинками. Гладко выбрит — это я почувствовал, когда мы расцеловались на прощанье. Держится прямо и потому кажется высоким, хотя ростом немного ниже меня — когда мы стояли рядом, Миша Харлампиев нас сфотографировал...

— А что, разве в наше время можно написать что-нибудь правдивое? — спросил Громов.

Я прочитал стихи о нем, пришлось говорить очень громко — Михаил Михайлович стал глуховат.

— Я же столько лет летал, а в авиации, ты знаешь, — обратился он к Коккинаки, — все глохнут.

Он сидел за столом, накрыв колени клетчатым пледом. Взял со стола несколько исписанных листочков — он работает над книгой...

Личность, подражать которой было бесполезно. У него учились. Почитали. Потом, еще при жизни, забыли. Такова природа человека, ничтожного в своей массе и уникального в штучном исполнении, таком хотя бы, как сам Громов.

И все-таки его еще не совсем забыли. На улице с ним поздоровалась незнакомая девушка лет двадцати.

— Откуда вы меня знаете? — удивился Михаил Михайлович.

— Вы нас не знаете, а мы вас знаем!

Этот человек сделал себя сам. Он говорит, что начал создавать себя с того дня, как отец подарил ему перочинный ножик. Однако тысячам мальчишек в разные времена отцы делали такие подарки, но из каждого ли получилось что-то заметное?

В квартире Громова не придется значения мебели — так обычно бывает у людей умных, а тем более талантливых. Я смотрел на стены и, конечно, искал следы его невероятной славы. Но в квартире т а к о г о человека почти не было атрибутов его громкой профессии. Только в рабочем кабинете я увидел два портрета Н. Е. Жуковского, фотографию самолета АНТ-25 да пропеллер от «Фармана» — настоящий «винт Жуковского», «НЕЖ». Вот и все.

— Я не люблю, чтобы в моей квартире что-то напоминало мне о моей прежней работе, — говорит он. — Вторая половина жизни кажется мне более интересной. Она связана с поэзией, искусством. — И Громов указал на стоявший в углу мраморный бюст девушки. — Купил, понравилось. Идеал грез, — сказал он. — Я больше всего ценю в женщине целомудренность.

Пожалуй, это единственный из знакомых мне летчиков, который сказал, что, если б ему пришлось начать жизнь снова, он бы не пошел в авиацию:

— Я бы занялся более творческим делом, ибо в авиации я не развил всех своих способностей.

Но конечно же, меня интересовал прежде всего Громов-летчик. Держу в руках его удостоверение Героя Советского Союза.

— У меня оно должно быть номер восемь, а почему-то написали — номер десять, — говорит он.

Действительно, известно, что получил он это звание в сентябре 1934 года, вслед за семеркой летчиков, спасших челюскинцев. Получил отдельно, штучно, за беспосадочный перелет продолжительностью 75 часов, а вообще-то за то, что он — Громов. Я сказал ему, что на встрече в МАИ слушал его рассказ о перелете в США в 1937 году и хотел бы знать подробности.

Рассказов Громова хватило не на одну встречу, и потому я забегу вперед, во 2 марта 1984 года, когда был у Громова в последний раз на его 85-летию. Он начал праздновать свой юбилей с 22 февраля.

Приведу запись всей беседы — и потому, что она была последней, и потому, что вряд ли кто когда-либо так подробно записал свою встречу с Громовым.

Он, как и прежде, начал разговор не с авиации, а попросил меня почитать стихи.

— Я почему прошу прочесть — потому что вы читаете не дураку, а человеку, который понимает, что это, как это написано.

Читаю ему стихотворение «В квартире на площади Восстания»:

...Это тот невысказанный Громов,
что еще задолго до войны
прогремел, как зов аэродромов,
в мощной биографии страны.
Эхом по небесным коридорам
прозвучал облетанный металл.
Это тот пилот, перед которым
Чкалов понимающе молчал.
Это тот, подтянутый и braveй,
что ни разу не был побежден
ни стихией, ни всемирной славой, —
равных нету. Это Громов. Он.
Под стеклом увижу я, казалось,
обрамленной славы естество,
да не любит он, чтоб отзывалась
жизнь былой профессией его.
В старом кресле, в свитере домашнем,
на коленях — полинялый плед...
— Если б небо не было вчерашним,
стали б снова летчиком вы?
— Нет.
Занялся бы творчеством, искусством,
в небе я себя не исчерпал.
Нереальным кажется и грустным

то, что я прицельно испытал.
Даже и не верю, что сначала
были эти летные года.
Как одна знакомая сказала:
«Этого со мною — никогда».

— Не штамп. Нет, — говорит Громов. — У нас слышать такое стихотворение — редкость. Молодец! Налей ему рюмочку за это! — говорит он жене. — Налей, налей, чтоб он уходил отсюда, как следует... Соседи говорят: что это от Громова все уходит и вроде как качаются? А мне чуть, каплю, только понюхать...

— Звонок, входят две женщины средних лет, — рассказывает Михаил Михайлович. — «Здравствуйте». — «Здравствуйте». — «Мы хотим, чтоб вы нам рассказали о музыке Рахманинова». Я говорю: «Товарищи, вы не туда попали, я летчик, я генерал, а вы мне предлагаете...» — «Нет, мы туда попали. Мы ищем интересных людей». — «Откуда вы знаете, что я интересный?» — «Знаем, и все».

— Выпейте рюмочку! Русские люди не могут иначе! — продолжает Громов. — Как матушка батюшке напоминала: «Батюшка, сегодня ведь суббота!» — «Да, да, матушка, да, да, да. Баньку надо, да». — «А вы как, батюшка, будете меня ласкать?» — «Обязательно и неоднократно».

А еще у батюшки спрашивают: «А много ли выпить можете, батюшка?» — «Смотря по обстоятельствам». — «Ну как, например?» — «С закусью или без оной?» Язык тут интересный! — восклицает Громов. — «А если и с закусью?» — «Смотря на чужие или на свои?» — «Можно, конечно, и так, и так». — «А смотря как — с матушкой или без оной. Ну а если и без матушки, тогда можно до бесконечности».

— Мама, давай наливай! Обязательно и неоднократно, как говорил батюшка. «Батюшка, вы что, пивца или винца?» — «Могу пивца, могу винца, могу и переночевать!» «И переночевать!» — повторяет он на украинский лад. — А вот польский ксендз читает речь: «Читал в газете, шо пувк московских гусаров ступе до мяста. Выружечки крулевства польского, молим вас пшеклентам москалям не давать ни одной злотой... Матка боска ченстоховска... Мыла куповаты, чтоб духом москалевским не смердево...» — Я-то не сумею так сказать, а тот, кто умеет...

Отец у меня был врач, талантливейший человек — рисовал, писал, играл на всех инструментах, это потрясающе! Одиннадцатилетним мальчишкой услышал на бульваре мелодию, пришел домой, на скрипке воспроизвел все от начала до конца! Вот память какая. Никто на рояле не учил его — играл. А уж мы с ним — я на балалайке, он — на гитаре, на гармошке, на чем угодно, на любом инструменте. Всю мебель в доме сделал сам — шкаф, письменный стол — но как! Письменный стол из различной фанеры, произведение искусства. Удивительный был человек. Но пьяница был невыносимый! Еще пока учился в университете, мать с ума сходила. И так до конца.

На Лосиноостровской мы жили, его перевели из Твери. Мне повезло: с трех лет я жил среди прекрасной русской природы. Это меня сделало романтиком. А в работе я педантист, — подчеркивает Громов. — Вот такой контраст. Но если не рисковать, то можно стать трусом.

Михаил Михайлович вспомнил моего отца на фронте:

— Папа Чуев был! Еще бы я Чуева не помнил!

Мне сказали, что в моей рукописи мало сказано о войне, а я командовал армиями. Но о моих армиях целые тома написаны!

...А я подумал, попали ли в эти тома резолюции, которые писал на официальных документах генерал Громов:

«Уста мои молчат в тоске немой и жгучей,
Я не могу — мне тяжело говорить».

Это когда один генерал не поставил обещанную технику.

Или — на документе о переводе начальника штаба на другую должность:

«Была без радости любовь,
Разлука будет без печали».

— В начале войны меня вызвал Сталин, — рассказывает Громов, — спрашивает: «Ну, что вы хотите?» Я говорю: «Я за большее, чем дивизия, не возьмусь, я ни академий, ничего не кончал». — «Ну хорошо, там надо командовать и истребителями, и бомбардировщиками, там все есть. Совместное действие всех родов авиации».

А через месяц я ему написал письмо. Он меня вызывает, и я говорю: «Так воевать нельзя». Он меня послушал и снимает трубку: «У вас скоро будет не такой-то командующий, а вот такой-то. Примите его, внимательно выслушайте и напишите приказ о его назначении командующим авиацией Калининского фронта».

Как вам нравится такой номер? Не откажешься! Вот вам Сталин. Ох, он и парень был! — восклицает Громов. — Он меня знал с самого начала и всегда называл на «вы». Он меня здорово ценил и доверял. Очень доверял.

О Громе на Калининском фронте я вспоминаю эпизод, рассказанный самим Михаилом Михайловичем.

Командующим фронтом был Иван Степанович Конев. Провинился один летчик, и Конев приказал Громову:

— В расход его!

А через некоторое время командующему снова попал на глаза этот летчик, живой и невредимый, более того — летает на боевые задания!

— Ка-а-ак? — высказал Конев свое возмущение Громову.

— А я думал, в расход — это в столовую, — ответил невозмутимый Громов, — я его туда и определил временно.

— У меня не было ни одно невыполненного задания, — говорил Громов. — У меня не было ни одного полета, который был бы задан и я бы его не выполнил от начала до конца. Я не умел еще летать по приборам, в тумане, или где, но от начала до конца все выполняю — вот! И никто не скажет, что это не так. А в этом соль. Коккинаки полетел в Америку и сел в болото, Гризодубова полетела на Дальний Восток, ей все говорили: «Полевей, полевей», — она — трах! — выкинула девку в болото, Раскову, раньше времени. Там, где ты сядешь, там ты сначала и выброси, чтоб ей близко было найти самолет, она ее выбросила и села потом черт знает где. Та, бедняжка, сколько плелась! Вы представляете, девчонке плестись в тайге! Там же дикие звери, и чего там нету... Вот голова где должна работать! Все надо обдумать и снова думать, думать и думать — меня ничто никогда не могло застать

врасплох. Ночью проснешься — тут-то творчество и начинается. А главное, надо уметь смотреть вперед. Предвидеть. Это чрезвычайно важно для летчика — знать наперед, что будет. Воображение, фантазия ли — это должно быть развито.

Этот летел (Чкалов. — Ф. Ч.), летел, кислорода на большой высоте не хватает...

Коккинали... Воображаю, когда самолет садится в грязь. Все вдрызг, самолет разбит, сам грязный... Вся соль — прилететь и поставить машину: вы просили — будьте любезны!

...В 1938 году рейхсканцлер Германии Гитлер организовал показ авиационной техники, и в Берлин пригласили лучших летчиков мира.

— Сталин послал меня, — говорит Громов, — и я им там показал, как надо летать!

...У немцев был самолет, на котором никто не мог выполнить пилотаж. Громов минут пять посидел в кабине, освоился, взлетел и в воздухе выжал все из этого самолета. Когда сел, подбежал главный конструктор:

— За любые деньги, господин Громов, поработайте на моей фирме хоть один год!

Конечно, доверие Сталина много значило. Михаил Михайлович не рассказывает, что он написал письмо Сталину в защиту С. П. Королева, который был осужден, и оно сыграло важную роль в освобождении Сергея Павловича. Для этого тоже надо было быть Громовым.

— Сталин знал, что у меня ни пенька, ни задоринки, знал, что у меня все будет сделано по-честному. И то, что я и педант, и романтик, тоже знал. Знал, что за меня можно быть спокойным. Доверял он мне безо всяких и в начале войны послал выбирать самолеты в Америку — северным морским путем. Через три дня мы были уже там. В Америку, с целой группой, в декабре 1941 года — полное доверие! Он понимал. «Вас в Америке знают», — говорил. Он верил в мои благородство и честность и знал, как я отношусь к работе.

— А вы над чем сейчас работаете? — спрашивает меня Громов.

— Над книгой об Ильюшине. Что вы думаете о Сергее Владимировиче?

— Он любил людей, умел их ценить. Несомненно, великолепный конструктор. Несомненно. Сейчас его

бюро превосходит сына Туполева. Туполев — это Туполев, а сын Туполева — это ничтожество. Он сразу испортил то, что было лучше всего в мире.

— А если сравнить Ильюшина и Туполева?

— У Туполева колоссальная память, организованность и, конечно, фантастический талант. Ильюшин, да, тоже был хорош. И умел. И он молодец. Он любил своих летчиков, понимал и ценил. Вот вам показатель: я имею одну «звездочку» от Туполева...

— Но какую! — заметил я и подумал, что, конечно, Громову не грех было дать и вторую Звезду — хотя бы за то, что он Громов.

— А у Коккинали их две, — говорит Михаил Михайлович, — но он полетел в Америку и сел в болото, а я полетел и рекорд поставил!

Незаметно мы снова подошли в разговоре к беспосадочному перелету в Америку. Когда Громов узнал, что готовится такой полет, он написал заявление правительству с просьбой разрешить его осуществление. Вызвали в Кремль.

— А почему вы, собственно, настаиваете на своей кандидатуре? — спросил глава правительства Молотов.

— А почему Чкалов? — вопросом на вопрос ответил Громов.

— Потому что Чкалов храбрый, — сказал Молотов.

— А я испытывал этот самолет и знаю его досконально.

Сталин при этом молча улыбнулся.

— Он был очень хитрый, Сталин, — сказал Михайлович, — но он любил подхалимов, а я ни перед кем не подхалимничал и всех вокруг него считал карьеристами. У меня дома никогда не было людей старше меня по званию.

В этом высказывании Громова можно при желании усмотреть и другое: он не любил, чтобы рядом был кто-то повыше его.

...В Кремле решили, что в Америку без посадки через Северный полюс полетят два экипажа — Чкалова и Громова.

— Готовились два самолета, — говорит Михаил Михайлович, — должны были вылететь друг за другом, через тридцать минут, Чкалов и я...

— Какого вы мнения о Чкалове, вы ведь были его инструктором?

— Правильно. В Серпухове. А потом, кроме водки, ничего! Он там с начальником школы пил — был такой генерал Астахов. Тот приезжает в школу, смотрит: уборные в порядке? Значит, и в школе порядок. Он меня очень уважал. Спрашивает как-то: «Кто полетит? Очень ответственный полет». — «Громов полетит». — «О, этот ни в огне не сгорит, ни в воде не утонет!»

В школе они с Чкаловым по стакану водки выпивали, и все в порядке.

(Я сказал о словах М. М. Громова Г. Ф. Байдукову, второму пилоту Чкалова. Георгий Филиппович смеялся: «Да, это да, это было. Такой грех за Чкаловым водился — бабы и водка. Он бабник страшный был — на любую поглядит, и все в порядке! Любownik был, видно, опытный. И водочку любил».

Мне рассказывал Анатолий Васильевич Ляпидевский, как он с «Валькой Чкаловым» был у Сталина, и Чкалов, увидев на столе сухое вино, сказал:

— Товарищ Сталин! Вождь России должен пить водку!

И Сталин стал пить с ним водку.)

Спрашиваю Громова:

— А как легчика Чкалова вы оцениваете?

— Он летал грубовато. Но храбр был до безумия. Не отдавал себе отчета. Он был лихач. Ему показать, что он такой-то... Я знал, что он рано или поздно разобьется, как знал и то, что я никогда не разобьюсь. У меня стиль был другой. Если заказало правительство, надо выполнить во что бы то ни стало. И у меня было несколько таких полетов, что я сейчас не могу отдать себе отчета, как я остался живой. Были такие полеты, которые я бы не смог повторить... Сплошной туман. Сам не веришь, как сумел пролететь! Вы же летали, вы знаете, что такое туман. Да, были такие полеты, как женщина, когда она говорит: «Этого не было».

А Чкалов не умел летать по приборам в облаках. Это и Байдуков пишет...

У меня в стихах есть строки: «...Чкалов есть Чкалов, но рядышком был и Егор Байдуков».

Г. Ф. Байдуков по этому поводу сказал мне:

— Я часто вспоминаю вас и думаю: не обидится ли на меня семья Чкалова за то, что вы написали обо мне?

— А разве я написал неправду? Мне, например, Громов говорил: «Все в этих перелетах сделал Байдуков».

— Он и мне говорил, когда я написал повесть о Чкалове: «Ну что ты пишешь? Ну чего ты его восхваляешь? Ведь ты же перевез его через полюс!» Командир есть командир, — продолжал Байдуков. — А я делал свое дело. Я ему сказал: «В трудные моменты ты не бойся». Он же отказывался лететь. Он не был зачинщиком этого дела, никогда не думал лететь через полюс, мы настаивали, потому что он мужик был хороший очень, Валерий Павлович, и прекрасный летчик.

Он говорил: «Я хуже тебя летаю вслепую».

Мы все истребители были. И Чкалов, и Громов, и я. Я тоже не мечтал о дальних перелетах, меня назначили к Леваневскому в 1935 году. Продолжать учебу в академии Алкснис не разрешил, заставил доводить машину до ума. Я провозился полгода, а потом он говорит: «А теперь надо лететь».

«А у нас нет третьего».

Я думал — кого? А мы вместе с Чкаловым работали в НИИ ВВС, в истребительном отряде Анисимова — еще более классный летчик! Мы у него четыре года вместе работали, и я узнал хорошо Чкалова. Летали на всем, что попадетсЯ, а потом разошлись по заводам...

Ну вот, я и решил пригласить его командиром к нам с Беляковым...

* * *

Возвращаюсь к рассказу Громова:

— Перед перелетом в Америку, за десять дней, у меня сняли мотор с самолета, чтоб мы не полетели вместе. Кто снял — до сих пор не знаю. А почему сняли? Потому что Сталин назвал Чкалова непревзойденным. А как меня послать рядом, если я пролечу лучше?

(Я спросил у Байдукова о снятом моторе. Он ответил так:

— Мы мотор у него не снимали.

— Не вы, а кто-то сделал.

— Может быть, ЦАГИ сделали так, цаговцы знали, что мы первыми летим. Насчет мотора я сам много читал и удивлялся: откуда это взялось? Никогда мы такого намерения не имели. И не посмели бы — совесть бы не позволила это сделать.

— То есть вы на своем моторе улетели, какой у вас стоял?

— Нет, другой мотор поставили. Сделали около десятка моторов. Сталин велел прогнать их и еще десять моторов сделать для дальних перелетов. Поэтому зачем бы нам снимать громовский мотор, который летал? Никакого смысла не было.)

— И получилось что? — продолжает Громов. — Они летели 63 часа и сели в Ванкувере, а я — через месяц — 62 часа и сел почти у границы с Мексикой. Я побил рекорд французов на тысячу километров, а Чкалова — на полторы тысячи, на час леча меньше (сказал: леча. — Ф. Ч.). Деваться некуда! Мы полетели через месяц, потому что мотор поставить — это очень сложно. Они прислали радиограмму, что у них почти не остается бензина, дальше лететь не могут. Я подумал: как же так, на этом самом самолете я раньше пролетал 75 часов, а они только 63, и все кончилось? А в этом перелете — я и быстрее, и дальше. Что это, воздух, что ли, мне дул в хвост, что я на полторы тыщи дальше улетел? Номер!

А вот что рассказывал Байдуков:

— Мы о чем договорились с Громовым: что мы дальше Сан-Франциско не пойдем. А если ты пойдешь за нами, то тебе дальше нужно лететь. Мы устанавливаем рекорд, не заявляя в ФАИ, ну а он уже официально ставил задачей побитие мирового рекорда. И нас оставили примерно на месяц в Америке, пока он не вылетит и пока не сядет, чтобы мы обеспечили его перелет лучше, чем нас обеспечивали. Мы летели, не зная, какая погода, потому что, когда мы производили посадку, наш метеорологический код еще плыл в океане вместе с товарищем, который повез этот код для американской и канадской армий. И мы не знали, какая погода.

Мы уже были рядом с Сан-Франциско, но я говорю: «Ребята, а если там будет туман? Мы пролетим,

как дураки, часов 65—70, все сделаем, а при посадке погибнем. Давайте поворачивать назад!»

Я по реке Колумбии попытался пробиться, там большой порт интернациональный, маячок стоит на островке посреди реки, туман, морось, кругом горы, закрыто все, я сразу вверх и пошел на Сан-Франциско. Но когда подошли к Сан-Франциско, обсудили и пришли к выводу, что действительно можем не сесть...

Поэтому мы в Ванкувере и сели. Вот такие истории были.

— Мамочка, налей, налей нам! «Налей, налей, товарищ, заздравную чашу, кто знает, что с нами случится впереди!» — запел Громов и тут же продолжил совсем другое:

По маленькой, по маленькой,
помолимся творцу
и к рюмочке приложимся,
потом уж — к огурцу!

— Это мой отец пел, — пояснил он.

...Когда его самолет приземлился в Сан-Джасинто с небывалым по тем временам мировым рекордом, экипаж вышел на землю чистенький, как с иголки, и Громов спросил: «Куда поставить машину?»

Америка с ума сходит, а он: «Куда поставить машину?» Громов есть Громов.

Из рассказа Байдукова:

— Я был на корабле не только сменным пилотом, сменным штурманом, но и врачом. Я Чкалову не давал курить. У меня пачка папирос была. Я ему ее отдал, перед тем как садиться, когда решили пробиваться обратно. Он хотел закурить, я говорю: «Нет. Если живы останемся, тогда закуришь». Когда сели, он закурил с американским сержантом. Сержант одну выкурил и он одну, а пачку отдал сержанту. Тот ее хранил 38 лет, и, когда в 1975 году открывали памятник в честь нашего перелета, он принес эту пачку с двумя выкуренными папиросами... Мы раздали все бесплатно — месячный запас продовольствия. Американцы удивлялись: разве так можно — бесплатно? Пи-

сали о нас, что мы не деловые люди, могли бы продать все задорого.

Там, где Громов шел, туман был, мы его ближе к степям посадили, где не бывает тумана и всегда солнечная погода. Он сел к хуторянину на участок. А хуторянин сразу обкрутил участок веревками и за плату пускал смотреть самолет. Это уже настоящий бизнесмен...

Потом была триумфальная поездка Громова по Соединенным Штатам. Вместе листаем альбом, на переплете которого тиснением выведено: «Корифею летных испытаний М. М. Громову». На фотографиях в Голливуде он снят с маленькой девочкой, Ширли Темпл.

— В шесть лет, — говорит Громов, — она была уже знаменитой актрисой. Показывала нам Голливуд. Потом она стала дипломатом, была в Африке послом, работает у Рейгана. Написала мне письмо. Я ей ответил, спрашиваю: «Остались ли у Вас наши автографы?» Она пишет: «Храню среди своих сокровищ». Теплое, хорошее письмо. Я ей красивое письмо написал: «Прочел Ваше письмо с таким волнением, которое точно выразил наш писатель Тургенев в конце своего романа «Вешние воды»: «Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать».

Готовя этот очерк, я раскрыл «Вешние воды» Тургенева, нашел нужное место и поразился, насколько точно Михаил Михайлович наизусть привел эти слова.

— Прошло сорок пять лет, — продолжает Михаил Михайлович, — я пишу, что польщен ее памятью. Но она пишет, что не знает нашего адреса... А ей подсовывали все время Чкалова. Она говорит: «Нет, те были высокие. Чкалов — ноу. Громов — йес!» Она пишет: «Теперь я знаю ваш адрес и, если я еще раз приеду с официальной делегацией, обязательно приду к Вам». Ну, я ей и ответил. Она уже замужем, прислала письмо по дипломатической почте, а мы послали просто. Послали и журнал, в котором есть снимок, где она сидит

у меня на руке — ей шесть лет. Вот эта девочка нас официально от Голливуда принимала. И после этого не писать друг другу, потому что у нас разные страны? Глупость. Вы понимаете, как важно сейчас было завязать такую связь: мы коммунисты, а не какие-то головорезы...

Я написал ей, что получил письмо с таким волнением, которое мог выразить только Тургенев, чтоб они поняли, что мы культурные люди. Мы ценим человеческие отношения, а какие у нас политические взгляды — это все равно.

Приятно говорить с культурным, умным человеком. Я увлекался конным спортом, и там есть люди, которые владеют не больше чем ста словами. Но они так умеют выразить все одним словом! Я вспоминаю, у меня был конник, который ухаживал за моей лошадью. Она злая была, к ней нельзя подойти, а он расчищает хвост и с ней разговаривает — она знает, что это ее хозяин. Он после резвых работ, которые дают скорость, тротил коня, потихонечку ездил три дня. Приезжает, я к нему обращаюсь:

— Ну как, Митрич?

— Одно слово: «Вожжист!» — и все. Что это значит? Тянет. В нем есть энергия, он готов к чему угодно. Конь выиграет, потому что он вожжист. Во! Русское слово.

Другой случай. У меня была прекрасная лошадь, баснословная, от нее «Дербистка» пошла. Я говорю: «Попробуй, как тебе понравится?» Это нельзя передать, это надо было заснять. Он приезжает — она спокойная. Обаяние, а не лошадь.

«Ну как?» — спрашиваю. Он снимает ногу, через колесо бросает небрежно вожжи, говорит: «Безминутная лошадь». — И больше ничего. И уходит. Нам сказал, знатокам. А что значит «безминутная»?

Круг — 1600 метров. Если вы пройдете резвее двух минут на одну минуту, это бесподобная, мирового класса лошадь. Вот он переносит ногу, главное, небрежно бросает вожжи, молча, но — знаток! «Безминутная лошадь». И точка. И ушел. Вот как русские люди умеют говорить! Вы знаете, как с ними интересно!

Надо сказать, Громов увлекся не только конным спортом, но и одной из прекрасных наездниц. Нина Георгиевна стала его женой.

...Мы говорили о космосе, о Гагарине, и я обратил внимание, что Громов сказал не «невесомость», а «безвесомость». Интересно и чисто по-русски. В России, если чего-то не хватает, используют «без».

— Русские слова в деревне, — рассуждает Громов. — Сидит мужик на завалинке и говорит философскую речь. Вы сейчас засмеетесь: «Оно, конечно, ежели как что, а коснись это дело, оно и пожалуйста!»

Ну что это, каламбур? Ничего подобного. Как написать, что написать, а коснись это дело редакции — останутся рожки да ножки. Правильно? Правильно. Философия? Философия. А вот он сидит на лавочке в деревне, — под Переславлем я такие речи слышал. Это русский язык. Где на «о»... У нас в Калининской, например, говорят, не «они», а «оны». Русский язык, как он интересен! А теперь его испохабили. Ленин писал: нельзя коверкать русский язык. А тут: «лагеря́», «учителя́», «профессора́»... Я не могу. Пишу, все равно пишу по-старому. Ну не могу, не лезет в меня, противно. «Учителя»... «И за учителей своих заздравный кубок поднимает». А? Красиво. В чем соль? Музыкальность.

Почему я так люблю Гоголя, который пишет: «Слив, яблонь и груш...» Это музыка! А переставьте эти слова, и все кончится, вся красота пропадет. Вы смотрите, он, сидя в Италии, пишет: «Я очень люблю скромную жизнь уединенных владетелей...» Казалось бы, хлам пишет, но музыка, музыка! Вы понимаете, это чудо, я его безумно люблю, потому что у него музыкальность языка... Причем пишет только в ироническом стиле. Это потрясение, да. — И Громов читает наизусть большой кусок из Гоголя, и снова — я потом проверил! — без единой ошибки: — «Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь!»

Последнее слово Михаил Михайлович растягивает: «Ро-о-о-скошь!» — и смеется. — Вы понимаете, какая ирония! — говорит он и продолжает наизусть: «Плетень всегда убран предметами, которые делают его

еще более живописным: или напяленную плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается».

Вы понимаете, какая наблюдательность! Это только великий Павлов написал в Колтушах, при входе в главное свое заведение: «Наблюдательность». Казалось, ну что тут такого? А оказывается, наблюдать и уметь видеть... «Краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь!» Вы окунаетесь в девятнадцатый век, это чудо. Они все равно остались, эти замечательные традиции, лучшие *оне* (*one!* — Ф. Ч.) к нам переехали, лучшие традиции, все-таки *оне* от девятнадцатого века! Никуда не денешься. «Лагеря». вы можете слышать такое слово? «Учителя!»

Если б вы видели, что за ответ из редакции мне прислали на мое письмо! Так говорили мужики за десять лет до Октябрьской революции, только кто-то переписал литературным языком.

...Читаю послесловие к будущей книге Громова: «Вдова летчика Иванова пишет в своем письме: "Завидная судьба у Михаила Михайловича Громова. Сколько раз он ходил по краю пропасти и всегда выходил победителем со славой и почетом. И всем этим он обязан только себе"».

— Вот это слова! — комментирует Громов. — А старушке этой — слава Богу лет сколько! В 1926 году ее муж разбился. И столько лет она меня знает. Такую награду ни одно правительство не может дать.

«Давно отлетали свое самолеты, на которых рисковал жизнью летчик-испытатель Громов, и его рекорд дальности полета перекрыт уже вдвое», — пишет в послесловии кандидат биологических наук А. Брагин.

Это человек не был подвластен никаким авторитетам, кроме законов авиации. О нем говорят как об интеллектуальном летчике. Профессор — и по званию, и по сути профессор. И среди испытателей он, наверно, все-таки останется под номером один.

Чкалов мечтал облететь земной шар без посадки. Валерия Павловича уже не было в живых, а Громову война помешала осуществить это с бывшими коллегами Чкалова Байдуковым и Беляковым. Он облетел бы!

Я спросил как-то у Байдукова:

— Георгий Филиппович, а Вы перед войной собирались облететь земной шар в составе громовского экипажа, когда Чкалова уже не было?

— Конструктор самолета БОК (Бюро особых конструкций) сидел в Бутырской тюрьме. И моторист, дизельщик, тоже сидел. Эти БОКи делал смоленский завод для экипажей Чкалова и Громова. Я свой пригнал из Смоленска в НИИ ВВС. Но вскоре нам заявили, что эти дизельные моторы засекретило правительство. Нас вызвали к Молотову и сказали, что решено у Сталина эти моторы не показывать за границей. Поэтому наш перелет пока застопорили. Это уже после гибели Чкалова. У меня в составе экипажа сменным летчиком и штурманом был Спириин, а основным штурманом остался Беляков. А Громов должен был лететь со своим экипажем.

— Слух был, что после смерти Чкалова хотели вас объединить: Громов, Байдуков, Беляков.

— Да, так намечалось. Но мы с Громовым не особенно, потому что мы разных характеров люди. Он более интеллигентный человек, все же сын врача, ну а я — сын рабочего. И он суховатый, более жесткий человек. Не жестокий — жестоким он, пожалуй, не был, а жестким был.

Да, все-таки Громов — «великий нелюбимец». И не только потому, что Сталин был куда теплее к Чкалову. Казалось, весь народ больше симпатизировал Чкалову. В чем тут дело?

Думается, прежде всего, в национальном характере, которому ближе тот, кто доступнее, не эталон. А Громова считали эталоном. Об этом мне и Молотов говорил.

Громов не только вызывал зависть тем, что дотянуться до его летного мастерства было невозможно, но и раздражал многих. Представьте авиационного генерала, который ездил в части и к начальству не на машине, а на коне — четкий, аккуратный, начищенный... («На машине я застряну, а на лошади всюду проеду.»)

«Передо мною был принц Уэльский!» — вспоминала о фронтовом Громове одна известная актриса.

Командующий воздушной армией С. И. Руденко требовал от командиров дивизий каждый день приезжать к нему на доклад. Громов послал вместо себя начальника штаба.

— А где командир дивизии? — спросил Руденко.

— Спит, просил не будить.

Руденко приказал разбудить Громова и доложил Сталину.

— Ну и что, разбудили? — живо поинтересовался Сталин. По его тону Руденко быстро сообразил, что с Громовым связываться не стоит.

...К концу войны Громова повысили в звании и назначили на высокую, но не слишком весомую должность...

В одном из моих стихотворений об этом человеке есть строки:

Он был из умных и лихих,
тех, что не всякому приятны,
но больше не было таких,
да и не будет, вероятно.

Громов был со всеми на «вы» и, прежде всего, с самолетом. Чемпион страны по штанге в двадцатые годы. Как много дала природа этому человеку, а, верней, сколь многого он добился сам! Друзья называли его «Слон», а точнее — «Слонни». «Знаете, Слонни...» — обращались к нему. «Слонни» многое объясняет.

«Чкалова любили, у Громова учились», — сказал мне Герой Советского Союза Марк Галлай. А я вспомнил двух хоккеистов, не знаю, кто из них был выше по таланту — Валерий Харламов или Александр Якушев, — но оба были великими на льду. Однако больше любили Харламова — маленький, юркий... И погиб рано...

И Чкалов погиб молодым.

Я написал стихотворение «Два пилота».

Чкалов вырос,
в душах возвеличась,
а рекорды Громов покорил.
Чкалов был народ,
а Громов — личность,
каждый, как любовь,
неповторим.
Чкалов —
неумная натура,
до хитринки искренний талант.

Громов —
скрупулезная культура,
строгий, романтический педант.

Громов —
нет и не было надежней,

Чкалов —
риск, отвага и азарт.

Громова встречали по одежке:
кепка не повернута назад.

И шнурок — гагаринский, в волнение,
Чкалову пошел бы — ерунда!
С Громовым, вне всякого сомненья,
это б не случилось никогда.

Чкалов —
не придумаете заранее
для души пределов, рубежей.

Громов —
так рассчитано заданье —
кровь не шла из носа и ушей.

Чкалов был стихия, бездорожье,
Громов жил, мгновенья не сгубя.
Чкалов был на каждого похожим,
Громов был похожим
на себя.

Мне передали, что, когда это стихотворение прочитал старший из Коккинаки, Владимир Константинович, дважды Герой, он сказал:

— Я бы эти стихи положил в личное дело и Чкалову, и Громову.

Нина Георгиевна зовет нас на кухню обедать. А мы с Михаилом Михайловичем одолели уже бутылочку армянского под лимончик да апельсинчик. Замечу, что Громов, видимо, относился к тому меньшинству русских людей, кому выпитое спиртное не мешает быть трезвым, обостряет мозг, делает мысли интереснее и мудрее. Таким свойством, помнится, обладал мой «крестный» в поэзии Ярослав Смеляков...

Нина Георгиевна оставила нас в кухне и куда-то ушла по своим делам, а Михаил Михайлович, сидя на табуретке, потянулся к холодильнику. У него болела нога, и он, придерживая ее, открыл холодильник со словами: «С женами нормально не пообедаешь!» — И достал 0,75 водки.

Осилили и этот «огнетушитель». И когда вернулась хозяйка, мы пели дуэтом хорошие русские песни. Затем стали укладывать спать Михаила Михайловича. С песней он и пошел от стола. Так мы отметили его 85-летний юбилей.

Жить ему оставалось меньше года. Сердце оказалось единственным мотором, с которым он не смог справиться.

...Хоронили его в «Татьянин день», 25 января 1985 года. Тепло, ноль градусов. С деревьев падал иней. На Новодевичьем кладбище возле старого крепкого дуба закопали Громова. Повесть о жизни, сказка о бессмертии.

Прохожу мимо знакомого подъезда «высотки» на площади Восстания, смотрю на неординарную мемориальную доску с бронзовым АНТ-25 и думаю: не сорвали бы, не украли бы... И что-то щемит во мне, когда читаю или слышу: «Летно-исследовательский институт имени Громова»...

Его дочь, Софья Михайловна, сказала мне на похоронах: «Я не могла его воспринимать только как отца. Прежде всего, это был Громов».

...Я жил в двадцатом веке. Я знал Громова и видел в небе «кобру Пугачева» в исполнении самого Пугачева... Что будет через сто лет?

«КОУ ПАЙЛОТ БАЙДУКОФФ»

И мы до сих пор не забыли,
хоть нам и дано забывать,
то время, когда мы любили,
когда мы умели летать.

Николай Гумилев

...Похоронили Байдукова. Похоронили в последний день 1994 года на Новодевичьем кладбище. Мне рассказали, как непросто был «пробить» Новодевичье даже для такого национального героя, как Байдуков. Я не удивился: так было во все времена.

Помню, с каким трудом, крихтя, власть в 1975 году «выделила» прямоугольник земли на этом кладбище для прославленного Александра Евгеньевича Голованова — Главного маршала авиации страны. Но в ту пору хоть без взятки обошлось, а нынче рынок: полтора миллиона за могилу и столько же «сверху»... Зато лежит Байдуков рядом с Громовым и Покрышкиным, Ляпидевским и Коккинаки, рядом со своим штурманом Беляковым. Только Чкалов, командир экипажа, в 1937 году потрясшего Америку («чиф пайлот Чкалофф, коу пайлот Байдукофф, нэвигэйтэ Бельякофф»), после смерти взлетел еще выше — попал аж в кремлевскую стену, потому что погиб при испытании самолета в пору всемирного почитания в 1938 году, когда всего 34 года ему было. Байдуков ушел на 88-м году в 1994-м...

Мне повезло знать его. Как познакомились, не помню. Вроде бы на каком-то литературном вечере — Георгий Филиппович писал книги, был членом Союза

писателей. Выступал он и на моем творческом вечере в Центральном доме литераторов, не раз бывал я у него дома на Сивцевом Вражке...

Был он не только выдающимся летчиком — он был умным человеком, что не такое частое явление у нас в России. Он умел емко говорить и точно формулировать мысль. К тому же личность сильная, волевая. О ком бы я ни писал, стараюсь не читать то, что было сказано об этом человеке другими, пытаюсь рассказать свое, незаемное. Байдуков же немало написал сам и о себе, а больше — о своем друге Чкалове, но я оставляю на бумаге то, что слышал от него и в разные годы занес в дневник...

Все же хорошо, что я хоть и нерегулярно, но записывал кое-что в тетрадях и блокнотах, и вот нашел запись от 26 июня 1975 года, где не поленился кратко рассказать о том, как с поэтом Михаилом Вершининым поехал во Внуково встречать Байдукова и Белякова. Через 38 лет после своего перелета они на Ил-62 с сыном Чкалова Игорем летали пассажирами по чкаловскому маршруту через Северный полюс в США на открытие монумента в честь их подвига. Во Внуково Вершинин и познакомил меня с Байдуковым, но это было шапочное знакомство. После этого мы встречались еще почти 20 лет...

Мужественное, глубокое обаяние исходило от этого человека.

— Ни о каких перелетах, тем более на север, я никогда не мечтал, — как-то признался мне Георгий Филиппович. — На кой мне черт этот север! Я родился в Сибири, морозы видал, вслепую налетался вдоволь... — И рассказал, что, когда работал вместе с Чкаловым в отряде Анисимова на испытании истребителей, познакомился с французским инженером-гироскопистом Пуантисом, который умел великолепно летать по приборам. Заштормят ему в воздухе кабину, и он управляет вслепую. В облачности войдет в штопор — все в порядке. Байдукову такое было неизвестно. Но самое интересное оказалось то, что этот француз, творивший чудеса в воздухе, не умел главного — взлетать и садиться. Боялся. А уж этим искусством летчик-испытатель Байдуков владел знатно. Пуантис уговорил его слетать вдвоем. В Тушино залезли в Р-1, непростой по тому времени самолет, на котором раз-

билась не одна сотня пилотов. Массовая машина, из породы английского «Дехавиланда». Частенько сваливалась в штопор...

Байдуков взлетел и попросил француза сделать глубокий вираж. Тот выполнил безукоризненно. Переворот — лихо сделал. И под колпаком показал свое умение. Техника пилотирования исключительная. Но как увидел, что земля близко, испугался и передал управление Байдукову. Есть в авиации такое понятие: не видит землю. Сколько курсантов из-за этого не стали летчиками! Однако француз заразил Байдукова слепым полетом.

— На чем, значит, я и прославился, — улыбается Георгий Филиппович. — И стал, несмотря на то что я истребитель, специалистом самого высокого класса по слепым полетам.

Но была у него мечта — инженерный факультет Академии имени Жуковского. «Пуускай мечтает! — подшучивал Чкалов. — Там четырнадцать человек на одно место!»

Да и из отряда испытателей «Батя» Анисимов отпустить не собирался: летчик отменный, а бились многие, пополнять отряд трудно. «Батя» дорожил каждым.

— Был ли он прототипом «Бати» в кинофильме «Валерий Чкалов»? — спрашиваю Байдукова.

— Нет, это другой. Но там намек есть. Сам-то Анисимов вряд ли бы взялся за дальние перелеты, не то что Чкалов.

И пошел Байдуков по начальству просить отпустить его учиться. Отказать, отказать... А он доказывал, что летчик-испытатель должен быть инженером, что выгодней иметь летчика, который бы хорошо знал законы аэродинамики и понимал, что и почему показывает прибор, измерения которого выписываются в виде интегрального или дифференциального уравнения. Летчик-испытатель пишет в своем заключении одно, а инженер доказывает другое — по приборам... Байдуков высказывал свою точку зрения и начальнику Управления ВВС Алкснису. «Долго добивался у него разрешения и наконец стал студентом», — говорит Георгий Филиппович.

Но только приступил к занятиям — вызывает начальник академии Александр Иванович Годорский:

— Вам надлежит явиться к товарищу Леваневскому. Он задумал перелет через Северный полюс в Америку и приглашает вас в свой экипаж.

— Наверно, прослышал о том, что я умею летать вслепую, и вот результат, — говорит Байдуков.

Тодорский вручил предписание:

«Слушателю 1-го инженерного факультета академии ВВС имени профессора Н. Е. Жуковского летчику Г. Ф. Байдукову поступить в полное распоряжение Героя Советского Союза т. Леваневского для выполнения особо важного правительственного задания.

Начальник Управления ВВС Алкснис».

— У меня же отец сидит! — говорит Байдуков начальнику академии.

— Об этом знают получше тебя, — отвечает Тодорский. — Твой отец сидит уже второй год, но если ты попал в такое постановление, то, как военный человек, должен стать по стойке «смирно» и выполнять.

— Я готов, но имейте в виду, что я этот вопрос не поднимал и не был заинтересован. К тому же с Леваневским я не знаком, за руку не держался, видел только в кино, как спасали челюскинцев, да снимки в газетах. Что он за человек, я не знаю. Читал, что он морской летчик, потом начальник Полтавской летной школы. Чего вы от меня хотите?

— Хочу, чтоб выполнили предписание.

Однако Байдуков настроился на учебу и не торопился к Леваневскому. Через несколько дней снова вызвал Тодорский:

— Ну что, были у Леваневского?

— Да я и номер телефона не знаю...

— Ну, это мы быстро.

Начальник академии позвонил в Управление ВВС, записал на листочке телефон героя челюскинской эпопеи и протянул Байдукову. А дома его ждал пакет с грифом члена Центрального Исполнительного Комитета — приглашение приехать такого-то и во столько-то. Подпись — Леваневский.

Дальше тянуть было некуда, и в начале 1935 года Байдуков стал летать в одном экипаже с именитым Сигизмундом Леваневским и штурманом Виктором

Левченко на туполевской машине АНТ-25 — сменным пилотом, сменным штурманом и сменным радистом, готовясь к тому, что предстояло в дальнем многочасовом беспосадочном перелете.

Скажем сразу: перелет не удался. Над Баренцевым морем из двигателя забило масло, Леваневский принял решение вернуться, и Байдуков посадил машину в Кричевцах под Новгородом. Перед посадкой пришлось слить над лесом огромное количество бензина, им пропитались перкалевые плоскости, и, как только сели, одно крыло вспыхнуло. Экипаж успел выбраться на землю, Байдуков прихватил документацию и тут вспомнил, что в самолете остались деньги: Сталин распорядился выдать каждому члену экипажа по три тысячи долларов:

— Погуляйте, ребята, как следует, в Америке!

Байдуков снова кинулся к пылающему самолету...

— Дуракам везет! — с улыбкой продолжает Георгий Филиппович. — Ничего не зная про нас, откуда-то взялись две машины с солдатами и брезентом, мигом потушили пожар, я достал доллары и опечатал самолет.

Экипаж привезли в гостиницу. Прибыла правительственная комиссия. В ней был и Туполев. Подошел к Байдукову:

— Ну что, обделался ваш Леваневский? Струсил!

— Нет, он не трус, — возразил Байдуков, — он очень смелый летчик.

— Мы все прибыли в Кремль, — вспоминал Георгий Филиппович, — и я никогда прежде и потом не видел таким рассерженным Сталина, хотя не раз встречался с ним. Сталин резко настаивал на том, чтобы мы не мучились, а поехали в Америку и купили там нужную для перелета машину.

— Тем более, — сказал Сталин, — товарищи Леваневский и Левченко спасли американского летчика, который летел вокруг света и упал на Чукотке. Американцы встретят их с большим почетом.

Попросил слова Леваневский.

— Ну что у вас? — недовольно буркнул Сталин.

— Товарищ Сталин, я хочу сделать заявление.

— Заявление? — спросил Сталин.

Леваневский посмотрел на Молотова, который что-то писал в тетрадке. Летчик, видимо, решил, что Вячеслав Михайлович ведет протокол заседания, что вряд ли, но говорить стал в его сторону:

— Я хочу официально заявить, что не верю Туполеву, считаю его вредителем. Убежден, что он сознательно делает вредительские самолеты, которые отказывают в самый ответственный момент. На туполевских машинах я больше летать не буду!

Туполев сидел напротив. Ему стало плохо. Байдуков и Левченко замерли от неожиданности, потому что ничего подобного от своего командира раньше не слышали.

Леваневскому в полете не в первый раз не повезло. А летчик, конечно, он выдающийся. И образ его для меня нисколько не потускнел от того, что он сказал о Туполеве. Андрея Николаевича арестуют значительно позже.

В ту пору жили другие люди и мыслили по-другому. Сделал неудачную вещь — враг.

Когда мы с Байдуковым заговорили о репрессиях, он сказал:

— Ну хорошо, Сталин виноват. Но ведь он великий революционер! И с ним были такие революционеры, как Молотов, Ворошилов и другие. Что, они не могли сказать Сталину: «Ты не прав!»? Но они разделяли его точку зрения. А массовые репрессии я объясняю низким уровнем развития всего нашего народа и партии, в частности.

Байдуков продолжил свой рассказ о том заседании у Сталина:

— Увидев, что я поднял руку, Ворошилов, который всегда поддерживал Туполева, показал мне кулак. Но я встал и сдуру сказал: «Товарищ Сталин, я считаю, бесполезное дело — ехать в Америку за самолетом».

Сталин разозлился еще больше:

— Требую доказательств!

Впервые видел такого Сталина. Обычно он с нами ласково, очень вежливо разговаривал. А тут подошел,

зеленые глаза, и сапогом два раза по ковру стукнул, мне даже смешно стало.

— Требую доказательств!

А я знал Сталина: ему раз соврешь, больше с ним встречаться не будешь!

И Байдуков сказал:

— Товарищ Сталин, за два месяца до нашего с Леваневским вылета погиб Вилли Пост, величайший летчик мира, одноглазый, который решил с Аляски перелететь до Северного полюса, а с полюса — сесть в устье какой-нибудь сибирской реки. Что, неужели в Америке нет таких самолетов, как АНТ-25? Оказалось, нет. И ехать туда за самолетом бесполезно. Что касается товарищей Леваневского и Левченко, которые спасли американского летчика, пусть едут в Америку, их там встретят с удовольствием, а мне разрешите остаться.

— Я требую доказательств! — настаивал Сталин.

— Вилли Посту, товарищ Сталин, дали бы самый лучший самолет, если бы он был в американской промышленности! И второе. Есть такие «брехунки»...

Молотов оторвался от тетради, снял пенсне и удивительно посмотрел на Байдукова.

— Вы извините, я волнуюсь, — сказал Байдуков. Волновался он и потому, что заспорил со Сталиным, и потому, что в лагерях отец-железнодорожник: 36 человек посадили за крушение поезда, 18 погибли, а ему расстрел заменили отсидкой... — «Брехунками» летчики называют наивысшего сорта информацию, которую ежегодно выпускает ЦАГИ, давая прогноз. К тому же есть более сильная английская организация, которая не один год занимается этим делом. На ближайшие четыре-пять лет вы не найдете там самолета с дальностью, большей, чем десять тысяч километров, а у нашей машины дальность четырнадцать тысяч километров, она уже существует, и, наверно, можно и дальше ее совершенствовать. Американцы — такие звонари: если бы у них что-то было, на весь мир бы разрезвонили! Более подходящего самолета для дальних перелетов, чем АНТ-25, я не вижу.

Байдуков убедил. Сталин смягчился:

— Ну, это дело экипажа, кому ехать в Америку, кому не ехать. А вы, товарищ Леваневский, езжайте с экипажем, вас там давно ждут. Пользуясь случаем,

попросите, чтоб вам все показали, и покупайте машину, какая вам понравится. Мы заплатим любые деньги, лишь бы была надежная!

— А почему вы не хотите лететь на четырехмоторном самолете? — спросил Сталин Байдукова.

— С четырьмя моторами легче поднять тяжелую машину, но если на взлете откажет один двигатель, то не дай Бог попадется какой-нибудь ангар!

«Впоследствии мы с Чкаловым и Беляковым и экипаж Михаила Михайловича Громова доказали свою правоту», — говорит Байдуков. А я вспомнил шутку, говорят, принадлежащую Чкалову: «У одномоторного самолета вероятность отказа двигателя сто процентов, а у четырехмоторного — четыреста!»

...Байдуков замолк. Задумался и я.

Больше он с Леваневским не летал.

Проводил его и Левченко в Америку, пожелал купить самолет, хотя не верил в это...

И остался без командира. Мог бы вполне и сам стать таковым, да не решался. Знаем почему. Алкснис посоветовал: «Найди себе такую жену, чтоб на всю жизнь. Тебе нужен такой командир, чтоб был популярен и чтоб его любил Сталин».

— Вот почему Чкалов, — продолжает свои «байки-байдуковки» Георгий Филиппович. — Мой отец в лагерях, я учился. Чкалова я называл Валерьяном. Дома его отец называл Аверьяном, а мать — Волей. Штурман уже был — Александр Беляков.

Когда Байдуков предложил Чкалову стать у них командиром, тот сказал:

— Ягор, я же летаю хуже тебя. Я истребитель, а там надо вон сколько часов сидеть! И по приборам я летать не умею. Вон луна, я и не знаю, на прибыль она пошла или на убыль...

— Ну, летаешь ты не хуже меня, а по приборам я тебя за две-три недели научу.

Чкалов упорствовал, но Байдуков доконал его:

— Твой учитель Громов — чистый истребитель, а пролетел 75 часов, установил рекорд!

Чкалов задумался. Байдуков попал в «десятку».

Громов был богом. А эти два имени — Громов и Чкалов — всегда вызывали споры: кто лучше.

Вспоминаю стихи Василия Федорова:

Слова «по-чкаловски», «по-громовски»
уже слетали с наших губ,
когда с путевойкой райкомовской
вступали мы в аэроklub.

Байдуков продолжает:

— Приезжаю на 39-й завод, там стоял самолет АНТ-25, я на нем тренировался. Захожу на аэродроме в пилотскую комнату — там Володька Коккинаки и Чкалов играют в шахматы. Я им говорю:

— Вы хоть бы взяли лопаты, метелки, снег расчистили!

А мой самолет уже выкатили, и я говорю Чкалову:

— Хочешь полетать на этой машине?

Я-то знал, что любой летчик-испытатель не откажется полетать на новом для него самолете.

— А можно? — спросил Чкалов.

— По благу все можно.

И они пошли к самолету. Инженер Стоман стал рассказывать об особенностях АНТ-25, но Байдуков прервал, обращаясь к Чкалову:

— Давай полетим, а то скоро стемнеет.

Так начали летать вместе.

Обратились в Политбюро за разрешением на дальний перелет через полюс в Америку. Ворошилов говорит:

— Езжайте к Сталину, он в Сочи. Может, там у него настроение получше...

Отправились в Сочи.

— Сталин сначала не соглашался на перелет, — говорит Байдуков, — но Чкалов его уговорил. В этом он был незаменим. И потом свои командирские качества проявил.

Правда, Сталин сам указал им маршрут перелета — не в США через полюс, как они просили, а на Дальний Восток. «Сталинский маршрут», — написали на фюзеляже. Взлетели со Щелковского аэродрома и без посадки почти через трое суток приземлились на острове Удд.

— Говорят, что в основном пилотировали вы,

у Чкалова не было опыта слепых полетов? — спрашиваю Георгия Филипповича.

— Так-то оно так. Но если бы не Чкалов, мы бы на острове Удд погибли. Как он сумел посадить АНТ-25 на такой кромке у самой воды — до сих пор удивляюсь!

— Мне Громов говорил, что вы принесли свою славу в жертву чкаловской.

— Да, но мы сами пригласили его в свой экипаж. Авторитет, Сталин его любил.

— А правда, что Чкалов обращался к Сталину на «ты»?

— Да он со всеми был на «ты»! На правительственном приеме подошел к Сталину: «Товарищ Сталин, язык не поворачивается называть тебя на «вы». Давай выпьем на брудершафт!»

Чекисты побелели, говорят мне: «Оттащите его от товарища Сталина!» Я им: «Ничего, все будет нормально». А Сталин улыбнулся и говорит Валерию: «Давай!» И они на «ты».

...Из дальневосточного перелета возвращались с несколькими посадками — в Хабаровске, Новосибирске, Омске... Всюду торжественные встречи. Страна гордилась новыми Героями Советского Союза № 9, 10 и 11, а Герои гордились страной...

— В Омске посадка не была запланирована, но нам сказали садиться. Меня ждал сюрприз. Отец! Я не ожидал его встретить и не узнал. На гражданском самолете его привезли из лагеря без охраны. А я в Новосибирске купил матери домик. Сказал отцу, чтоб он ехал туда, и попросил летчиков отвезти его. Вот так. Специально привезли, чтоб мы с ним встретились.

«Сын за отца не отвечает». Но отец был спасен благодаря сыну...

Это 1936 год. А летом 1937-го все-таки состоялся перелет в Америку через Северный полюс. У меня в руках дорогая реликвия — штурманский бортовой журнал перелета с не менее дорогим автографом самого Байдукова:

Феликсу Чуеву, русскому поэту, бывшему летчику, на добрую память. Г. Байдуков. 2 марта 1994 г.

Фрелика
 Турву,
 Русскому летцу,
 Бавиному летцу
 на добрую память
 Л. Байдукову,
 2 марта 1944г.

Поправки заед
 18^д 17/12 34 + 24^с,5
 20 - 1,8 см

Зачеи № 625 + 25 см
 № 735 + 36 см
 № 638 - 1 м 04 с.

ШТУРМАНСКИЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

самолета **NO 25**

| Полеты | Высота | А | В |
|--------|--------|---|--------|
| | 500. | | 40' |
| | 1000. | | 56' |
| | 1500. | | 1° 08' |
| | 2000. | | 1° 19' |
| | 2500. | | 1° 29' |
| | 3000. | | 1° 38' |

Л. Байдуков и Л. Байдуков

Число 19 месяц Июль год 1934 Вахта

Летчик Бабур
Штурман Валла

| Место или название | ВРЕМЯ | | КУРСЫ | | | СНОС | Факт. ИПУ | V Вода скорость м/ч | W Путевая скорость м/ч | H Высота м |
|--------------------|-------------------------|-------------|--|----|----|--------|-----------|---------------------|------------------------|------------|
| | Гринвическ. среднее GMT | Путевое Ф/Р | КК | МК | НК | | | | | |
| | 7.42 | | Изыть в солнце = | | | 16°00' | | | 200 | |
| | 9.40 | | Наблюдая высоту | | | 4850 | | | 30' | |
| | 10.00 | | | | | | | 135 | | 5100 |
| | 10.25 | | | | | | | | | 5300 |
| | | | Перешли на край баки в 9.00 | | | | | | | |
| | 10.45 | | облачки торы обильно | | | | | | | 5500 |
| | | | 80°05' | | | | | | | |
| | 10.57 | | | | | | | 180° | | 5620 |
| | 11.25 | | Все самолеты 7/2 точки, потолок 5750м | | | | | | | 5700 |
| | 11.42 | | Астроном. линия = 17° | | | | | | | |
| | 11.45 | | идти обратно более 5600 м самолеты | | | | | | | |
| | 12.00 | | сножки курс | | | | | | | 5630 |
| | 12.20 | | То же самое, светит полет, Мокрый снег | | | | | | | 5700 |
| | | | Взлет Бабура с 9.40 | | | | | 130 170 | | |
| | 12.30 | | Снижение | | | | | | | |
| | | | Взлет Зенит с | | | | | | | |

с 9⁴⁰ до 15⁴⁰ - Талды (4 км)
 с 15⁴⁰ до 19⁰⁰ - манс

| ИК По сол- нечн. компасу | тн | В Е Т Е Р | | Обороты мотора | Положение высотного корректора | Показание бензосчет- чика | ЗАМЕТКИ В ПУТИ |
|-----------------------------------|----|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Ист. напр. (куда) | Ско- рость к/ч | | | | |
| №13 | | 82° 15' 30" | | A=352° | | в 200% 4000 за 1ч 12. | |
| | | | | | | | перелетели облачность |
| | | | | | | | У Валуи следит колу против часов Смена |
| | | | | | | | 7971 |
| | | | | | | | к 7.00 19.6 взрастает горюче - 3605 |
| | | | | | | | 4366 литров |
| | | | | | | | Продано 4625 км - 30 расход |
| | | | | | | | на 10000 км не хватает |
| | | | | | | | Неудачно на 3 часа |
| | | | | | | | В кабине = -1° Брел на верхушку обивки, по сев линии |
| | | | | | | | -30° 1760 |
| | | | | | | | А вкл на 17.00 (14°) 13° 09' A= 48° |
| | | | | | | | не кабрирует восстому |
| | | | | | | | обивка. Много воздуха, обивка, никак не перелетели |
| | | | | | | | В кабине 0° |
| | | | | | | | озерами и замесами. |

Может, кому и безразлично, но я не могу читать без трепета записи в бортжурнале, сделанные штурманом А. Беляковым:

«Я заступил на вахту, отдохнул 4 часа... Переложил лодку на заднее сиденье. Байдуков зачем-то ищет папиросы (Об этих папиросах — в очерке о М. Громова. — Ф. Ч.)... Идем выше черт его знает какого слоя облачности... Обледенение сильное... Отказал водяной термометр. У Валерия сводит ногу, требует частой смены... Апельсины у нас померзли. ...Начался слепой полет Байдукова... Байдуков ведет ночью по вершушкам облаков, иногда в них залезая, болтает. Выше облаков светит луна тускло, иногда в просветы видны звезды...»

Говорю Байдукову:

— Я смотрю, в основном вы ведете самолет...

— Мы так и договаривались. Я говорил Валерию: «Ты нам нужен на несколько минут — только взлететь!»

Константин Константинович Коккинаки поведал мне, что в полете через полюс Чкалов неважно себя чувствовал и вся нагрузка пришлась на Байдукова...

Последняя запись в журнале:

«16.20. 20 июня 1937 г. Летчик Байдуков, штурман Беляков. (...) Посадка в Ванкувере. Всего были в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горючего 7933 литра — 5658 кг, должно остаться 77 кг.

А. Беляков».

На торжественном правительственном приеме после перелета кто-то из летчиков, наполнив рюмку водкой, воскликнул:

— Товарищ Сталин! Байдукнем по чкалику белячка! Сталину понравилось. «Байдукнули». И не раз.

16 декабря 1938 года все газеты и радиостанции страны сообщили:

«Правительство Союза ССР с глубоким прискорбием извещает о гибели великого летчика нашего времени Героя Советского Союза тов. Валерия Павловича Чкалова при испытании нового самолета 15 декабря сего года».

Чкалов был любимцем нации. Этому во многом способствовал и фильм «Валерий Чкалов», созданный по сценарию Г. Ф. Байдукова. Помню, как мы, мальчишки, смотрели этот фильм после войны ни кишиневском аэродроме в День авиации, помню, как в Артеке выбирали знаменосцем пионерской дружины Олю Чкалову и просили ее рассказать биографию. Оля стояла, потупившись, и блики кострового пламени озаряли ее похожее на отцовское лицо... Тогда наш старший пионервожатый сказал за нее: «Папа — великий летчик нашего времени Валерий Павлович Чкалов». Мы встали и дружно зааплодировали...

Любовь к Чкалову не может сравниться с тем сумасшествием, что наблюдается сейчас вокруг всевозможных поп-звезд, ибо это была действительно любовь, она была всенародной, и думалось, что такие личности, как Чкалов, всегда будут поводырями русского духа. К сожалению, случилось нечто другое...

А Байдуков прожил большую жизнь, не почивая на лаврах. Была война, командование авиационной дивизией и корпусом на фронте, в мирное время — начальник Главного управления Гражданского воздушного флота... Дожил до собственных юбилеев генерал-полковник авиации Байдуков. Последний — 85-летие в 1992 году.

Под звон молодых юбилейных бокалов
мой гость нерасплесканный будет таков:

— Конечно, товарищи,

Чкалов есть Чкалов,
но рядышком был и Егор Байдуков.

Его боевые друзья откровенно
о нем говорили:

— Байдук — это тот,
который не только герой довоенный —
он в самое пекло на фронте пойдет!

За это любили, за это ценили,
и нету, пожалуй, достойней цены:
его Золотую Звезду не затмили
все наши герои последней войны.

Егор Байдуков остается пилотом
военных, воздушных, держающих сил,
пилотом, которого перед полетом
сам Туполев быстро, украдкой крестил...

...В начале войны в августе 1941-го Сталин вызвал летчиков Громова, Байдукова и Юмашева:

— Президент США Рузвельт не хочет принимать советского посла Уманского, а вас наверняка примет!

И их послали в США. Рузвельт сразу же принял их в Вашингтоне — один:

— Наш министр обороны против того, чтобы вам помогать, но зато его первый заместитель — за. И мы будем иметь дело только с теми американцами, кто желает вам помочь.

На второй встрече присутствовал Гарриман, и Рузвельт сказал ему:

— Мы с летчиками решили наши вопросы, а вы летите в Россию и выясните, чем еще мы можем помочь Советскому Союзу.

Гарриман полетел в Москву, а Громов, Байдуков и Юмашев до ноября выбирали в Соединенных Штатах нужные для фронта самолеты. Рузвельт дал возможность посмотреть все, кроме одной машины — «летающей крепости», она считалась секретной, потому что на ней стоял прицел «норд америкэн».

— Это единственное препятствие, — сказал Рузвельт. — Будь я Сталиным, я бы устранил это препятствие за час, но у меня на этот прибор наложен запрет сената, хотя знаю, что немцы прицел у нас выкрали, улучшили и поставили на четырехмоторные «фоккевульфы», которые бомбят Москву. Слетайте в Лос-Анджелес, посмотрите схемы, привезите свой прицел, и все, что можно, мы для вас сделаем.

В Лос-Анджелесе конструктор прибора сказал летчикам:

— Присылайте прицел, мы его переделаем для вас, но раньше чем через полгода не успеем.

— Поэтому мы не привезли «крепость», — говорит Байдуков. — Би-25, Би-26, «Киттихавк», «Томогавк», «Эркобру», на которой потом работал Покрышкин, — все привезли.

Байдуков сам испытывал «Кобру» в США и заставил американцев переделать ее с пулеметного на пушечное вооружение.

Вернулись из Америки — немцы под Москвой, самое критическое положение. Доложили Сталину: задание выполнено. Он поблагодарил:

— Ну что, желаю вам удачи и счастливого пути

к своим конструкторам, заводам, вы же заводские летчики, а нам позарез нужна новая техника!

— Товарищ Сталин, мы не можем на заводы, — возразил Громов.

— Как не можете? Вы же летчики-испытатели!

— Кроме того, мы офицеры, командиры, противник рядышком, а мы уедем куда-то в тыл, — добавил Байдуков.

— Ну, а что ваш тыл? Летчики-испытатели бьются больше, чем на фронте, — заметил Ворошилов.

— Это правильно, процент гибели летчиков-испытателей сейчас очень высок, потому что все время идет новая техника. Но нам советь не позволяет оставаться в тылу, — сказал Громов.

Сталин посмотрел на летчиков как на чудаков:

— Вы что, думаете, армия без вас не обойдется?

— Товарищ Сталин, армия без нас обойдется, но мы без армии не можем обойтись, — сказал Байдуков. — К тому ж мы воевали — и басмачей немножко пощупали, и на Финской я, скажем, был.

Сталин смутился, позвонил куда-то и говорит:

— Товарищ Громов, вы на дивизию согласны?

— Я не ожидал такого. Это большая честь.

Сталин поставил его на дивизию вместо Руденко, которого повысил.

— А вы, товарищ Байдуков, будете комиссаром этой дивизии.

— Все, что хотите, товарищ Сталин, но только не это, — встрепенулся Байдуков, — у нас разные характеры, принципиальные расхождения. Мы завтра же переругаемся, и я на него начну строчить письма.

Сталин еще раз позвонил.

— А заместителем товарища Громова по летной части? — спросил Сталин Байдукова.

— С удовольствием.

Вскоре Громова назначили командующим авиацией Калининского фронта, а Байдуков стал командиром этой дивизии — 1-й смешанной авиационной, ее Руденко пригнал из Читы. Дивизия входила в состав Калининского фронта, который формировался во главе с И. С. Коневым. Когда противник близко по-

дошел к Москве, Калининский фронт сыграл свою роль...

— Здесь мне пришлось познакомиться со штурмовиками Ил-2, — говорит Георгий Филиппович. — Не просто полетать, но и побомбить, пострелять, посмотреть, на что способен этот самолет в бою.

Мне говорили о генерале Байдукове как об удивительно храбром летчике на фронте. Будучи командиром дивизии, а затем и корпуса, он, в отличие от многих других военачальников такого ранга, сам летал на боевые задания под фамилией «Иванов». Может, это и не дело командира корпуса, но у летчиков такое весьма ценилось.

Обстановка быстро менялась. Авиационные дивизии то расформировывали, то превращали в ВВС сухопутных армий, как было в гражданскую войну, когда авиацию распределяли по армиям. Дивизия — хозяйство большое. Четыре полка по сорок самолетов в полку.

— Конев меня тогда часто «расстреливал», — вспоминает Байдуков. — Я посмотрел — в одном месте две наших армии могут быть окружены, и тогда положение на Калининском фронте очень осложнится. Я решил в этом котле сделать аэродром. В это время шли дожди, стоянки были до того заболочены, что нужно было класть жерди, чтобы вырुлить на центральную часть аэродрома, которая подсыхала на возвышенности. Даже тягачами вытаскивали самолеты из капониров. Начальник штаба полка докладывает: «Требуют вылета штурмовиков». Я спрашиваю: «А как аэродром? Отменить». Последовало второе приказание — от начальника ВВС Калининского фронта Громова. Я говорю: «Отменить!» Тогда сообщают: «Командующий фронтом Конев приказал». Я говорю: «Отменить!»

Все записи переговоров с начальством я держал в кармане, знал — припомнится.

Зимой вызвали на Военный совет фронта. Снега огромной высоты, до Сафонова добирались на «полтурке». Прибыли. Из избы выходит Матвей Захаров, начальник штаба, будущий маршал Советско-

го Союза, вытирает кровь из носа: «Ударил, сволочь!»

— Что ж такое, Матвей Васильевич, брал Зимний дворец, пистолет на боку висит, ты бы его проучил! — говорит Байдуков.

Тут и его вызвали:

— Авиация, заходи!

Байдуков вошел с комиссаром штаба ВВС фронта. Смотрит: школа — не школа, огромный дом. Два стола, стул, на стуле — мундир генерал-полковника. Конев стоит в рубахе. На одном столе — один член Военного совета сидит, на другом — другой.

— Здравия желаю!

— Садитесь.

— Видите ли, я не из магометан, не привык...

Как разозлился Конев!

— Бары! Этим барам подайте, пожалуйста, кресла, стулья!

Когда внесли деревянные стулья, Конев спросил:

— Почему вы не разрешили вылетать штурмовикам? — И назвал число.

— Очень просто. Мы бы побии самолеты, не нанеся противнику никакого вреда. На взлете многие влетали бы в лес!

Конев посмотрел на комиссара штаба ВВС:

— Так что ж ты, б.., мне морочил голову?

— А комиссар был на этом аэродроме, — поясняет Байдуков. — И я проделал одну штуку, из-за чего нас на Военный совет и вызвали. Я подумал: не выполнено приказание одно, второе, третье, — и сказал начальнику штаба:

— беру ответственность на себя.

Когда я узнал, что он приезжал в полк штурмовиков, спрашиваю командира полка Филиппова:

— Что ты ему сказал?

Филиппов отвечает:

— Я сказал, что, если было бы приказание твердое, мы бы вылетели.

Я говорю командиру полка:

— Заправляйте самолет, полное боевое снаряжение, покажите взлет. Бомбы сбросите в лесу.

Он побледнел, понимает, что не взлетит. Плохо себя почувствовал. Взяли обыкновенного строевого

летчика. Вижу — не оторваться ему. И закатился в лес. Крылья отлетели, а парень цел. И в штаб фронта донесли, что у нас боевого вылета нет, а потеря есть, самолет разбили. Я, конечно, виноват, что избрал такой метод проучить командира полка, чтобы он перед каждым из фронта не вытягивался, а доказывал, можно или нельзя. У меня, например, начальник штаба такой, что застрелить может, если начнешь колебаться.

У Конева гнев пошел на спад.

— А что вы смотрите в окно? — спросил Иван Степанович Байдукова.

— Мы приехали на «полуторке», боюсь, чтоб ее не сперли.

— Какая «полуторка»?

— Та, на которой мы приехали. Я у вас единственный командир дивизии, у которого нет машины. Когда стали формировать ВВС фронта, все туда утащили.

Конев повернулся к члену Военного совета:

— Ты вчера на чем из Москвы приехал?

— На «Форде-восьмерке».

— «Форд-восьмерка» как? — спросил Конев у Байдукова.

— Знаю по Америке. Хорошая машина.

— Берешь?

— Беру. Только у меня и шофера нет. Шофер грузовой, с «полуторки».

— Давай ему отдадим и шофера! — решил Конев.

Тихо, мирно попрощались. Байдуков вышел последним, не торопясь, и услышал себе в след:

— Товарищ Байдуков!

Повернулся, подошел к Коневу.

— Знаешь, что я хочу тебе сказать, — произнес командующий фронтом. — Хоть ты и национальный герой, и у тебя большие заслуги, на фронте тебе скидки никакой не будет!

— Господи! — воскликнул Байдуков. — Что вы говорите? Война есть война, а летчики на такой горячей работе, что мы и войны-то не боимся, потому что где-нибудь нас и так придушит аэроплан!

— Знай: пощады не будет! — повторил Конев.

Но не на того напал: Байдуков нашелся с ответом:

— Я считаю, что в справедливой форме всегда должна быть какая-то оценка: если голову рубить, то начисто или с наклоном небольшим.

— О, ты мастер, оказывается! — удивился Конев.

— А как же!

— Хорошо, хоть по морде не дал, как Захарову, — говорю я Байдукову.

— Я бы тогда пистолет вытащил!

...На стенах комнаты, где мы разговариваем, фотографии, связанные с перелетами, американские встречи. Похороны Чкалова. В сильный мороз Молотов и Сталин несут урну. Сталин в шапке с опущенными ушами, в шинели и сапогах, за ним Байдуков в валенках...

— Эту комнату я подготовил, чтобы принять здесь американцев. Их сюда не пустили, испугались, что они будут подслушивать. У некоторых в нашем доме есть «вертушки», — говорил мне Байдуков в 1988 году. — Глупость, конечно... — И продолжил: — В 1987 году мне предложили полететь в США на 50-летие наших перелетов, но маршрут был обычный, туристский, и я отказался. Как это я полечу не через полюс? 50 лет назад мы на том «драндулете» долетели, а сейчас — на современном лайнере — мне говорят: «Опасно!»

Я вспомнил, как Байдукову поручили внести в зал знамя Комсомола во время приветствия XXVI съезду партии. Пригласили на репетицию. Он пронес знамя, но организаторам что-то не понравилось, попросили повторить.

— Да пошли вы к е... матери! — в сердцах произнес Георгий Филиппович. — Я через Северный полюс перелетал, а тут я ваше знамя не пронесу?

...После войны Байдуков работал начальником Главного управления ГВФ.

— Мой предшественник, — говорит он, — маршал авиации Астахов, сказал мне: «Вот как разобьется у тебя 180 человек, снимут». Наверно, у него так было. Меня снимал Берия. Видимо, была его очередь вести заседание Политбюро. Передо мной снимали министра морского флота — фамилии не помню, высокий, представительный мужчина.

— Ты колымскую пыль глотал? — обратился к нему Берия. — Я тебя спрашиваю, ты колымскую пыль глотал?

Министру стало плохо, и его вынесли к врачам. Тут Берия обратился ко мне:

— До каких пор мы будем летать за границу на иностранных самолетах?

Я ответил, что мы летаем на американских «Дугласах» и Си-47, потому что у них ресурс мотора 1500 часов, а у нашего Ил-12 только 70 часов. Есть разница? Потом, когда на ильюшинской машине увеличили ресурс двигателя, дело пошло... Да и аэродромное наше оборудование, говорю Берии. Прилетел я в свой родной Омск, а там аэродром занесло снегом, никуда не вылетишь. Застрял там А. И. Микоян. Ему надо в Хабаровск. Я-то, конечно, туда долетел, мы с Чкаловым и без посадки дальше долетали...

А стюардесс у нас я завел, когда был начальником ГВФ. Увидел в Америке — понравилось.

Предложил на заседании Политбюро. Ворошилов глуховатый был, спрашивает: «Это что, б.., что ли?»

...Смотрю на цветной снимок на стене. Байдуков у биплана на зеленой траве рядом с американским фермером.

— Это в последний мой приезд в Америку, — говорит Георгий Филиппович. — Вот довелось полетать.

— Сами летали?

— Конечно сам. У нас это невозможно, а там — пожалуйста. Несмотря на то, что мне уж почти 80 лет было.

Представляю, как гордится тот фермер, что на его самолете летал сам «жоу пайлот Байдукофф»!

...В последний раз я был в этой комнате на Сивцевом Вражке 2 марта 1994 года.

— Американцы предлагают мне продать им квартиру — несколько раз уже предлагали, — говорит Георгий Филиппович. — А мне не до того.

— Что ж вы расхворались, — такой орел!

— Был орел, стал курицей.

Он сидел в своем кабинете — темные брюки, шерстяная темная рубашка, зеленые подтяжки. Постарел со времени нашей последней встречи, показался ниже ростом. Но глаза — тот же взгляд, острый, летный, у летчиков глаза особые... Тот же шрам на лбу...

Я подарил Георгию Филипповичу свои «Сто сорок бесед с Молотовым». Он вспомнил, что встречал меня с Молотовым в лесу возле Жуковки. В книге есть об этом:

«Гуляем. Навстречу по лесной дорожке быстро идет человек в короткополой шляпе, старом коричневом костюме, темно-красном галстуке. Замедлил ход, остановился, поздоровался. Байдуков!»

— *Вы опять по этой дорожке ходите? Не по той?* — спрашивает у Молотова Георгий Филиппович.

— *Мы знаем цену славы, цену всех этих дел, — говорит Байдуков. — Это дело проходящее. Проходящее, уходящее. Вчера встречался с пионерами, на телевидении была часовая передача. Задают такой вопрос: «Вот вы прожили 75 лет, как бы вы, если б снова, сначала?» Я говорю: «А чего мне снова возвращаться в ту бедность, в те трудности, которые я прошел?»*

Я вспоминаю прошлую встречу с вами, Вячеслав Михайлович, рассказываю друзьям, как скромно вы живете — примерно так же, как Сталин жил. Я был у него на даче в 1936 году — кровать застелена солдатским одеялом, все просто...

Постояли минут 15—20. Когда Байдуков ушел, Молотов сказал:

— *Чкалова жалко. Погиб напрасно. Как и Гагарин. Беляков как-то ко мне заходил...*

29.04.1982».

А в 1994 году Байдуков рассказал мне, как 60 лет назад во время сильного голода на Украине и в других местах был у Молотова, тогда председателя Совнаркома.

Сперва было написано письмо, а потом Молотов принял их, троих летчиков — Байдукова, Стефановского и еще одного («Дружок Арцеулова, не помню фамилию»), — говорит Байдуков.).

— Мы предложили заливать в баки бомбардировщика воду — два бака с бензином, а шесть с водой — и поливать засушливые поля.

— Вы хоть немножко понимаете в сельском хозяйстве? — спросил Вячеслав Михайлович.

— Почему же, понимаю, — ответил я. — Я вырос на Транссибирской магистрали, там рабочие и служащие жили за счет натурального хозяйства. Свои лошади, коровы... Отец целый день на службе. Поэтому дома приходилось трудиться матери с ребятишками. Так что я кое-что понимаю.

— Как вы считаете, на хороший дождик сколько нужно воды?

Я знал, что большинство полевых аэродромов размокают, один ливень — и летать нельзя. А бывает, целый день дождь идет, и летать можно. И вот Молотов спрашивает, сколько нужно воды на хороший дождик? Мы, когда посылали письмо, об этом немножко говорили, считали объемы наших бензиновых баков, но особенно не приготавились к ответу на такой вопрос. А он говорит:

— Ну, давайте сосчитаем — на гектар или десятину, как вы привыкли.

— Мы на гектар привыкли.

— Давайте считать. Даже два миллиметра — это дождик такой, не очень слабый и не очень сильный, средний дождичек. Посчитаем, сколько тонн воды нужно на один гектар.

Молотов раздал нам бумагу, стали считать. Получилось десятки тонн воды.

— Это сколько воздушных армий надо поднять, которых у нас нет! — сказал Молотов. — Молодцы, что вы, летчики-испытатели, об этом думаете, беспокоитесь. А то некоторые, кому об этом нужно думать, никаких предложений не вносят.

«Да, — задумался Байдуков, — стоит пшеница — к колосу колос, собирались косить, налетел суховей, и все зерно осыпалось. Как в авиации — обрежет мотор, и все».

...Мы не раз говорили по телефону. Байдуков переживал все, что происходит с нашей страной:

— Смотрел Горбачева по телевизору: «Я уже не

верю ни у коммунизм, ни у социализм». Это страшный человек. Расстреливать надо.

Нет, такие, как Байдуков, знамен не меняют.

...Выступая на его похоронах, я сказал, что не грех бы американцам прийти сюда и почтить его память — ведь когда-то их экипаж потряс Америку! Но никого из посольства не было. Мое выступление показали по телевидению, и вечером мне позвонил посол США, сказал, что видел выступление, поздравил с наступающим 1995 годом...

На поминках Игорь Валерьевич Чкалов сказал:

— Исполняется 30 лет монументу в Америке в честь Чкалова, Байдукова и Белякова. Американцы сказали, что они поставили этот монумент в знак глубочайшего уважения к великому русскому народу.

Вспомнилась краткая речь усталого Чкалова после приземления в США:

— На крыльях этого самолета мы принесли привет великому американскому народу от великого советского народа.

Американцы попросили сделать копию самолета АНТ-25, чтобы поставить его на тот аэродром, куда прилетел экипаж. Решение принято, но ничего не сделано. А хорошо бы, чтоб он там стоял, там есть музей, там чтут память русских героев, ибо они — герои всего человечества...

— Мы будем жить, потому что у нас были такие, как Байдуков, — сказал Игорь Чкалов.

Он зачитал факс, пришедший из США:

«Семье генерала Георгия Байдукова.

С глубоким сожалением мы узнали о кончине генерала Георгия Байдукова. Пожалуйста, примите наши глубочайшие соболезнования по поводу Вашей потери такой героической личности в мировой истории.

Мы испытываем большое удовлетворение в том, что имели привилегию и честь знать его лично. Нас также утешает то, что монументы в наших странах носят его имя и имена Валерия Чкалова и Александра Белякова. И навсегда их имена будут в сердцах Вашего и нашего народов.

Эра авиации заканчивается, но их имена будут продолжать вдохновлять на новые большие подвиги.

Мы, Трансполярный комитет, будем продолжать чтить генерала Байдукова и его героических друзей по полету. Наши наилучшие пожелания и искреннее сочувствие.

Чкаловский Трансполярный комитет.

Председатель Алан Коул».

Нет, не забыла Америка.

Помянем Георгия Филипповича — «байдукнем по чкалику белячка»...

ПРИЕМНЫЙ СЫН СТАЛИНА

«Кто смеется, как ребенок, тот любит детей. У него их трое — взрослый Яша и двое маленьких: четырнадцатилетний Вася и восьмилетняя Светлана. Жена его, Надежда Аллилуева, скончалась в прошлом году. От ее земного облика не осталось ничего, кроме благородно-плебейского лица и прекрасной руки, запечатленной в белом мраморе на надгробном памятнике Новодевичьего кладбища. Сталин усыновил Артема Сергеева, отец которого стал жертвой несчастного случая в 1921 году», — говорится в книге французского писателя Анри Барбюса «Сталин» (январь 1935 г.).

А в январе 1980-го в санатории имени Артема на Ленинградском шоссе я познакомился с Артемом Федоровичем Сергеевым. Его отец, Федор Сергеев, был знаменитым и даже легендарным большевиком Артемом, которому и поныне стоят памятники. На одном из них, на берегу Северского Донца, такая надпись:

АРТЕМ
1883—1921

Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо. А.

Пламенному вождю пролетариата. 1927 г.

Можно сказать, что Артем был «российским Че Геварой» или, наоборот, Че Гевара стал «кубинским Артемом».

Едва ли не полмира в начале века объездил Артем, шахтер, грузчик, политзаключенный, поднимая рабочих разных стран на борьбу за свои права. Его назы-

вали «Большой Том». Он по праву признается одним из создателей компартии Австралии, и приезжающие в Москву австралийские коммунисты считают своим долгом возложить цветы на могилу «Большого Тома» за мавзолеем Ленина.

Остались неопубликованные донные записки Артема. В них меня поразили характеристики известных по истории нашей лиц, например Григория Ивановича Котовского. В моем представлении это был отчаянный комбриг-рубака, «храбрейший среди скромных наших командиров, скромнейший среди храбрых — таким я помню товарища Котовского. Вечная ему память и слава!» Эти сталинские слова врезались со школьных дней, они бронзовели на конном памятнике в Кишиневе, городе, где прошло мое детство. А Артем пишет о Котовском, как об очень тонком, интеллигентном человеке, мягком, умном, начитанном, музыкально образованном. Совсем иной, не хрестоматийный взгляд у Артема и на другого героя гражданской войны — Василия Ивановича Чапаева. Но это уже другой разговор...

Артем погиб в июле 1921 года под Москвой в потерпевшем крушение аэровагоне. Была такая новинка железнодорожной техники. Помнится, долгое время гибель его связывали с происками Троцкого. Не знаю, насколько это так, но совершенно достоверно: они друг друга не любили, а сам Артем дружил со Сталиным. В письме к одному из лидеров английских коммунистов Галлахеру он пишет: «Сталин — единственный настоящий вождь. Остальные — либо: «Ура! Мы победим!» или: «Караул! Все пропало!»

Уезжая в Кронштадт на подавление мятежа, Артем попросил Сталина:

— Если со мной что случится, присмотри за моими!

Случилось немного позже, летом. После гибели Артема остались его жена и крошечный сын, родившийся в марте 1921 года и названный Артемом. Он появился на свет в том же знаменитом московском родильном доме Грауэрмана, что и сын Сталина Василий — разница в неделю.

Сталин не забыл семью погибшего друга. Артем рос вместе с Василием. Старший сын Сталина Яков жил уже отдельно, а Светлана родилась позднее.

— Мы его считали приемным сыном Сталина, — говорил мне об Артеме-младшем В. М. Молотов.

Первое время он был с матерью Елизаветой Львовной, а потом воспитывался в детдоме, где росли дети многих крупных деятелей, у которых были живы родители. Жена Сталина Надежда Аллилуева принимала участие в создании этого дома в 1923 году. Организовали его на Малой Никитской, 6, где теперь горьковский музей.

— Там была какая-то лаборатория — занимались воспитанием детей на основе полового инстинкта, — вспоминает Артем Федорович Сергеев. — Матери работали и считали, что дети должны расти в новых условиях.

Елизавета Львовна служила директором туберкулезного санатория — много туберкулезников было в ту пору. И одно время, в 1929 году, Артем Федорович жил с матерью в Нальчике, где она была начальником так называемого облздрава.

— Вот я воспитывался сначала в детдоме, потом в детском саду. И очень много времени проводил на квартире у Сталина. На юг он часто брал меня с собой — в 1924-м, в 1925-м... В 1934-м ездил с ним.

Артем Федорович, конечно, не видел Сталина на работе, но хорошо помнит его быт. Впрочем, и дома у Сталина продолжалась работа. Когда он возвращался со службы, за ним шел его помощник Поскребышев с мешком писем и высыпал их на большой стол. Вероятно, прежде чем попасть к Сталину, письма эти заранее сортировались, отбирались, но он читал их постоянно, огромное количество, и на каждом оставлял пометки.

Сидел за длинным столом с краю, листал письма. В основном это были, разумеется, просьбы, жалобы. Некоторые он зачитывал вслух.

Артему Федоровичу врезалось в память письмо шахтеров о том, что у них нет горячей воды и после смены негде помыться. «Директора судить как врага народа», — написал Сталин на письме.

Один летчик поделился с вождем своей квартирной проблемой: обещают и ничего не дают. «Если и Вы не поможете, товарищ Сталин, буду жаловаться выше».

Интересно, куда, какому богу собирался жаловаться летчик, но квартиру получил незамедлительно...

А я вспомнил, как в 60—70-е годы мыкался с жильем пилот Aviации дальнего действия Герой Советского Союза Репин, после того как его уволили из армии по хрущевскому сокращению. Больные жена и дочь, сам заболел, и жить негде. Москвич, он из столицы уходил на фронт, летал бомбить Берлин, получил Звезду Героя, а к престарелым родителям не прописывают — площадь не позволяет. И приходится ходить «по инстанциям», надевая иконостас боевых наград, кои уже у чиновников не вызывают ничего, кроме раздражения. Наскреб деньжат, купил в Люберецком районе развалюху, на восемьдесят процентов, как подсчитала потом комиссия, непригодную к жилью. Пришел в Люберцах в исполком просить жилье — сказали: «В порядке общей очереди».

Куда ни писал — бумаги шуршали по кругу. Дошло одно из писем до Н. В. Подгорного, тогдашнего нашего президента, который наложил решительную резолюцию о немедленном предоставлении Герою квартиры из имеющегося резерва. Еще два года ждал Александр Иванович исполнения исполкомом высочайшего повеления, отчаялся и написал своему бывшему командующему Главному маршалу авиации А. Е. Голованову.

Маршал связался с боевыми друзьями-летчиками, попросил их помочь Репину вынести вещи на улицу, поселиться в палатке, а хибару сжечь. Так и сделали главные соколы, после чего Герой наконец-то получил двухкомнатную квартиру.

Мне подумалось: что было б, случись такое при Сталине, — возможно, весь исполком строем пошел бы на Колыму...

— Сидит Сталин дома за столом, — вспоминает Артем Федорович, — открывает бутылку нарзана, а крышка вместе с горлышком обламывается. Вторая, третья... Так пять штук... Просит принести подобную импортную воду (а не любил все заграничное!). Принесли. Нормально открыл пять бутылок подряд и выдал соответствующую резолюцию по отечественным бутылкам...

Из современной литературы любил Зошенко. Иногда нам с Василием читал вслух. Однажды смеялся чуть не до слез, а потом сказал: «А здесь товарищ

Зошенко вспомнил про ГеПеУ и изменил концовку!» «ГеПеУ!» — воскликнул Сталин.

Артем Федорович подтверждает своими рассказами весьма скромный, непритязательный быт Сталина. Квартира его помещалась в двухэтажном доме у Троицких ворот Кремля. По нынешним понятиям неудобная была квартира. Это отмечал еще Ленин в одной из своих записок, а мне рассказывал Молотов.

Все комнаты проходные. В прихожей стояла кадка с солеными огурцами — любил. На вешалке висела его старая доха мехом наружу. Он часто ходил в ней. Повидимому, она появилась у него с гражданской войны, но многие считали, что привез он ее из ссылки, из Туруханского края. Тут же помещалась и фронтальная шинель, которую ему однажды пытались заменить, но он возмутился: «Вы пользуетесь тем, что можете мне каждый день приносить новую шинель, а мне эта еще лет десять послужит!»

Тут же стояли старые подшитые валенки...

Питался он тоже не «как Сталин». Частенько ел вчерашние щи, а на второе — мясо из этих щей. Дети радовались, когда приезжали гости, — можно хорошо поесть. Работала у Сталина повариха Матрена, кричала на него, ругала, что плохо ест, не вовремя ложится спать.

— Все нормальные люди давно спят, а он все сидит и сидит по ночам, — ворчала Матрена.

Во время войны, когда выехал на фронт, жил в избе с охранниками. Хозяйка поначалу пускать не хотела.

— Не ругайте ее, — сказал он утром сопровождающим, — она ж не знала, кто у нее ночевал!

В конце жизни Сталин решил проверить, во что обходится государству его содержание. Посмотрел счета и ужаснулся:

— Это что? Я столько съел и выпил, столько износил обуви и костюмов?

Итогом этой проверки стало снятие верного помощника — Поскребышева, а начальник охраны генерал Власик угодил за решетку... Погуляли ребята...

Вечно загруженный работой, Сталин мало занимался детьми. Однако спрашивал об оценках в школе, проверял дневники, по-отцовски «снял стружку».

Преподобнаго Г. Мартиниана.

Ваше письмо о судьбах Каси-
ны и Анны получено. Спасибо за письмо.

Отвечая с добрым пожеланием счастья
и безбедности работ. Прочитайте письмо.

Вашими-изданными книжками сред-
них размеров, знаменитая (та же книга!),
не была получена; но вы можете заказать ее
в книжном магазине; передо мной, с о-
собою или - лучше - по почте - посылать ее.

Его издание "Ваше письмо" и "Книжка"
мы, по идее, надеемся получить, что вы "свои" со-
знаете."

А так, что в Вашем письме написано, что
в этих книжках есть предисловие, которое
получено: Ваше письмо так же велико, и будет
из книги изданным обильно, прежде всего
Вашим, тогда - Грехов, который не может быть
и если вы не - Вашим не может быть
и если, по той причине, что сумеют в книге
и если - Ваше предисловие, которое не может
быть издано издательством.

Может быть: Грехов, по причине от Ва-
шних и не Грехов, которые, как вы знаете

у нас капитализма на 125 "самостоятельность".

Будем верить в свои силы и поддержку.

Китайскими, они и не имеют возможности
восстановить с нами связи. Поэтому время от
времени спрашивайте его за поддержку.

Привет!

Н. Г. Гинн.

8/11 38.

Особенно доставалось Василию, который учился неважно, да и вел себя не лучше. Его школьный учитель, видимо, не выдержал и пожаловался отцу на Василия. Это в 1938 году! Отец ответил — сохранились два листочка письма. Вот его ответ:

«Преподавателю т. МАРТЫШКИНУ.

Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо.

Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой. Прошу извинения.

Василий — избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких «руководителей», нередко нахал, со слабой, или — вернее — неорганизованной волей.

Его избаловали всякие «кумы» и «кумушки», то и дело подчеркивающие, что он «сын Сталина».

Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе. Василия портят директора, вроде упомянутого вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец-Василий не успел еще погубить себя, то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку.

*Мой совет: требовать **построже** от Василия и не бояться фальшивых, шантажистских угроз капризника насчет «самоубийства».*

Будете иметь в этом мою поддержку.

К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени брать его за шиворот.

Привет!

И. Сталин.

8/VI-38 г.».

Комментировать не стану. Скажу только о четкости характеристик: в этом коротком письме выпукло видны и Василий, и его преподаватель, и директор школы, и сам Сталин.

Говорят, увидев это письмо, сотрудники НКВД отлетели от товарища преподавателя, как ошпаренные...

Василия в школе нещадно били, но дрался он только с теми, кто был или старше, или выше его по росту.

За войну он получил четыре ордена — его товарищи, участвовавшие в подобных операциях, награждались щедрее. А орден Красного Знамени ему дали за то, что он разогнал немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить наш тыл. Поднялся в небо на незаряженном истребителе наперерез строю... Командующий, с земли наблюдавший эту картину, не зная, что там сын Сталина, велел наградить летчика...

Присутствие отца ощущалось в доме. К детям потом пришло понимание, кто он для всей страны. А дома — отец, которого побаивались. Артем Федорович показывает подаренный ему Сталиным патефон — в 1933 году, когда Артему исполнилось 12 лет. Маленький складной патефон. Никогда не видел таких.

Однажды отец собрал подростков Василия и Артема, позвал старшего Якова:

— Ребята, скоро война, и вы должны стать военными.

Яков и Артем стали артиллеристами, Василий — летчиком. Когда началась Великая Отечественная, все трое отправились на фронт. В первый же день Сталин позвонил в наркомат Обороны, чтобы их взяли немедленно. Это была единственная от него привилегия, как от отца, когда он похлопотал за своих детей. Что бы ни говорили, но это факт: все три сына лидера державы воевали. Яков погиб героем в фашистском концлагере, Василий летал на истребителях, а Артем, последовательно пройдя все ступени, закончил войну командиром полка и продолжал службу...

Отец тяжело переживал плен Якова. Когда предложили обменять его, сказал:

— Там все мои сыны.

До наших дней дошла весточка от старшего лейтенанта Якова Иосифовича Джугашвили:

«Если не придется увидеть уже своей Родины, прошу заявить моему отцу Иосифу Виссарионовичу Сталину, что я никогда его не предавал, а то, что сфабриковала гитлеровская пропаганда, является явной ложью.»

Яков Джугашвили».

Поражает это «заявить». Не «сообщить», «известить», «доложить» — нет, «заявить».

Артем Федорович хранит письма Василия к отцу. Не просто письма — отец, как обычно, нанес на них свои резолюции. В одном письме Василий просит отца выслать ему денег — в части открылся буфет, да еще хотелось бы шить новую офицерскую форму. На этом письме в левом верхнем углу отец написал так:

«1. Насколько мне известно, строевой паек в частях ВВС КА вполне достаточен.

2. Особая форма для сына тов. Сталина в Красной Армии не предусмотрена».

— То есть денег Васька не получил, — смеется Артем Федорович.

И рассказывает, как Василий поделился с ним своим успехом на любовном поприще: у него живет московская красавица Нина, жена кинооператора Романа Кармена. Однако радость Василия была недолгой. Кармен написал Сталину, тот вызвал Генерального прокурора и дал указание насчет своего сына:

— Судить мерзавца по закону!

Главный законник страны вызвал Василия:

— У вас живет жена Кармена?

— Живет.

— А почему она у вас живет?

— Сам не знаю.

— Почему вы ее не отпускаете?

— Так пусть уходит, пожалуйста!

Когда отцу доложили об этом разговоре, он качал головой, приговаривая: «Вот подлец! Вот подлец!» И синим карандашом была продавлена такая резолюция:

«1. Эту дуру вернуть Кармену.

2. Полковника В. Сталина посадить на 15 суток строгого ареста».

— О Василии сейчас пишут много неправды, — говорит Артем Федорович. — Образ жизни у него был такой, что в доме часто было просто нечего поесть. Только несколько дней после получки — выпивка и закуска, полно друзей, а потом — шаром покати, надо приходиться со своей буханкой хлеба.

Известно, что Василий был человеком не робким, и не только на фронте. Когда Н. С. Хрущев после XX съезда попросил его написать об отце, какой он был деспот в семье, как издевался над сыном, Василий ответил первому секретарю партии:

— Вы все, вместе взятые, не стоите ногтя моего отца!

Это стоило Василию нескольких лет свободы.

...Много испытаний подбрасывала жизнь, и все-таки самым главным испытанием осталась война. Артем Федорович говорит, что 19 июня 1941 года их часть стали передислоцировать из-под Москвы на запад.

И было сказано просто:

— Едем на войну!

С первого дня войны — на войне.

— Пуля, которая летит в тебя, не свистнет. Та, что свистит, уже пролетела, потому что ее скорость выше скорости звука.

Я понял эти слова Артема Федоровича, побывав в 1986 году в Афганистане. И понял, что такое необстрелянный солдат. Как же было нелегко нашим солдатам в июне 1941-го, когда на них шли покорители Европы, уже не боящиеся свистящей пули!

— И дело не в том, — продолжает Артем Федорович, — что у нас было мало техники. Техника была, но еще не освоенная. Нужно время, чтобы научиться на ней работать — на танке Т-34, на самолете Ил-2...

И он делится своим впечатлением об Ил-2:

— Страшная машина! Самолет сверху зеленый, снизу голубой, а когда идет на тебя, кажется черным. Потому немцы и называли его «черной смертью». Огневые точки у него бьют поочередно, и кажется, что он огненными шагами идет по земле.

Наши «Илы» обычно летали «четверками». А тут как-то идет пара. Я своим бойцам скомандовал: «В сторону!» Эти самолеты прошли над нашей колонной, один заход сделали и буквально развалили ее. Немцы! Со звездами на крыльях! И такое бывало.

Когда видишь, как они по противнику бьют, — это одно, а когда по тебе...

Артем Федорович, ранее занимавшийся планерным спортом, освоил на фронте знаменитый ильюшинский штурмовик и даже совершал боевые вылеты, летал на корректировку огня артиллерии.

— Уже два года воевал. Полетел во второй кабине, на месте стрелка. Взял с собой планшетик с картой. Как только прошли линию фронта, немецкие зенитки стали бить. Самолет фанерный, бронирован только летчик, самолет подпрыгивает на разрывах, как на ухабах. Шапки разрывов... Видишь их, — значит, не в тебя снаряд... Я залез поглубже за фанеру, а сверху, на голову, еще планшетик положил. Очухался, только когда пошли на посадку...

Война — не только тяжелая работа, но, прежде всего, люди, их взаимоотношения. В полку Сергеева были узбеки, они держались особняком.

— Я решил организовать плов. Риса, конечно, не было, достали перловки, мяса. И как старались мои узбеки, готовя угощение, и как этот плов сдружил весь полк! Простая штука, а на фронте много значит...

Артем Федорович в годы войны вел дневник — очень краткие записи. Вот одна из них — от 28 июня 1941 года, только неделя войны минула: «Старик. Завернутая засохшая буханка хлеба. Говорит: «В буханку я запек кассу, казенные деньги. Их надо сдать»».

Я дал ему кусочек хлеба и кружку воды — он очень проголодался. Он не заходил в села. Человек долга. Фанатик честности и финансовой службы».

До 16 лет Артем рос в семье Сталина. Последний раз видел его 15 мая 1937 года — ездили вместе на дачу. Сталин, Василий, Светлана, Артем и охранник Власик. В машине Сталин говорил о роли артиллерии

в грядущей войне, может желая подействовать на Артема, мечтавшего стать летчиком. А может, тогда уже в Сталине состоялось убеждение, которое он выскажет позже в лаконичной, характерной сталинской формулировке: «Артиллерия — бог войны».

Как обычно, проезжали по Дорогомиловской улице, и Сталин обратил внимание своего охранника на дом, который строили уже три года:

— Власик, я думаю, что три года и три недели строителям хватит, чтобы соорудить этот дом.

Через двадцать дней — на день раньше! — новоселам вручили ордера на квартиры...

— Он шел от земли, не витая в облаках, — говорит Артем Федорович. — Сын сапожника, он знал, как ходить по земле, на каких подошвах. И он всегда оставлял возможность для усиления того, что делал: говорил тихо, а мог громче, не размахивал руками, не применял превосходной степени. Он не был всемогущим, как многие думают, — во всяком случае, сам он себя таковым не считал. По сути он был очень мягкий и добрый человек. Скажете о посадках, о ГУЛАГЕ? А многого ли добились наша страна, когда этого не стало?

Он никогда не употребил выражения «мировая революция» и, в отличие от Троцкого, считавшего, что только мировая революция позволит подняться России, ставил Россию во главу угла. Она — ядро, и вокруг нее — весь мир.

Не говорил ничего плохого о религии. Когда избирали патриарха, сказал подошедшим к нему попам, у которых были разные мнения по кандидатурам:

— Вы подумайте и решите, а то ведь не каждый день вам придется встречаться с товарищем Сталиным.

...После войны, в последние годы жизни Сталина, с ним уже не было такого близкого общения, как в детстве и юности. Но кое-что запомнилось.

— Я был у Василия Сталина на даче в Горках-4. По-моему, это 1949 год. Только началось освоение бомбардировщика Ил-28, и произошла катастрофа. Экипаж погиб. Василий позвонил отцу. Сталин от-

ветил: «То, что произошла катастрофа, вы не забудете. Но не забудьте, что там был экипаж, а у экипажа остались семьи. Вот это не забудьте!»

...Прослужив Отечеству более полувека, только недавно вышел на пенсию генерал-майор артиллерии Артем Федорович Сергеев, интересный собеседник, умный, обаятельный человек, родной сын Артема, приемный сын Сталина...

«ВЫШЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ...»

Когда я писал книгу о великом ученом нашего столетия Борисе Сергеевиче Стечкине, основоположнике теории воздушно-реактивных двигателей, «боге моторов», как называл его весь мир, хотя в нашей стране он был, как говорили, «закрит», в беседах с его друзьями и коллегами не раз возникало поначалу неизвестное для меня имя: КУРЧЕВСКИЙ. Инженер Курчевский... Генеральный конструктор Леонид Васильевич Курчевский... Называя это имя, собеседник оживлялся и непременно рассказывал какой-нибудь неординарный эпизод из жизни этого удивительнейшего человека, к которому, думается, в какой-то мере применимы слова, сказанные академиком М. В. Келдышем о Стечкине:

— Стечкин? Так это же наш русский гений!

— А почему о нем никто не знает?

— Страна такая, — спокойно ответил Мстислав Всеволодович.

К этому надо добавить, что Стечкин и Курчевский были патриотами своей страны, жили в ней в такое время и занимались такими делами, о которых тогда в газетах не писали. Стечкин умер в 1969 году, прожив семьдесят семь несправедливых и не всегда ласковых лет, однако став лауреатом чуть ли не всех наших премий, академиком и Героем. Его друг Курчевский погиб в 1939-м — и пятидесяти не было.

Вспоминаются стихи Ярослава Смелякова о поэте Борисе Корнилове, верней, о том, что было бы, если бы они в свое время поменялись судьбами:

Он бы стал сейчас лауреатом,
Я б лежал в могилке без наград,
Я-то перед ним не виноватый,
Он-то предо мной не виноват.

Дружба Курчевского и Стечкина была давняя. Еще в молодости, в 1917-м, они вдвоем на броневике собственной конструкции двинулись отбивать у большевиков Кремль. Конечно, эта смехотворная вылазка двух интеллигентов-технарей провалилась в самом своем начале, и оба оказались в кабинете у товарища Дзержинского. Дзержинский отпустил их под честное слово, что больше они никогда не будут себя плохо вести по отношению к власти рабочих и крестьян. Для друзей это был самый кратковременный из арестов, но далеко не последний. И тому, и другому еще по два раза предстоит испить чашу сияю. Я держал в руках личную анкету Стечкина, где в графе «Ваше участие в Октябрьской революции» Борис Сергеевич фиолетовыми чернилами откровенно написал: «Был в Москве и выступал на стороне белых». Представляю, с каким трепетом и энтузиазмом читали подобное в отделах кадров, а затем в первых отделах предприятий, и с каким доверием могла относиться новая власть к подобным специалистам, время от времени вновь препровождая их за решетку. Так, в последнюю посадку в 1937-м Стечкину пытались «пришить к делу» шпионаж. Он это упорно отрицал, но и следователи были не менее упорны, и, наконец, Борис Сергеевич написал: «Вновь сообщаю, что никаким шпионом я не был, о чем сейчас искренне сожалею». А что писал следователям или подписывал Курчевский — неизвестно...

Впервые я услышал о Курчевском от знаменитого нашего конструктора моторов Александра Александровича Микулина, когда разговор зашел о сделанном в 30-е годы МСК — моторе Стечкина-Курчевского — двухтактном, звездообразном двигателе с петлевой продувкой, с отдельными объемными поршневыми компрессорами на каждый цилиндр. Тогда же Стечкин и Курчевский разработали теорию и построили экспериментальную модель реактивного снаряда. Эта сторона их деятельности мало кому известна, ибо была строго секретной. Они работали на опытном заводе № 38: Курчевский — главным конструктором, Стечкин — начальником научно-исследовательского отде-

ла, а вернее, научным руководителем по специальным вопросам артиллерии.

«Здесь, — вспоминает А. А. Микулин, — Стечкин очень энергично трудился с Леонидом Васильевичем Курчевским, который был праотцом современных ракет, предшественником Королева. Они ездили на Переславское озеро и стреляли по нему чем-то похожим на "Катюши"».

...Они работали над качественно новым оружием — реактивно-динамическим. Однажды Стечкин попросил инженера Добрынина, своего коллегу по работе в авиации, сделать расчеты, не относящиеся к авиационным двигателям, и начертить графики. Уже потом, работая на опытном заводе Курчевского, Добрынин увидел на столе у Стечкина книгу в темно-бордовом переплете. Это была секретная в то время теория реактивно-динамической пушки. Автор — Л. В. Курчевский. Полистав книгу, Добрынин сказал:

— Борис Сергеевич, так это же твои расчеты!

— Об этом говорить не полагается, — ответил Стечкин. — И не нужно, чтобы об этом кто-то знал.

Вся расчетно-теоретическая часть нового оружия была разработана Стечкиным, а книга написана совместно с Курчевским. Почему на обложке значился один автор? Говорят, Курчевский, сам талантливый человек, был к тому же очень сильной личностью, умел «давить» и «подминать под себя»... Но со Стечкиным была дружба и близость домами. Леонид Васильевич часто бывал у Стечкиных на Сходне, Стечкин ездил к Курчевским во Всехсвятское...

«Приземистый, прочно сбитый, почти всегда задорно улыбающийся, смелый в поступках, мыслях и словах, Курчевский вызывал большую симпатию, — пишет заслуженный изобретатель РСФСР С. Богословский. — В его отношениях с друзьями, которых он имел обыкновение называть по фамилиям или прозвищам, было много остроумия и веселящего юмора...

Курчевский не пил, не курил. Во всех сторонах своей личной жизни был кристально чистым, но мог для юмора прикидываться пьяным, жуликом и дон Жуаном, утрируя смешные стороны при этих превращениях.

Курчевский обладал исключительной памятью. Однажды прочитав стихотворение, мог через несколько

лет в точности его повторить. Сам сочинял комические стихи. Не имел высшего образования, но острота его ума и знания поражали изобретателей и ученых, с которыми он работал.

Часто бывали у него Стечкин, Архангельский, Ветчинкин».

Жизнь его, однако складывалась не по таланту и заслугам. В 1924 году опять арестовали и отправили на Соловки за трату государственных денег на строительство вертолета, по-современному, — вертолета, кои в те годы никого, кроме самих изобретателей, не интересовали. Неумолимый характер постоянно заставлял Курчевского что-то придумывать, организовывать. Изобретения его были всегда оригинальны, просты по исполнению и смелы по мысли, как и сам Курчевский. Он никого и ничего не боялся. Казалось, всюду ему море по колено. Таким оно стало ему и в действительности, в Соловках, где он выстроил целую рыболовецкую флотилию и рыбачил на Белом море. С ним разделила его судьбу и жена Мария Федоровна — приехала к нему. Курчевский организовал на Соловках мастерскую, восстановил литейный заводик, придумал маленькую гидроэлектростанцию: в ручей опустил трубу, внутри которой вода вращала небольшое колесо. Построил бесшумную пушку, пострелял, испытал и забросил в озеро. Военные потом заставили достать... Соорудил глиссер и арктические азросани «С-2» для Севморпути и сам собирался махнуть на них на Северный полюс. Даже потом написал об этом художественную книгу «С-2», которую в 1937 году сдали в производство, но она не вышла в свет. Чуть бы пораньше...

Зимовал во льдах, возил почту, несколько раз был на краю гибели. «Слово «страх» для него не существовало», — пишет работавший с ним С. Н. Люшин. Соловецкое начальство хорошо относилось к Леониду Васильевичу, о его изобретениях узнали в Москве, и в 1927 году его освободили досрочно. А ведь сослали на десять лет! Но и того, что испытал он на Севере, хватило бы не на одну жизнь. Ведь ссылку свою он начал грузчиком на пристани — таскал мешки на паром. А потом стал изобретать. Однако он не был кабинетным конструктором, который сидит и чертит за доской. Курчевский находил прекрасных масте-

ров — слесарей, механиков, отладчиков, те понимали его с полуслова и исполняли задуманное в металле. Он и сам умел и любил работать руками. Вот и арктические сани «С-2» сам построил и поехал на них из Соловков в Кемь. Бензина дали мало, боялись, как бы не убежал изобретатель. Да еще друзья с ним поехали. Поднялся ураган, аэросани унесло на 60 километров в море. Курчевский снял свое кожаное пальто, окунул в масло, поджег, чтобы самолет их мог увидеть. Тщетно. Бил товарищей палкой, чтоб не замерзли. Вернулись на одиннадцатые сутки, когда прояснилось.

Приезжали на Соловки киношники, и в 30-е годы в Москве шел документальный фильм о работе Курчевского, о его арктических санях. Рассказывали, что после освобождения на этих санях он уехал из Соловков.

В Москве ему дали место в гостинице и предложили работу — делать пушку. Он отказался. Тогда ему предъявили бумажку за подписью Крыленко, что его вновь ссылают на несколько лет — теперь в Сибирь. Он — к Крыленко. Оказалось, тот такого указа не давал и бумажки этой не подписывал. И такое было...

Поддержал его Тухачевский, и по предложению Орджоникидзе Курчевский был назначен генеральным конструктором крупного завода. В его руках сосредоточился исследовательский институт с такими отделами: кавалерийским, самолетным, морским, теоретическим, отделом прицелов. Курчевскому стали давать все самое лучшее в стране. Достаточно сказать, что теоретический отдел возглавил Б. С. Стечкин, а самолетный — известный авиаконструктор Д. П. Григорович. Они понимали, что прошло время пулеметной авиации, будущее — за пушечными истребителями.

Курчевский и в своей конструкторской деятельности был разноплановым. Закончил аэросани «С-2», построил аэромобиль и несколько глиссеров. На одном из них, правда, чуть сам не утонул на Москве-реке возле Парка культуры. Оказавшиеся рядом студенты помогли вытащить судно на берег. Стоят и читают надпись на борту: «Глиссер системы Курчевского».

— А система-то неважная!

— Да, его самого бы, гада, посадить на этот глиссер! — добавил Леонид Васильевич.

И вскоре вместе со Стечкиным и Бондаренко, начальником учреждения, финансировавшего подобные изобретения, построил новый глиссер «КурБонБес» (Курчевский, Бондаренко Борис Стечкин).

Во все свои поездки и на испытания — повсюду он брал с собой жену. Она стала ему помощницей и сама многому научилась.

Я беседую с Марией Федоровной Курчевской-Станковой. Она вспоминает, как ее будущий супруг в 1919 году приезжал со Стечкиным и компанией друзей охотиться в Переславль-Залесский, где она жила в то время: «Архангельский, Микулин, два брата Кузнецовых, Стечкин, Курчевский — вся эта банда вваливалась к моим знакомым Кумашенским. Грязные, перемазанные... Машины и дороги тогда такие были, что от Москвы до Переславля раз пять камеры меняли».

Мария Федоровна с подружкой Верой нарядились в белые платья, белые туфельки, Стечкин и Курчевский подняли их на руки и, перемазав платья, закрыли в курятнике:

— Мы пойдем чай пить, а вы посидите тут!

Подружка успокоила:

— Маша, не обращай внимания — это же Стечкин и Курчевский, они всегда так! Сейчас откроют.

И действительно, бежит Стечкин:

— Мне вас жалко стало, — пожалуй, выпущу.

— Как же мы по городу пойдем в таком виде?

— А я вас сейчас отвезу!

С машинами у них было связано немало приключений.

«Стечкин в молодости медлительнее был, тише ездил, чем в старости, — продолжает Мария Федоровна, — а Архангельский, наоборот, молодой гонял сильно, старым стал медленно ездить».

Как-то Мария Федоровна с подругой были на вечере в ЦАГИ, и потом вся компания собралась поехать к Архангельскому на дачу. Подбежал Стечкин:

— Вы со мной приехали, я вас и повезу!

Подружки пошептались между собой: «Что мы с ним поедем, как с кислым молоком? Да и машина у него — ящик и четыре колеса! Архангельский — вон как здорово ездит!» И девушки договорились с Архангельским, что он подъедет к окну, и они с подоконника спрыгнут к нему в открытую машину. Не тут-то было:

Стечкин пресек их замысел в самый момент осуществления, схватив Марию Федоровну за ногу. Пришлось подругам трястись в стечкинском ящике... А у Архангельского по дороге отлетело колесо, машина врезалась в дерево, и Стечкин всю ночь развозил друзей по больницам.

«У Стечкина была домработница Маша, — говорит Мария Федоровна, — к ней «хахалы» ходили, вечно пьяные, и драки меж собой устраивали. Борис Сергеевич говорит:

— Курчевский, давно мы не дрались! — и шли драться с Машкиными "хахалями"».

А вскоре Мария Федоровна вышла замуж за Курчевского, и они поселились на Арбате, в доме № 31. Друзья часто навещали Курчевского и забирали его с собой в бильярдную ресторана «Прага». Стечкин обычно забегал после работы:

— Маруся, я дыхну, от меня не пахнет? А то домой иду, а в ЦАГИ сегодня спирт привезли. Пахнет? Придется дышать в себя!

Время было голодное, и почти каждое утро к Курчевским приходил завтракать Микулин. Александр Александрович рано облысел и в молодости иногда носил парик. Курчевский сочинил такие стихи:

Накрышкой рыжей плешь покрывши
И наведя на брови мат,
С утра не евши и не пивши,
Идет Микулин на Арбат.

Микулин не обижался, памятуя народную мудрость насчет облысения: на хорошей крыше трава не растет.

Далее герой стихотворения «перед зеркалом гарцует», входит в столовую и начинает «вкрадчивую речь»:

Дражайший Леонид Васильич,
Ты славен именем своим...

Микулин придумал новую горючую смесь и пришел к Курчевскому за советом. Тот опять ответил ему стихотворным образом:

Утилизация говна —
Вопрос давно уже назревший.
Возьми разбавь и разболтай,
А разболтавши, в бак налей

и т. д.

Микулин сперва рассердился, а потом стал хотеть...

Курчевский любил сочинять эпиграммы на своих друзей, и на него не сердились.

Перепелкин наш партийный,
Запивох первостатейный,
Пьет херес, портвейн, мадеру,
Самогонку через меру.

Этот Перепелкин возглавлял центральную автомобильную секцию, с которой были связаны друзья. Курчевский, как мы знаем, сам конструировал и строил автомобили. Сделал машину с двумя ведущими осями, на высоких колесах, причем в ней было две пары задних колес, установленных на разных уровнях по высоте. Если машина проваливалась в канаву, выручала та пара колес, что повыше. Зимой на них надевали гусеницы — по всем сугробам можно проехать. Москва дивилась необычному автомобилю. Курчевского арестовали за эту машину и продержали три дня в милиции (этот арест не в счет), пока не разобрались, кто он такой. Еще построил он полугрузовичок для охоты — в нем можно было поспать, зайца на печке изжарить, радио работало. Только телевизора не было в этом автомобиле — не дожил Леонид Васильевич. Сделал маленькую двухместную машину для жены и научил ее управлять всем, чем сам умел: автомобилем, глиссером, аэросанями... Была в их семье и четвертая машина — шестиместный американский «Линкольн», каких во всей стране почти ни у кого не было. Этот автомобиль подарил генеральному конструктору Л. В. Курчевскому Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин.

Можно представить, какой роскошью казались эти четыре автомобиля в тридцатые годы — сейчас-то машину купить не просто. Сам же Курчевский говорил:

— Вот четыре машины, а продать любую жалко. Одна — куда поехать, друзей привезти, другая — для охоты, третью — жене подарил, а четвертая — подарок Сталина — как же продавать?

Курчевский презентовал по автомобилю Стечкину и хирургу С. С. Юдину, который не раз оперировал работников его завода. От природы добрый, Леонид Васильевич и на охоту поедет — мужикам обязательно ружье или велосипед подарит. Когда Стечкина посадили в 1930 году по делу Промпартии, Леонид Васильевич помогал его семье: то на дачу вещи перевезет, то продуктов или керосину подбросит. И не подавал руки

тем, кто отвернулся от Стечкиных, когда Борис Сергеевич оказался в тяжелом положении. Таким же был и Стечкин. Годы спустя ему пришлось помогать и Марии Федоровне Курчевской, и ее подруге Кумашенской, муж которой тоже был репрессирован...

Курчевский и Стечкин часто вместе ездили на охоту и рыбалку, обоим ни в театр, ни в кино не заманишь.

— У тебя «хахаля» есть, — шутливо говорил Курчевский жене, — ты и езжай в театр. Я и его привезу, и тебя, только ты меня не трогай.

И Мария Федоровна почти всегда ездила на охоту с мужем в компании Стечкина, а часто и Юдина, над которым друзья любили иной раз незло подшутить. Курчевский сфотографировал Юдина, раскрасил карточку, вставил ее в иконный оклад, тайком повесил у Юдина на квартире да еще лампадку зажег...

Поехали к родственникам Марии Федоровны — пасха как раз была. Сели за стол, а Курчевский исчез куда-то. Вдруг репродуктор над столом возвещает: «Христос воскрес!» — и пошла молитва. Старушка мать обрадовалась:

— Ой, слава тебе, Господи, большевики за ум взяли!

— Леонид Васильевич, где вы были? — бросилась она к вошедшему в комнату Курчевскому. — Что радио сейчас говорило!

Подобную радиошутку он проделал раньше на Соловках с приехавшими туда киношниками: от имени правительства поздравил мужественных работников кинематографа, борющихся со стихией в просторах Арктики, а потом даже подсказал им послать в Москву благодарственную телеграмму...

Со Стечкиным ездили по Оке, Сосне, спиннингом ловили. Лодка у Курчевского дюралевая, с плоским дном и опускающимся килем, каютка в ней имелась. Уток и рыбы в те времена еще полно было. На Переславском озере ловили знаменитую селедку, что еще при Петре Великом туда запущена была. Сейчас разве что на правительственном уровне ее можно откусать устами лучших представителей нашего народа. Чем хитрее снасть, тем меньше рыбы. Как-то, еще в двадцатые годы, заехали в одну деревеньку поохотиться, зашли к знакомому крестьянину, а он стелет на стол клеенку с портретом Троцкого.

— Герасим, ты сегодня Марусе хорошую кочку дай! — говорит Курчевский хозяину, садясь за стол.

— Есть хорошая, — отвечает Герасим. — Однако я ее для Льва Давыдыча Троцкого припас. Он обещал приехать.

— На охоте все равны, и никаких Троцких! — сказал Курчевский.

И все ж Герасим отвез Марию Федоровну не на ту кочку:

— Только не говори Васильичу!

А она подстрелила на этой худшей кочке тринадцать уток, Троцкий же на своей, лучшей, только семь. И сидел за столом насупленный, мрачный, явно недовольный компанией. В довершение всего, когда поехали в Москву, Курчевский говорит Стечкину:

— погоди, я его хоть запылю как следует, за то, что он меня в Соловки упек! — И рванул впереди Троцкого на мотоцикле, только пыль столбом!

К Герасиму ездили часто. Как-то после охоты оставили недоеденную банку шпрот. Входят в избу Косиор и Крыленко — тоже здесь охотились. Бросились к банке — два дня голодные сидели. Деревню эту как раз раскулачивали, есть в ней было нечего, да и не смели большие начальники просить есть, бабы с жалобами замучили бы. Потому приезжали ночью, а утром потихоньку исчезали...

Курчевский возвращался с охоты не только с трофеями — иной раз приведет собаку бродячую или кошка у него на плече сидит. Однако любовь к животным не убивала охотничьей и инженерной страсти. Застреленного зайца обязательно распотрошит, посмотрит, какая убойность. Винтовка у Курчевского маленькая, самодельная, из других ружей не стрелял. А таких, как у себя, сделал несколько штук и подарил членам правительства.

Те не раз присутствовали на полигонах при испытаниях нового оружия. Сталин и Молотов постоянно интересовались работами Курчевского. Однажды день государственных испытаний совпал с открытием охоты, чего Курчевский никак не хотел пропускать.

— Пусть без меня испытывают!

Артачился, но все-таки поехал на аэродром, а жене сказал:

— Ты приезжай за мной с собаками, я на банкет не останусь, сразу уедем на охоту.

Мария Федоровна так и сделала. Пока муж занимался со своей системой, предназначенной для испытаний, она сидела в ангаре рядом с Орджоникидзе, приняв его за Сталина. Григорий Константинович долго смеялся, когда она назвала его Иосифом Виссарионовичем...

«Был там еще летчик Сузи, — рассказывает Мария Федоровна, — хулиган такой! Он после испытаний говорит мне:

— Мария Федоровна, давайте я вас над озером покатаю!

Летаем мы с ним, чувствую, меня что-то вдавливают в сиденье, и нехорошо становится. Показываю ему: вниз. Садимся, к нам бегут. Я выхожу, еле жива:

— Хорошо, хоть мертвых петель не делали!

А Орджоникидзе говорит:

— Тринадцать штук сделали!»

Курчевский и Стечкин разработали целую серию систем, предназначенных для вооружения сухопутных, авиационных, танковых и морских сил. Некоторые из этих систем стояли на вооружении наших войск. Наиболее значительное их изобретение — безотказные динамореактивные пушки.

...На крыльях бомбардировщиков в воздух поднимались четыре истребителя — два И-16 и два И-15, а в небе их сопровождал новейший истребитель-моноплан конструкции Григоровича. Под крыльями этого самолета были две необычные пушки — динамореактивные, 76-миллиметровые! В 1935 году ни один истребитель в мире не имел такого мощного вооружения. У пушек почти не было отдачи: пороховые газы выходили через специальное сопло. Испытывали пушки летчики Звонарев и Сузи.

...Звено истребителей под командованием Т. П. Сузи провело мощный пушечный удар по наземным целям. Ни один снаряд не вышел за пределы круга диаметром в 30 метров. Стрельба велась в присутствии Ворошилова, Орджоникидзе, Тухачевского. Курчевский сиял...

Есть фотография: хохочущий Курчевский в комбинезоне с орденом Красной Звезды — тогда еще редко у кого из конструкторов ордена были — стоит

у танка, напрочь искореженного динамореактивной пушкой. Что же это за пушка такая?

Она состояла из нарезного ствола, затвора с реактивным соплом и патрона с картонным дном и запалом, расположенным по окружности гильзы. Над этим оружием Курчевский и Стечкин начали работать еще в конце двадцатых годов. Первый вариант пушки Леонид Васильевич установил на одной из своих легковых автомашин.

Было у него и реактивное ружье собственной конструкции и даже маленький реактивный пистолетик, который он подарил жене, — потом, правда, его украли на Кавказе.

«Была пушка — такая большая, в лесу стояла, а все равно видно ее, — рассказывает М. Ф. Курчевская-Станкова. — А когда я видела в музее «Катюшу», вспомнила: сидит дома Курчевский и чертит:

— Вот будет на страх врагам стрелять!

Такой же точно фасон... В Свердловске на одном из военных заводов сейчас отведена отдельная комната под системы Курчевского».

Курчевский и Стечкин намного опережали свое время. Они понимали, что грядущая война потребует качественно нового оружия. По указанию И. В. Сталина институту Курчевского оказывали максимальную поддержку. Был построен новый истребитель ИП с самыми крупнокалиберными в истории авиации пушками Курчевского. В начале и середине 30-х годов изготовили несколько сотен таких пушек, и они были хорошо известны командному составу Красной Армии. Однако в 1936 году работы Курчевского были резко сокращены, а в 1937 году полностью прекратились.

Выдающийся создатель отечественных артиллерийских систем Василий Гаврилович Грабин рассказывал мне, что конструкторское бюро завода № 38, которое занималось ствольной артиллерией, отдало создателям динамореактивных пушек (ДРП). Затем, поняв, что без обычных классических пушек в будущей войне не обойтись, бросились в другую крайность, упразднив ДРП. Война показала, что нужно и то, и другое. Страна экспериментировала и училась на ошибках.

Созданные позднее, в 1937—38 годах, под руководством Ю. А. Победоносцева, И. И. Гвая, А. П. Павлен-

ко авиационные пусковые реактивные установки успешно применялись нашими летчиками в боях на Халхин-Голе. В марте 1941 года всем троим была присвоена Сталинская премия второй степени «За изобретение по вооружению самолетов», а в июле, когда уже шла война, за новое оружие (это была «Катюша») Иван Исидорович Гвай был награжден орденом Ленина, а А. Г. Костикову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В этих постановлениях и указах, к сожалению, не значились фамилии Курчевского и Стечкина — последний снова оказался за решеткой, а Леонида Васильевича уже не было в живых.

...Озорной, как и Стечкин, Курчевский к тому же обладал острым языком. Предлагают ему явиться на заседание Совета Труда и Оборона, он говорит:

— Заседайте без меня, так ведь одни партийные!

А для таких высказываний толкователей хватало.

Он и в Кремль иной раз въезжал без пропуска, пугая охрану. Но Сталин высоко ценил Курчевского. Конструктор часто приезжал на Кавказ поохотиться и жил на своей персональной даче в Гагре недалеко от дачи Сталина на Холодной речке. Однажды он узнал, что охота запрещена, населению велено сдать оружие.

— В связи с приездом товарища Сталина, — пояснил Васо, председатель местного общества охотников.

— Это наверняка здешние дураки придумали, — сказал Курчевский и тут же сел писать письмо: «Иосиф Виссарионович, я приехал в отпуск, хотел поохотиться, но узнал, что ввиду Вашего приезда в Гагринском районе охота запрещена. Прошу Вашего разрешения...»

— Что ты делаешь, зачем пишешь? — пыталась остановить его жена. Но письмо было отправлено, и ночью к их даче подъехала машина. Вошел чекист:

— Где Курчевский?

— Я Курчевский.

— А чем вы докажете, что вы Курчевский?

— Чем я без штанов докажу? Сейчас оденусь, доставлю документы.

Чекист вручил письмо Сталина, в котором говорилось, что о запрещении охоты ему ничего не известно, а Курчевского он просит к нему на Холодную речку завтра к 12 часам.

Утром Леонид Васильевич нашел Васо:

— Собирайся, поедешь со мной, будешь свидетелем насчет охоты.

На самодельном вездеходе они отправились к Сталину.

— Васо, ложись вниз, чтоб охрана не видела!

На Холодной речке пробыли около шести часов. «Такой гостеприимный хозяин, — рассказывал потом жене Курчевский, — угощал вином, перепелами, спрашивал подробно про мои работы».

Мать Сталина Екатерина Георгиевна узнала, что приезжали гости на необыкновенной машине, и вскоре к Курчевскому явился чекист с просьбой показать автомобиль. Старушка долго с любопытством лазила по машине... Интересная была женщина. Когда она впервые приехала в Тбилиси, ходила по магазинам и удивлялась привычной для всех грубости продавцов. А всюду висели портреты ее сына.

— И с этими людьми он хочет построить коммунизм! — громко говорила она.

Очередь испуганно отводила глаза.

— Сколько же нужно времени, чтобы эти животные стали людьми!

Летом должны были состояться государственные испытания оружия в присутствии Сталина и Ворошилова. Курчевский говорит Васо:

— Поезжай в Сочи и достань билеты на Москву!

Васо уехал и пропал. Явился через несколько дней:

— Друга встретил, он пригласил меня в Пицунду — как можно другу отказать, послушай!

В Москву опоздали, но испытания все-таки провели.

У конструктора сложились дружеские отношения с М. Н. Тухачевским. Были случаи, когда Леонид Васильевич, игнорируя наркома обороны К. Е. Ворошилова, обращался со своими делами к Тухачевскому. Эта связь оказалась роковой для Курчевского. Да, видимо, и не только эта...

«С Томским он играл в бильярд, — говорит Мария Федоровна, — меня с собой брал. Томский был порядочный человек, но подсмеивался над порядками. К нему приехали чекисты обыски делать. Он пошел к воротам, сына послал за спичками, а сам застрелился. Сперва не знали, как его хоронить — с почестями или без. Решили никак не хоронить. Завернули в ро-

гожку и закопали под террасой. Блюменталь-Тамарин играл похоронный марш...»

Курчевский тоже все критиковал — от Ворошилова («пустое место») до заводской столовой («всякой дрянью кормят»). На заводе он никогда не обедал. Утром дома съест миндальное пирожное, а на работе у него ваза с конфетами стояла. Любил сладкое, ни одного кондитерского магазина не пропускал. И чай пил — все удивлялись: полчашки чая, полчашки сахара. Детям конфеты раздавал, взрослым — изобретения: «Мне некогда этим заниматься, продвигайте сами как свое!»

«В 1937 году мы жили на «Аэропорте», — продолжает Мария Федоровна. — Пришли двое. Дают ему бумажку какую-то, он протягивает мне:

— Смотри, Маша, новое дело!

Он в комбинезоне, руки грязные, в мазуте, только с работы. Хотел пойти в ванную, они схватили его за руки, не пускают, говорят, будто у нас в ванной «адская машина» стоит. Забрали его. Потом целая орава прибежала за его машинами, стали покрывки таскать, мастерскую разбирать. Часы его кто-то стянул со стола... Многие радовались: барина забрали — порядок! Потом в нашу квартиру вселили чекистов, а мы с матерью стали жить в двух комнатах... Наверное, это было страшное вредительство в органах безопасности...»

Пушки конструктора сняли с вооружения Красной Армии. «Образцы вооружения, подобные «Батальной пушке Курчевского» (БПК), — говорит его помощник полковник-инженер Глухарев, — встречались среди трофейного оружия, взятого у немцев во время последней Отечественной войны. На вооружении армии США стоят динамореактивные пушки типа тех, над которыми работал в свое время Курчевский».

Кто конкретно оклеветал Курчевского — неизвестно. Известно другое: сам Курчевский никого за собой не «потянул», никто больше не был арестован по его делу. Рокоссовского в армии уважали не только за то, что он великий полководец...

Во время ареста Курчевского на столе лежала записка И. В. Сталина — чекисты обходили ее стороной, боясь даже с места сдвинуть. Да еще оставались несколько талонов на бензин, датированные июнем 1937

года, по которым уже ни одна заправка не выдаст горючее, да страничка из блокнота с бланком «Инженер-конструктор Курчевский Л. В.» — на ней записан телефон Стечкина: Д-3-17-66. По этому телефону теперь тоже не позвонишь...

Через месяц арестовали и его жену. За ночь в одну из камер Бутырской тюрьмы собрали многих жен — ЧСИРов, членов семьи изменников Родины. Привезли, в чем были — в халатах, в домашних туфлях. Вызывали в ЖЭК и оттуда увозили.

«Мне еще повезло, — говорит Мария Федоровна. — Чекист какой-то сознательный был, подсказал взять с собой что-нибудь. Дождик был, я пальтишко захватила — на свое счастье. Домой больше не вернулась. Ввалили нас в общую камеру, на голые нары, ни подушки, ни одеяла. Ляжешь — повернуться нельзя. А кого позже привезли, того под нары, на кафед. В это время милиция переходила на новое обмундирование, и многим женщинам выдали старую милицмейскую форму — шинель и буденновки. Идут по коридору — и смех, и грех!

Со мной там оказалась жена директора Госбанка, красавица невероятная, она еще была любовницей известного драматурга, его тоже посадили. Крутилась там среди начальства:

— У моего мужа никогда не было денег. Он всегда у меня на папиросы брал...

Я ей говорю:

— Слушай, Нонна, а вдруг нас вышлют, что ты будешь делать?

— Я могу теннис преподавать и хором руководить.

Ей 10 лет дали — не как жене, свое «дело» получила. Я ее как-то встретила, не узнала. Как тетка из деревни...

Там были две женщины — лифтерша и сторожиха, их по ошибке взяли, фамилии совпадали.

— Ой, куды ж мы попали? Тут онны барыни сидят! Вот у енттой муж — летчик, чевой-то навредил, а у енттой, в голубой кофте, директор банка, банк обворовал, стало быть. Онны барыни!

Мария Федоровна пыталась узнать у следователя о судьбе мужа:

— В чем его обвиняют?

— Вас это не должно интересовать.

— Но ведь я его жена.

— Ах да... В контрреволюционной деятельности.

— Думаю, что у него были более интересные дела, чем заниматься контрреволюцией. Он строил пушки...

— Значит, не так строил, как надо, — уверенно ответил следователь и написал: «О контрреволюционной деятельности. Л. В. Курчевского ничего не знала и знать не могла». — Подпишитесь!

Подписалась. Дали восемь лет лагерей.

— Что, ЧСИРы, собрались в этап? Так вам и надо! — ухмылялись охранники.

— У вас ведь тоже, небось, жены и матери есть, — не выдержала одна из женщин.

— Ну, до этого мы их не допустим!

«Привезли нас в Акмолинск, — продолжает М. Ф. Курчевская-Станкова. — В переводе на русский это значит «Белая могила». Там уже бараки были настроены с нарами. Два года нам не давали переписки. Шел разговор о том, что выйдет решение всех нас расстрелять. Потом разрешили 2—3 раза в год писать письма. Но никаких ответов не было. Начальник говорит:

— Значит, вас никто не хочет признавать!

Сколько слез было...

Сидели там одни женщины, приспособивались, кто как умел. Я видела, как Курчевский мастерил, все делал руками, всю жизнь в комбинезоне ходил, это было у него вроде формы. Я видела, как он паял, и сама в лагере сделалась слесарем. Охранники так и обращались ко мне:

— Эй, жестянщик! Сделаешь мне чайник?

Я распоролла какой-то чайник и по этим образцам сделала. Потом даже медицинские скальпели точила. Стала косы, серпы набивать. Брошу серп, а он ломается. Вспомнила, как Курчевский со Стечкиным говорили о какой-то «масляной закалке». Через начальство выпросила в гараже отработанное масло, и все у меня нормально стало получаться. А сначала-то и чай не из чего было пить. Самое тяжелое было идти на снегозадержание или за камышом, но я туда не ходила, потому что специальность приобрела. Мне женщины говорят:

— Тебе хорошо, у тебя муж изобретатель, ты у него научилась.

А я-то до этого машинисткой была... Сами строили больницу, детский сад, ведь многих в Бутырке забрали с грудными детьми, три года прошло — нужен детский сад. А потом детей увозили... Я кровати детские чинила, и дети меня называли «Степка-растрепка».

В парикмахерской набрала волос, сшила из старой юбки валенки, а весной, когда таять стало, проволокой столярные полосочки прикрутила.

Нас тысяч десять было, по четыреста человек в бараке жили. Выжило тысячи две. Были зимние ночи, когда по двести — триста человек выносили обмороженных.

Люди всякие были — врачи, инженеры. Одна женщина решительная была, всем правду резала. Исчезла. Было немало тех, кто доносил в надежде выслужиться.

Когда началась война, к нам, женщинам, мужчин прислали, «доходяг» — больных, умирающих. Женщины все-таки лучше мужчин умеют приспособиться, чего-то изобретут, а мужчины помирают. «Доходяги» не работали, и пайка у них не было. Один из них меня спрашивает:

— Марусенька, кто такой Киров?

— А чего тебя это интересует?

— Ну как же? Я ведь его убивал, за это и сажу.

У кузнеца спрашиваю:

— В чем тебя обвинили?

— Ездил в Германию, а потом сказал: "Уж больно там порядки хороши!"»

...Мария Федоровна реабилитирована, получила справку по форме № 30 за подписью председателя Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенанта юстиции Чепцова, ей выдали 1200 (!) рублей за конфискованные в 1937 году четыре автомобиля и охотничьи ружья, предоставили квартиру на Ломоносовском проспекте. Полностью реабилитирован по-смертно и ее муж. Ей вручили свидетельство о смерти № 884177, в котором сказано, что Леонид Васильевич Курчевский умер 12 января 1939 года в возрасте 49 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти (город, селение) — прочерк, район — прочерк, республика — прочерк...

Обстоятельства его смерти до сих пор не известны.

— У него была такая изобретательная натура: был бы жив, он бы к кому угодно пробился и доказал свое!

Легенды ходили о нем не только при жизни, но и после смерти. Во время войны ученики Курчевского пытались продолжить его работы, и, когда у них ничего не выходило, на завод стали привозить человека, которого от всех скрывали, и никто его так и не увидел в лицо. Среди инженеров возникло предположение: не Курчевский ли. Товарищам очень хотелось, чтоб он был жив...

В свое время Курчевский предложил топливо на случай войны — брикеты из соломы. И уже в войну отец Марии Федоровны прислал ей в лагерь письмо на имя мужа о том, что его изобретение рассмотрено, признано полезным и ценным, и автору следует обратиться туда-то... А изобретателя давно не было на свете.

Есть документ конца 50-х годов, который приведу полностью.

«В Центральный музей Советской Армии.

Настоящим сообщая, что Л. В. Курчевский хорошо известен мне по совместной работе. Я работал заместителем Курчевского по научной части на заводе № 38 в период около 1933—35 гг., когда Курчевский был руководителем и главным конструктором завода. Курчевский является изобретателем и создателем реактивно-динамических безоткатных пушек. Им созданы и были сданы в эксплуатацию пушки АПК — для авиации, БПК — для пехоты и противотанковое ружье. В виде опытной пушки была пушка «12» для миноносца, из которой мне пришлось стрелять с миноносца. Реактивно-динамические пушки были созданы Курчевским и вошли в войсковую наземную и воздушную эксплуатацию. После ареста Курчевского работа над пушками прекратилась, я уже не работал с Курчевским, и сейчас судьба их мне не известна. В Америке в послевоенное время реактивно-динамические пушки появились и существуют и теперь. Вообще Курчевский был изобретатель и имел целый ряд изобретений: аэросани, вездеходы и другие. Все свои силы и знания он отдавал своей работе и своим изобретениям, рассматривая эту работу не как личное дело, а как работу на нашу Родину. Как я знаю, Курчевский не был коммунист, но был величайший патриот и честный советский работник. Будучи по своему образованию и кругозору, а особенно

по остроте ума много выше окружающих его людей, Курчевский пользовался уважением и невольно вызывал восхищение своим умом. Уникальная теоретическая работа по теории реактивно-динамической пушки могла бы и теперь служить примером классической работы в артиллерии (где эта работа, изданная сов. секретно, мне не известно).

Мне кажется, что мы должны сожалеть, что Курчевский закончил свою жизнь в тюрьме вместо того, чтобы плодотворно работать на благо нашей Родины. Считаю, что Л. В. Курчевский, как изобретатель боевого вооружения для Красной Армии, достоин быть показан в Центральном музее Вооруженных Сил.

Академик Б. С. Стечкин».

Что к этому добавить? Нечего.

ПОСАДИЛИ ПО ДЕЛУ «ПРОМПАРТИИ»...

...В январе 1930 года в наших газетах рядом с заметками о поисках пропавшего в Арктике американского летчика Эйельсона, заявлениями начальника советской поисковой экспедиции Б. Г. Чухновского и заслуженного летчика М. М. Громова, выразившего желание принять участие в поисках, мелькнули заголовки: «Чистка советского аппарата», «Очистим наш аппарат от лжеспециалистов!»...

2 января «Правда» пишет: «Если старое чиновничество есть зло, которое мы временно вынуждены еще терпеть, то злом, абсолютно нетерпимым, являются лжеспециалисты в нашем аппарате». Газета сообщает о том, что в Наркомфине экономистом числится бывший контролер двора Николая II граф РаSTOPчин. Техник Марчевский, не имея специального образования, выдает себя за инженера, старается устраивать на технические должности административно-ссылных, тоже не имеющих образования. Некий Розенблюм растратил 10 тысяч рублей и был исключен из партии в Луганске, а вскоре оказался в Харькове на посту референта пушно-сырьевой конторы Госторга.

В «Правде» от 10 января 1930 года читаем: «Отдельные участки аппарата ВСНХ еще не приспособлены к высоким темпам социалистического строительства. Необходима перестройка (!) руководящего штаба промышленности в соответствии с требованиями реконструктивного периода. Широким смотром аппарата ВСНХ изгоним вредителей, бюрократов и лжеспециалистов».

20 января: «Осуществляем ленинский завет о массовом контроле рабочих над госаппаратом. Модельщик ГЭЗ тов. Садовников слева — днем на заводе; справа он же — вечером на проверке Наркомфина УССР».

О настроении страны можно судить по заголовкам: «Генеральная чистка партии заканчивается», «Нет плохих заводов, есть плохие руководители!», «Освободить страну от импорта бумаги», «Книгу вместо водки», «Нет жестокой борьбы за скот», «Страна недополучила 500 000 тонн угля», «Вступая в партию, будем работать, как тов. Сталин», «Решительно прекратить перегибы в отношении середняка», «17 боевых самолетов — красному воздушному флоту. Самолет № 1 — "Наш ответ китайским белобандитам"», «Украинская контрреволюция перед советским судом», «Дело "Союза освобождения Украины"», «Петлюровцы в рясах», «Главной опасностью продолжает оставаться правый уклон».

«Правда» выходит на грубой, шероховатой бумаге, еще без единого ордена перед собственным названием.

Все эти заголовки и статьи — пока прелюдия, арт-подготовка. И вот — с 26 ноября 1930 года «Правда» начинает печатать большие материалы: «Агенты французского империализма и Торгпрома перед пролетарским судом. Дело "Промышленной партии"».

Читаем: «Интервенты были бы хозяевами положения. Они рассчитывали, что нэп «переродит» советскую власть...»

Председатель особой сессии Верховного суда Вышинский и Государственный обвинитель Крыленко ведут подробные допросы обвиняемых.

Вышинский (подсудимому Чарновскому): Ваша роль была в замедлении металлоснабжения и создания кризиса в металлопромышленности?

Чарновский: ЦК (Промпартии. — Ф. Ч.) стремился к этому, и я вместе с ним.

Крыленко: В плановом вредительстве вы участвовали?

Чарновский: Мы давали только вредительские директивы.

...В материалах мелькают фамилии Рябушинского, Милукова, Пуанкаре. «Вредительское строительство фабрик... Мечты о министерских портфелях... Рамзин

увеличивает от ответа... Промпартия — собиратель и руководитель вредительской работы... Меньшевики формируют французский генштаб...»

Крыленко задает вопрос руководителю Промпартии подсудимому Рамзину:

— Какие же были еще записки специального характера, имеющие прямое отношение к обороне?

Рамзин: Относительно обороны была записка профессора Стечкина о техническом состоянии авиации. Правда, здесь сведений военного характера не было, потому что Стечкин ими не располагал, а было только техническое освещение положения авиации в смысле типа применяющихся аэропланов, в смысле мощности моторов и т. д.

Крыленко: Ясно, что если Стечкин не располагал сведениями, касающимися военной авиации, то сведения, касающиеся авиации вообще и моторов, описания технического оборудования имели ценность или нет?

Рамзин: Я думаю, что имели ценность, но сведений относительно количества военных аэропланов, насколько я помню, в этой записке не было.

Крыленко: А по чьему требованию была составлена эта записка?

Рамзин: Она была составлена по просьбе господина Р.

Крыленко: Когда он просил о составлении этой записки, он чем-нибудь мотивировал ее необходимость... или это было ясно само по себе?

Рамзин: Это было ясно само по себе, поскольку в планах военных действий при интервенции были и воздушные атаки, и поэтому мне казалось естественным, что требуются такие сведения... Наши искания в этом направлении не привели к результатам, а единственным результатом была записка профессора Стечкина. Так как он сведениями военного характера не располагал, он мог дать только технические сведения.

Крыленко: Эти технические сведения относительно мощности и силы моторов относились одинаково к военной и гражданской авиации?

Рамзин: Я, как неспециалист, не знаю этого — не знаю, насколько отличается военная авиация от гражданской. Мы спросим об этом Калининкова (профессор. — Ф. Ч.).

Крыленко: Вы подтверждаете, таким образом, что вы получили задание от Р., а не от Торгпрома. Это во-первых. Во-вторых, что первое требование было о сведениях, о состоянии и силах военной авиации. В-третьих, что записка была составлена. В-четвертых, что записка отправлена. Эти факты вы подтверждаете?

Рамзин: Записка была передана мною лично... Последнее поручение касалось вопроса относительно организации авиабазы... Кажется, площадки для приземления аэропланов, соответствующие знаки и т. д.

Крыленко: Это требование от кого исходило?

Рамзин: Это требование было последнее, которое я получил от господина Р. уже в конце 1929 года.

Крыленко: Выполнение этого требования тоже было поручено?..

Рамзин: ...Борису Сергеевичу Стечкину, который совместно с другими работниками работал в области авиации. Ими была составлена записка, причем эту записку получил Калинин, а потом она была переслана по назначению.

Крыленко: Значит, тут мы тоже имеем исполнение?

Рамзин: Да.

Целый месяц печатаются материалы о процессе Промышленной партии.

В них говорится, что эта организация вела преступную работу, создавая кризис в отдельных областях промышленности и углубляя экономические затруднения, что она стремилась захватить власть, поставив во главе страны технократов. Судили восьмерых руководителей Промпартии. Пять из них, в том числе ее глава, директор теплотехнического института профессор Высшего технического училища Рамзин, были приговорены к расстрелу. Потом их помиловали. Рамзин некоторое время находился в заключении в бывшем здании ресторана «Черный лебедь», недалеко от академии Жуковского. Там ему предоставили возможность работать, и он со своей группой создал принесший ему известность прямоточный котел высокого давления и стал лауреатом Сталинской премии, Героем Социалистического Труда.

Как видно из судебных протоколов, Рамзин дал

показания о том, что Стечкин выполнял поручения Промпартии. Борис Сергеевич был арестован с группой профессоров и инженеров, фамилии которых не значились в приговоре. Кто-то из сверхбдительных работников Центрального института авиационного моторостроения приложил руку к его аресту. Беспартийный, а начальник института. К тому же дворянское происхождение...

Как и ко всем явлениям жизни, Стечкин подошел к своему аресту философски, спокойно и хладнокровно пошел за чекистами. У него был необыкновенный подход к жизни. Он не понимал, что значит «трудно» или что такое «скучно». Однако, когда его привезли в Бутырскую тюрьму, жизнь сперва показалась ему сложной: он попал в одну камеру с двадцатью уголовниками. Один попытался его шантажировать. Борис Сергеевич спокойно и весело врезал невежде по физиономии. Больше к профессору не приставали.

Его допрашивали по сорок часов подряд. Слепя в лицо яркой лампой, не давали заснуть. Менялись следователи, но он ничего не подписал. Ему припомнили: «А на броневичке в 1917 году ездили?» Это когда они вдвоем с Курчевским пытались отбить Кремль у большевиков...

И тогда, и в дальнейшей жизни Стечкин полностью отрицал свое участие в Промпартии. Мало говорил об этом аресте и объяснял его так: «Виновата бильярдная... Меньше болтать надо было».

Он имел в виду бильярдную в ресторане «Прага», куда частенько захаживал поиграть и где собирались нэпманы, бывшие белогвардейцы и другая социально невыдержанная публика. Там он мог что-нибудь не то сказать. К тому же, как вспоминал его друг авиаконструктор А. А. Архангельский, у «Праги» всегда находились какие-то личности, с которыми Стечкин считал необходимым подражаться.

Конечно, это был необычный профессор.

Стечкин говорил, что суд над ним был дутый, все притянуто за волосы, фикция. Однако о самом Рамзине он всегда отзывался почему-то не лестно.

— Насчет Рамзина все было правильно, — говорил он, — а многих он оклеветал совершенно беспочвенно.

В этом деле и поныне есть неясности, но хуже всего бросить на человека незаслуженную тень вины. Те, кто

попал в тюрьму по делу Промпартии и с кем мне удалось поговорить, считали, что помимо борьбы с откровенными вредителями и противниками нового строя процесс преследовал еще одну цель: заставить интеллигенцию определиться и работать на Советскую власть, к которой у нее, видимо, душа не лежала.

Рамзину, конечно, хотелось иметь у себя такую фигуру, как Стечкин, и в своем правительстве он отвел ему портфель министра авиации. Но с Борисом Сергеевичем никто этого не обсуждал. Единомышленники Рамзина оговаривали на процессе и непричастных к Промпартии ученых — или под давлением следствия, или чтобы не дать возможности им работать на Советы. Стечкин был осужден на три года, но непричастность его к организации Рамзина была выяснена, и через год, в конце 1931-го, он был досрочно освобожден со снятием судимости.

Процесс вызвал бурю откликов за рубежом, в том числе и среди ученых. Эйнштейн выступил с критикой Советского государства, но позже, ознакомившись с документами процесса и письмами Рамзина, отказался от своих прежних заявлений по этому вопросу.

Фамилия Стечкина то появлялась, то исчезала в списке членов редколлегии ежемесячного журнала «Техника воздушного флота», где он сотрудничал с 1927 года по разделу «Моторостроение». Журнал издавался под председательством П. И. Баранова — начальника Управления ВВС. Редактором был Н. М. Харламов, отдели вела Н. М. Брилинг, В. Ю. Гитис, С. И. Макаревский, Б. С. Стечкин, Н. И. Шабашев, Н. И. Шпанов. Стечкин значился в этом списке до № 11 за 1930 год и вновь появился в 1933-м.

В 1931 году ему исполнилось сорок лет. Сохранилось письмо С. А. Чаплыгина, написанное к 40-летию Стечкина, когда он был в заключении. Сергей Алексеевич, естественно, нигде не мог его опубликовать, и оно обнаружено в архиве.

«Борису Сергеевичу Стечкину.

Вы, уважаемый Борис Сергеевич, являетесь одним из создателей ЦАГИ и состоите в числе его руководителей с его основания.

С самых первых дней революции отдавая ЦАГИ все свои знания, творческую инициативу и силы, являясь

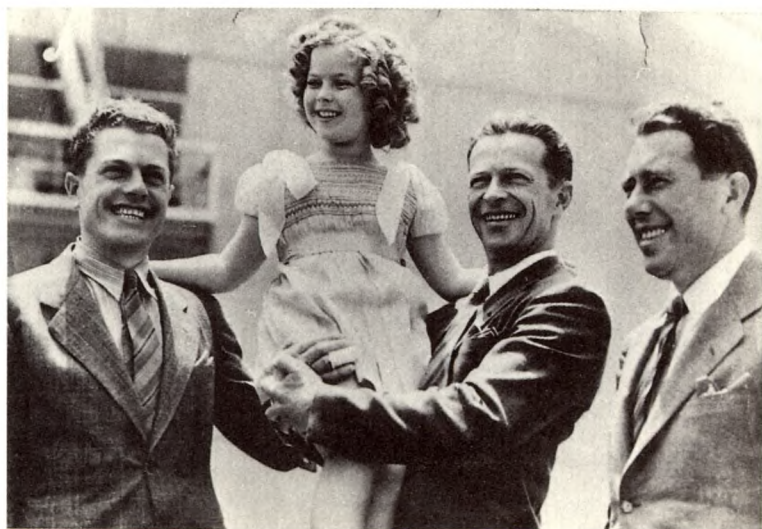


Летчик номер один М. М. Громов.

М. Громов первым из советских летчиков был награжден высшей авиационной наградой — золотой медалью Анри де Лаво. А вторым стал Юрий Гагарин. Открытка 1937 года.



М. Громов и его товарищи с официальной хозяйкой приема в Голливуде юной актрисой Ширли Темпл (впоследствии — дипломат, помощник президента Р. Рейгана). Лос-Анджелес, 1937 год.





Они установили мировой рекорд, пролетев без посадки через Северный полюс в Америку: М. Громов, С. Данилин, А. Юмашев. 1937 год.

М. Громов и его второй пилот А. Юмашев у макета АНТ-25. 1946 год.





Он был эталоном в небе... М. Громов. 1937 год.

Легендарный экипаж: С. Данилин, М. Громов, А. Юмашев. 1937 год.





Корифей летных испытаний. М. Громов. 1940-е годы.



Два испытателя. В. Коккинаки и М. Громов. 1970-е годы.



М. Громов, Г. Байдуков
и А. Юмашев на фронте.



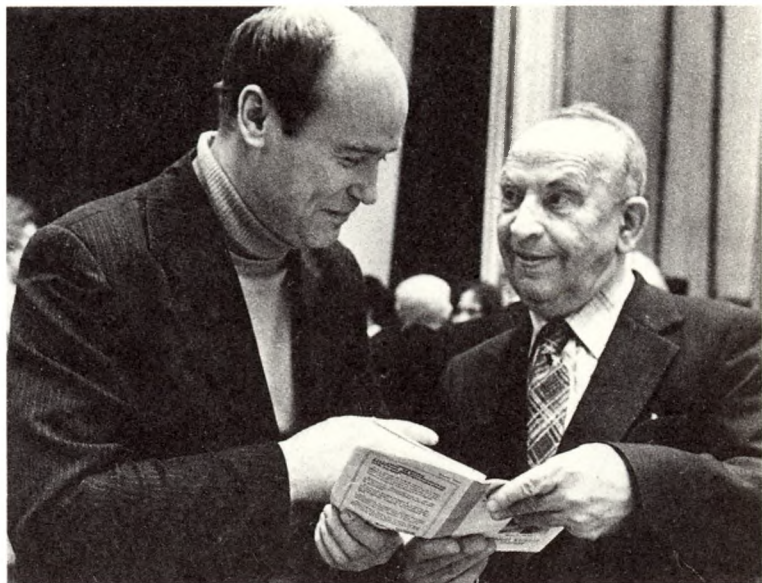
Г. Байдуков, В. Чкалов, А. Беляков. Остров Удд, 1936 год.



М. Громов и А. Юмашев
в Третьяковской галерее.
1940-е годы.



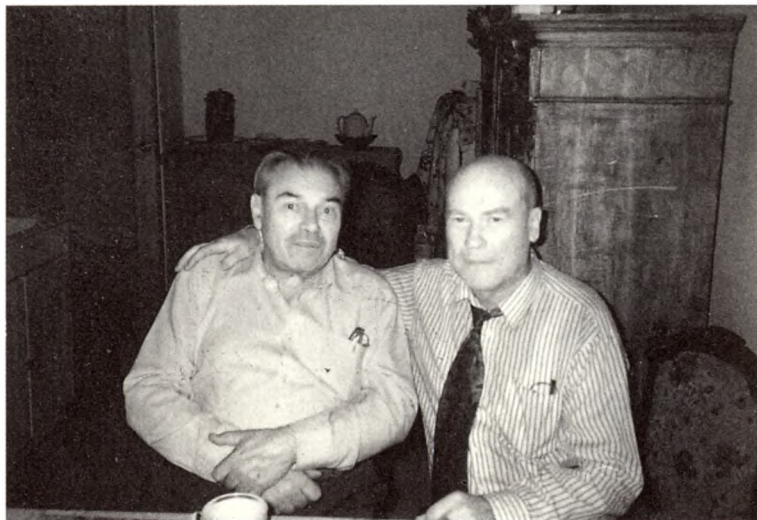
Г. Байдуков. 1983 год.



Г. Байдуков и Ф. Чуев в Центральном Доме литераторов. 1983 год.



М. Громов, С. Данилин, В. Коккинаки, А. Беляков, Г. Байдуков, В. Чкалов. 1938 год.



Слева — приемный сын Сталина Артем Сергеев. 10 сентября 1997 года.

Похороны В. М. Молотова. Ноябрь 1986 года. Третьим в ряду несет гроб Артем Сергеев.



Яков Джугашвили перед войной.



Яков Джугашвили в немецком плену.
1941 год.





Сталин с дочерью Светланой. 1930-е годы.

Василий Сталин.





Генеральный конструктор Л. В. Курчевский. 1930-е годы.



Опытный вариант пушки Л. В. Курчевский установил на своем автомобиле. Начало 1930-х годов.

Л. В. Курчевский и председатель Совнаркома СССР В. М. Молотов на полигоне.



Академик Борис Сергеевич Стечкин. Помните фильм «Все остается людям» и Николая Черкасова в роли профессора Дронова?



Наше правительство «не готовилось к войне». К. Ворошилов, С. Орджоникидзе и В. Молотов (стоит спиной) на испытаниях новой пушки Л. Курчевского (в комбинезоне). 1937 год.





Вспоминая прошлое... Б. Стечкин и А. Туполев. 1960-е годы.

Б. С. Стечкин с великим С. А. Чаплыгиным. 1920-е годы.



крупнейшим специалистом по моторам, Вы своей работой в этой области весьма способствовали укреплению обороноспособности Советского Союза и развитию его промышленности.

С. Чаплыгин».

Читал ли это письмо Стечкин? Скорей всего нет. Однако отметим этот благородный, мужественный жест великого русского ученого С. А. Чаплыгина по отношению к своему достойному коллеге.

Такие люди, как Чаплыгин и Архангельский, хорошо относились к Стечкину и его семье не только тогда, когда он был в зените славы. Ну а иных осуждать, видимо, не следует, ибо на земле не все люди высшей пробы.

Стечкин продолжал работать и в заключении. Было создано Особое конструкторское бюро, подобное тому, что возникло на вилле «Черный лебедь», где работал Рамзин. К сожалению, на свободу Борису Сергеевичу удалось вынести только отдельные страницы своих записей, да еще при освобождении он на прощание стащил несколько нужных ему технических журналов из библиотеки ГПУ (ГеПЕУ), как он говорил).

Особое конструкторское бюро помещалось на Никольской — между аптекой и кукольным театром. Здесь Стечкин и профессор Брилинг, тоже осужденный по делу Промпартии, проектировали ФЭД-8, тысячесильный авиационный двигатель с 24 цилиндрами. «Макет его стоит в авиационном музее в Монино, — говорит А. А. Добрынин, тоже принимавший участие в этой работе. — Почему макет? Часто бывает так: возьмут в музей двигатель, а для пола он тяжеловат — выбрасывают. Я дважды собирал коллекцию карбюраторов, и оба раза в металлолом».

Стечкин работал в ОКБ специальным консультантом по различным проектам, разработкам, наброскам. Обычно он подходил к доске, смотрел, что нарисовали конструкторы.

— Ага, это такой узел... Давайте поглядим... А вот здесь надо бы вот так...

Администраторы и чекисты его слушали и следили, чтобы все его указания выполнялись точно. От Стечкина здесь требовали только практические вещи —

моторы, и в этом смысле арест сильно помешал его прежней теоретической работе.

Под руководством Стечкина профессором Брилингом, инженерами Бессоновым и Тринклером были спроектированы, построены и прошли стендовые испытания быстроходные авиационные дизели ЯГГ, ПГЕ, КОДЖУ, завершён тысячесильный ФЭД-8 (два первых двигателя названы по инициалам начальника тюрьмы и куратора-чекиста, третий — Коба Джугашвили, в честь И. В. Сталина, четвертый — в честь Ф. Э. Держинского).

Создание новых четырех типов двигателей силами небольшой группы в очень сжатый срок и в заключении, наверное, можно назвать подвигом.

Иногда друзьям и сослуживцам, для которых известие об аресте Бориса Сергеевича было большим ударом, удавалось навещать его по служебным делам. Дважды бывал у него М. М. Масленников — вызывали из ЦИАМа, привозил нужные чертежи инженер В. С. Апенченко...

В ОКБ Стечкин очень сдружился с Николаем Романовичем Брилингом. На свободе они часто спорили, «цапались» по научным вопросам, а здесь стали дружно работать. В 1931 году им предложили заняться газовыми турбинами.

— Мы вдвоем не справимся, — сказал Стечкин, — надо бы Уварова сюда пригласить, он в этом деле неплохо соображает.

И Владимиру Васильевичу Уварову незамедлительно пришло приглашение от чекистов. Нет, не постановление об аресте, но он перепугался, посоветовался с отцом. Тот сказал: «Сходи посмотри, не обязательно ведь посадят!»

А основания для страха были. В Промпартии оказалось немало преподавателей родного МВТУ. Когда об этом стало известно, в училище провели собрание теплотехнического цикла, на котором выступавшие требовали смертной казни Рамзина и его сообщников. И все проголосовало «за». Все, кроме Уварова. Рука тяжелая-тяжелая. Не смог ее поднять. Воздержался.

— Почему? — спросили из президиума.

— Видите ли, сегодня в газетах написано, что дело Рамзина передается в суд. Я не знаю всех обстоятельств дела, а советскому суду целиком и полностью

доверяю и под его приговором заранее подписываюсь, — ответил Уваров.

После собрания к нему подошел секретарь парткома МВТУ Г. М. Маленков:

— Вы не проголосовали за смертную казнь вредителя Рамзина. Чувствуете, в каком вы положении сейчас оказались? В ногах у борющегося класса!

— Да, положение незавидное, — согласился Уваров. — И от одного, и от другого классов пинков не оберешься! Но я же сказал, что доверяю советскому суду — чего же мне ломиться в открытые двери?

А вскоре арестовали многих преподавателей из числа голосовавших за смертную казнь. Уварова не тронули. А он переживал еще и потому, что вместе с арестованным теперь Брилингом, который в 1923 году был у него руководителем дипломного проекта, устроился на работу в Теплотехнический институт, где директорствовал Рамзин. Брилинга-то как раз обвинили в том, что он это сделал, чтобы быть поближе к Рамзину.

...Я встречался с В. В. Уваровым, и он рассказал мне, что в двадцатые годы в МВТУ было немало антисоветски настроенных профессоров. Уваров готовил дипломный проект по паровым турбинам и остался без руководителя, потому что профессора Ясинского за враждебную деятельность выслали за пределы страны, а профессора Астрова расстреляли. Больше специалистов по турбинам почти не было, как и самих турбин — лишь одна крутилась в Петрограде. Но Уваров знал, что в свое время ими занимался Н. Р. Брилинг, и явился к нему с поклоном. Тот пошел навстречу дипломнику. А теперь и Брилинг арестован.

Все эти обстоятельства Владимир Васильевич, конечно, вспомнил, получив повестку. Но что поделаешь — пришлось идти. Предъявил пропуск и прошел в кабинет начальника Особого конструкторского бюро на Никольской. Ноги сразу утонули в толстом мохнатом ковре. Вдоль стен висели модели самолетов и кораблей. Начальник сидел за столом в кресле, курил сигару — настоящую «Гавану». Указал Уварову на свободное мягкое кресло.

— Владимир Васильевич, мы бы хотели вас пригласить к себе на работу.

— Но я ведь работаю в Теплотехническом институте...

— А сколько вы там получаете?

— Триста рублей.

— Фи, как мало! Мы вам сразу пятьсот положим. А потом, глядишь, еще добавим.

— А зачем они мне нужны? — ответил Уваров. — На них все равно ничего не купишь.

— А мы вам дадим возможность купить, — загадочно улыбнулся начальник.

«Каков подход! — подумал Уваров. — Просто сверхъестественный барин! Неужели это коммунист?» И ответил:

— Мне надо подумать. Ведь у меня важная работа в Теплотехническом институте.

Уварова провели к Стечкину. Борис Сергеевич не посоветовал ему переходить на постоянную работу в это ОКБ:

— А то привыкнут к тебе, тут и оставят.

Уваров стал консультантом и несколько раз приезжал по просьбе Стечкина на Никольскую делать сообщения о газовых турбинах.

После освобождения в конце 1931 года все ОКБ продолжало вместе трудиться и на свободе. Окрепли возникшие на Никольской взаимные привязанности. Стали дружить семьями Стечкины и Добрынины...

Заслуженнаго Профессора
Н.Е.Буковскаго

П Р О Ш Е Н І Е .

Покорнѣйше прошу оставить при Высшемъ Техническомъ Училищѣ для занятій авіаціонными моторами окончившаго въ этомъ году курсъ Бориса Сергѣевича СТЕЧКИНА. Борисъ Сергѣевичъ во время своего пребыванія въ В.Т.У. занимался авіаціонными двигателями, состоя нѣсколько лѣтъ механикомъ и инструкторомъ по дѣлу авіаціонныхъ моторовъ при Авіаціонныхъ Курсахъ Управленія Военнаго Воздушнаго Флота учрежденныхъ при В.Т.У.

Какъ спеціальный проектъ въ Государственную Экзаменационную Комиссію Стечкинъ представилъ изобрѣтенный имъ вмѣстѣ съ техникомъ А.А.Мякулинымъ оригинальнаго типа авіаціонный моторъ, проектъ котораго былъ одобренъ Управленіемъ Военнаго Воздушнаго Флота и выполненъ по его заказу.

Въ настоящее время Б.Стечкинъ исполняетъ въ Расчетно-Испытательномъ Бюро Управленія Военнаго Воздушнаго Флота должность инженера по моторному дѣлу, и состоитъ помощникомъ завѣдующаго винто-моторной группы Экспериментальнаго Института Путей Сообщенія, для котораго проектируетъ камеру низкаго давленія для испытанія работы мотора на большой высотѣ. Этотъ важный вопросъ авіаціоннаго дѣла до сихъ поръ остается открытымъ.

Привлеченіемъ къ В.Т.У. инженеръ-механика Б.Стечкина оно бы выиграло въ полученіи спеціалиста по авіаціоннымъ моторамъ и расширило бы средства полнаго проектированія летательныхъ машинъ.

Заслуженный Профессоръ *Н. Шугубовъ*
12-го октября 1918 г. *Приморскъ С. Магидъ*

«ЛИССАБОН»

...Летний отпуск 1937 года Стечкины провели на Днепре, в селе Триполье, что пониже Киева. Борис Сергеевич каждое утро просыпался до зари, шел к реке, забрасывал спиннинг. Изредка закидывал сеть — тогда это еще разрешалось. Но больше любил спиннинг, и в то лето произвел фурор среди местных рыбаков, вытащив невероятных размеров щуку.

Осенью, вместе с основной работой в ЦИАМе, он продолжал преподавать в «Жуковке» и МАИ, читая курс теории центробежных нагнетателей...

В декабре Стечкина арестовали. Произошло это второго числа, за три дня до всенародного праздника — первой годовщины Сталинской Конституции.

Сперва его уволили из ЦИАМа. Сохранился приказ по Народному Комиссариату оборонной промышленности № 368 от 3 ноября 1937 года:

«§ 1. Проф. Стечкина Б. С., заместителя начальника ЦИАМ по научно-технической части, освободить от занимаемой должности согласно личному заявлению.»

§ 2. Инженера Урмина Е. В. назначить заместителем начальника ЦИАМ по научно-технической части.»

*Народный комиссар оборонной промышленности
М. Каганович».*

Авиаконструктор А. С. Яковлев так пишет об этом периоде: «Сталин очень болезненно относился к нашим неудачам в Испании. Его неудовольствие и гнев обратились против тех, кто совсем недавно ходил в ге-

роях, осыпанных вполне заслуженными почестями... Арестовали и группу работников ЦАГИ во главе с начальником ЦАГИ Николаем Михайловичем Харламовым. В чем только их не обвиняли!.. Многие неудачи тогда объяснялись вредительством. Обрушилось подгнившее деревянное перекрытие цеха на одном из самолетостроительных заводов — вредительство. Гибель Чкалова 15 декабря 1938 года на истребителе Поликарпова И-180 — вредительство! За это поплатился начальник ГУАП Беляйкин, директор опытного завода, где был построен самолет И-180, Усачев и заместитель Поликарпова Томашевич. Как же обстояло дело в действительности?

Производственные мощности наших авиазаводов, созданных за две первые пятилетки, обеспечивали массовый выпуск самолетов, моторов, приборов. Уровень авиапромышленности в целом был достаточно высок. Промышленность давала армии необходимое количество боевых самолетов. Но все дело в том, что самолеты эти были отчасти устаревшими, отчасти не такими, каких требовала война».

В трудных условиях училась летать страна. «Обрушилось подгнившее деревянное перекрытие...» Да сколько раз оно уже обрушивалось и продолжает обрушиваться на нас и поныне! Тогда, перед войной, не разбирались, почему оно обрушилось — от вредительской ли руки или потому, что привыкли думать: столько лет держалось и еще продержится!

Уже в другую эпоху несколько лет тренировались наши космонавты на давно отработавших ресурс самолетах, пока не погиб Гагарин...

А тогда были и роковые стечения обстоятельств, как с самолетом Поликарпова И-180. На первом экземпляре этой машины погиб Чкалов, на втором — Сузи. На И-185 того же Поликарпова погиб Степанчонок. Имена-то какие, три выдающихся сокола! Невольно приходила мысль о вредительстве, которого тоже хватало. А Сталин работал на результат и ошибку, наносящую вред государству, не прощал даже близким друзьям. Мне рассказывали артиллеристы, как позднее, в 50-е годы, их коллеги заплатились за плохо сделанную пушку. «И правильно сделал Сталин, что посадил нас, — говорил потом маршал артиллерии Н. Д. Яковлев, — пушка на самом деле неважной оказалась».

Психология соответствовала эпохе.

...На одном авиационном заводе делали моторы, на другом — винты. Когда их стали соединять, оказалось, что винты не садятся на шлицы. И крупная партия, да во время испанских событий. ЦИАМ имел к этому отношение. Арестовали группу работников. Стечкин почувствовал, что над ним снова собираются тучи. Уволили с работы.

— По второму кругу пошли, — сказал он Урмину, пришедшему на его место в ЦИАМ.

«Стечкин — ведь он мухи не обидит, — говорил А. А. Микулин, — а ведь кто-то состряпал на него «дело» в ЦИАМе». Вспомнили арест 1930 года и то, что в семье родственников его жены Шиловых часто бывал «враг народа Пятаков»...

Вечером 2 декабря, когда вся семья была дома в Кривоникольском, в дверь позвонили. Перед этим слышно было, как под окнами остановился автомобиль. Маленькая Ира спросила вошедших:

— Дяденьки, а вы меня прокатите в машине до угла?

Спокойно, без тени раздражения, как и в 1930 году, ушел Стечкин, взяв с собой приготовленные вещи. Сохранилась «Опись вещей з/к Стечкина». Приведем ее полностью с сохранением орфографии:

1. Лезвия для безопасной бритвы 9 шт
2. Ниток 2 катушки
3. Зубной порошок 1 коробка 1 зубная щетка
4. Мундштук 1 шт трубка 1 шт
5. Записная плац массовая книжка 1 шт
6. Резинок 1 пара
7. Меникюрные ножницы
8. Шнурков для ботинок черн 2 пары
9. Коричн 1 пара
10. Фотокарточек разных 10 шт
11. Две вещивых квитанции № 10473 и 6038
12. Денежных квитанций пять штук на сумму (пятьдесят один) 51 р. 86 к.
13. Мыло туалетное 1 кусок.

В 1930 году обыск в квартире делали при нем, а сейчас без него, и каждую бумажку прощупали, перевернули. Конфисковали охотничьи ружья...

Когда закончилось следствие, семье, как и в 1930 году, разрешили свидания. Только в 30-м обстановка была довольно свободной: в комнате собиралось человек 10—12, взрослые разговаривали, дети рядом играли. Теперь же Ирина Николаевна с детьми ездила в Бутырки, куда Бориса Сергеевича привозили из Тушина. Здесь все было по-иному. Стол. По одну сторону — Борис Сергеевич, по другую — жена с детьми. Во главе стола — охранник. «Дайте мне!» — говорит он, когда Ирина Николаевна хочет передать мужу фотографию. Из рук в руки уже нельзя.

Иногда Ирине Николаевне звонил следователь — Борис Сергеевич в это время сидел у него в кабинете. И тогда Стечкин говорил с женой по телефону, просил прислать нужные книги. Так удалось передать ему первый том учебника высшей математики Чезара.

Когда Стечкина арестовали, в ЦИАМе, как было принято тогда, состоялся митинг. Один из сотрудников института (не будем называть его фамилию, он здоровствует и с большим почтением относится к Борису Сергеевичу) выступил с речью:

— Я давно чувствовал, что Стечкин — вредитель, но теперь понял, что он — настоящий враг!

Не будем осуждать этого сотрудника, тем более что вскоре его тоже арестовали — припомнили связь с троцкистами и документ, подписанный с теми людьми, с кем не следовало подписывать. В тюрьме он встретился со Стечкиным, и Борис Сергеевич не упрекнул его. Что думал — неизвестно. Да и не одинок был этот сотрудник. Но иные отстаивали на собраниях своих товарищей, в невиновности которых были убеждены.

Люди бывают трусливые и смелые. Какие бы еще оттенки ни прослеживались в их характерах — это так. А тяжелые испытания проявляют в человеке основное.

...Сроки еще не объявляли. Когда привезли Туполева, многие решили, что его скоро освободят, и их всех вместе с ним. Стечкин и тут оказался мудрее и прозорливее:

— Легче нам всем дать сроки, чем его освободить! — сказал он.

...В Бутырской тюрьме собрали человек 80 из разных камер и огласили постановление Особого совещания при наркомвнудел Ежове. С некоторыми случилась истерика, кто-то упал, один на костылях стоял — стал костыли ломать. Читают, вручают квиточек: слушали дело, постановили: заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет по подозрению в шпионаже.

«Распишитесь!»

«Разве по подозрению можно сажать? По подозрению ведется следствие!»

«Вы недовольны? Через шесть месяцев можете обжаловать. А не хотите — не расписывайтесь».

Туполеву — пятнадцать лет, Стечкину — десять...

Было бы неправильным в жизнеописании Бориса Сергеевича делать упор на его аресты. Он сам не любил об этом вспоминать. Будем и мы сдержанны. Но и совсем умолчать нельзя, ибо в эти суровые отрезки жизни проявилась стечкинская сила характера, его умение вынести обиду и горе, не озлобиться на жизнь и людей. Но не только это побуждает не опустить в биографии Стечкина горькие времена. Борис Сергеевич и в новом заключении сделал много ценного и полезного для Родины и ее обороноспособности. «Отец не был жертвой культа личности. Он был великим техником, а не жертвой», — говорил его сын профессор Сергей Борисович Стечкин.

Жизнь Стечкина славно трудами, а не арестами. И что очень важно, оба раза он выходил на свободу с новой специальностью. В 1931 году — это мощные моторы, лопаточные машины, в 1943 — реактивные двигатели.

Стечкин был излучателем, а не поглотителем. Первый директор московского планетария К. Н. Шистовский предлагал называть планеты, в отличие от светил, «темнилами». Среди людей, наверно, тоже есть светила и темнила. От Стечкина исходил свет, его любили и уважали даже тогда, когда он спокойным тоном говорил довольно неприятные вещи. Говорилось это для того, чтобы в конце концов выяснить, где путь к истине и как надо работать. Собеседник после таких слов не только не становился маленьким, но и вырастал в собственных глазах, чувствовал, что он куда больше, чем есть на самом деле. И что немаловажно,

люди, которые были со Стечкиным в тюрьме, продолжали так же хорошо к нему относиться и потом, на свободе.

Это была великая личность, которая влияла на окружающих людей, и будем говорить о его трудах, о свете, который исходил от него, а не о муках и переживаниях, выпавших на его долю. Кто-кто, а он мог сказать: «Ах, сколько я сидел! И тогда-то, и тогда-то...» Но не говорил.

...Берия заявил на Политбюро, что, если ему дадут возможность, он создаст организацию из арестованных ученых и инженеров, которая будет работать не хуже наших вероятных противников в войне. Такую возможность ему дали, и при Наркомате внутренних дел СССР было создано Особое техническое бюро.

Одним из тех, кто там работал, был известный конструктор авиационных дизелей А. Д. Чаромский. Сейчас у метро «Аэропорт» в его честь висит мемориальная доска. В этом доме я был в гостях у Алексея Дмитриевича, и он рассказывал мне: «В самом начале Особого технического бюро, когда решался вопрос о помещении, основной коллектив некоторое время находился в известном москвичам здании на Лесной улице в одной общей комнате Бутырской тюрьмы. Не было ни справочников, ни инструмента, дозарезу была нужна логарифмическая линейка. Борис Сергеевич подсчитал значения логарифмов, а Александр Иванович Некрасов помнил наизусть значения синусов и тангенсов. Из кусочков картона, неизвестно как раздобытых, сделали логарифмическую линейку, и некоторое время она служила, пока бюро не получило настоящие линейки и нужные справочники».

Был в ЦИАМе работник из НКВД по кличке Умойся Грязью, безграмотный, беспутный, но любивший командовать. Приехал большой начальник, Умойся Грязью водит его по камерам, показывает:

— Вот бывший профессор Стечкин.

Начальник возмутился:

— Что значит — бывший профессор?

Невольно вспоминается кадр из сатирического кинофильма «Каин XIX», где король (артист Эраст Гарин) говорит разжалованному профессору: «Идите, студент!»

Обижаться на судьбу и на таких Умойся Грязью

было бессмысленно, да и некогда. Надо было трудиться. Работа развернулась в Тушино, куда перевели ОКБ в 1938 году. В Тушино они жили и работали на территории огромного авиационного завода в длинном одноэтажном коттедже и в корпусе, построенном в виде самолета, где помещался дирижаблеучебный комбинат. За планировку корпуса кое-кому влетело: с воздуха нетрудно было догадаться, какого типа предприятие тут помещается. Ветераны завода помнят, как заключенные ученые и конструкторы выходили в перерыв отдыхать, как Туполев, разминаясь, бросал камешки вверх. Его узнавали и смотрели с недоумением...

Поньше у заводских корпусов растут деревья, посаженные Стечкиным, Туполевым, Чаромским...

Когда стали решать, чем конкретно заняться собранным в бюро специалистам, они обратились к Стечкину:

— Борис Сергеевич, организуйте дело, а мы будем осуществлять одну из ваших идей.

Стечкин не согласился. Видимо, он считал, что в этих условиях есть люди, более способные к организаторской работе, и стал руководить малой группой по проектированию нагнетателей. Его приглашали на обсуждение всех объектов, разрабатываемых и у двигателюв, и у самолетчиков, которыми руководил Туполев.

«В коллективе специалистов Особого технического бюро, — говорит А. Д. Чаромский, — в работах которого принимали участие выдающиеся конструкторы и ученые Андрей Николаевич Туполев, Владимир Михайлович Петляков, Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко, Александр Иванович Некрасов, Владимир Михайлович Мясищев, Иван Иванович Сидорин и многие-многие другие высококвалифицированные специалисты нашей страны. Борис Сергеевич был общепризнанным авторитетом, с ним советовались, консультировались по многим вопросам, возникающим при разработке проектов, а их было немало».

Вместе с А. Д. Чаромским Стечкин работает над авиационными дизелями М-30 и М-20. Под руководством Бориса Сергеевича и инженера Георгия Николаевича Листа был спроектирован и построен осевой компрессор для дизеля М-30. Это был первый осевой

компрессор для наддува авиационного дизеля. В бюро не было ни установок для продувки лопаток, ни сложного оборудования для обеспечения высокого коэффициента полезного действия проточной части, поэтому КПД осевого компрессора в первом варианте получился ниже, чем у центробежного нагнетателя. Надо было делать улучшенный вариант, и специалисты знали, как его построить, но специфика бюро, а потом и военная обстановка не позволили довести этот агрегат до внедрения в серию.

Стечкин считал, что ключом к решению задачи по созданию мощного газотурбинного двигателя является именно осевой нагнетатель с высоким КПД. Назывался он «НО» — нагнетатель осевой. Стечкин конструктивно разработал схему, сделал чертежи и направил проект в НКВД, чтобы решить вопрос о создании группы для проектирования газотурбинного двигателя — подобных тогда еще нигде не было. Этот документ сохранился:

«Народному комиссару Внутренних дел СССР Л. П. Берия от арестованного Б. С. Стечкина. ОТБ № 3. 15.2.1940 г. Рукопись на 5 страницах чернилами, приложение — расчет 4 страницы».

Ответа не последовало, и проблема не получила разрешения.

Сотрудники надоедали Стечкину: «Борис Сергеевич, напишите еще, не молчите!» — «Что писать? Значит, признали проект не заслуживающим внимания».

Он был напористым в решении технических проблем, но не был силен в борьбе с чиновниками, тем более в таких условиях, понимая, что на это уйдет немало сил и времени. Еще ранее он отправил Берии письмо о техническом перевооружении Красной Армии, предлагая конкретные меры, чтобы поднять нашу армию на тот уровень оснащения, который был достигнут только после войны, а нашим противником — к ее середине. Тоже не было ответа.

«Все основные вопросы решались у Берии, — вспоминает Константин Адамович Рудский. — Мы имели по работе все, что хотели. Нас не били, не истязали. Мы были нужны как специалисты, и к нам сравнительно неплохо относились. Кормили хорошо. И у нас было все в смысле технического снабжения, что было

очень важно, ведь мы под руководством В. П. Глушко впервые начали строить жидкостные реактивные двигатели. Активное участие принимал Борис Сергеевич Жирицкий, Мордухович работали с нами. Потом с Колымы приехал Королев. Его Глушко взял к себе для организации испытаний двигателей на самолетах. Мы с Сергеем Павловичем были на Колыме, но в разных местах. Правда, у меня был «детский» срок — восемь лет. А Королев на Колыме был на самых тяжелых работах — рыл золото, жил в ужасном бараке. Его по ошибке туда направили, скорей всего. Но и там прошла тщательная, с большим отбором регистрация специалистов, работавших ранее в авиации, и всех, кто оказался в этих списках, вскоре перебросили в Москву. Так я попал в это ОТБ. А на Колыме работал по специальности. Зимой там весь транспорт остановился — «зашились» со свечами. Я раньше в ЦИАМе занимался форсажем при наддуве и сразу понял, в чем дело. Кто-то заслал туда много некондиционных авиационных свечей. Я подогнал этим свечам тепловую характеристику, сделал прокладки, задерживающие тепловой поток, и так попал в число ведущих специалистов. Выдали мне пропуск для проезда по всей Колыме. Мы испытывали машины, организовывали лабораторию для исследования карбюраторов при -60° , то есть были курицами, несущими золотые яйца. Борис Сергеевич очень заинтересовался этой работой».

«Потом и среди вольнонаемных инженеры стали появляться, — рассказывает С. М. Млынарж. — Раньше они были в роли надсмотрщиков, а потом, когда присмотрелись... Сперва они были страшно напуганы. Даже те, кто не верил, что мы враги, считали, что, конечно, мы в чем-то виноваты. И осторожничали, чтобы самим не попасть. Но вскоре они стали относиться к нам, как к своим товарищам, тем более, что мы очень хорошо вместе работали. И когда мы их просили узнать о наших родных, близких, люди, подвергая себя и свои семьи опасности, делали все для нас. Поняли, что никаких враждебных актов с нашей стороны нельзя и предполагать. Так мы и жили».

Реже бывало, когда кто-то из вольнонаемных хотел выслужиться, сделать себе карьеру. По заданию Берии начали разрабатывать новый проект, и куратор Д., бывший циамовский работник, решил нажить себе по-

литический капитал, раздуть «дело». Он уговорил парторга смежного завода подтвердить, что чертежи, которые посылают на этот завод для технологической обработки, никуда не годятся, составлены вредительски. Вскоре об этом узнали заключенные, и Стечкин с Чаромским поехали к Берии и рассказали о стараниях Д.

— Да, он мне уже докладывал, — сказал Берия.

— Мы считаем, — заявил Стечкин, — что, если подобные действия будут повторяться, мы, несмотря на всю тяжесть нашего положения, прекратим работу и готовы идти в лагеря. Это наше общее мнение.

Берия немного подумал и сказал:

— Забудьте об этом.

Потом нажал кнопку:

— Вызовите Д.!

Вызвали — он оказался рядом.

— Убрать его к... матери! — сказал Берия.

Сие означало, что вскоре этот Д. сидел в подвале без портупей, избитый и окровавленный. Ишь ты, под носом у главного куратора бюро, у самого товарища наркома проявил сверхбдительность, то есть усомнился в работе органов! Через год в ОТБ получили от него письмо с дальнего Севера: плакался, нельзя ли хоть сторожем вернуться?

Берия частенько вызывал Стечкина для консультаций по научным и техническим делам. Перед каждой такой поездкой товарищи просили добиться каких-нибудь поблажек или устранить что-то, мешающее жизни и работе. И прежде чем начать деловой разговор, Стечкин всегда выкладывал претензии товарищей. Берия удивлялся: не может быть, он впервые об этом слышит! Но каждый раз все исполнял. Так Стечкин добился прогулок для значительной части заключенных, лишенных этой привилегии.

Одна из просьб для внешнего мира могла показаться несерьезной. В жаркий летний день тушинские общежитейцы сняли рубашки, майки и стали загорать на солнышке. А по тюремным правилам этого делать не полагается. Да и нежелательно, чтоб кое у кого были видны следы побоев, нанесенных во время следствия. Прибежал начальник, разорался. Об этом и рассказал Стечкин на очередном приеме у Берии.

— Что за дурак такой! — возмутился Лаврентий Павлович.

Начальник тюрьмы был немедленно снят.

— Как живешь? — обычно спрашивал Берия в начале разговора, как бы желая подчеркнуть свои заботливость и внимание.

Борис Сергеевич вспоминал:

— Скажешь «хорошо» — плохо, скажешь «плохо» — тоже плохо.

Однажды Стечкин поставил вопрос о питании.

— Что, вас плохо кормят? — изумился Берия.

— Может, и не плохо, — ответил Стечкин, — но очень уж однообразно: котлеты и пюре, пюре и котлеты. У нас даже волейбольная команда называется «Пюре».

Тут же было отдано распоряжение возить еду из ресторана «Советский». Два дня возили, потом прекратили. Но голодать — никто не голодал. Даже в войну, хоть не изысканно и, может, не очень вкусно кормили, но по 800 граммов хлеба в сутки давали, а также масло, сахар, — жить можно. Те, кто работал на заводе, скажем в группе Королева, получали еще дополнительный паек, которым делились с товарищами. Но о еде думалось мало.

Однажды Стечкин напрямик спросил у Берии:

— За что я сижу? Разве я враг?

— Какой ты враг? Если б ты был врагом, я бы тебя давно расстрелял! — ответил народный комиссар внутренних дел.

У Берии был племянник инженер Винокуров. Он изобрел новый двигатель, и Лаврентий Павлович пригласил Стечкина проконсультировать родственника. И сам присутствовал при этом, глядя, как они разбирали чертежи.

— Ну и как? — спросил он Стечкина.

— Крутиться будет, работы давать — нет, — ответил Борис Сергеевич.

Берия развел руками.

Всегда, когда Стечкина просили обратиться к Берии с просьбой о помощи, он говорил:

— Ну что ж, я все-таки с ним знаком!

...В 1939 году в Тушино появился новенький. Вошел в комнату, осмотрелся: все сидят, курят. Он стоит, не понимает, куда попал.

— Москва? — спрашивает.

— Москва, — ответил человек в лаптях и с котомкой — будущий академик Глушко.

— Курить есть? — с западным акцентом продолжал вошедший.

Чаромский протянул ему пачку папирос.

— Можно трубка набивать? — спросил новенький.

— Можно.

Он достал маленькую трубочку и, аккуратно разламывая папиросы, не просыпав ни крошки табаку, набил ее.

— Откуда вы? — спросил Королев.

— Я — Швейцария, фирма «Зульцер».

— А где были?

— Вятлаг.

— И что делали?

— Лес пилил.

Чувствовалось, что незнакомец не решается о себе распространяться — кто знает, что тут за народ собрался.

— Лес пилил? Ну и как, хорошо работал? — заинтересовался Стечкин.

— Хорошо! — обрадовался швейцарец. — Норму перевыполнял!

— Значит, стахановец, — сделал вывод Глушко.

— Эк не есть стахановец. Я был рекордист.

— И долго работал? — спросил Королев.

— Два дня работал, потом болел.

Общий хохот потряс комнату. Ульрих Келлер, так звали швейцарца, инженер-наладчик, главный конструктор фирмы «Зульцер», объездил чуть ли не весь мир. В 1936 году фирма предложила ему поехать поработать в США.

— Я там был, — сказал Келлер.

— В Африку?

— Тоже был.

— В Советскую Россию.

— О, там я не был.

Поехал он в СССР, в город Николаев на завод «Марти», и там его быстренько арестовали по обвинению в шпионаже и оформили в Вятку. Из дома ему приходили письма, он показывал своим новым знакомым фотографии жены, детей, собственной двухэтаж-

ной виллы... Забегая вперед, скажем, что после освобождения Келлеру так понравилось у нас, что он принял советское подданство и работал по специальности в Ленинграде.

А сейчас новые коллеги повели его ужинать. Еда роскошная, без ограничений, не то что в Вятлаге. Келлер жадно съел отбивную котлету.

— Хотите еще?

— Да, я буду кушать.

Хлеб и сахар прямо на столах лежали — он берет, прячет по карманам.

— Ульрих Ульрихович, не надо, еще чай вечерний будет, — говорит ему Стечкин.

— Я немножко.

С точки зрения быта и питания они были, конечно, в привилегированном положении. Даже своих помощников-вольнонаемных подкармливали. Живы люди, которым помогал Стечкин. «Приду на работу, а Борис Сергеевич мне всегда сахарку даст:

— Маня, ты же ведь голодная!»

Он всегда понимал несладкость жизни и старался помочь другим. Еще до создания бюро группу заключенных послали грузить рыбу:

— Стáщите хоть одну рыбину — расстрел!

А все были голодные. Стечкин все-таки рискнул. Принес рыбу для больного товарища...

В Тушино и спортом занимались. Создали три волейбольные команды: «Скоросшиватель» (в честь игрока, который быстро и много ел), известную нам «Пюре» и еще одну — с малоприличным названием. В первое время было особенно важно придумать какие-то развлечения, коль начальство не запрещало. На завод их сначала не водили, газет почти не было — изредка привозили из Бутырской тюрьмы. Обитатели коттеджа сами устроили в своем дворике спортивную площадку, играли в волейбол, соревновались в беге, причем особый интерес вызывали состязания между высоченным бородачом профессором-металлургом Иваном Ивановичем Сидориным и маленьким, юрким Иваном Сергеевичем Зарудным. Пат и Патшонок! Зрители умирали со смеху, когда главный судья соревнований Борис Сергеевич Стечкин вручал обоим гра-

моты. Одну из таких самодельных, любовно нарисованных на ватмане спортивных наград я видел у А. Д. Чаромского:

«ДИПЛОМ

выдан товарищу Алексею Дмитриевичу Чаромскому — победителю в соревнованиях по дек-теннису.

Главный судья *Б. Стечкин*.

Секретарь *Владимиров*.

18 июня 1939 года».

Смысл игры в дек-теннис, или палубный теннис, заключался в том, что на небольшой, разделенной пополам площадке один игрок руками перебрасывал на другую половину резиновое кольцо, стараясь, чтоб оно упало на землю — очко!

Летом один товарищ уснул во дворе завода, и о нем забыли. А вечером, когда тюрьму закрыли, он проснулся и стал стучать в ворота, чтобы его впустили. Был переполох, но приняли назад, в тюрьму...

Стечкин был не только главным судьей соревнований — его товарищи и поныне помнят, как он в Тушине на турнике «солнышко» крутил. Все это было отдушиной, чтобы не поддаться моральному гнету. Хотя и говорят, что нельзя со всеми быть хорошим, почему-то, может, за редким исключением, Стечкина любили все. Это ощущается и многие годы спустя, и трудно найти человека, который к нему относился хотя бы с прохладцей. Что сказал Борис Сергеевич, как он подумал, для всех было важно, и товарищи тоже старались его чем-то развлечь, сделать приятное. Зимой стало скучно. Бега и волейбол прекратились, — правда, газеты стали почаще привозить. «Ну, все надоело», — сказал Стечкин. Кто-то вспомнил, что он был заядлым бильярдистом. Но где достать бильярд? На тушинском заводе был хороший директор — Сергей Николаевич Жилин. Пошли к нему, уговорили. И он привез бильярд, да настоящий! Стечкин, вспомнив молодость, играл с большим увлечением, радовался победам, кричал проигравшему: «Лезь! Лезь!» Играли на «подстол», и Борис Сергеевич не раз заставлял пролежать на четвереньках то Королева, то Чаромского, но порой и ему приходилось совершать эту процедуру.

Реже играл в шахматы, причем два на два, а однажды научил товарищей такому шуточному приему:

— А вы умеете играть с конем в кармане? Нет? Давайте покажу!

Каждый из соперников начинает партию без одного коня, которого в любой момент можно поставить на любую клетку, и об этом нужно помнить, что значительно усложняет игру.

И в домино Стечкин играл с большим азартом:

— Что это за игра? Это игра такая: есть кость — ставь, нет кости — стучи!

В любое подобное мероприятие втравить его было нетрудно. Как-то сказал:

— Вот бы в преферанс сыграть!

Но карты были строжайше запрещены. Где их достать? Только нарком мог разрешить, но у него просить не хотелось. А друзья уже решили доставить удовольствие Борису Сергеевичу.

В Тушино люди были одаренные по-разному, и художники неплохие попадались — так нарисуют сторублевку, от настоящей не отличишь. Аркадий Сергеевич Назаров, которому общество поручило изготовить карты, взял два листа ватмана, с одной стороны на них сделал крап черной и красной тушью, а на другой изобразил карты. Две отличные колоды получились, правда не атласные, но вполне подходящие. Запечатали их в пакетики из кальки, заклеили тузом — все, как полагается. Получились почти как фабричные.

Денег сотрудникам ОТБ на руки не давали. Основную часть жалованья переводили семье, а небольшую долю оставляли на так называемую «лавочку», где можно было выписать мыло, щетку, зубной порошок. Одеколон уже нельзя — алкоголь. Приходит дежурный и спрашивает, что кому нужно.

И вот решили разыграть Стечкина:

— Сыграем в преферанс, Борис Сергеевич?

— А откуда карты?

— Выписали через «лавочку».

— Что вы говорите! И вам разрешили?

— Только не надо об этом распространяться. Нам в виде исключения. А то все захотят.

Сели за стол в рабочей комнате, чертежную доску с кульманом повернули так, чтобы прикрыть окошко с глазком в дверях. Хоть и после работы, а все равно, вдруг дежурный увидит?

— Где же карты? — спросил Стечкин. — Черт возьми, хорошие карты, — сказал он, распечатав колоду. — Хорош...

И Борис Сергеевич осекся на полуслове. Бубновый король получился не очень удачно — видно, что нарисован. Карты, выпав из рук, рассыпались.

— Ах вы, дьяволы, обманули меня!

Тем не менее два вечера компания успешно провела за преферансом. А на третий, когда Стечкина не было, попались. Дежурный увидел карты у Николая Алексеевича Колосова, бывшего главного инженера моторного завода:

— Отдайте!

Колосов отказался. Дежурный — другой бы не постеснялся — не стал в комнате обыскивать, увел к себе. Колосов карцер заработал. Потом еще генерал вызвал, прочел нотацию, что чуть ли не государственное преступление совершено.

Ночью в камере свет тушить не положено, должна гореть яркая лампа. Но многие плохо спали, и начальство пошло навстречу — вкрутили под потолком обычную, к тому же синюю. Но и она мешала. Стали думать, как от нее избавиться. Выключатель в коридоре, а там дежурный. Параллельный выключатель в камере? Но как его проведешь?

Осенило Г. Н. Листа. Кальку для чертежных работ наматывали на деревянную палку. Эту палку и решил использовать Григорий Николаевич. А Стечкин посоветовал вырезать из ватмана конус по диаметру лампочки и укрепить его на конце палки. Если встать на кровать, то можно дотянуться палкой с конусом до лампочки, повернуть ее на четверть оборота и тем самым выключить. Так и сделали после отбоя. Вскоре дежурный заметил в окошко, что в камере нет света. Вошел:

— В чем дело?

— Перегорела, наверно.

Отвернул, не стал смотреть, тем более синяя. Принес новую. Через несколько минут — та же история. Снова принес. Опять погасла. Носил, пока лампочки не кончились. Потом взмолился:

— Вы люди ученые, как вы думаете, почему это происходит?

— Завод гремит всю ночь, машины ездят, вибрация — вот она и перегорает!

Так добились своего. Но особенно азартно вел себя Борис Сергеевич. Только вкрутит охранник новую лампочку, выйдет за двери, утихнут шаги, Стечкин подавал команду «Давай!» — и тут же лампочку гасили.

...Когда из лагерей стало собираться все больше специалистов, разрешили чтение лекций. Юрий Борисович Руммер читал об использовании ядерной энергии. Многие слушавшие его, люди технически не безграмотные, в 1939 году относились к таким лекциям не то чтобы скептически, но как в некоей фантастике. Руммер говорил об атомном корабле, курсирующем между континентами. На один рейс хватит энергии, заключенной в трех спичечных коробках.

Казались фантастичными и лекции Валентина Петровича Глушко. Самый молодой из тушинцев, он говорил о будущих межпланетных сообщениях, пропагандировал идеи Циолковского и Цандера. Многие из слушателей тоже не очень-то этому верили, мысли еще прижимались к земле, и взлет был не выше самолетного. Поэтому Валентина Петровича товарищи меж собой прозвали «Лунатиком», но он не обижался.

На лекциях у Стечкина было народу больше, чем у других. Он умело рассказывал о новых, невиданных двигателях, о самолетах, летающих быстрее звука, и так доступно говорил, что приходили почти все, даже случайно попавшие в Тушино два строителя. Как ни уставали на работе, если сегодня лекция Стечкина, старались не пропустить. Отдавая людям все, он обладал свойством притяжения. Не просто любил людей — умел их любить.

Тот же Руммер, известный математик и физик, постоянно приходил советоваться к Стечкину. В ОТБ построили двигатель, в котором было восемь соединенных вместе коленчатых валов. Сложная система с нагнетателем. И нужно было решить не менее сложный вопрос о крутильных колебаниях этой системы. Поручили Руммеру, но он, первоклассный математик, не смог решить. И только когда Стечкин направил его на путь истины, задача была решена быстро и несложно. А для Стечкина она послужила начальным моментом в создании теории антивибратора поперечных колеба-

ний валов при обратной прецессии. «...Теоретически доказал. — напишет Борис Сергеевич в автобиографии. — что форма вынужденных крутильных колебаний при резонансе совпадает со свободными колебаниями».

В Тушино он жил в одной комнате, или камере, с профессором Георгием Сергеевичем Жирицким, известным специалистом по паровым турбинам и котлам. Учебники Жирицкого считались классическими. Всему миру известны паровые машины Жирицкого. И когда он попал в ОТБ, работавшее над авиационными проблемами, то сначала и не знал, где приложить свои уникальные знания по паросиловым установкам, которые в авиации никак себя не зарекомендовали и со времен самолета Можайского в ней больше не применялись. Жирицкому в то время, наверно, было все равно чем заниматься, и он стал работать со своим симпатичным и приятным соседом, который в общении с людьми походил на него самого.

Стечкин в то время проектировал приводной центробежный нагнетатель для большого многовального двигателя, и под руководством Бориса Сергеевича Жирицкий переквалифицировался, став отличным специалистом по газовым турбинам. Конечно, он был не новичком, в теории газовых турбин много общего с паровыми, но есть и своя специфика. А Стечкин так вел совместную работу с Жирицким, что тот и не заметил, как ему была преподнесена новая наука. Если Жирицкий чего-то не понимал, Стечкин деликатно, тактично излагал суть вопроса, будто не он, а Жирицкий объясняет ему непонятное.

Когда в 1943 году Жирицкого освободили, он остался работать в Казани заведующим кафедрой газовых турбин в авиационном институте, то есть стал прямым последователем Стечкина по газовым турбинам. Сам крупный специалист, Г. С. Жирицкий всегда с гордостью подчеркивал, что он — ученик Стечкина, хотя по возрасту был старше Бориса Сергеевича. Именем Жирицкого назван один из лунных кратеров...

...В один из июньских дней 1941-го вдруг сняли все репродукторы и не выдали газет. Никто ничего не объясняет, на завод и во двор не пускают. Отвечают уклончиво:

— Нечего вам там делать.

— Ну, раз нечего делать, — говорит Стечкин, — пойдем в бильярд играть!

Появился начальник:

— Безобразие! В то время как вся страна мобилизует все силы на отпор врагу, они в бильярд играют!

Им сперва не хотели говорить, что началась война. Враги все-таки...

Бюро эвакуировали в Казань. Там у Стечкина появилось больше возможностей для реализации своих идей, но вскоре стало ясно, что сейчас не до них. Зато можно и нужно было делать такие вещи, которые страна могла бы применить в ближайшие не десятилетия и годы, а месяцы.

По проекту Стечкина с участием профессора Жирицкого, инженеров Концевича, Назарова и других были спроектированы и построены турбокомпрессор и приводной центробежный нагнетатель с закрытым рабочим колесом для авиационного дизеля М-20. КПД этих агрегатов для того времени было наивысшим. «Насколько я помню, — говорил А. Д. Чаромский, — мы впервые с Борисом Сергеевичем осуществили центробежный компрессор с закрытым колесом. Кроме того, лопаточный диффузор по методу Стечкина был спрофилирован на высоком уровне. Это и способствовало увеличению КПД».

Вместе со срочными, плановыми работами Стечкин продолжает заниматься реактивным движением. В Казани он рассмотрел одну чисто практическую сторону этого дела: использование выхлопа поршневых двигателей для создания некоторой дополнительной тяги. Наблюдая за пролетающим самолетом старой конструкции, вы, наверное, видели, как из патрубков выбивается пламя. Прежде у поршневых самолетов огненные струи загибались в стороны, чтобы меньше было сопротивление на выхлопе и лучше использовалась мощность моторов. Стечкин разработал и рассчитал расширяющиеся патрубки, которые загибались назад, создавая небольшую, но заметную дополнительную тягу. Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было внове. Через год пришли сведения, что подобные вещи делают в США, в национальной комиссии по

аэронавтике — НАКА, которая позже превратилась в НАСА. И хотя для НАКА работало много фирм и она была более обеспеченной, чем ЦАГИ или ЦИАМ, Стечкин опередил американцев.

В Казани началась работа по созданию пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Борис Сергеевич решил осуществить одну из своих задумок 20-х годов. Он стал проектировать реактивный ускоритель для поршневого самолета, чтобы на несколько десятков километров увеличить скорость полета. Скорости тогда были до 500 километров в час, и такая прибавка переводила самолет в другой, более высокий класс и давала большое преимущество над противником. Все свободное время Стечкин ходил по комнатам, прогулочной территории казанского завода, обдумывая двигатель, потом стал рассказывать о своей идее то одному, то другому инженеру, предлагая работать вместе. Все сразу соглашались, потому что работа со Стечкиным не просто доставляла радость — где еще такую школу получишь? Стали вместе соображать, как под крыло поршневого самолета установить обтекаемый реактивный двигатель, работающий в импульсном режиме и на том же бензине, что и основные двигатели. Решили исполнить его в виде дуги, чтобы воздух входил в один конец, выходил из другого, а топливо поступало из крыла. Очень быстро Стечкин написал теорию и расчеты ускорителя, а Г. Н. Лист занялся конструктивной разработкой. Двигатель строили внепланово, параллельно с основной работой над авиационным дизелем, и начальство косо смотрело на новое занятие «бывшего профессора». Видимо, не верили в реальный успех ускорителя и потому не очень способствовали этой работе. Во всяком случае, ни людей, ни помещения не давали, хотя возможности на заводе были немалые. Работают у Стечкина пять человек, и ладно, пусть чем-нибудь убивают свободное время. А Борис Сергеевич видел в перспективе замену поршневых моторов на самолетах реактивными, и с группой энтузиастов полуофициально занялся созданием своего пульсирующего двигателя. Что ж, в истории техники были примеры, когда внеплановые работы оказывались не самыми плохими.

Стечкин и его помощники во дворе под навесом построили простейшую экспериментальную установку

для ускорителя. Ни приборов, ни особых устройств не было. Станина и маятник, на котором болтался двигатель, — вот и вся установка. Здесь со Стечкиным работали инженеры Г. Н. Лист, Н. Р. Воронцов, А. Ф. Мацук, С. М. Млынарж, К. А. Рудский, М. М. Мордухович, Д. Д. Севрук. Активно помогали В. П. Глушко и М. М. Бондарюк — специалист по прямоточным двигателям. Эта работа, несмотря на неприятательное оснащение, сразу же внушала к себе доверие всем, кто с ней сталкивался, и часто можно было видеть у стечкинского навеса С. П. Королева.

Сергей Павлович не успел увидеть первый полет своего ракетоплана в 1940 году — уже был посажен. Это был интересно задуманный летательный аппарат с меньшими перегрузками, чем в ракете, предназначенный для полетов от одной орбитальной станции к другой. И сейчас Королев старался помочь своему учителю...

Казанский завод занимал просторную территорию, разделенную пополам. В 30-е годы здесь, видимо, задумали построить комбинат, который выпускал бы моторы и самолеты, но потом, столкнувшись с неудобствами в управлении и во взаимоотношениях между двумя организациями, разделили площадь пополам забором, образовав два завода — моторный и самолетный с аэродромом. А возле загородки стояло четырехэтажное здание заводоуправления, два этажа в котором и занимало Особое техническое бюро НКВД СССР. Им руководил в Москве генерал Кравченко. Сначала в ОТБ отобрали двигателистов во главе с А. Добротворским, которые на базе двигателя М-105 построили мотор МБ-100, буква «Б» в котором в честь Берии. Создатели думали, что это упростит им жизнь.

Вскоре в Казань перевели и авиационный завод из Воронежа, выпускавший потомков «Испано-Сюэзы» — климовские двигатели М-105. Под руководством Макара Михайловича Лукина завод стал строить двигатель МБ-100.

Зима 1941—1942 годов была суровой не только под Москвой. В Казани прочно держались минус сорок градусов с ветром. Даже более молодые помощники Стечкина с трудом добирались от завода до открытой площадки под навесом. Сквозь метель уже виднелась

высокая фигура Бориса Сергеевича в валенках, желтом ватном пиджачке и шапке с завязанными ушами. Стечкину пятьдесят. Так получилось, что, как и сорокалетие, этот юбилей ему тоже пришлось встретить в заключении. Он не знал, что в эту зиму в далеком Алексине от немецкой бомбы погибла его мать. Здесь, в Казани, далеко от фронта, ученый работал на нашу Победу.

Первый вариант импульсного двигателя удалось построить довольно быстро, но работать он начал не сразу. Появились скептики: пойдет ли он вообще? Как будет работать система неуправляемых клапанов? Двигатель состоял из камеры сгорания, которая с одного конца переходила в длинную резонансную трубу, а с другого была закрыта клапанной решеткой. В камере, куда подводили бензин и зажигание, при взрыве горючей смеси давление повышалось, и клапаны закрывались. Газы мощно вылетали из открытого конца трубы, в камере создавалось разрежение, из-за чего открывались клапаны, впуская порцию наружного воздуха для повторения цикла. Так двигатель работал в импульсном режиме, и каждый импульс напоминал громовый выстрел. Когда его впервые запустили, весь завод замер — такого здесь еще не слышали. Грохот страшный. Рядом стояло здание управления, и там радовались, когда двигатель ломался и наступала тишина. Но скептикам пришлось сдаться: эта штука работала. Правда, рвались клапана, нужно было менять их ход, материалы. Возникли трудности с системой зажигания и, наконец, стали гореть свечи, проработав всего несколько часов.

— Борис Сергеевич, так обидно, все шло хорошо, и вдруг свечи...

— Что же вы печалитесь, — усмехнулся Стечкин, — теперь это уже похоже на настоящий двигатель, коль свечи горят!

Справились и с этим недостатком, и появилась надежда, что двигатель и вправду получится, хотя и с большими, чем ожидалось, трудностями. Группа получила данные, заинтересовавшие самолетчиков. Приезжал заместитель командующего ВВС генерал-лейтенант Иван Федорович Петров, и на него двигатель произвел впечатление. Двигатель назвали «УС» — «Ускоритель Стечкина».

«УС» предполагали ставить на самолеты Туполева и Петлякова. Представьте себе тяжелый, перегруженный бомбардировщик, пытающийся взлететь с короткого полевого аэродрома. Своих движков ему не хватит. Включается «УС». Короткая пробежка, взлет. Теперь ускоритель не нужен. Пилот его выключает и продолжает полет на обычных поршневых двигателях. Но вот надо быстро подойти к цели или уйти от нее, а тут истребители противника! Снова выручит ускоритель Стечкина. Летевший с привычной, давно изученной скоростью советский бомбардировщик вдруг перед самым носом мгновенно исчезает...

На самолет ставили 12 ускорителей — по 6 в каждом крыле. Горючее в них подавалось дизельной топливной аппаратурой — насосами и форсунками.

Стечкина только очень огорчало, что не удалось получить ожидаемого высокого значения КПД двигателя. Конечно, его нужно было еще доводить, но и достигнутое можно полезно реализовать. Однако случилось непредвиденное: в марте 1943 года Стечкина неожиданно вызвали в Москву и освободили. И тут не было добра без худа: работы, которые он вел в Казани, остались без хозяина. Стечкин пытался в Москве вытащить, освободить всю группу, но это ему не удалось. Человек он был, как говорят, «непробивной», а других, заинтересованных в «УСе», не оказалось.

Вроде, были более насущные дела, но в 1944 году стало известно, что немцы оснащают свои самолеты-снаряды «ФАУ-1» подобными двигателями и бомбят Англию через Ла-Манш. Когда наши инженеры воспроизвели трофейный двигатель, выяснилось, что он был аналогичным «УСу», только более доведенным. Но Стечкин сделал свой ускоритель раньше, в более короткий срок и в каких условиях!

В настоящее время «УС» представляет собой историю и, скажем, в музее авиации занял был достойное место — реактивный двигатель, сделанный в военные годы, в заключении, в кустарной мастерской, где был один-единственный станок. Сейчас двигатель показался бы слишком элементарным, но на нем Стечкин получил первые экспериментальные данные, ставшие

основой для многих трудов о воздушно-реактивных двигателях, что позволило вывести нашу авиацию на сверхзвук.

В 50-е годы в Институте двигателей Академии наук, директором которого был академик Б. С. Стечкин, этим ускорителем продолжал заниматься молодой инженер Константин Евграфов, а Стечкин был руководителем его кандидатской диссертации. Когда на защите Евграфов сделал сообщение, профессор Квасников сказал своему соседу:

— Ну вот, сейчас выступит Борис Сергеевич, все объяснит, поставит на свои места, и мы поймем, в чем суть.

Этим хочется не умалить значение работы К. Г. Евграфова, а, напротив, подчеркнуть ее сложность. Одно то, что она выполнена по идее Стечкина, говорит о многом.

Академик В. П. Глушко отмечал «УС» как одну из выдающихся работ Стечкина. Он так рассказывал мне об этом периоде:

«В Казани у Бориса Сергеевича была небольшая, но самостоятельная группа, которая проводила теоретические и экспериментальные исследования, в частности, над воздушно-реактивным двигателем. Вот там я его и увидел снова — умного, спокойного, уравновешенного, трезвого в суждениях и очень приятного в общении. С ним всем было радостно работать. От него я узнал, что он не раз страдал на этих наших кампаниях по арестам, так что опыт у него был больший, чем у нас — для нас все это было неожиданно, даже как-то непонятно, зачем такие нелепости делаются в массовом масштабе. Вместе с С. П. Королевым я работал в Москве, в Реактивном научно-исследовательском институте, там он ведал разработкой летательных аппаратов, а я — двигателей для них. Арестовали четверых — директора института, его заместителя, потом Королева и меня. Враги народа. Хотели свергнуть Советскую власть. Продавали республики за границу. На следствии колотили: пиши, что ты враг народа. Не подписывал — забивали насмерть. Свинцовыми такими проводами... Что я, калекой хотел быть, что ли? Ну, а потом ОСО — Особое совещание. Там подмахивали списки. Так, по решению ОСО, безо

всякого суда я получил заочно 8 лет, но это решение большого значения не имело, так как отсидевшего срок нередко все равно не выпускали.

Я просидел шесть с половиной лет и был освобожден в 1944 году, когда мы делали разработки ракетного двигателя для боевых самолетов. Испытания мы провели досрочно, и нашей группе сократили срок. Освободили со снятием судимости. Простили.

Когда меня только посадили, я молодой был, думал, что окружен врагами народа. Мысли не было, что все иначе и сложнее. Тем, кто все понимал, наверно, было труднее. Борис Сергеевич дважды ни за что страдал. Еще раз могу добавить, что это был чудесный товарищ. Слишком смело его называть своим товарищем — он был старше и опытнее, но товарищеское отношение его к людям подкупало. Непосредственно вместе с ним мне поработать так и не пришлось, он трудился в своих группах, я в других. У нас были встречи, контакты, но каждый работал над своей темой. Воздушно-реактивные двигатели никогда не входили в круг моих интересов, а жидкостные ракетные двигатели всегда были интересной, но сторонней темой для Бориса Сергеевича. Однако новую технику он не только понимал, но и сам постоянно занимался ею, поэтому постановка новых проблем, если он видел в них перспективу, постоянно встречала его поддержку. С ним всегда было приятно и полезно посоветоваться».

На Казанском заводе не только строились установки и конструкции, там были и лаборатории. Каждый шел в свою лабораторию в разные концы завода. Чаромский занимался дизелями, Ро был главным конструктором поршневых двигателей, потом его сменил Добротворский. Стечкин со своей группой занимался новыми теоретическими разработками и их воплощением, ОКБ Глушко работало над жидкостными ракетными двигателями.

«Мне это ОКБ предложили организовать в НКВД в начале 1938 года, — говорит Валентин Петрович Глушко. — Когда у меня дело стало развиваться, я по договоренности с начальством написал заявление о необходимости расширения работ. Для этого я попросил вызвать из лагерей арестованных специалистов по ракетной технике. Так мы снова стали работать с Коро-

левым. Он был арестован через несколько месяцев после меня. Его, бедолагу, отправили на Колыму...»

(Я приезжал в поселок Ягодное Магаданской области, и мне показали место, где отбывал заключение С. П. Королев. — Ф. Ч.)

Ядро, костяк каждой группы в Казани составляли заключенные, а весь аппарат — конструкторы, технологи, чертежники, копировщики, рядовой обслуживающий персонал — был вольнонаемным. Заключенных не хватало, но они составляли мозг, руководство каждой группы человек по 12, а вольнонаемных были сотни. Построили самолет с ракетным двигателем. Когда Сергею Павловичу рассказали об этой идее (а он только прибыл в Казань), показали лаборатории, оборудование, он пришел в восторг:

— Ребята, вы не представляете, какое вы большое дело делаете! — И стал самым активным участником этой работы.

Сначала этот ракетный двигатель был задуман как автономный, самостоятельный, трехкамерный, но потом решили сделать его однокамерным и поставить в качестве вспомогательного мотора на пикирующий бомбардировщик, а потом и на два-три типа истребителей. Ракетный двигатель установили в хвосте двухмоторного Пе-2, а к поршневному мотору М-105 разработали новый редуктор с приводом, установили насосную систему для питания ракетного двигателя азотной кислотой и керосином. Двигатель в полете работал всего десять минут, но в то время и это было немало. Каждому из создателей хотелось испытать его в воздухе. Королев, который сам был летчиком, добился разрешения участвовать в полетах. В качестве экспериментатора разрешили летать и Д. Д. Севруку.

«Я, наверно, был одним из немногих в стране, а может, и в мире, летающим арестантом, — вспоминает профессор Д. Д. Севрук. — Самолет трехместный, летали мы в такой компании: летчик А. Г. Васильченко, место штурмана занимал ведущий инженер Бокунов, а я, как ведущий по двигателю, командовал парадом и сидел в хвосте на месте стрелка-радиста».

В хвосте оборудовали щиток управления двигателем и измерительную систему. На земле барокамеры не было, и пришлось все отрабатывать непосредственно в полете. Помучились с системой зажигания — на

земле одни условия, а в воздухе другие. Провели пятьдесят полетов.

Однажды, когда проверяли скороподъемность при запуске двигателя, с земли Пе-2 приняли за немецкий самолет. Пожалуй, за всю войну это была единственная боевая тревога, и все, что могло стрелять, било по самолету. Разрывы поднимались все выше, но зенитчики-то не знали, какой двигатель стоит на этом самолете, и не рассчитывали на такую скороподъемность. Однако велик был риск гробануть единственный самолет с ракетным двигателем, да еще построенный людьми, для которых он — надежда на освобождение. Радиосвязи не было, но ракетный двигатель вытянул самолет на 8 тысяч метров, и лишь тогда его выключили. «И тут я почувствовал слабость, — говорил мне Д. Д. Севрук. — Оказывается, с полутора до восьми километров я летел без кислородного прибора».

Отвернули на восток, где было поменьше зениток, а потом перешли на бреющий полет и сели на свой аэродром — уже в темноте. Первым их встретил начальник ОТБ полковник госбезопасности Бекетов. Подбежал бледный:

— Живы? Это я забыл предупредить. Виноват перед вами.

Вольнонаемные да и начальство уже стали хорошо относиться к заключенным.

Талантливому человеку нужно создать условия для работы, и он будет работать. Стечкин много сделал в эти непростые годы, а работы все прибавлялось. А когда начали испытывать готовые конструкции на земле и в небе, свободного времени почти не стало. Но если оно появлялось, все собирались в общих комнатах своего «общежития» и вместе отдыхали.

«Стойко и мужественно переносил он все, что было связано с этими годами, — говорил А. Д. Чаромский. — Без тени раздражения, с философским спокойствием иногда повторял он слова вольтеровского мудреца, что все к лучшему в этом лучшем из миров».

В Казани их было человек шестьдесят, многие работали вместе в Тушино, да и раньше знали друг друга. Жили дружно. В одном доме работали, ели и отдыхали. Кровати Стечкина, Королева и Глушко стояли рядом, а всего в комнате было человек двадцать. Нужна была какая-то разрядка, и друзья начина-

ли бороться меж собой. Больше всех доставалось Королеву. Крепкий, коренастый, он начинал бороться сразу с двумя, и худющие Стечкин и Глушко обязательно заталкивали его под кровать...

Сами создали у себя ресторан под названием «Лиссабон». Там устраивали чае- и кофепитие — единственное удовольствие, которое позволялось. В годы войны в Казани почему-то оказалось много дешевого кофе, купить его можно было свободно. У того, кто не съедал свой хлебный паек, за несколько дней скапливалась буханка, ее отдавали вольнаемным для продажи на базаре и на эти деньги покупали кофе в зернах. Его жарили в одной из лабораторий, и после ужина, часа через два после работы, — рабочий день длился формально 10 часов, а практически был неограниченным, — собирались в одной из больших комнат, где стояло несколько столов. Разливали кофе, заваривали черный крепкий чай. Каждый вечер приходили человек десять-двенадцать завсегдатаев — Королев, Глушко, Чаромский, Рудский, Севрук... Стечкин был одним из наиболее аккуратных посетителей «Лиссабона». Приходили не только те, кто работал в этом же здании этажом выше, в КБ, но и с завода — отдохнуть, поговорить. Борис Сергеевич, как самый бывалый, рассказывал много интересного, шутил, и все, разумеется, это настроение поддерживали. Вспоминали эпизоды прошлой жизни, может, и не очень веселые с точки зрения сегодняшнего дня, но рассказывали со смехом. Видно, человек так устроен и настолько силен, что проходит время, и он о самом горьком в своей жизни говорит с улыбкой или как о само собой разумеющемся.

— Иду, бывало, по снежной равнине и мечтаю: вот бы хлебную корочку сейчас! — говорит Королев. — И вдруг смотрю: на пне лежит буханка хлеба! Закон Севера.

Другой посетитель «Лиссабона» рассказывает:

— Вот вы все смеетесь над моим старым кожаным пальто. А нас в Котласе посадили в трюм вместе с уголовниками. Ворье жуткое. А на мне это пальто. Правда, они меня называли из-за бороды батей и пальто не крали — в трюме его некуда было бы деть. Охрана перепилась, пропили все наши дорожные вещи. Иногда бросали в трюм воблу — кто поближе

к люку сидел, тот и хватал. Мы смиреннько себя ведем, а уголовники — этим ребятам терять нечего — кричат: «Жрать давай! Жаловаться будем!»

В люке показался начальник: «Кто кричал?»

Выдвинулся матерый вор, который сам не крал, а других посылал: «Ну, я кричу. Ну и что. Жрать давай!»

Начальник сдал назад и распорядился насчет еды. Тогда этот тип говорит мне: «Пойдешь со мной в каптерку и, когда нам будут выдавать продукты, распахни свое пальто и прикрывай меня». Я так и сделал. Стою с раскрытым мешком, жду, пока набросают хлеба и рыбы на всю нашу братию. А когда пришли в трюм, вор распахнул свою куртку и как начал вываливать рыбу — больше принес, чем я в мешке. Правда, много ее сразу не съешь, да и воды нам мало давали — ведро спустят, и ладно. Но на всю дорогу едой были обеспечены. Вот у меня какое пальто!

И снова всем почему-то весело: видать, вспомнили, сколько дыр и несусветных заплаток на этом повывавшем разную жизнь пальто...

В свежем номере «Правды» прочитали о награждении общего знакомого — А. А. Микулина. Стечкин сказал о своем родиче:

— Да, теперь он имеет все звания и награды, теперь ему осталось только посидеть!

К счастью, судьба оказалась более милостива к Александру Александровичу, и он обошелся без этого отличия.

«Лиссабон» посетил и Туполев. Он работал в Омске, его освободили раньше, и он из Москвы приехал в Казань проведать своих друзей и знакомых. Два дня Стечкин и Королев поили кофею Андрея Николаевича...

О том, как освободили А. Н. Туполева, мне рассказывал Главный маршал авиации А. Е. Голованов:

«Как-то, когда я только что прилетел с одного из фронтов, мне доложили, что приехал Туполев и хочет со мной переговорить.

— Пусть заходит. Зачем вы мне предварительно докладываете?

— Дело в том, товарищ командующий, что он под охраной... Как его — одного к вам или со свечами?

— Конечно одного.

Вошел Андрей Николаевич. Этот великий оптимист, которому доставалось в жизни, улыбаясь, поздравлялся. Я предложил ему сесть, чувствуя какую-то неловкость, словно и я виноват в его теперешнем положении. Разговор зашел о фронтовом бомбардировщике и о возможности его применения в авиации дальнего действия.

Несмотря на свои хорошие по тогдашним временам качества, этот самолет был одноместным, то есть рассчитанным на одного летчика, что при длительных полетах нас не устраивало. Туполев сказал, что есть возможность посадить в этот самолет второго летчика.

Вскоре я был у Сталина, доложил о своих делах. А у Сталина всегда было чутье, когда собеседник вроде все ему сказал, но еще что-то хочет высказать...

— Что у вас еще? — спросил Сталин.

Я рассказал о разговоре с Туполевым, решили вопрос с бомбардировщиком. Разговор закончен, но я не уходил.

— Вы что-то хотите у меня спросить?

— Товарищ Сталин, за что сидит Туполев?

Вопрос был неожиданным.

Воцарилось довольно длительное молчание. Сталин, видимо, размышлял.

— Говорят, что он имел отношение к иностранной разведке... — Тон ответа был необычен, не было в нем ни твердости, ни уверенности.

— Неужели вы этому верите, товарищ Сталин?! — прервал я его своим восклицанием.

— А ты веришь? — переходя на «ты» и приблизившись ко мне вплотную, спросил он.

— Нет, не верю, — решительно ответил я.

— И я не верю! — сказал Сталин.

Такого ответа я не ожидал и стоял в глубочайшем изумлении.

— Всего хорошего, — подняв руку, сказал Сталин. Это значило, что на сегодня разговор со мной окончен.

Я вышел. Множество недоуменных вопросов вертелось у меня в голове по дороге в штаб, но тогда я еще не мог ответить ни на один из них.

Вскоре я узнал об освобождении Туполева, чему был несказанно рад.

Работая в Ставке, я не раз убеждался: сомневаясь

в чем-то, Сталин искал ответ, и, если он находил этот ответ у людей, с мнением которых считался, вопрос решался мгновенно. Впоследствии я узнал, что добрую роль в жизни ряда товарищей сыграли маршалы С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков. Но к сожалению, мало кто брал на себя такую роль».

Не один год общаясь с Головановым, я узнал, что Александр Евгеньевич таким образом сослужил добрую службу многим невинно осужденным и, более того, добился, что ни один летчик дальней авиации, побывавший в плену, не попадал в бериевские лагеря.

Что же касается Туполева, я спросил Голованова, знает ли Андрей Николаевич, кому обязан своим освобождением?

— Вряд ли, — ответил Голованов. — Я ему никогда об этом не говорил.

Но вернемся к нашим героям...

«Стечкин всегда был впереди, — говорил о нем Туполев. — И в поршневой авиации, и в активной (так говорил. — Ф. Ч.), и в ракетах.

Еду я в 1912 году на конке, смотрю, стоит Стечкин, читает книгу.

— Что это у тебя, Борис?

— «Термодинамика» Рикардо.

Едем с ним в 1918 году на трамвае, смотрю, у него в кармане книжка торчит. «Термодинамика» Рикардо.

Недавно его встречаю — тот же Рикардо в кармане».

Туполев это говорил в 1951 году, на шестидесятилетии Стечкина, и всех в зале поразило, что он так свободно называл Рикардо — тогда шла борьба с космополитами. Андрей Николаевич уже все прошел, чтоб чего-то еще бояться...

С его завода в Казань привозили красивую фанеру и белый, непрозрачный целлулоид для инкрустации музыкальных инструментов, тоже самодельных. В Тушино смастерили мандолины, гитары, балалайки с прекрасным звучанием. Были мастера — золотые руки, и среди них бывший главный инженер одного из харьковских заводов Лящ, очень музыкальный человек. Он и стал дирижером оркестра в «Лиссабоне». Писал партитуры опер, проводил репетиции. Худож-

ники рисовали на ватмане бой быков — оркестр готовил «Кармен». Только петь нельзя — ни арии, ни песни, особенно революционные. Считалось, что здесь могут в них вложить свой, контрреволюционный смысл. И все же по большим праздникам в «Лисабоне» энтузиасты тихонько пели:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Иногда ставили пластинку — пел тенор Большого театра:

Жить в стране у нас опасно,
Откровенно вам скажу...

Правда, это о другой стране и другом времени...

А стихи читать не возбранялось. Стечкин, в молодости не любивший Маяковского и даже однажды подравшийся с самим поэтом, в Казани проникся симпатией к его творчеству. Чаромский, давний почитатель Маяковского, с удовольствием декламировал наизусть «Облако в штанах»:

Идите, голоденькие,
потненькие,
покорненькие,
закишше в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Многие делали успехи в изучении иностранных языков. Известный физик Юрий Борисович Руммер жил рядом с мадьяром и неплохо освоил венгерский язык.

К Стечкину для охраны был приставлен чекист Хакимов. Когда Бориса Сергеевича освободили, Хакимов добился увольнения со службы и уехал в Москву. Он окончил академию имени Жуковского, Стечкин устроил его к себе на работу. Они стали близкими друзьями, всегда вместе ездили на охоту. Человек исключительной порядочности, полковник Загит Салахович Хакимов был безмерно предан Стечкину до последних дней его жизни. И умер вскоре после Бориса Сергеевича.

В заключении Стечкин ничуть не изменился, был тем же, что и на свободе — обаятельным, добрым, благожелательным. Правда, с администрацией, кураторами он не всегда ладил, ему не прощали прямоты, принципиальности, что доставило ему немало огорчений. Ему пытались хамить, обращаясь в панибратской манере:

— Ты, Боря...

Но главное, приходили советоваться по всем вопросам. «Наверно, если б у нас не было поликлиники, к Стечкину бы и за медицинскими советами ходили», — вспоминают те, кто работал с ним в Казани. Решить сложную математическую задачу — к нему, написать методику испытаний — к нему, смонтировать новую установку — тоже к нему. И он не только даст советы по этой установке, но и обязательно какое-нибудь улучшение к ней придумает. Не имея специального образования в области электротехники, он не раз вносил ценные поправки в электрические схемы, обосновывая, почему так, а не иначе. И все, кому он помогал словом и делом, могли заметить одну особенность: он помогал так, как будто вы ему делаете одолжение, а не он вам. И с такой охотой расскажет все, что знает!

Вы уж и позабыли, что обращались к нему, а он напомнит:

— Вы меня спрашивали несколько дней назад... Я хочу добавить, я вспомнил, тут надо вот что сделать...

К нему обращались за советом целые организации. Научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота в войну находился в Казани, и он тоже пользовался знаниями и опытом Стечкина. Борис Сергеевич не раз приезжал в НИИ ГВФ со своими учениками.

Климовский двигатель М-107 был с несколькими карбюраторами, с очень сложной кинематикой, и на серийной испытательной станции никак не могли добиться синхронной работы всех цилиндров. Отрегулировать карбюраторы на нормальном режиме, цилиндры работают одинаково, но стоит перейти на малый газ, как один цилиндр дает большую мощность, другой вообще не работает. Все по инструкции делается, а никак не регулируются движки, хоть разбейся! Инженеры и военпреды замучились с этими моторами. А они

были серийными, рядом, на соседнем заводе, их горяченькими ставили на самолеты и — на фронт. На станции скопилось много неотрегулированных моторов, и стоят без них скучающие самолеты.

Обратились к Стечкину. Он походил по станции, попросил включить один движок, взялся за сектор управления, подвигал, послушал и ушел, ничего не сказав. Работники станции в отчаянии. Хоть они и верили в Стечкина, но что он придумает после такого беглого осмотра? А он через два дня снова появился на станции и так, между прочим говорит:

— Вы знаете, тут надо установить определенный порядок регулировки. Мне кажется, это надо сделать так... — И он написал свое предложение на листочке бумаги.

Оказалось, довольно простая вещь, но ее в инструкции не было, и все удивлялись потом, как сами, столько неглупых голов, не смогли додуматься. А моторы после этого пошли.

Так бывало не раз — то в двигателе давление масла падает, то клапаны летят. И на каком бы заводе это ни случилось, как последняя надежда, звучало на совещаниях: «Есть такой Борис Сергеевич Стечкин...»

Иногда в Казань по делам службы приезжал кто-нибудь из старых знакомых.

«Во время войны я был у них на заводе, — вспоминает профессор МАИ Г. С. Скубачевский. — Встречаю Николая Филина, брата начальника НИИ ВВС Героя Советского Союза А. И. Филина. Николай бросился меня обнимать:

— Глеб, здравствуй!

Поймите мое положение: мне не хочется обидеть Колю, оттолкнуть, но, с другой стороны, за нами следят. Я постарался не придать этому значения, спрашиваю:

— Как ты?

— А вот мы все здесь сидим. — И показывает: — Вот Жирицкий (я слушал его лекции и сразу узнал его), вон Глушко пошел (так я впервые увидел Валентина Петровича)».

Профессор Е. В. Урмин, ездивший со Стечкиным в 1929 году в США, рассказывает: «Однажды меня вызвали на площадь Дзержинского в иностранный отдел для определения ценности материала, добытого

особым порядком. Был там такой Аграновский, идем с ним, ищем свободную комнату. Открываем одну дверь, смотрю — Туполев! Улыбается, руку протягивает, но поговорить нам не дали».

Известно, что Андрей Николаевич не очень-то жаловал своих «сторожей», защищал товарищей, как и Стечкин, добивался необходимых условий работы, чтоб можно было «доказать» свою продукцию. В следующий раз Урмин, главный конструктор авиационного завода, встретился с Андреем Николаевичем в Омске, куда перевели группу Туполева: «Ему нужно было посмотреть наш мотор М-90, последующую модификацию М-88, на котором в свое время погиб Чкалов. Две тысячи сил — первый советский мотор такой мощности — был на стенде. Туполев приехал со своим помощником Сергеем Михайловичем Егером. Сам все потрогал, пробовал мотор, давал газ — очень любопытный человек».

— Объясните, почему мне говорят в наркомате, что М-90 мы все равно строить не будем? — спросил Туполев.

— Андрей Николаевич, вы были главным инженером в управлении Баранова, — ответил Урмин. — Я конструктор, мне дали задание, я его выполнил. У вас хорошо получается, скажите об этом Шахурину.

А вскоре состоялся известный читателю разговор генерала А. Е. Голованова с И. В. Сталиным, и Туполев был освобожден.

— Давайте захватим его с собой, как полетим в Москву! — сказал своим сотрудникам Е. В. Урмин.

Далее он рассказывает: «Прилетели в столицу из Омска на бомбардировщике ильюшинском ДБ-3Ф — Туполев, Егер, я и генерал из НКВД. Прибыли на Уланский переулок в наш наркомат. Туполев очень волновался: вызовет Сталин или нет? Пошли мы с ним в кино, в «Колизей», на «Большой вальс». Туполев смотрел с восхищением и на следующий день говорит:

— Давайте еще раз посмотрим!

Пошли, а там уже другая картина идет. Но он так настойчиво отнесся к этому делу, что нам все-таки прокрутили на узкоплечном аппарате».

— Почти на пальцах можно пересчитать всех друзей и знакомых отца, кто не сидел, — говорит дочь

Стечкина Ирина Борисовна. — Архангельский один из немногих.

Александр Александрович Архангельский, многолетний заместитель и правая рука Туполева, сказал мне так:

— Я был тогда главным конструктором на 22-м заводе, делал очень актуальную машину, и меня нельзя было трогать. Наверно, это меня и спасло.

Еще не раскрыты все документы того периода, но кое-что, наверно, можно узнать и осмыслить, поговорив с неглупыми людьми.

Лауреат Сталинской премии Первой степени доктор технических наук, профессор, генерал А. Д. Чаромский:

— Что инкриминировали? Вам трудно понять. Это была психопатия, сумасшествие, истерика. 37-й год стоил нам нескольких миллионов людей, руководящего состава военной промышленности, науки, конструкторов, значительной части кадрового состава армии. 1937-й год мы в шутку называли «первой победой Гитлера». Поэтому и война в Финляндии так бездарно велась. Может быть, многое было связано с немецкой или английской провокацией. Сталину представляли признания, добытые пятками. В этих признаниях одни готовили террористические акты, другие занимались вредительством, третьи хотели продать Украину капиталистам...

Конструктор мощных ракетных двигателей, установленных на советских ракетах-носителях, летавших в космос, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии академик В. П. Глушко:

— Нелепость и глупость, какие приписывались тогда многим, кого арестовывали... Подготовились к войне с Гитлером так, что сам Гитлер не смог бы столько уничтожить народу, сколько мы своими руками...

Кандидат технических наук К. А. Рудский:

— Тухачевский был близок к Рыкову, а тот очень заигрывал с интеллигенцией и учеными. Недаром А. С. Яковлев свой первый самолет назвал АИР — Алексей Иванович Рыков...

Следователь мне говорит: «Ты пиши, главное, пиши! Пиши, что ты — автор «Евгения Онегина» или что хотел убить Сталина. Глупость? Пиши! Без тебя разберутся».

При реабилитации я читал свое дело: я-де такой-то, сидя в своем кабинете (которого у меня, кстати, никогда не было), утверждал акты об авариях самолетов (я никогда по своей должности актов не утверждал), скрывал истинную причину вредительства и покровительствовал врагам.

А ведь после каждой катастрофы при желании можно найти столько виновных! Самолеты научились гонять в хвост и в гриву, не заботясь особо о профилактике, отсюда и столько аварий. А на земле не хватает высококвалифицированных кадров — трудно найти за низкую оплату. И вот в 1937 году мне приписали, что я сознательно покрываю виновных в катастрофах.

Инженер С. М. Млынарж, работавший со Стечкиным в Тушино и в Казани:

— Мне инкриминировали, что я был участником контрреволюционной организации, которая должна была, ни много ни мало, свергнуть Советскую власть. Никаких подтверждающих фактов, доводов не было. Когда реабилитировали, сказали, что и в деле никаких материалов для обвинения нет. За отсутствием состава преступления решение Особого совещания от такого-то числа отменяется...

Доктор технических наук профессор Д. Д. Севрук:

— Посадки — в большей мере реакция цепная, но сволочная, и не случайная, а преднамеренная. Все было согласовано. Нужно было установить диктатуру личности, и репрессии распространили не только на политических деятелей. А в чем мы могли мешать, я до сих пор не понял. Какая-то недодуманная вещь, своеобразный садизм зарвавшихся людей... Очень многих из ЦИАМа арестовали. Каждый вечер стояли у домов черные машины...

Мой следователь мне говорил: «Ты не пытайся даже оправдаться. Мы все хорошо понимаем, что сре-

ди вас очень мало виновных, но так надо. И не рыпайся. Выбирай пункт, куда отправиться. НКВД не ошибается», — говорил он с некоторой иронией. Верил ли он сам в это дело, не знаю. Мы с Рудским оказались в разных списках, но я его затащил в наш вагон, и мы попали в строительный лагерь, в Магадан. Копали траншеи, дошли до шестой категории — это когда дают 150 граммов хлеба и отвратительную баланду, которую даже при сильном голоде невозможно есть. Работали на морозе...

Мы там придумали одно усовершенствование автомобильного двигателя, позволяющее экономить горючее до 40 процентов — американцы возили туда горючее. Мы создали первую автомобильную лабораторию на Колыме. За эту работу полагалась мне премия 100 тысяч рублей, но, поскольку я был арестантом, мне предложили 100 рублей. Объявили об этом перед строем, все были недовольны, свистели, улюлюкали. На строй направили оружие. А когда все успокоилось, я сказал, что дарю эти 100 рублей начальству на мелкие расходы. Кончилось все благополучно, меня только посадили в карцер. Выручили уголовники, которые почему-то ко мне питали симпатию. Они мне носили в карцер еду, а на ночь выпускали в барак — ключи у них были. Иначе я бы загнулся: карцер напоминал сделанный из кольев курятник, продуваемый всеми ветрами и неотопливаемый, а уже морозы начинались. Потом, когда создали Особое техническое бюро, меня четыре месяца везли до Москвы, потом в Казань, и там в 1941 году я вновь встретился со Стечкиным».

Стечкин почти никогда, даже в семье, не рассказывал об этих годах и ни на что не жаловался. Иногда вскользь что-нибудь промелькнет у него в разговоре:

— Меньше трепаться надо было. Время не то, чтобы болтать...

Иногда вздохнет:

— Все хорошо у нас. Детей только жаль...

«Видимо, были у него ошибки, за которые он пострадал, — говорил мне один из пионеров нашего ракетостроения И. А. Меркулов. — Но не было нытья.

Он понимал, что жить надо будущим, а не прошлым».

В послевоенные годы он не раз встречался со Сталиным, и, видимо, многое в душе не прощая, высоко ценил его, ибо всегда уважал ум и силу воли в государственном смысле.

«Больших подробностей он не рассказывал, — говорит его племянник О. Я. Стечкин, — но с одного приема в Кремле в 1946 году, когда ему вручали Сталинскую премию, он вернулся поздно, дозвониться не мог, почти все на даче были, пришлось в окно влезать со двора... О Сталине он всегда говорил с большим уважением, и резкой критики я от него не слышал. Вообще, он терпеть не мог обывательских разговоров о правительстве».

«Я считаю, что он преданный Советской власти человек хотя бы потому, что он сделал для советской науки, — говорит генеральный конструктор академик С. К. Туманский. — Противник Советской власти не стал бы ставить науку об авиации и тем самым поднимать отечественную авиацию. Он же, по существу, поставил отечественную авиацию на ноги, двигателисты выросли на нем, на его трудах. Для меня это главный показатель того, что он честный и преданный Советской власти человек. А что он мог какие-то неосторожные фразы бросать — так ведь можно ругать власть, любя ее. Другое дело, что было немало подлецов, которые подхватывали эти фразы и доносили. На эту тему мы с ним почти не говорили. Он как-то сказал мне, что им не рекомендовали рассказывать детали пребывания в заключении. Думаю, что человек, побывавший там, понял, что это такое, и повторять ему не захочется. Главное, что несмотря на эту трагедию он сохранил себя и продолжал быть ученым».

Время не то, чтобы болтать.

* * *

Мне доводилось много беседовать на эту тему с В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем, занимавшими при И. В. Сталине крупнейшие посты в государстве и партии.

— Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев? — спросил я у Молотова.

— Они все сидели, — ответил Вячеслав Михайлович. — Много болтали лишнего. И круг их знакомств, как и следовало ожидать... Они ведь не поддерживали нас.

В значительной части наша русская интеллигенция была тесно связана с зажиточным крестьянством, у которого прокулацкие настроения — страна-то крестьянская.

Тот же Туполев мог бы стать и опасным врагом. У него были большие связи с враждебной нам интеллигенцией. И если он помогает врагу и еще, благодаря своему авторитету, втягивает других, которые не хотят разбираться, хотя и думает, что это полезно русскому народу... А люди попадают в фальшивое положение. Туполевы — они были в свое время очень серьезным вопросом для нас. Некоторое время они были противниками, и нужно было еще время, чтобы их приблизить к Советской власти.

Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за кого нам плохо живется!» — и указывал на портреты Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из той категории интеллигенции, которая очень нужна Советскому государству, но в душе они — против, и по линии личных связей они опасную и разлагающую работу вели, а даже если и не вели, то дышали этим. Да они и не могли иначе!

Что Туполев? Из ближайших друзей Ленина ни одного около него в конце концов не осталось, достаточно преданного Ленину и партии, кроме Сталина. И Сталина Ленин критиковал.

Теперь, когда Туполев в славе, это одно, а тогда ведь интеллигенция отрицательно относилась к Советской власти. Вот тут надо найти способ, как этим делом овладеть. Туполевых посадили за решетку, чекистам приказали: обеспечивайте их самыми лучшими условиями, кормите пирожными, всем, чем только можно, больше, чем кого бы то ни было, но не выпускайте! Пускай работают, конструируют нужные стране военные вещи. Это нужнейшие люди. Не пропагандой, а своим личным влиянием они опасны. И не считается

с тем, что в трудный момент они могут стать особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смогут построить...

Но мы и наломали дров, конечно... Сказать, что Сталин об этом ничего не знал, — абсурд, сказать, что он один за это вину несет, — неверно. А вы назовите того, кто меньше, чем Сталин, ошибался?

Сыграл свою роль наш партийный карьеризм — каждый держится за свое место. И потом, у нас, если уж проводится какая-то кампания, то проводится упорно, до конца. И возможности тут очень большие, когда все делается в таких масштабах.

Человек держится за место и старается — это и называется карьеризм — одна из наших современных болезней...

— Нам говорят: почему вы во все верили? Я скажу: все люди верили, — ответил мне Л. М. Каганович. — Верили, потому что врагов было много. Кто из них враг действительный, а кто... Где кончается политический противник и где начинается террорист? Трудно провести грань. Попробуй возражать против того, что он враг!.. Есть боязнь шкурная и есть боязнь общественная — пойти против общества, против общественного мнения... Народ верит, когда вера совпадает с его интересами. А вся политика, которую вел Сталин, вела наша партия, совпадала с интересами страны, народа, мирового коммунистического движения. Отсюда и большое общественное мнение.

— Начало 1937 года было правильным, — говорил маршал А. Е. Голованов, — но сильно перехлестнули.

Он сам и некоторые его родственники тоже пострадали в этот период.

— Решили избавиться от подлинных врагов, — продолжает Александр Евгеньевич, — а многие стали писать друг на друга. Я знаю одного такого человека, спрашиваю, зачем писал, говорит — боялся. А ведь его никто не заставлял... Разные люди. Известно, что от Тухачевского через несколько часов после ареста были получены показания, очерняющие многих полководцев. А от Константина Константиновича Рокоссовского, которому в тюрьме зубы повыбивали, и он потом

долго болел, не добились ничего. Разные люди, суровое время, и трудно сейчас быть судьей.

И все-таки обидно, что один из светлейших умов XX столетия Стечкин сидел за решеткой, а потом об этом периоде писал в анкетах: «Инженер НКВД».

Мог ли подумать молодой Борис Сергеевич, когда ему добрые заокеанские дяди предлагали уехать за границу, какие предстоят ему испытания на родине? А если б даже и знал, уехал бы?

Непростой вопрос, ибо любить в России — означает страдать, и он это понял давно.

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха, нуль, хуже нуля: вне народности ни художества, ни истины, ни жизни нет», — писал Иван Сергеевич Тургенев.

Уехал бы Стечкин в Америку, когда ему предлагали, и, наверное, условия для жизни и работы там у него были бы неплохие, — по крайней мере, вряд ли он столько лет сидел бы в тюрьмах. Но родины не было бы. И он остался жить в стране, которая строилась, готовилась к войнам в окружении империализма, когда взрослые подписывались на займы, а дети в учебниках выкалывали глаза врагам народа.

...Освобождать начали в 1942-м. Первыми оказались на свободе А. Н. Туполев и его группа. Не без участия командующего АДД Голованова был освобожден и А. Д. Чаромский, который строил дизельные моторы для авиации дальнего действия — двигатель АИ-1 стоял на бомбардировщиках ТБ-7 и Ер-2.

«Эти дизели требовали доработки, многие вопросы нужно было решать на месте с конструктором. Так удалось вытащить Чаромского из Казани», — говорил А. Е. Голованов.

Сам Чаромский рассказывал об этом так: «Когда наши группы — туполевская самолетная и моя моторная — работали в Москве, по моторам я докладывал Берии, который непосредственно курировал наше ОКБ. Когда во время войны нас перевели в Казань, возникли затруднения с работой моторов в авиации

дальнего действия, в частности моторов моей конструкции. И вот в ЦК при рассмотрении положения в авиационной промышленности спросили, где такой-то... Меня освободили и восстановили в должности главного конструктора».

Чаромский говорил, что пытался в 1942 году подвести под освобождение и Стечкина, включил его в списки, но тщетно. Чаромский показывал мне переданную из Казани записку:

«Дорогой Ал. Дмитрич! Спасибо за твои заботы о моих. У меня все без изменения. Некоторые подробности ты узнаешь на словах. Постарайся побывать у моих и передать им мой привет. Я бы хотел получить от них также привет. Думаю, ты это устроишь. Я слышал, что ты болеешь сердцем, надо больше лежать. Как твои дела? Жму руку. Всего хорошего.

Б. Стечкин. 17 января 1943 года».

— Я выполнил просьбу Бориса Сергеевича, — сказал Чаромский. — Впрочем, семья через непродолжительное время получила счастливую возможность видеть его в своем кругу.

Выручил Стечкина Микулин. Александр Александрович, уйдя со своим двигателем из ЦИАМа, долгое время был главным конструктором опытно-конструкторского бюро 24-го завода. Такие ОКБ были самостоятельными в смысле конструкторских и лабораторных работ, но, если нужно было изготовить какую-нибудь опытную деталь или узел, главный конструктор вынужден был обращаться к директору завода, а того, разумеется, больше интересовал план, а не изготовление экспериментальных вещей. Это положение тяготило конструкторов и тормозило их работу. И Микулин решил добиться разрешения на создание завода, который бы совершенно самостоятельно строил опытные образцы. У такого завода должна быть и своя производственная база — механическая, литейная, кузнечная, чтобы двигатель можно было делать самим от начала до конца и быть свободными в изменениях, доводке — во всем, чего не избежать, если хочешь построить хороший образец. А Микулин умел делать великолепные моторы — лучшие в мире. И с присущей ему энергией взялся за создание завода.

В начале 1943 года он встретил С. К. Туманского, которого знал по ЦИАМу.

— Я хочу создать опытный завод, — сказал Микулин. — Ты должен понимать, как это важно. Пойдешь ко мне замом по конструкторской части?

Туманский сразу же согласился.

— А заместителем по научно-исследовательским и теоретическим работам нам нужен Стечкин, — заключил Микулин.

Вместе с Туманским они составили проект постановления ЦК ВКП(б) об организации завода, предусмотрев все до мелочей. Несколько дней ездили по военной Москве, искали помещение. Стали «пробивать» проект. Не везде он встретил поддержку. В некоторых отделах наркомата авиационной промышленности считали, что такой завод должен быть при серийном производстве, иначе он оторвется от практики. И Микулин, и Туманский были опытными конструкторами, достаточно прочувствовали на себе положение зависимости. После безрезультатных хождений по инстанциям Микулин добился приема у Сталина. Надо сказать, что Александр Александрович был организатором фордовского типа, только еще посильнее. Его побаивались и наркомы, ибо Микулин мог при всех сказать Сталину:

— Товарищ Сталин, вот этот мешает мне работать.

И «этот» больше не мешал работать Микулину, создававшему первоклассные двигатели.

Был случай, когда Александр Александрович предложил для одного из своих моторов новые клапана с дорогостоящими солями натрия. Стали подшучивать над конструктором: дескать, Микулину соленых клапанов захотелось, как соленых огурчиков. Короче говоря, эти клапана в инстанциях не утверждались. Тогда Микулин принес их на заседание Государственного комитета обороны, высыпал на стол и доказал их целесообразность. Поддержал В. М. Молотов, который много, деятельно и полезно помогал микулинскому КБ. А Сталин сказал:

— Если Микулин попросит делать бриллиантовые клапана, и это пойдет на пользу авиации, будем делать бриллиантовые! Микулин никогда нас не подводил.

И вот сейчас, войдя в главный кабинет Кремля, Микулин обосновал необходимость создания самостоятельных опытных заводов.

«И Сталин согласился. И подписал, — рассказывал академик С. К. Туманский. — И дал указание оформить решение правительства по этому вопросу. Довольно быстро такое решение вышло. Все-таки мудрый человек был... Мы — тогда нас было уже пятеро: Микулин, я и три инженера — приехали в Лужники в пустое здание с грязными, загаженными комнатами, ни стекол, ни отопления, ни освещения не было, — и начали организовывать завод».

«Я 38 раз был у Сталина, — говорит Александр Александрович Микулин. — Сталин и Молотов — люди огромного, государственного ума. Передайте Вячеславу Михайловичу мой большой привет. Благодаря его заботе наше бюро имело такие успехи!

— А Стечкина я спас, — продолжает Микулин. — Мне часто говорили: «Микулин, почему ты не можешь вызвать Стечкина?» — Я отвечал: «Поймите вы, забрать человека у Берии не так-то просто. За это он и меня наколпачит! Надо дожидаться момента».

Я пришел к Сталину и сказал: «Товарищ Сталин, в политике вы гений, а в технике положитесь на меня! Погибнет вся авиация, если не будет создан завод главного конструктора, на котором я не должен согласовывать каждый свой шаг с директором». И Сталин поддержал меня. А я его попросил: «Только, товарищ Сталин, у меня одно условие. Без помощника по научной части я ничего сделать не смогу. Мы два родных племянника Жуковского, я и мой друг, мой двоюродный брат Стечкин. Он несправедливо посажен, никакого обвинения ему не предъявили, никаким вредительством он не занимался, я за него отвечаю головой, и он будет у меня замом по научной части».

Сталин вызвал Поскребышева:

— Вызовите Берию!

Явился Лаврентий Павлович.

— Вот Микулин просит себе заместителем Стечкина, — сказал Сталин.

— А что, он больше никого другого не может найти? — поморщился народный комиссар внутренних дел.

— Он мой двоюродный брат, я за него ручаюсь, он будет очень хорошо работать, — сказал Микулин.

Берия пожал плечами и незаметно кивнул на Сталина: мол, как решит, так и будет.

— Товарищ Сталин, я вас очень прошу удовлетворить мою просьбу, — сказал Микулин.

— Ну хорошо, дадим ему Стечкина под его ответственность, пусть хорошие моторы делают, — ответил Сталин.

Сохранилась выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета СССР № 12 от 27.2.1943 г.: «Стечкина Б. С. (дело № КП—687с) из ИТЛ досрочно освободить, снять поражение в правах и судимость».

Имеется и справка Первого спецотдела НКВД СССР № 8/9526 от 4.3.1943 г.:

«Выдана гр-ну Стечкину Борису Сергеевичу, 1891 г. рождения, урож. Тульской области и района, села Труфаново, в том, что он 2 декабря 1937 года был арестован и Военной коллегией Верховсуда СССР 31 мая 1940 года по ст. ст. 58—7—11 УК РСФСР осужден в ИТЛ сроком на 10 лет с поражением в избирательных правах сроком на 5 лет и конфискацией лично ему принадлежащего имущества.»

Согласно постановлению Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27.2.1943 г. досрочно освобожден со снятием поражения в правах и судимости.»

Постановлением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 22 апреля 1955 года за № 4Н—03636/55 как постановление коллегии ОГПУ от 1931 года, так и приговор Военной коллегии от 1940 года после пересмотра дел отменены и дела ввиду отсутствия состава преступления прекращены...

Почти все чертежи своих двигателей Стечкин всегда делал сам. Любил чертить компоновки, разрезы, отыскивая краткий путь решения задачи. Чертил в любых условиях. А за годы тюрьмы совсем отвык от удобств и, когда его вызвал охранник, он сидел на койке с чертежной доской на коленях. Охранник велел собираться с вещами. И почему-то спросил, любит ли он пирожки.

«Посадили в поезд, никто ничего не говорит, — вспоминал Борис Сергеевич, — и только когда в вагоне мне принесли курицу и пирожки, в арестантском вагоне, я понял, что еду на свободу».

Сопровождал солдат с винтовкой и пакетом. В Москве вскрыл пакет, и оказалось, что Стечкин уже несколько дней как свободен.

Холодным мартовским днем Борис Сергеевич вышел на перрон Казанского вокзала в Москве. Как он добирался домой, мы не знаем, да это и несущественно, известно, что очень скоро он был на Арбате, в родном доме на Кривоникольском. Дети во главе со старшим Сергеем были дома, и тут же, не помня себя от радости, бросились звонить матери на работу.

С 1930 года Ирина Николаевна постоянно работала. Дочь выдающегося русского химика Н. А. Шилова, она была микробиологом и до самой пенсии преподавала на химическом факультете Московского университета. Просиживала ночи над переводами технической литературы, что давало дополнительный заработок и спасало семью в тяжелые времена. И дети привыкли: дома ли отец, нет ли его, мама у них работает.

«Она была честнейшим человеком, — вспоминает профессор А. А. Космодемьянский. — Тяжелые годы, конечно, сильно отразились на ней».

Самое трудное для семьи время началось со второй половины 1942 года и продолжалось до возвращения Бориса Сергеевича. К 1943 году все проели. Одно время жили с бабушкой Верой Николаевной Шиловой в Мыльниковом переулке, но в 1942-м бабушка скончалась — и во время войны люди умирали от старости. Заработков не хватало. Но тогда никто не жаловался, всем было нелегко — война. Стечкины же попали в особое положение. Даже просто общаться с такой семьей считалось не очень-то приличным. Жили впроголодь.

«Семьи получали за нас мизерную зарплату, — говорит К. А. Рудский. — Это было больше реноме, чем помощь. Если мы жаловались, наших жен восстанавливали на работе, если ничего не говорили, так и оставалось».

Многие бывшие друзья и даже родственники отвернулись или «самоустранились». «Члены семьи изменника Родины», ЧСИРы...

Но были люди, которые, наверно, многим рисковали. К их числу принадлежал Александр Александрович Архангельский, выдающийся авиаконструктор и благороднейший человек, который не только не прекратил общение с семьей своего друга, но и помогал материально, зная, как нелегко приходится Ирине Николаевне с тремя детьми. Семье даже не было известно, в чем обвинили Бориса Сергеевича. В 1930-м, во время процесса над Промпартией, фамилия его появлялась в газетах, а в 1937-м о нем ничего не писали.

Многие отвернувшиеся вновь объявились после досрочного освобождения Стечкина. Один пришел с плиткой шоколада, другой, узнав заранее, что Борис Сергеевич на днях вернется домой, принес голодающей семье мешок капусты.

Ирине Николаевне помогала, как могла, домработница Шура. Соседка Елена Николаевна Мандрыко старалась подкормить маленькую Иру. В квартире было холодно и голодно, но гнетущей обстановки не чувствовалось — это заслуга Ирины Николаевны. Конечно, не просто ей было и дома, и с работой устроиться. Все вечера занималась переводами или шила. Дети не ощущали, что живут скудно — они не знали об этом. И в школе товарищи к ним хорошо относились. Сергей был круглым отличником, в 1938 году стал поступать на математический факультет Московского университета. Однако в МГУ не брали ЧСИРов, и ему удалось поступить в Горьком. Ирина Николаевна отправляла из своих скудных достатков посылки. В 1939-м Сергей совсем заскучал в Горьком и решил перевестись в Москву. В этом ему помогли два человека.

Архангельский поехал к ректору МГУ, но разговор не принес успеха, и тогда Александр Александрович отправился в Узкое к Сергею Алексеевичу Чаплыгину и привез от него ректору письмо. Перед авторитетом Чаплыгина ректор устоять не мог и выдал резолюцию: «Придется принять».

«Когда папа вернулся, — говорит С. Б. Стечкин, — мама на радостях приготовила кашу из пшеницы, и он, по-моему, с удивлением смотрел на то, что мы едим».

Сдержанный, как и в иные моменты своей жизни, Стечкин не хотел показывать, как нелегко ему видеть бедственное положение своей семьи. Вторая комната

была совсем закрыта — дров и на одну не хватало. А Ирина Николаевна и дети были поражены, как похудел Борис Сергеевич. Это особенно бросалось в глаза, потому что он был высоким. «Я не видела более тощих людей, чем папа в 1943 году», — вспоминает Вера Борисовна Стечкина. Сам же Стечкин считал, что по сравнению с семьей он питался в Казани по-царски.

Помнится, после войны было популярным слово «доход». Употребляли его не как синоним прибыли, а для характеристики отощавшего человека, дистрофика, каких тогда было в достатке. Сейчас слово «доход» в прежнем его значении исчезло из лексикона, но, боюсь, как бы снова не вернулось...

Стечкину поправляться было некогда. В тот же день он едет на только что созданный завод.

«Микулин взял себе кабинет бывшего директора завода, а я — кабинет бывшего главного инженера, — рассказывает С. К. Туманский. — Стояли в этих кабинетах по поломанному столу и стулу, но мы решили, что надо сидеть и делать начальственный вид. Назначили начальника отдела кадров, стали набирать людей, сначала первых попавшихся, и жизнь как-то завертелась.

И вот я сижу у себя, и входит какой-то человек: шапка-ушанка на нем, одно ухо опущено, другое вверх торчит, валенки подшитые, рваные, тулуп овчиной пахнет. Входит и говорит:

— А где я могу здесь видеть Микулина Александра Александровича?

Я смотрю: боже мой, Стечкин, Борис Сергеевич! Я к нему бросился, мы обнялись, и я его провел к Микулину. Вот таким было первое его появление на нашем заводе. Если б был фотоаппарат, снять бы эту картину... Просто невероятно, сорок третий год, начало марта. «А где я могу здесь видеть Микулина Александра Александровича?» — спокойным таким голосом...»

Послушаем А. А. Микулина: «Я был на своем заводе, который еще не отапливался, бывшие корпуса Госзнака. Грелись электрическими печками. Входит секретарша:

— К вам какой-то гражданин Стечкин.

— Кто?

— Какой-то Стечкин, только у него очень странный вид.

— Пускай же войдет! Скорей!

В серых валенках, стеганке из самой дерьмовой материи, шароварах, выпущенных по-арестантски, он вошел, сделал два шага, остановился:

— Товарищ генерал, прибыл в ваше распоряжение!

— Стечкин, ты с ума сошел!

Я в генеральском, обнимаю его, слезы, радость...»

На заводе работало всего несколько человек: Сорочкин с группой, Лившиц, Выгодский, Огуречников — вот и все КБ. Сидели в одной большой комнате, где сейчас кабинет директора. И заводит туда Микулин человека в мужицко-арестантской одежде, мужиковатого на вид, но глаза умные, живые, ясные:

— Вот вам Борис Сергеевич Стечкин!

ЧЕКИСТ

Я не знаю, хто кого морочить,
Я б нагана знову в руки взяв
І стреляв бы в кожні жирні очі,
В кожну шубку і манто стріляв!

Володимир Сосюра, 1928

Слава вам, железные чекисты,
Слава вам, и доблесть и почет —
От степей и до лесов смолистых,
От пустынь до западных широт!

(Из песни 30-х годов)

ЛИШНИЙ ГОД

Не столь многочисленные умные люди в России в наше время осознали, что они умнее прочих, — у них появилась возможность это осознать, и они решили поработать на простодушии многочисленных дураков.

Появились сенсационные публикации, в частности о том, что заместитель Гитлера по партии Борман служил советским разведчиком; предатель Власов отнюдь не был предателем, а работал на Сталина; во дворе дома Берии раскапывают трупы убиенных им жертв... Чего только не прочитаешь! Все интригующе, интересно. Однако после такого чтива хочется поговорить с людьми не просто умными, но и знающими, свидетелями, а то и участниками — они еще иногда встречаются. Такие люди порой становятся разрушителями легенд, и радуешься, когда докапываешься до истины.

Я люблю разговаривать со старыми людьми. Среди моих знакомых еще живы некоторые из тех, кто родился в начале века, в первые его годы. Завершается двадцатое столетие. Кажется, есть в этом нечто мистическое, как, впрочем, казалось наверно, жителям конца любого века. В. М. Молотов, человек девятнадцатого столетия, выросший в русской купеческой среде, рассказывал мне, как боялись люди вступать в двадцатый век. Надо сказать, предчувствие их не обмануло.

Я позваниваю старикам, поздравляю их с нашими прежними праздниками, иногда навещаю. Признаюсь, что сегодня мне интересны вчерашние люди, — может, кто-то из сегодняшних станет интересен завтра. Время от времени звоню Василию Степановичу Рясному — ему давно за 90, и знакомы мы с ним более семи лет.

Родился он в Самарканде в 1903 году, но говорит, что приписал себе год, чтобы взяли в Красную Армию, — пошел добровольцем. Сейчас, когда юноши всячески избегают призыва в армию, не очень, наверно, понятно движение души паренька 1920 года, но учащийся железнодорожного технического училища в Ашхабаде сразу откликнулся на комсомольский призыв ликвидировать Закаспийский фронт. Ну а поскольку Василий знал туркменский язык, его направили в политотдел 1-й армии. Пробыл он там 1920 и 1921 годы, так что он — участник гражданской войны. Я вот с ним сейчас разговариваю, он в 1921-м уже воевал, а моя мать в 1921-м только родилась, и ее уже 40 лет нет в живых...

В 1921 году после окончания боевых действий многих работников политотдела армии бросили, как говорили тогда, на формирование местных партийных, комсомольских и советских органов — в Туркмении таковых еще не существовало. Рясного избрали, а вернее, назначили секретарем Тедженского уездного комитета комсомола.

— Но там же нет никаких комсомольцев! — удивился он.

— Вот ты и будешь первым! — последовал ответ.

«Мне было 16 лет, — говорит Василий Степанович, — но я был довольно крепкий и в 1921 году поехал в Теджен организовывать комсомол».

Тедженский уезд был сильно заражен басмачеством. Пришлось вместе с партийцами на голом месте

не только создавать комсомол в уездном центре, но и овладевать аулами. Немного комсомольцев завелось и там. Возникла маленькая, но организация, и она набирала силу.

В 1922 году Рясной стал коммунистом и пошел, как говорили, по партийной линии — заворгом в укоме партии. Секретарями, как правило, были местные, туркмены, ну а он был заместителем секретаря. До 1931 года работал в районных и в окружном комитетах партии, избирался членом ЦК Компартии Туркмении. Можно сказать, прошел всю Среднюю Азию — в армии и на партийной работе.

НАДЯ АЛЛИЛУЕВА

В 1931 году он стал настойчиво проситься на учебу, образования-то не было, всего три года проучился. Ему пошли навстречу, направили в Москву, в Промышленную академию имени Сталина, в ту самую, где учились Хрущев и Аллилуева, жена Сталина. Хрущева он уже не застал — того назначили секретарем Бауманского райкома партии Москвы, а Аллилуеву узнал очень хорошо. Они учились на одном, химическом факультете, она была членом партийного комитета академии, а Рясного, поскольку он пришел с партийной работы, быстренько избрали председателем профкома факультета. И они вдвоем отвечали за состояние дел на факультете.

«Очень симпатичная, приятная женщина, трудолюбивая, скромнейшая до невозможности, — говорит Василий Степанович. — Многие и не знали, что она жена Сталина. Одевалась просто и незатейливо, как большинство».

Ее дочь, Светлана Аллилуева, через много лет напишет о том, что маме и не снилась кредитная карточка «Америкен экспресс», поскольку времена Раисы Горбачевой наступят значительно позже. Да и можно ли представить Сталина во время всяческих официозов рядом с какой-то женщиной? Кроме неприязни, это ничего бы не вызвало у народа в ту пору. Да и не только в ту пору.

«В разговорах она со мной кое-чем делилась, — продолжает Рясной. — Например, я знал, что из Крем-

ля на машине она доезжала до Казанского вокзала, там оставляла автомобиль и шла пешком до академии, до Ново-Басманной улицы».

В 1932 году, когда закончили курс, начальство и партком подвели итоги и опубликовали в многотиражке список отличников. Была среди них и Надежда Сергеевна Аллилуева.

«Она закатила истерику, — говорит Рясной, — дескать, это неправильно, это ложь, это не из-за ее успехов — просто истерично плакала! Надя — все звали ее по имени — казалась немного странной, и видно было, тяжело переносила свое замужество».

Она застрелилась на октябрьские праздники, в ночь на 8 ноября 1932 года. Тело ее лежало в здании ГУМа, где некоторое время размещалась канцелярия Верховного Совета, в большой комнате второго этажа. Весь химический факультет пришел с ней проститься. Потом гроб перенесли со второго этажа на первый, появились члены Политбюро, установили гроб на катафалк и пошли за ним.

«Я до сих пор помню, что Сталин, Молотов, Каганович прошли с нами мимо Манежа, по Москворецкому мосту, а потом отстали и исчезли. Мы пришли на Новодевичье кладбище, а они подъехали на одной машине. У ворот стояли люди со списками, и нас всех проверили.

Было морозно. Чекисты, лежавшие на крышах ближайших домов, не выдержали, стали шевелиться, народ смотрит на крыши, а там стволы торчат... Ее похоронили недалеко от кирпичной стены. Сталин присутствовал, Молотов и другие, это я хорошо помню», — подтверждает Рясной. Таким образом, он развенчивает одну из популярных в последние годы легенд, по которой Сталин даже не поехал на похороны собственной жены. Впрочем, об этих похоронах мне рассказывали и Молотов, и Каганович. Однако, по мнению нынешних «демократов», разве можно верить таким, как Молотов и Каганович? Было бы лучше, чтоб Сталин не присутствовал на похоронах — лишний штрих к его портрету. Однако он там был.

Я вспомнил другую легенду, которую услышал на Новодевичьем кладбище в конце 50-х годов. На могиле Аллилуевой стоит прекрасный памятник работы Шадра, и у его подножия прежде была белая мрамор-

ная роза. И лежала она как-то несимметрично, в стонке.

Рассказывали, что Сталин посетил могилу, стоял с букетом и уронил розу. На том месте, где она упала, скульптор изваял ее из мрамора...

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, да и ни к чему это.

СТРАШНАЯ МТС

Рясному не дали доучиться в академии. В ту эпоху человек сам себе не принадлежал, тем более член партии. В 1933 году на пленуме ЦК обсуждалось тяжелейшее положение в сельском хозяйстве — в стране был голод, в нескольких областях, по крайней мере. Постановили создать политотделы в совхозах и в машинотракторных станциях (МТС). Рясного вызвали в ЦК, и он снова увидел один из любимых кабинетов больших начальников — такой длинный, что, пока идешь по нему, соображаешь, зачем тебя вызвали. Принимал Лазарь Каганович:

— Вот, дорогой товарищ, по решению Политбюро ЦК партии мы вас рекомендуем в Сталинградский край начальником политотдела МТС. Это — как секретарь райкома партии.

— Товарищ Каганович, дайте мне доучиться, осталось немного! — взмолился Рясной.

— Что делать? Надо быстрее решать вопросы сельского хозяйства, а то эти вот Чемберлены нас ждать не будут!

Пришлось ехать. Сталинградский край состоял из двух областей — Сталинградской и Саратовской. Прибыл в МТС, в село Лемешкино Рудянского района. Кое-как добрался. Народу в Лемешкине не видать. Зашел в избу — лежат разлагающиеся трупы. Село большое, триста дворов, а половины селян уже нет в живых. Сходу дал об этом телеграмму начальнику политуправления Наркомзема — Сомос был такой.

Нашел МТС — драный сарай, в нем три развалюхи-«Фордзона» — вся МТС.

— Где директор?

— Нет у нас директора.

— А кто есть?

— Был главный инженер, но его посадили за вредительство.

Вскоре прибыл директор из Ленинграда, питерский рабочий, начали двигать дело.

После телеграммы в Наркомзем на месте стали выправлять положение, прислали семян, как будто прежде не знали, что творится.

В 1935 году политотделы МТС преобразовали в райкомы партии, и Рясного избрали первым секретарем. Через год в район приехал Жданов, посмотрел, понравилось. Удался урожай, устроили праздник. Местный писатель даже брошюрку накропал об успехах района.

А в феврале 1937 года Рясному приходит телеграмма: срочно выехать в Москву. И тут же позвонил первый секретарь крайкома Варейкис:

— Собирайтесь и немедленно выезжайте по вызову в ЦК!

Подумал: может, дадут закончить наконец академию?

ЛУБЯНКА ЕЖОВА

Не дали. В Москве поселился на Рождественском бульваре — в ту пору там стоял дом для приехавших в ЦК, своеобразное общежитие для мобилизованных с партийной работы. Вскоре человек двадцать общежитцев собрали в кабинете у Маленкова, и он объявил, что их всех направляют на работу в НКВД — после ареста Ягоды меняли кадры. Пешком во главе с Маленковым они отправились из здания ЦК в обитель ЧК. Зашли в подъезд со стороны площади и поднялись в приемную народного комиссара внутренних дел. Маленков сразу направился в кабинет наркома Ежова, а вскоре туда пригласили и остальных.

— Вы облечены доверием пролетарского могущества, — обратился к собравшимся Николай Иванович Ежов.

Ему вторил Георгий Максимилианович Маленков:

— Нас окружают враги. Они повсюду, и вы должны стать на страже завоеваний революции!

«Конечно, враги были, — говорит Рясной. — Попал я в контрразведку, взяли на самую низшую должность — оперуполномоченным. Но надо сказать, на Лубянке организовано все было очень здорово, причем

организацией больше других занимался именно Маленков. Долгое время приходилось постигать чекистскую премудрость. На «наружку» ходил — вел наружное наблюдение за иностранцами. Это при Ежове».

Спрашиваю о Ежове, что за человек? Авиаконструктор А. С. Яковлев пишет, что Ежов был пьяница, морально разложился...

«То, что разложился, правда, — подтверждает Рясной. — Но я его мало знал. Вначале он занял кабинет Дзержинского на втором этаже, но там ему не понравилось, перешел на четвертый этаж. Помню это потому, что известный казахский акын Джамбул Джабаев приезжал в гости к Ежову на четвертый этаж».

Вот откуда, оказывается, джамбуловская «Песня о батыре Ежове»:

Великого Ленина мудрое слово
Растило для битвы батыра Ежова.
Великого Сталина пламенный зов
Услышал всем сердцем, всей кровью Ежов.

И еще мне запомнилось из той же песни:

Бандиты попались в капканы Ежова...

Сам батыр был маленький, аккуратненький человек, но капканы расставил по всей стране...

Здание на Лубянке при царе служило гостиницей. Его перестраивали, конечно, но сохранились длинные коридоры. Про Ежова в этих коридорах гуляли слухи, что он зверь. День его нет на работе, два нет, три нет, а потом ночью, часа в два, появляется и начинает обходить кабинеты.

«Ночью, пока не уйдет Ежов, нас держат на месте, — вспоминает Василий Степанович. — Недалеко от меня в одном из кабинетов следователь вел допрос. Ежов заходит туда, а с ним еще три-четыре человека, его опричники. И начинает бить сам. Крики оттуда... Это у меня осталось в памяти от Ежова, больше ничего. Думаю, что он перерожденец. Ирод. Его хвалили, что в первую империалистическую войну он принимал деятельное участие в революционном выступлении солдатской массы. Видимо, так и было, никуда этого не денешь. У нас шептались в коридорах,

что пьет в кабинете, с женщинами гуляет... Его сняли, назначили наркомом водного транспорта, а потом расстреляли, как и Ягоду до него. Сняли за то, что издевался над людьми, а на самом деле то, что он творил, было первой ступенью издевательств, которые продолжались и росли.

В нашем отделении меня избрали парторгом. Помню совещание парторгов, которое вел Маленков. Он прочитал телеграмму Сталина всем органам НКВД о том, что, вместо того чтобы проявлять пролетарскую жесткость, проявляется либерализм. Нас обязывали применять жесткие меры по отношению к неразоружающимся, то есть бить их. Я не был следователем, но знаю, что лозунг Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают» — первое, что было на языке у следователей, они с этого допрос начинали и как будто великое дело совершали, произнося эти слова. Боялся, что ли, Сталин, что его снимут? У него иногда грубо проскальзывало: — Вы говнюки, чекисты, бить надо!

Маленков был как бы прикрытием этой палаческой деятельности. После снятия Ежова он чуть ли не каждый день приезжал.

За некоторых заступался Молотов. Например, он спас Тевосяна — это был крупнейший государственный муж в области хозяйства. Но, между нами говоря, на Лубянке Молотова стали игнорировать, и он в таких острых делах старался не участвовать».

БЕРИЮ НЕ ЖДАЛИ

Когда сняли Ежова, на Лубянке наступил период «междущарствия». Фактическим хозяином стал заместитель Николая Ивановича Фриновский. Он заправлял избиениями, властвовал, хотя первым заместителем еще при Ежове назначили Берия — первого секретаря Компартии Грузии. Но Берия как преемник Ежова ничем себя не проявлял и сам как бы нарочно выставлял вперед Фриновского. А потом прошел слух, будто вместо Ежова наркомом внутренних дел станет... Хрущев. Говорили, будто сам Сталин его предлагает.

Я читал о том, что Сталин вроде бы хотел видеть на этом посту своего и народного любимца легендарного летчика Валерия Чкалова. Об этом мне говорил

и его сын, Игорь Валерьевич Чкалов. Однако не получилось ни то, ни другое. Чкалов погиб в конце 1938 года, а вместо предполагаемого на Лубянке Хрущева ее хозяином внезапно стал Берия.

Он начал спокойно, не проявляя характера. Постепенно наращивал мощь. Вызывал к себе сотрудников и задавал им только один вопрос:

— Вы работаете здесь уже давно — год или полтора. Кто, на ваш взгляд, ведет здесь себя не по-человечески?

С этого начал. И таким вежливым, участливым тоном расспрашивал, дознавался. Тех, кто вел себя «не по-человечески», выгонял, арестовывал и расстреливал — вплоть до командного состава. Арестовывал первую партию и стал выявлять следующих. На самые ответственные посты перетащил немало своих людей из Грузии и Армении...

Вместе с Рясным в группе партийных работников в НКВД начальником отделения служил бывший секретарь Куйбышевского обкома партии Обручников. Берия сделал его своим заместителем по кадрам. А тот в беседе с кем-то заметил, что в НКВД сейчас одни грузины, сделали, мол, из грузин чекистов, скоро всех остальных выгонят. Это дошло до Берии, и того, кто донес, арестовали и сослали в Магадан, а Обручников остался. Доносчик сидел в Магадане, пока Берию не расстреляли. Обручникова не трогали. Тронули после ареста Берии. Все наоборот. Такова чекистская жизнь.

«Берию я часто видел, — говорит Рясной. — Чтоб грамотный был — не очень. Помню, всегда бегом собирался к Сталину, запихнет записку в тужурку и поехал. Он Сталина и боялся, и жаждал, чтоб с ним что-то случилось, чтоб его не было. У меня такое мнение. Он хотел, конечно, большего, чем добился. Но вряд ли готовил переворот. Какими силами? Ну арестует правительство, но есть же армия».

ПРОКАЗЫ ФОН БАУНБАХА И ПОДКОП ПОД КЁСТРИНГА

Рясному присвоили звание майора госбезопасности, две шпалы на петлицах. Если учесть негласное мнение, что в так называемых органах звание счита-

лось на две ступени выше общеармейского, то шпалы были солидные.

Вспоминается Смеляков:

По этим шпалам вся Россия,
как поезд, медленно прошла...

К внутренним делам Рясной отношения не имел, занимался внешней разведкой, главным образом посольствами, — вероятно, это и спасло его после ареста Берии. Еще до войны Василий Степанович стал начальником немецкого отделения или, как он сам говорит, отделения по обслуживанию немецкого посольства. Подчинялось ему человек двадцать чекистов. Как он обслуживал, мы сейчас узнаем.

«Обкладывал», — замечает он.

Объектами внимания Рясного стали военно-морской атташе посольства Германии фон Баунбах и военный атташе Кёстринг. Впоследствии Гитлер расстрелял Кёстринга за то, что тот неверно освещал состояние Красной Армии, да и наши чекисты подложили ему свинью.

Надо заметить, что до войны уже были разработаны подслушивающие устройства.

«И вот я этому Кёстрингу, впервые было, вставил в кабинете подслушиватели в телефонный аппарат и под радиатор — три штуки. Вставишь, а они по радио передают. У него из кабинета дверь в спальню, и он спал в этот момент. Это перед войной. А после войны мы так же американцам на их посольстве в глаз ихнему орлу на гербе вставили радиоподслушивающее устройство — они нашли и шум подняли! А немцы так и не нашли. Это рядовые дела».

Как же майор госбезопасности Василий Рясной проник в германское посольство?

На него была возложена задача: НКВД должен знать все, что каждый день происходит в германском посольстве.

Нужны агенты. Как их добыть? Завербовать? Из кого? Желательно из сотрудников посольства. Но там работали, как принято у нас писать и говорить, матерые фашисты, и это правда. А если действовать через обслуживающий персонал и, как во все века, через проституток?

В посольстве придерживались такого порядка: ра-

ботники, близкие к главным фигурам, — немцы, а вот шоферами, уборщиками могли быть и русские, но после большой проверки. И каждый день начальник отделения НКВД майор Рясной лично занимался то нянкой, то сторожихой, то уборщицей...

«Никто до сих пор не знает и не оценил, — говорит он, — какую огромную помощь оказали эти люди нашей разведке. Десятка два таких помощников у меня было на связи».

А масштаб работы расширился. Кроме германского, Рясному было поручено также наблюдение за словацким и венгерским посольствами. Так что содержимое мусорных ящиков трех западных посольств ежедневно поступало в его кабинет, и несколько научных работников расшифровывали обрывки бумаг, смятые копирки, составляли сводки, не говоря уже о подслушанных телефонных разговорах, «жучках» в служебных кабинетах сотрудников посольств. Обычная работа.

Военно-морской атташе фон Баунбах жил на улице Воровского. Ныне особняк принадлежит посольству ФРГ. Это возле Международного сообщества писательских союзов, бывшего Союза писателей СССР.

В одном из кинотеатров фон Баунбах познакомился со смазливой московской девицей — чего-чего, а этого добра у нас всегда хватало. Время от времени стал с ней встречаться. Кроме вечерних и ночных занятий своей основной профессией девица работала в наркомате торговли. Чекисты быстренько вышли на нее, и во время приватной беседы майор НКВД ободряюще напутствовал:

— Ты ему хорошенько давай, покрепче!

Девица старалась, но была русской, и немец ей, конечно, не доверял. Однако у нее появилась еще более красивая подружка, причем немка, на самом деле немка, но наша — не поленились, нашли, привезли из тогдашней автономии немцев Поволжья! И та, что из наркомата торговли, познакомила военно-морского атташе со своей подружкой, он в нее влюбился и предложил стать у него горничной. Все шло по плану.

У сотрудницы наркомата торговли случился день рождения, и она пригласила фон Баунбаха к себе на квартиру. Немца, охранявшего атташе, свели с другой веселой девицей, и та утащила его к себе. В доме

осталась горничная, прекрасная немка из Поволжья. В назначенное время она показала в окно конфетную коробку, и в особняк вошли двое штатских: Рясной, а за ним специалист-ключник из оперативного отдела — у него уже были сделаны ключи от сейфа фон Баунбаха по восковому слепку, переданному нашей немкой. Ключи выточили вроде точно, но сейф открыли с большим трудом. Выгребли бумаги и скорей отсюда через дорогу, в кинотеатр, где сейчас Театр киноактера. В специально оборудованной комнатке был приготовлен фотоаппарат. Обливаясь потом, пересняли документы и отнесли назад в сейф, аккуратно все сделали, чтоб ни одного пятнышка не осталось.

— Это же мука, — говорит Рясной, — не кому-нибудь сделал неприятность, а целому государству, хоть и враждебному.

Да еще с этим государством у нас Пакт о ненападении и дружба прямо взапрос... Подобным образом Рясной трижды выгребал сейф германского военно-морского атташе. Было ли там что-то важное для нас? Было. Списки агентуры, например. Стенограммы совещаний в Берлине, у Гитлера. Явная подготовка к войне.

— Через мои руки проходил сигнал о начале войны, — говорит Василий Степанович.

— Что 22 июня, вы знали? — спрашиваю.

— Знал.

— А про Зорге знали?

— Нет, Зорге я не знал. Но дата нападения нам была известна точно.

Когда Рясной представил в НКВД снимки документов, его вызвал Берия:

— Ну хорошо. Ну ладно. Но вы только одно дело делаете, а про второе забываете. Надо было немца все время фотографировать, когда он с этой бабой!

— Постараюсь сделать, — ответил Рясной.

Пришлось подружке еще раз пригласить бравого моряка на ту же квартиру. Придумали предлог: девиц будет две, а не одна, как прежде. Рясной за хорошее вознаграждение уговорил хозяина соседней квартиры временно переселиться с семьей в гостиницу. Зачем — квартиросъемщик догадался, да и скрыть от него было не просто. Но попробовал бы он проболтаться!

И встретился фон Баунбах с двумя москвичками

в уютной квартирке, сел за стол напротив большой картины с просверленной в ней дырочкой. За стеной затаились чекисты, снимают, беззвучно шелкая. Неплохо наладили дело в оперативном отделе НКВД. Вот-вот начнется у нас Великая Отечественная война, на столе выпивка и закуска...

Разгорячился морской атташе, раздел одну девицу, заголил вторую, заставил их плясать. Они его тоже раздели и повели в ванную. «Эх, жаль, черт возьми!» — сокрушались за стеной оперфотографы. Но напрасно: девицы были проинструктированы что надо — мокренького, вывели моряка в ту же комнату под объектив...

Толстую пачку фотографий принес Рясной своему старшему начальнику Федотову, а тот передал Берии. Лаврентий Павлович вызвал Рясного. Обычно неулыбчивый, нарком сидел в кресле и беспрерывно хохотал. Фотографии он разложил на своем большом столе и восхищался узкой талией и широкими бедрами одной девицы, упругим бюстом другой, древнеиндусскими позами участников волнующего собеседования. Знать, не рядовые ремесленницы, а великие мастерицы Москвы развлекали германского атташе, положили его на стол, одна за одну ногу тянет, другая — за другую...

Правда, поздновато сфотографировали. Не успел НКВД пошантажировать своего «клиента» — через несколько дней наступило 22 июня 1941 года... Не удалось «вербануть» фон Баунбаха. Но документы у него из сейфа вытаскивали подходящие...

А мне вспомнилось — подобную штуку проделали немцы в Германии с советским военным атташе генералом Пуркаевым. Об этом рассказывал Главный маршал авиации А. Е. Голованов. Пуркаева сняли во всех видах с немецкой шпионкой, которая тоже работала горничной. Ничего оригинального ни у тех, ни у других — все старо, как мир!

Немцы, правда, успели предьявить Пуркаеву фотографии, пытаясь склонить его к сотрудничеству. Но советский атташе набрался мужества, полетел в Москву и — черт с ней, с головой! — обо всем рассказал Сталину. Тот постоял, подумал, посмотрел на генерала и махнул трубкой на случившееся...

Что ж, с вербовкой наши опоздали, но Лаврентий

Павлович получил большое наслаждение. Рясной знал, что шеф увлекается такими фотографиями...

А как попал наш майор НКВД в кабинет к военному атташе Кёстрингу? Тоже было непросто, поработала инженерная мысль.

Особняк Кёстринга стоял недалеко от дома фон Баунбаха, в Хлебном переулке. Рядом — обычный жилой дом. Так вот, между особняком и жилым домом пришлось прорыть метров семь двора и продолжить фундамент. Жильцам сообщили, что лопнула труба, и отключили на два дня воду — в Москве это обычное дело. Пришлось Рясному объясняться с начальником ЖЭКа. Объяснился. Прорыли дырку под дом, сделали подземный проход, пролезли туда и вышли в кладовую дворника, — тоже был из немцев Поволжья, спал в соседней комнате, ночью дело было. Рясной поднялся на второй этаж к Кёстрингу и наставил ему «жучков» в кабинете.

Слушали в соседнем доме. Тогда еще не было длинной связи. Делали так: ставили «жучок», а в двадцати-тридцати метрах подбирали подходящий дом, чтобы слушать. Выяснилось, что у Кёстринга тоже было чем поинтересоваться: он дал директиву, как законсервировать немецкую агентуру в СССР, составил задания по терроризму, а главное — провел совещание, из которого тоже получалось, что война начнется 22 июня...

НАЧАЛО НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА

Это все интересно, но было перед войной у Рясного одно дело, вернее, связанный с этим делом человек, о котором Василий Степанович вспоминает с особой симпатией.

Работая против германского посольства, Рясной понял, что занять там крепкую агентуру весьма сложно, почти невозможно. Сведения поступали только благодаря обслуживающему персоналу, немцам Поволжья, московским куртизанкам да технике подслушивания. Этого было недостаточно.

Рясной решил избрать несколько иной путь, не в лоб, а сбоку, сзади, через агентуру в других посольствах, с которыми у немцев были неплохие отношения.

Как мы знаем, в задачу Рясного входило и «обслуживание» словацкого посольства, которое было по сути дела придатком немецкого. Когда немцы оккупировали Чехословакию, словаки создали свое отдельное государство, и сотрудники словацкого посольства стали германскими холоуями.

«Мне удалось занять хорошего агента в словацком посольстве с помощью известного потом нашего разведчика Кузнецова Николая — вот кто действительно герой!» — говорит Рясной.

Так впервые в наших беседах вспыхнуло это имя.

В детстве я зачитывался книгами партизанского командира Дмитрия Медведева «Это было под Ровно» и «Сильные духом», не раз смотрел кинофильм «Подвиг разведчика» (каждый раз смотрю по телевизору и сейчас!). Мы, мальчишки, повторяли полюбившиеся фразы типа: «У вас продается славянский шкаф и никелированная кровать?», или: «Вы болван, Штютинг!», или: «Тегпение, Вилли, тегпение, и ваша щетина пгевгатится в золото!» — кажется, так или что-то в этом духе. Майор Федотов из «Подвига разведчика» был предтечей многосерийного Штирлица, но мы тогда еще не знали, что за киногероем Федотовым стояла подлинная героическая личность — Николай Кузнецов. Сейчас говорят — кто-то другой, но хочется, чтоб Кузнецов. Чего только не говорили о нем!

Появился, дескать, простой парень с Урала, прекрасно знал немецкий язык, и сам — вылитый немец, послали его в партизанский отряд Медведева. А совсем недавно я прочитал, что это был кадровый разведчик Главного разведывательного управления — ГРУ. Оказалось, все не совсем так или совсем не так.

И вот я сижу и разговариваю с человеком, который сделал Кузнецова разведчиком.

Да, Николай жил в Свердловской области, работал в совхозе. Но рядом с этим совхозом со времен Екатерины Великой поселились на хуторе немцы-колонисты. С русскими жили дружно. Николай познакомился с немецкими девушками и женился на одной из них. Отсюда такое знание немецкого языка! Сразу вспоминается облик «истинного арийца» обер-лейтенанта Пауля Зиберта, появившегося в Ровно, занятом германскими войсками...

Свердловские чекисты взяли на заметку Кузнецова

и завербовали, чтобы «освещать» в своих сводках этот хутор.

А на Лубянке в это время прошло совещание. Начальник отдела Федотов (надо же, совпадение фамилии с героем фильма! «Умный человек, очень хороший чекист, — говорит Рясной, — не то, что другие, такие, как Райхман и вся эта сволочь!»), так вот, Федотов говорит:

— У нас туго с немецким языком. Давайте напишем в наши подразделения на местах, нет ли подходящих людей, чисто знающих немецкий?

Так и сделали. Пришел ответ из Свердловска: есть такой парень. Симпатичный, смысленый, предприимчивый, активный.

— Давай вызовем его в Москву, — говорит Рясной Федотову. — Я с ним поакшаюсь, и решим, как быть дальше.

— Конечно, снять его оттуда денег стоит, да и жизнь человеку можно поломать, — ответил Федотов. — Но давай попробуем.

Октябрь 1940-го. Вызвали. Рясному позвонили из приемной, что прибыл гражданин из Свердловска, и спросили, где он с ним встретится.

— Давайте ко мне в кабинет, его ведь никто не знает.

Когда познакомились, Рясной пригласил своего сотрудника, знающего немецкий язык.

Выяснилось, что Кузнецов блестяще освоил не только хуторской немецкий, но и увлекается культурным языком, читает художественную литературу, занимается по учебникам.

С женой он развелся, связей со Свердловском у него не осталось, и Рясной поселил его на «КК» — конспиративной квартире. Сначала поводил за ним «наружку», понаблюдал, куда он ходит, тем более, он сказал, что у него в Москве нет знакомых. Раз, другой последил за ним по городу — все нормально. И дал согласие начальству, что берет его к себе. Раскрыл перед ним карты, в чем будет заключаться его роль. Пробовал на мелочах, серьезное задание давать не торопился.

Прошел месяц. Николай быстро освоился в Москве. Рясной рекомендует ему почаще ходить в театры, магазины... Школа, долгая школа, но она дала воз-

можно уверовать Рясному, что Кузнецова можно использовать, и ему была присвоена кличка «Колонист».

Как-то Кузнецов обмолвился, что ему приходилось не раз летать на самолете и он, хоть и не летчик, однажды даже сидел за штурвалом.

— Ну-ка, давай я тебя сделаю пока летчиком! — зафантазировал Рясной, не зная еще, чем обернется эта фантазия.

Николай надел летную форму и стал частенько наведываться в ювелирный магазин в Столешниковом переулке.

— Трись там побольше! — приказал Рясной. И он терся. То с одним познакомится, то с другой... Много там ходило иностранцев.

И вот наш молодой «летчик» присел возле магазина — плохо ему, дескать, стало. Подошел к нему некто, по-русски говорит с акцентом, но говорит. Николай объяснил незнакомцу, что неудачно посадил самолет и сильно ушиб ногу. Подошедший помог ему доковылять до трамвая. Познакомились — человек оказался секретарем словацкого посольства по фамилии Крно (Василий Степанович долго не хотел называть эту фамилию, но потом махнул рукой — более полувека прошло!). В НКВД проверили — точно, он. Словацкое посольство состояло всего из пяти сотрудников, и никто на них не обращал серьезного внимания. Но как оно было нужно нашим разведчикам!

Кузнецов разоткровенничался с этим Крно, что у него туговато с деньгами и было б неплохо, если б его новый знакомый принес какие-нибудь заграничные вещички, чтобы их можно было продать своим сослуживцам-летчикам, у которых деньжата водятся.

Они снова встретились, и словак принес пять наручных часов — в ту пору часы были не у каждого из наших соотечественников. Смышленность подсказала Кузнецову, с чего начать — с торговли.

(«Тегпение, Вилли, тегпение!»)

Часы попали на Лубянку, и Рясной продал их по дешевке своим коллегам.

— Давай, давай! — подстегивал он Николая.

«Я вижу, дело налаживается, — говорит Василий Степанович спустя пятьдесят пять лет. — Трудная вещь — чехистская работа. У нас иногда думают, что

если ты пришел работать в ЧК, надел форму, то завтра принесешь в мешке какого-нибудь шпиона. Мне не нравятся заявления начальника контрразведки Степашина — больно легко выдает векселя!»

...А в следующий раз Крно повстречался с Кузнецовым после поездки на родину, в Брно, откуда он привез большую партию часов. Короче говоря, Крно стал возить часы из Брно. Они снова оказались на Лубянке, и Рясной опять распределил их среди чекистов. Он уже полностью доверяет Кузнецову и решает на открытую вербовку словака.

Для этого он переводит Николая в свою надежную квартиру на улице Карла Маркса, недалеко от Разгуляя.

«Там сейчас висит мемориальная доска, посвященная Николаю Кузнецову, — говорит Василий Степанович. — Я, правда, не видел, но эту квартиру хорошо помню. Моей задачей было затащить туда этого словака».

А он упорно не шел на квартиру. Звонил — встречались в парках — Центральном или Измайловском либо на Курском вокзале. Несколько раз Николай пытался пригласить его к себе — тот ни в какую. А на Лубянке уже столько наручных часов, что некуда девать.

Пришлось разыграть такой вариант. Когда Крно позвонил после очередной поездки на родину, Кузнецов сказал ему, что попал на самолете в аварию, сломал обе ноги и лежит в собственной квартире. Еле-еле на костылях добирается до туалета. Очень хочет видеть его, потому что нуждается в деньгах, и быстро реализует товар. Договорились — придет словак.

«Я хозяин квартиры, собираюсь, хе-хе, — посмеивается Василий Степанович, — беру с собой трех моих подчиненных».

Тут надо заметить, что конспиративная квартира тоже выбиралась продуманно. Обязательно последний этаж. Если слежка, наверху скажется, кто куда идет. Эта квартира была на седьмом этаже.

Чекисты, все в штатском, поднялись на этаж ниже, на шестой, там старушка жила. У нее дырочка в двери, она спрашивает:

— Кто такие?

— Одна баба должна прийти, мы хотим ее замуж выдать, — говорит Рясной и сует старушке на всякий случай два торта.

Пришли пораньше, стоят и ждут, а лестница в стороне. Дождались — потопал на седьмой этаж секретарь словацкого посольства. Слышно, как позвонил, как очень нескоро открылась дверь.

Кузнецов потом докладывал:

— Я не спешил, еле-еле добирался до двери на костылях.

А через десять минут, как было условлено, Рясной открыл дверь своим ключом и вошел:

— Здравствуйте! Как здоровьице?

А сотрудников своих оставил на лестнице.

— Вот мой товарищ пришел, — говорит Кузнецов словаку.

— А это кто у вас? — спрашивает Рясной Николая.

— Это мой знакомый.

— Так, я знакомый, — говорит словак с акцентом.

— А кто вы такой? Вы что, иностранец?

— Нет, я не есть иностранец!

— Ваши документы! — по-милицейски приступает к делу Рясной.

— А какое вам дело? — высокомерно отвечает Крно, здоровенный детина.

— А такое дело, что мы его, — Рясной указал на скачущего на тахте Кузнецова, — арестовываем за то, что он разбил самолет. А вы почему здесь оказались? Ну-ка предъявите документы!

— Ай, ай, при чем тут документы?

— Требую предъявить! Вот мое удостоверение. — И Рясной показал «липу» — корочки уголовного розыска. — А вы кто такой?

— Я вам не обязан говорить! Я дипломат!

— Диплома-а-ат! Так бы и сказали сразу.

— Я дипломат, я подданный иностранного государства!

— Это вы точно говорите? Тогда я поступаю неправильно, я должен позвонить в Наркомат иностранных дел, вызвать представителей — с ними и разговаривайте! Налицо ваша явная связь с преступником

Рясной подошел поближе к дипломату и как бы невзначай обнял его.

— А это что у вас? — Под пиджаком Крно был

опоясан двумя лентами часов, как патронтажем — 120 штук оказалось!

— Ребята, сюда! — крикнул Рясной, и в комнате возникли три добрых молодца.

— Ну-ка раздевайте его! А я позвоню в наркомат иностранных дел. — И положил руку на телефонную трубку. Иностранец тут же перехватил руку.

— Не надо, не надо, — задрожал он. — Чего вы от меня хотите?

Рясной подмигнул своим ребятам, и они вышли.

— Ничего не хотим. Вы словак, я русский, мы должны друг другу помогать.

— А чем я могу помочь?

— Тем, что будет нас интересоваться. Давайте не темнить. Я работаю в НКВД.

(Сразу вспоминаю прекрасного прозаика Ивана Шмелева: «Думали-с, в участке-с служу? Нет-с, в сыском-с! Чито-с?»)

— Мне вас жалко, — залепетал Крно.

— А чего меня жалеть? Если вы не пойдете на встречу, вам хуже будет. В лучшем случае вас выгонят с работы.

— Что я могу сделать для вас? — перешел на деловой тон словак.

— Давайте начнем с малого. Мы условимся с вами встретиться через несколько дней. Нас интересуют ваши шифры. Никакой подписки я от вас не беру.

Сдался Крно. В условленное время на конспиративную квартиру недалеко от шарикоподшипникового завода он принес шифры. Ударили по рукам, и он стал передавать Рясному все, что узнавал в немецком посольстве, все разговоры, какие там велись, передвижение германских войск из Югославии, где сложился серьезный военный кулак. Югославия была последней страной, которую Гитлер занял перед нападением на Советский Союз...

И он не только сообщил о том, что германские войска идут к границам СССР, но и каждый день передавал, до какого пункта они продвинулись. Когда дошли до Словакии, передал Рясному, что в середине июня ожидается нападение на СССР...

А Кузнецов уже занимался другими делами. Началась война, и пути Рясного и Кузнецова разошлись — каждый получил свое задание. Они тепло попрощались

в той же самой квартире на Карла Маркса и больше никогда не встречались.

— Я поговорю с руководством, чтобы о тебе позаботились, — сказал Рясной.

— Поеду на фронт! — ответил Кузнецов.

— Это твоя воля, выбирай сам. Спасибо тебе огромное, Коля, за все!

Василий Рясной еще много лет будет заниматься чекистской работой, а в оккупированном немцами Ровно Золотой Звездой Героя взойдут дерзкие, невероятные подвиги Николая Ивановича Кузнецова, русского советского патриота, одетого в мундир немецкого офицера...

Вспоминаю стихи Игоря Ринка, который был тоже разведчиком в войну. Он пишет о том, как выпивает с немецким полковником, и тот не знает,

что трогает курок взведенный
на парабеллуме рука,
что мне германские погоны
даны приказом РККА!

...Думаю, а нужны ли вообще подвиги? Зачем стал таким Николай Кузнецов? Чтобы некая современная благополучная мразь уничтожала память о нем? Чтобы на Украине ставили памятник Степану Бандере? И все-таки подвиг, наверное, нужен — даже не для нас, а для истории нашей.

Спрашиваю у Рясного, был ли Кузнецов разведчиком ГРУ? О нем говорят, что он и в Испании успел побывать... Вот дословный ответ Василия Степановича:

— Николай Кузнецов не был в ГРУ. Что-что, а уж это я бы знал. Всю его историю до гибели я знал. Все, что касается Кузнецова Николая до дня начала войны, принадлежит мне, бесспорно. Как же, господи! Мы вместе работали, я его посылал в магазин, настраивал цель выбирать. И в Испании он не был. Он появился в конце 1940 года, причем прибыл прямо с Урала. У меня на глазах он проходил месяцев восемь. Мы с ним вместе жили по липовым документам. Это точно, что же тут придумывать?

— А могут возразить, что он параллельно работал и в ГРУ, и у вас.

— Это чистокровная чепуха. Попытка заработать на неведении людей, — твердо отвечает Рясной. — А мы тогда много высосали из этих трех операций — с фон Баунбахом, Кёстрингом и Крно. По их данным мы уже знали, что их войска подошли к границам Советского Союза и что нападение будет 22 июня. Это было уже совершенно точно. Я не прибавляю ни на йоту.

РЕЗИНОВЫЙ ЧЛЕН В ГЕРМАНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Поздним вечером 21 июня Рясной на машине поехал со службы на дачу в Химки — дачное место НКВД — предупредить жену с тремя детьми, чтоб не волновались, все может случиться. А ровно в два часа ночи возле дачи загудели машины, и чекисты поехали на службу.

Собрались в кабинете у Меркулова — он уже был наркомом госбезопасности, а Берия стал заместителем председателя Совнаркома.

Рясному, как и прежде, было поручено германское посольство. В четыре часа утра он со своим оперативным составом чекистов, человек шестьдесят, подъехал к воротам посольства на улице Станкевича, недалеко от Моссовета. Задание — произвести обыск и интернировать весь состав посольства во главе с графом фон Шуленбургом, который уже съездил к Молотову...

На первых двух этажах посольства находились канцелярии, а на третьем этаже — жилые помещения. Кроме того, многие немцы жили на квартирах. Всех их свезли в главное здание посольства, отобрали документы и объявили, что они интернированы. Произвели обыск и нашли много интересного из того, что немцы не успели уничтожить. Во дворе раскопали припрятанное оружие.

«Я всем этим делом командовал, — говорит Василий Степанович. — Был там такой похабный случай. Когда обыскивали третий этаж, где жил первый секретарь посольства, зашли к его секретарше Пусе — такая б...ща была. Заходим — однокомнатная квартира, буфет, бутылки, сама на кровати лежит. Я ей:

— Вставай, хватит тебе валяться!

— Какое вы имеете право?

— Вставай! — схватил ее за руки, а мои сотрудники — за ноги, сняли с кровати. Я поднял подушку, а там лежит резиновый член. Один наш взял его, а он как ссыкнет молоком!»

...Поступила команда — отвезти сотрудников посольства Германии в Калинин. Там из лагеря вывезли заключенных и освободили места для посольских. А когда немцы стали подходить к Калинин, состав посольства перевезли в Ярославль.

Немецкие самолеты начали бомбить Москву, и работники НКВД направили в районные истребительные отряды. А вскоре Рясной выехал сопровождать германское посольство в Армению. В Ярославле подал эшелон, классные, хорошие вагоны, погрузили немцев, и Рясной отвез их в Ленинакан, на границу с Турцией. Туда, через Турцию, путем долгих скитаний, подъехало и наше посольство во главе с Деканозовым. На пограничной станции Рясной сдал немцев и принял наших...

ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ В БАКУ

И получил новое задание: вместе со своими подчиненными прибыть в Баку. У Москвы были данные, что на границе с Ираном сосредоточилось много немецких разведчиков, подготовленных для диверсионных актов на нефтяных промыслах. Рясному подчинили наркомат внутренних дел Азербайджана и пограничные войска, предписали принимать меры вплоть до расстрела.

В Баку удалось выявить и арестовать родственников гитлеровского идеолога доктора Розенберга. Его двоюродная сестра работала в химическом отделении военного предприятия. При обыске у нее только цианистого калия отобрали семь килограммов — этого хватило бы, чтобы весь город отравить.

КЛЕЙ ДЛЯ «РУС-ФАНЕР»

В сентябре 1941 года полковник Рясной назначается начальником управления НКВД города Горького с мандатом уполномоченного Государственного Комитета

Обороны по перевозу в Горький оборонной промышленности и производству военной техники — самолетов, танков, «катюш». Ему подчинялись несколько заводов, такие как автомобильный, двигательный, «Красное Сормово»... Немцы старались проникнуть в Горький. Оказывается, их интересовал всего-навсего клей. Тот самый, который применялся для фанерных фюзеляжей советских боевых самолетов, знаменитых «рус-фанер». Что такое фанера, немцы знали, а вот клей изобрести так и не смогли — не смогли придумать смолу, которая не горит. Фанера в лесной России была куда дешевле дюралья, и потому с оборонных заводов на фронт уходили тысячи краснозвездных фанерных самолетов.

В Горьком Рясной познакомился с авиаконструкторами Яковлевым и Лавочкиным.

«Яковлеву нужен был дюраль, и он все наскокивал на Лавочкина, а у того и фанерные истребители били немцев!» — говорит Рясной.

Немцы бомбили Горький, засылали своих шпионов. Много немецкой агентуры обезвредили чекисты в городе. В основном сброшенных на парашютах наших военнопленных. Немцам не удалось вывести из строя заводы. Женщины и дети продолжали ковать победу.

«А заключенные на военных заводах не работали, — говорит Рясной. — Это потом, на Волго-Доне...»

ОТОВАРИЛИ ОРДЕН

В Горьком он пробыл до июля 1943 года. Вызвали в Москву к Маленкову. Георгий Максимилианович говорит:

— Поезжайте на Первый Украинский фронт к Ватулину, там Хрущев и Коротченко, секретарь ЦК Украины. Скоро будет рассмотрен и утвержден план освобождения Украины, а там много националистов, ОУНовцев, которых надо ликвидировать. Вы назначаетесь народным комиссаром внутренних дел Украины!

Немцы подготовили из украинских националистов две дивизии «Галичина» по 20 тысяч человек и, когда отступали из Западной Украины, оставили их в тылу.

Что они творили! Убивали советских солдат и офицеров, пускали под откос военные эшелоны, истязали мирных жителей...

«История освобождения Украины от немецких захватчиков еще не написана, — говорит Рясной. — Ведь вся война шла на Украине, там многое решалось. И дело в том, что сражаться приходилось не только с немцами, но и с украинцами. Ведь в каждом селе были созданы так называемые «боёвки» — боевые звенья с санитарными службами, снабжением. ОУНовцы облагали население продуктами поборами, создавали запасы.

Одной Украины нет. Всегда было и есть две Украины. Одна — западной ориентации, другая тянется к России. ОУНовцы стремились проникнуть всюду. Только советский полк займет село и, усталый, расположится на отдых, на него нападают вооруженные члены Организации украинских националистов. Мне довелось освобождать Украину, и я все это видел своими глазами».

Да, было две Украины, не просто левый и правый берег, не только восточная и западная, была Украина Ковпака и Кожедуба — и была Украина Бандеры и Мельника.

Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Если он погиб, как герой, —

пели и думали, что так будут петь и думать всегда.

Внутренние войска, которыми командовал Рясной, насчитывали 56 тысяч человек. Они обеспечивали продвижение наших оперативных частей, которые гнали немцев с Украины и дальше — из Польши, Венгрии, Чехословакии, старались не дать сбрасывать с рельсов поезда с техникой и солдатами.

Рясного в шутку называли «командующим Четвертым Украинским фронтом». Было пока три Украинских фронта, четвертого еще не было, но сам Константин Константинович Рокоссовский при появлении Рясного на каком-нибудь совещании шутя отдавал команду:

— Смирно! Входит командующий Четвертым Украинским фронтом!

...Украина давно стремилась к «самостийности», и вся обстановка там была неблагоприятной для на-

ступающих частей Красной Армии. Летчики мне говорили: «Хуже всего, если сбьют над Украиной, — сразу сдадут немцам или полицейским!»

Сталин знал об этом... Передо мной документ:

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Приказ № 0078/42

22 июня 1944 года

г. Москва

**ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА
И НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ОБОРОНЫ СОЮЗА СССР**

Агентурной разведкой установлено:

За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, наблюдается явно враждебное настроение украинского населения против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы, преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах «зеленые» банды, которые не только взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому, в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами освобожденных областей Украины,

приказываю:

1. Выслать в отдельные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов.

2. Выселение производить:
- а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев;
 - б) во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации;
 - в) выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии;
 - г) выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии.
3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:
- а) завести в особых отделах специальные дела на каждого;
 - б) все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел;
 - в) прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев.
4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.
- Приказ объявить до командира полка включительно.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
БЕРИЯ

Зам. народного комиссара обороны Союза ССР,
маршал Советского Союза *ЖУКОВ*

Внизу имеется такая приписка: «По неизвестным причинам этот приказ не был выполнен».

«Он был выполнен частично, — говорит Рясной, — и я имел к этому самое прямое отношение. Мне этот приказ привез из Москвы один из заместителей наркома внутренних дел. И было сказано, что за активную деятельность против Красной Армии со стороны ОУНовцев, выступления «боёвок», за враждебное отношение к русскому народу товарищ Сталин приказал выселить всех украинцев к известной матери, а конкретнее — в Сибирь.

Да, выселить Украину — это не Чечню, и не крымских татар.

Я наметил активнейших врагов русского народа и советской власти — матерых волков. Несколько эшелонов мои молодцы заполнили и отправили. Но потом этот приказ вдруг остановился. В чем дело, сперва не знал ни я, нарком Украины, и никто не знал. Что-то произошло между украинскими начальниками и нашими настоящими руководителями, возникли разногласия, стоит ли этим делом заниматься».

Говорят, украинские вожди бросились в ноги Сталину, умоляя его остановить выселение. И Сталин уступил. Вполне вероятно, что так и было — целовал же Камаль-паша сапоги Сталину, чтобы он не трогал Турцию!

Вскоре после прекращения выселения украинских националистов Рясной неожиданно для себя прочитал в газете Указ Президиума Верховного Совета о награждении его орденом боевого Красного Знамени за активную борьбу с ОУНовцами и успешное проведение акции по выселению активных врагов советской власти.

Прошло время, и на одной из сессий Верховного Совета после смерти Сталина выступил писатель Корнейчук, осудивший репрессии на Украине.

Отменили и приказ, и Указ о награждении работников НКВД за проведение выселения. Пришли к Рясному и отобрали орден.

«Сталин приказал, а я не стал бы выполнять? — говорит Василий Степанович. — И я потребовал расписку, что у меня отобрали орден, и до сих пор ее храню. Орден отобрали, но у меня, слава Богу, три таких боевых ордена Красного Знамени!»

ТАКОВ РОКОССОВСКИЙ

Для борьбы с ОУНовцами Рясному дали шесть бригад, а также Ставка приказала командующим фронтами Ватутину и Рокоссовскому по первому требованию Рясного выделять необходимое число воинских частей.

Бандеровцы убили командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина.

«Я говорил ему: не езжай этой дорогой, — вспоминает Рясной. — Произошло это в Тернопольской об-

ласти, в районе кременчугских лесов. Он был в Ровно, проводил совещание с командованием 1-й армии для подготовки наступления на Львов. Поехал не той дорогой, которую мы советовали, и в одном селе его машину обстреляли из окна. Попали ниже живота. Прилетел Бурденко, пытался его спасти, но Ватутин умер не столько от раны, сколько от того, что шерсть из полушубка попала в рану».

Помню до сих пор слова сталинского приказа: «Армия и флот склоняют свои боевые знамена перед гробом генерала армии Ватутина...»

Украинские националисты убили и прославленного разведчика Николая Кузнецова. Ушел от немцев и погиб там, где не ожидал...

В этот период «командующий Четвертым Украинским фронтом» Рясной был главным на Украине по борьбе с бандитизмом, ОУНовцами и так называемой Украинской повстанческой армией (УПА). Командующие фронтами при необходимости предоставляли ему свои части.

«Я знал почти всех командующих фронтами, — говорит Рясной, — и самый выдающийся из них, на мой взгляд, Константин Константинович Рокоссовский, человек, о котором можно говорить, не стесняясь. До него всем далеко...»

Заняли Ровно, Луцк, дальше — приказ взять крепость Брест-Литовск. А у меня 23 области, 23 управления, 23 телеграммы каждому... Разведка, ГРУ, все освещают по-своему. Если я что-то неважно сделаю, столько дерьма выльют! У меня одна из главных задач — не допустить на железной дороге сброса наших поездов. И чтобы взять Брест-Литовск, надо было сперва разбить ОУНовцев. Бывшая царская крепость, хорошо оснащена, немцы за нее будут драться, а вокруг — сплошные банды.

Штаб Рокоссовского располагался возле Луцка, плацдарма для наступления на Польшу. Приезжаю, говорю:

— Константин Константинович, лес, где ты живешь, весь нашпигован ОУНовцами.

Рядом с Рокоссовским — его начальник штаба Малинин, спокойный, мягкий парень, но Рокоссовский только посмотрит, Малинин уже знает, что надо делать. Я даю команду стянуть тысяч сорок своих, что-

бы разбить эту лесную рать. Разбили. А в это время шел штурм крепости. Малинин посылает телеграмму Рокоссовскому, что в результате двухдневных атак взять Брест-Литовск не удалось, пришлось отступить. В атаках особенно отличились такие-то... И дает список солдат, которых перед этим назначили судить за мародерство.

При мне было — Константин Константинович пошел к каждому из них и лично вручил ордена — одному орден Ленина, а остальным Красного Знамени. Таков Рокоссовский — крепость не взяли, но люди-то отличились!»

НЕРАСКАЗАННАЯ УКРАИНА

Красная Армия продвигалась на Запад. А в тылу бесчинствовали ОУНовцы Бандеры, Украинская повстанческая армия Мельника, польская полиция...

Рясной докладывает из Львова 12 апреля 1945 года:

«Москва, НКВД СССР, тов. Берия Л. П.

Докладываю о бесчинствах польской милиции, проводимых по отношению к украинскому населению, находящемуся за погранлинией после передислокации военных комендантов Красной Армии дальше на Запад... Активизировалась деятельность польской милиции по истреблению украинского населения, грабежу и уничтожению имущества, а за последнее время террористическая деятельность польской милиции приобретает массовый характер. Из поступающих сведений от достоверных источников террористическая деятельность польской милиции характеризуется следующими фактами:

22 февраля с. г. на хуторе Бучина в 8 км западнее райцентра Краковец Львовской обл. группой польской милиции численностью 30 человек ограблено 10 украинских хозяйств и расстреляно 8 человек жителей этого села. 23 февраля в селе Труйчица Перемышльского уезда польская милиция этого села расстреляла 10 человек украинцев, дома которых сожжены. В тот же день севернее райцентра Краковец группой польской милиции подожжен дом жителя этого села Сельчака

Ивана, записавшегося на выезд в СССР. При попытке со стороны Сельчака ликвидировать пожар польская милиция открыла по дому ружейно-пулеметный огонь...

Польскими властями деятельность милиции по ограблению и истреблению украинцев ни в какой мере не пресекается, действия милиции проходят безнаказанно.

Рясной».

*«Сообщение Главного управления
пограничных войск СССР.*

Украинский погранокруг располагает данными, что польскими войсками отдан приказ очистить от неблагонадежного элемента 50 км — полосу Польши, в связи с чем украинскому населению предложено выехать в СССР, в противном случае оно будет отселено в западные области Польши. Для проведения в Грубешу ожидается прибытие двух польских дивизий. В Лесковском уезде украинское население обратилось к нашему уполномоченному по переселению с просьбой проведения плебисцита о присоединении уездов к Украинской ССР. Влиянием агитации ОУН и банд УПА украинское население в ряде пунктов отказывается переселяться в западные области Польши и УССР.

В связи с этим в приграничной полосе Польши значительно активизировалась деятельность банд УПА, которые всевозможными угрозами вынуждают отдельные комендатуры польской полиции не вести борьбы с УПА, призывают выступать совместно с ними против Советского Союза. Участились случаи перехода банд на нашу территорию.

...Ориентируя Вас об изложенном, прошу сообщить, какими Вы располагаете дополнительными данными и какие приняты меры для недопущения перехода банд на нашу территорию.

Начальник Главного управления по борьбе с бандитизмом ВД СССР

генерал-лейтенант Леонтьев».

Это было письмо Рясному. А вот докладная, направленная Берии:

*«Об итогах
проведения чекистско-войсковой операции
на территории Польши против участка
2-го пограничного отряда.*

Выполнение записки по ВЧ № 282 от 16.2.1945 г. докладываю:

с 7 по 21.2.45 на территории Польши против участка 2-го погранотряда была проведена чекистско-войсковая операция по ликвидации штаба 2-го военного округа УПА — Буг Холмского окружного провода ОУН и сотни УПА главаря Ягода. В проведении операции принимали участие подразделения 2-го погранотряда, агент Ю., закордонная агентура и агенты-боевики 2-го пограничного отряда. В результате проведения операции выведено с территории Польши и арестовано 140 человек, захвачено 184 человека, задержано 5 человек, добровольно явилось 5 человек, убито 60 человек, всего 571 человек.

Из общего количества 571 человек ликвидировано членов ОУН, участников УПА, ИПА, пособников — 107 человек, являющихся активными руководителями, работниками ОУН и УПА, в том числе:

1. Велигилер — инспектор кавалерии при штабе 2-го военного округа УПА, бывший петлюровский полковник.

2. Евтугов Борис Павлович, по кличке «Батько», он же «Лоцман», член окружного провода ОУН, инструктор Вышкола.

3. Ковалич Александр Иванович, по кличке «Женя», член призывной комиссии УПА, он же работник аппарата окружного провода ОУН.

4. Комендант военно-полевой жандармерии УПА Сочул, он же «Ворон», начальник повитовой разведки ОУН.

5. Стрела, зам. начальника повитовой разведки ОУН.

6. Ира — центральная связная Домского окружного провода ОУН...

*Народный комиссар внутренних дел УССР,
комиссар государственной безопасности 3 ранга
Рясной.*

4 марта 1945 г. № 274, г. Львов».

Обстановка на Украине была весьма сложной. ОУНовцы досаждали и фашистам, и красным, не зря сам Бандера сидел в это время в гитлеровской тюрьме, а после войны его найдет в Мюнхене с помощью своего агента и Сталин. Соединения УПА, которыми командовал Мельник, воевали против Красной Армии. Но из приведенных документов видно, что руководство Советского Союза встало на защиту мирного украинского населения, страдающего от оккупантов, ОУНовцев и польской жандармерии.

Рассказывая о борьбе с ОУНовцами, Рясной вспоминает своего бывшего сослуживца Павла Судоплатова, который еще задолго до начала войны совершил героический поступок:

«Он пошел на большой риск. Сам русский, он жил на Украине и хорошо знал украинский язык. В середине тридцатых годов этот самый Павлушка Судоплатов приезжает в большой город в Германии, находит там по адресу руководителя ОУН Коновальца, предшественника Бандеры на этом посту, — пошел по связи. Коновалец назначил ему свидание в гостинице. А перед этим он получил сообщение, что к нему придет надежный молодой человек для информации и получения указаний. И он его принял и рассказал, как и что нужно делать для активизации борьбы с советским империализмом.

В конце беседы Судоплатов достает из чемоданчика какой-то сверток, посылочку, и говорит:

— Это вам наш подпольный провод во Львове через меня посылает подарунок.

Вручил этот «подарунок», и они расстались. Коновалец положил сверток в свой чемоданчик, пошел домой или куда-то. И когда шагал по центральной улице, произошел взрыв, и его разнесло.

Это действительно смелый, чрезвычайно рискованный поступок Пашки Судоплатова, и тут ничего не скажешь...»

— Три с половиной года я тянул лямку на Украине, — продолжает Василий Степанович, — столько раз в меня стреляли!

Когда мы заняли Львов, я вместе с начальником штаба поселился в доме крупного кондитера. Улочки узкие, только зажгу свет — стреляют в окно, только

шевелину занавеской — стреляют. Судьба хранила. Лет через десять могли расстрелять под горячую руку по делу Берии — обошлось...

А во Львове не было покоя. Днем и ночью бандиты врываются в квартиры, грабят, убивают. Наших солдат режут, офицер сидит в парикмахерской — ему по горлу бритвой... После революции во Львове со всей России скопились воровские силы, да еще из Польши и Украины добавились. Меня вызывает Хрущев:

— Ну что будем делать?

— Глаза закройте, я сам все сделаю, — отвечаю ему.

А что я сделал? Отобрал, сколько нужно, своих людей, мужчин и женщин, вооружил их, мужчин одел в великолепные пальто и макинтоши, а то и в кожаные регланы, женщин — в самые что ни на есть норковые шубы. И вышли они вечерком на львовские тротуары. Подходят бандюги к такой дамочке: «Снимай шубу!» А она — р-раз! — в лоб из пистолета...

К утру трупы убирали и составляли рапорт, сколько шлепнули. Демьян Сергеевич Коротченко, второй секретарь Украины, меня поддерживал в этом деле. Очень быстро я избавил Львов от подобной сволочи. Конечно, я признаю, что это не метод, но как иначе? А в Москве сейчас до чего дошло?

Руку Рясного (или таких, как он) я почувствовал в Молдавии, где жил в детстве с 1944 года. Только что освобожденная Красной Армией Молдавия (или оккупированная, как меня сейчас поправят некоторые нынешние молдаване) в ту пору как бы подчинялась Украине. Мой отец, например, служил в Молдавском отдельном авиационном отряде Украинского территориального управления. В Кишиневе, где мы поселились, по ночам — банды, а за окнами — привычные детскому слуху автоматные очереди. Однако год-другой прошел, и стрелять перестали. Кто пулю в лоб получил, кто срок — все как положено. Тогда чекистов не только боялись, но и уважали. Думаю, не только в Молдавии.

Ныне на Украине, как, впрочем, и в России, среди моих знакомых есть такие, что прежде клялись в верности партии и коммунизму, за идеи которого погибли

их батьки, а сейчас проклинают партию, и батьки их, оказывается, погибли не за коммунизм, а от рук большевиков, как говорят сегодняшние сынки-«демократы». Один такой украинский литератор недавно баллотировался в депутаты своего парламента. В войну он мальчишкой партизанил, пускал под откос поезда — прежде утверждал, немецкие, а сейчас говорит, советские. В общем, Леня Голиков наоборот. И захотел он стать депутатом. Но конкурентом его на то же место оказался председатель колхоза, честный труженик, который не поленился и выпустил небольшую брошюрку, посвященную своему оппоненту.

На первой страничке приводятся высказывания литератора в начале пятидесятых годов, воспевающие батьку Сталина и родную советскую власть, далее, в шестидесятые годы, слова осуждения Сталина и восхваления Коммунистической партии, и, наконец, анафема партии и советской власти — это, конечно, девяностые годы.

А на последней странице брошюры напечатана всего одна фраза: «Хиба ж це людина?» — что по-русски звучит: «Разве это человек?» А он еще, дескать, в депутаты лезет...

Сильны славянские языки. И надо признать, что некоторые фразы, как скажем, эта, по-украински звучат крепче, чем по-русски, по крайней мере ярче, выразительнее, смешнее и убийственнее — для тех, кто чувствует, конечно.

«Хиба ж це людина?» — хочется сказать и о некоторых российских деятелях...

«Я ХОЧУ ВИДЕТЬ МОЮ СТРАНУ»

...В начале 1946 года, когда война на Украине близилась к завершению, надобность в Рясном как знатоке Украины отпала, его вызвали в Москву и назначили заместителем министра внутренних дел СССР. А министром был Круглов. Берия напрямую уже не занимался этими делами, но курировал, и у всей страны было мнение, что он по-прежнему ворочает так называемыми органами.

«У нас была кавалькада — МГБ и МВД соединились, разъединились, — говорит Рясной. — У Берии

приходилось по-прежнему бывать, хоть он в нашем доме уже не сидел, но органами занимался. И Маленков тоже. Со многими членами Политбюро приходилось общаться. Каганович, например, небольшого полета, но, если Сталин ему что сказал, разобьется о стенку и сделает. Молотов — очень умный человек. Его послушать было приятно. И очень неприятно получить упрек. После войны стали восстанавливать и строить заводы, и он занимался этими делами. Много не говорил. Мог просидеть у Сталина и не сказать ни слова. Но многое решал. Сталин к нему:

— А как думаете вы, товарищ Молотов?

Тот очень лаконично отвечает...»

Маршал Голованов рассказал мне такой эпизод. Сталин ходит с трубкой по кабинету, горячо рассуждает, а потом поворачивается к Молотову:

— Как ты думаешь, Вячеслав, прав я?

— Думаю, нет, — спокойно отвечает Молотов.

Как холодный душ... Это к слову.

А Рясной рассказывает о своем министре Круглове: «Умный, скромный человек, хороший коммунист. Крупный, высокий, мордастый». И тут же добавляет: «Я его уважал и уважаю, но это человек, который никогда не сказал свое слово громко. Как бы вам сказать, это был человек — ни рыба, ни мясо».

Круглов окончил Московский педагогический институт, попал на партийную работу и оказался в Грузии. Молотов говорил, что его послали туда наблюдать за Берией. Там он очень невзлюбил Берию — когда тот был первым секретарем Грузии. Однако Берия стал работать в Москве и почему-то перетащил к себе Круглова, назначил его председателем комиссии по идеологической чистке чекистских кадров — было такое особое структурное подразделение в НКВД. Круглов часто не соглашался с распоряжениями Берии и за глаза называл его сволочью.

«Если б донесли!» — говорит Рясной.

Невзлюбил Круглова Хрущев. Наверное, какой-то материальчик на Круглова ему под руку сунули. И когда Никита Сергеевич стал создавать совнархозы, он снял Круглова и отправил его в Киров заместителем председателя совнархоза. Тот немного поработал

и ушел на пенсию. Жил под Москвой на даче в поселке Правда. Переходил железную дорогу, не услышал поезда и погиб...

«Пишут, что Хрущев привел в органы своих людей, таких как Рясной, Епишев, Серов, — говорит Василий Степанович. — Ко мне это не относится. Какое я имею отношение к Хрущеву? Да и Епишев тоже. Сплошной вымысел. Серов — понятно».

Серов, как и Рясной, тоже был заместителем у министра МВД Круглова.

«Серов — это брандохлыст, каких свет не видел, — продолжает Рясной. — Везде пронырнет, найдет, обманет, украдет. При помощи Берии добился, чтоб его не очень загружали работой, и ему поручили только обслуживание ВЧ — правительственной связи. Там ничего делать не надо. Стоит себе аппарат ВЧ. Во время войны этот аппарат был незаменимым другом всех — и солдат, и командующих. Но Серов руководил ВЧ после войны. А перед войной он возглавлял госбезопасность Украины при Хрущеве. Насчет того, чтоб подлизаться к высшему начальнику, Серов незаменим, очень умелый в этом отношении человек. Когда Хрущев взялся за первую роль, то сделал Серова председателем КГБ. Он был крепко связан со шпионом Пеньковским. Тот присылал жене Серова всякие шубы... Обделался он со своим агентом Пеньковским».

Надо сказать, что Хрущев в 1957 году в борьбе с «антипартийной группой» Молотова удержался во многом благодаря Серову. Ну и Жукову, конечно.

После Хрущева Серова разжаловали из генералов армии в генерал-майоры. Я разговаривал с генералом, который лично привез Серову аж четыре пары погонов генерал-майора и вручил их с явным удовольствием, судя по его рассказу.

...Летом первого послевоенного года Политбюро приняло решение предоставить отпуск Сталину, чтобы он поехал на юг и отдохнул по-человечески. Четыре военных года не могли не сказаться на его здоровье.

До войны Сталин обычно проводил отпуск в Сочи. Начальник правительственной охраны генерал Власик предложил ему лететь туда на самолете. Сталин категорически отказался. На поезде — тоже.

— Я поеду только на автомобиле, — сказал Сталин. — Я хочу видеть мою страну после войны.

Автотрасса от Москвы до Харькова была и до войны далеко не европейской, а после того, как немцы наступали, а потом отступали, от этой дряхленькой и слабенькой в техническом отношении трассы осталось одно направление и название — все на дороге было перемешано.

Кое-как добрался Сталин на автомобиле до Тулы, а дальше никак не получалось, совсем невозможной стала дорога. Остановились на Щекинском химическом комбинате, и Сталин заночевал у директора.

Назавтра пришлось вызвать паровоз с усиленной тягой и одним вагоном на прицепе. Железную дорогу стали расширять, и удалось протолкнуть вагон со Сталиным до Симферополя. Почему до Симферополя? Потому что Сталин обычно останавливался на несколько дней в царском дворце возле Ялты, а оттуда на пароходе плыл по Черному морю в Сочи.

В Симферополе Сталин вызвал к себе Круглова:

— Почему дорога в таком состоянии?

— Товарищ Сталин, она тридцать раз переходила из рук в руки!

— Надо ее быстренько восстановить. По ней советские люди будут ездить отдыхать на юг. — И принял постановление о восстановлении и реконструкции автомобильной дороги Москва — Симферополь и о назначении заместителя министра внутренних дел СССР В. С. Рясного начальником этого строительства.

Потом на совещании в Кремле, где присутствовали и руководители строительных ведомств, Сталин поставил задачу построить дорогу в кратчайший срок.

— Товарищ Сталин, у нас силенок не хватит! — осмелился сказать Рясной.

— А что вам нужно, чтоб хватило?

— Военские части, не менее 120 тысяч человек.

Вышел приказ — передать в распоряжение строительства воинские части из числа демобилизуемых подразделений. Были, конечно, и обычные рабочие, и заключенные, и немало. А чтоб дело спорилось, бригады двигались с севера и с юга, и на определенном километре им ставили бочку пива. Кто быстрее дойдет, тот и припадет к бочке. С юга шли солдаты,

а с севера — рабочие и зэки. Рясной добился того, что за выполнение определенного задания на каждом участке строительства установили премии, за ударную работу досрочно освобождали по 200 человек заключенных и награждали. Многие зэки досрочно вышли на свободу с красными орденами на груди. А кроме бочек пива появились столы с водкой и закуской. Только так в России...

Дорогу построили. Пожалуй, это была едва ли не первая ласточка послевоенного возрождения. По завершении строительства у Сталина вновь было совещание, и он сказал:

— Подобная дорога такого же расстояния и качественных свойств была построена в Лос-Анджелесе за три с половиной года, а эту дорогу наши солдаты, наши люди построили за три года!

...Я еду на юг, в отпуск, и пишу эти строки в вагоне около Харькова. Поезд остановился, скоро явятся пограничники и таможенники. Думал ли Сталин, что не пройдет и полувека после войны, как между Россией и Украиной появится граница?

...За строительство автомобильной дороги Москва — Симферополь Рясной получил орден Трудового Красного Знамени. До этого его наградили орденом Ленина за освобождение Харькова и Киева. Второй орден Ленина ему будет вручен за строительство Волго-Донского канала.

«Я ведь и каратель, и воспитатель, и строитель», — говорит Василий Степанович.

Но как можно было обойтись без таких людей в стране, где меня, например, в жизни обворовывали около двадцати раз!

СПАСЛИ ШОЛОХОВА

В 1949 году Рясного направили руководить строительством Волго-Донского судоходного канала. Строили его в основном заключенные — сто тысяч человек, даже инженерный состав зэки.

«Думаю, у нас тогда сидело миллиона полтора-два от силы, — говорит Рясной. — Сейчас, наверное, больше. Только два миллиона человек прошли по особо крупным делам».

После окончания строительства дороги Москва — Симферополь Рясного вызвал Берия и сказал:

— Часа через три-четыре у тебя будет важный разговор с товарищем Сталиным. Приготовься!

Сталин разговор начал так:

— Строить, оказывается, вы умеете. А раз вы умеете строить, надо это дело продолжать.

Тут же в кабинете присутствовал Сергей Яковлевич Жук, известный гидростроитель. Сталин знал его еще со времен Беломорско-Балтийского канала.

— Петр Первый мудрый, величайшей силы мужик, но не успел, — продолжил Сталин. И вынул из шкафа кальку, на которой был изображен петровский чертеж Волго-Донского канала. — Надо строить! — сказал Сталин. — А то что получается? Нам приходится объезжать зря столько километров! Сергей Яковлевич, — обратился он к Жуку, — вас все знают, мы вас назначаем главным инженером, а вот вам молодой начальник строительства Рясной — он построил хорошую дорогу. Чего нам ждать? Если мы не пророем этот канал, никто никогда не сделает!

Сталин словно чувствовал, что после него в России долго не будет такой головы и рук, как у него.

И было создано два строительных управления. Но, кроме склок между ними, отдачи не было, и их объединили под началом Рясного, который стал жить в одном доме с Жуком в Цимлянске.

«В гидротехнике серьезное место занимают металлические шпунты, — говорит Рясной. — Их ставят стеной, они входят друг за друга, а затем их с обеих сторон обволакивают глиной и землей — делают плотину. У нас в стране не нашлось подходящего завода, который бы выпускал хорошие шпунты, не забиваются, и все. Закупали их во Франции, но американцы нажали на французов, и те перестали нам их продавать. Ведь была «холодная война», «железный занавес». И вот меня послали начальником строительства, чтоб я наладил дело. Два года я бился над этой проблемой, пока наши сами сделали шпунты».

За три месяца до окончания строительства Рясному сообщили, что на открытие канала придет Сталин.

«Мы за это время ему такой дворец отгрохали!» — признался Рясной.

А Сталин не приехал. Но вместо себя прислал не

кого-нибудь, а Михаила Александровича Шолохова. Великий писатель прибыл со своим родственником, которого называл на украинский манер — «дядьку».

Поселились они в сталинском дворце, крепко выпивали, ночью поплыли на лодке и перевернулись.

«Мои ребята их вытащили рыбацкими сетями», — говорит Рясной. Спасли Шолохова...

Канал открыли летом 1952 года, а в октябре был XIX съезд партии.

ГОТОВИЛИ СМЕРТЬ СТАЛИНА

Рясной вспоминает, как после съезда на пленуме ЦК, который открыл Маленков, Сталин встал и прочитал заявление с просьбой освободить его от должности Секретаря ЦК партии, сославшись на то, что есть молодые, которые его вполне заменят. Но кто заменит, конкретно не назвал. Говорил о своем возрасте, болезни...

«Все сразу — ох да ах, — говорит Василий Степанович, — а Маленков:

— Товарищ Сталин, просим вас остаться, мы к вам привыкли.

Не голосовали, так и осталось без решения. Может быть, он хотел проверить, как будут реагировать, может быть...

Что-то у него, конечно, было со здоровьем. Там же, во Владимирском зале, он сказал Микояну:

— Я знаю, ты старый армянин, ты пошел на уступки американцам, ты нас Америке продашь!

Какой-то торговый договор тогда заключили».

Это были последние месяцы жизни Сталина.

На «деле врачей» погорел Абакумов. Он получил письмо от простого следователя из Архангельска Рюмина о том, что в кремлевской больнице орудует шайка убийц в белых халатах. Прочитал и не поверил. Положил себе в стол как очередную утку.

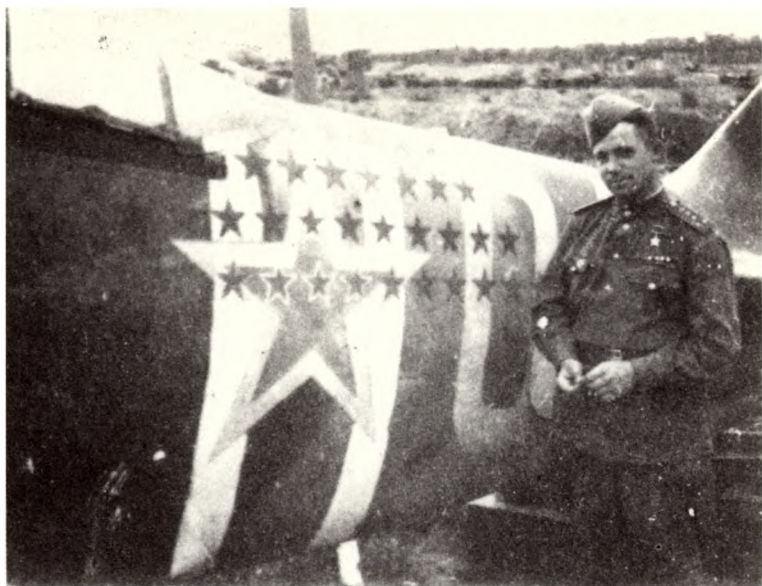
А Рюмин снял да написал то же самое Сталину. Абакумова сняли с поста министра госбезопасности и арестовали.

Во время войны Абакумов командовал СМЕР-Шем — военной контрразведкой. Откуда взялось такое название? Сталин сказал:

В. С. Рясной. 1944 год.



В. С. Рясной. 1994 год.
Фото Ф. Чусва.



В. И. Попков у своего самолета. Перед перелетом через советскую границу. 1944 год.



глубоко уважает
 эту дружбу -
 нашу дружбу, мно-
 гим по дружбе не де-
 тям и бойцам со дру-
 жбе! На дружбу чужой
 с уважением
 Совет "Кузнечик" и
 Маэстро

Силь

9.V.1996г.

Лейтенант «Кузнечик» стал
 «Маэстро».



Только поженились с Раей. Австрия, 9 мая 1945 года.

Трое из «поющей эскадрильи»: Евгений Сорокин (ведомый), Герой Советского Союза Сергей Глинин (замкомэска), и сам «Маэстро» — Виталий Попков. Фронтовой снимок.





В. И. Попков на открытии своего бюста. Февраль 1953 года.



**Два летчика дважды Героя:
В. Попков и П. Таран.
1986 год. Фото Ф. Чуева.**



В. И. Попков. 1970-е годы.



Летчик А. Е. Голованов. 1930-е годы.



Главный маршал авиации
А. Е. Голованов. 1960-е годы.



А. Е. Голованов в родном полку. Под крылом бомбардировщика. 1971 год.

А. Е. Голованов на даче у В. М. Молотова. Декабрь 1971 года.





В. М. Молотов. 1960-е годы.

«Мистер Браун» летит в Америку. 1942 год.





В. М. Молотов с летчиком Э. Пусэпом и штурманом С. Романовым.
1942 год.

Американцы встречают «мистера Брауна». 1942 год.





В. М. Молотов и президент США Ф. Рузвельт в Белом доме. Вашингтон, 1942 год.



Генерал, Государственный секретарь США Дж. Бирнс. «С наилучшими пожеланиями моему другу Вячеславу М. Молотову».



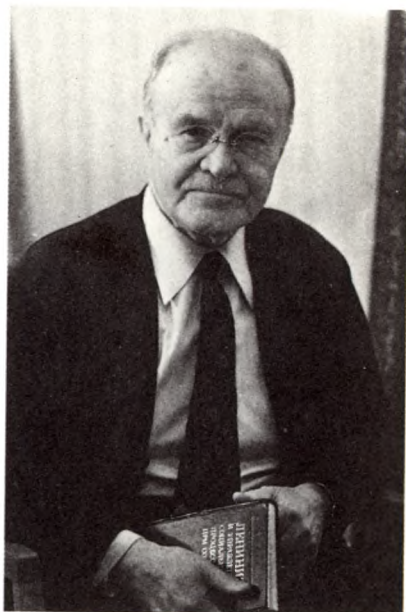
Тет-а-тет.

Эндель Пусэп. 1971 год.

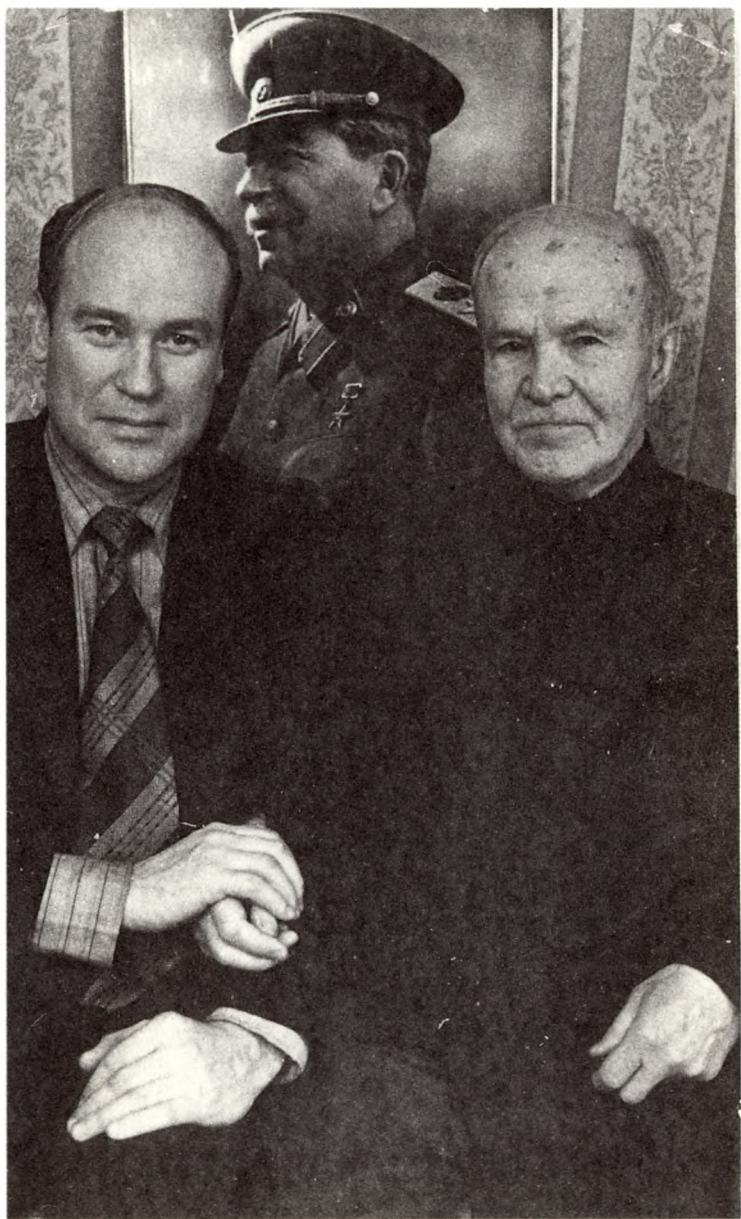




Этот портрет президент Рузвельт подарил Молотову. Май 1942 года.



В. М. Молотов. 1970-е годы.



В. М. Молотов и Ф. Чуев. 6 марта 1981 года.





Два молодых конника — комдив К. К. Рокоссовский и комполка Г. К. Жуков. Через много лет они снова проедут рядом — на параде Победы. Начало 1930-х годов.



К. К. Рокоссовский.

К. К. Рокоссовский с женой Юлией Петровной в Кисловодске. 1927 год.



— Смерть шпионам!

Так и осталось.

«НКГБ не потерял тогда своего значения, — говорит Рясной. — Все радиопередатчики, переброшенные на территорию СССР, приспособлялись и использовались в наших целях. Но и черных дел у Абакумова хватало. Боялись его не меньше Берии.

Вместо Абакумова назначили партийного работника Игнатьева. Бедняга, он попал, как кур в ощи́п. Не его это работа, он тяготился новой должностью, а что сделаешь? Кто-то ведь Сталину подсказал его кандидатуру. Известно, что Маленков к Игнатьеву хорошо относился, он ведь был по сути преемником Маленкова в ОРПО — отделе руководящих партийных органов ЦК».

Игнатьеву дали двух заместителей — опытного Рясного и этого Рюмина из Архангельска — сразу поднялся до замминистра госбезопасности. Дескать, бдительный человек, не то что Абакумов.

Действительно, Рюмин арестовал в Архангельске какого-то врача, еврея, и тот дал показания, что в Москве действует подпольная организация врачей.

Сталин очень заинтересовался этим делом, можно сказать, принял близко к сердцу. Врачей арестовали при Игнатьеве, а выпустили через месяц после смерти Сталина.

«Конечно, у Сталина в конце жизни развилась подозрительность, — замечает Рясной. — Посылал чекиста в простую аптеку со списком лекарств. Самолечением занимался. Подозревал, что его могут досрочно отправить на тот свет, и не без оснований. Работал по-прежнему много. Вызывает начальника охраны, дает ему список книг... Хорошего много сделал, это известно. Но как дойдешь до жертв, кого я знал, мороз по коже берет.

Постышева я знал — он Дальний Восток советизировал. За что его? Блюхера за что? Дыбенко я знал, он командовал Туркестанским военным округом. Массивный мужчина, идет — здание дрожит. А какую роль он сыграл в Балтийском флоте!

Варейкиса посадили, как многих прочих. Не знаю почему. Ведь как было: одного арестуют, и пять — десять новых фамилий появятся. С ними надо разбираться, но легче всего арестовать. Беззаконие. Засасывает это дело...

Ведь как было в НКВД? Коридоры длинные, стоят человека три-четыре, беседуют, курят, а тут ведут заключенного. Р-раз — все в кабинеты убегают. Для меня, новенького, это было непонятно. Я спрашиваю:

— А чего вы брызнули все?

— Как чего? Видал — вели! То Ягоду ведут, то еще кого-нибудь. А ведут к следователю, начнут допрашивать, и вспомнит, что видел в коридоре, кого знает, и тут же назовет фамилию...

Ленинградский Кузнецов блокаду прошел — расстреляли. К чему все это? Ну, Берия. Но до Берии были Ягода, Ежов... Вся эта кухня давно началась. И их осуждение становилось новым путешествием по головам.

На совести Берии и Абакумова «Ленинградское дело», где погибли Вознесенский, Кузнецов, Попков... Маленков тут тоже, видимо, руку приложил. Он крепко дружил с Берией. Ну а постановление Верховного Совета о том, чтобы членов семей репрессированных врагов народа отправлять на восемь лет в ссылку? Их ведь просто стали штамповать...»

Спрашиваю у Рясного, били ли на Лубянке.

«В этих зданиях не били, — отвечает, — били в других местах, в тюрьмах. Дикие какие-то тюрьмы посоздавались. Беззаконие».

Но сам рассказывал, как истязал подследственных Ежов...

...«Дело врачей», начавшееся в Архангельске, кругами пошло по стране. В Москве говорили о существовании еврейской организации, направленной на уничтожение Сталина.

«Сталина хотели убрать, это бесспорно, — рассуждает Рясной, — но «дело врачей» только ускорило его смерть. Я считаю, что оно было провокацией. Какой-то еврей, может, что-то и сказал Рюмину, но сам Рюмин потом признался, что это чистокровная «липа». Ее использовали для создания общественного мнения. Подключили врача Ольгу Тимашук, которую наградили орденом Ленина за разоблачение врачей-вредителей, а потом, когда их выпустили, орден у нее, как водится, отобрали.

— Вся эта история, — убежденно повторяет Рясной, — не больше, не меньше как прямая провокация, вызванная элементами, желавшими свержения Сталина. Все было подготовлено к его гибели.

Кроме меня, пожалуй, никто сейчас не знает Сталина так близко в последний год его жизни».

Дело в том, что, когда арестовали Абакумова, а затем и начальника правительственной охраны генерала Власика, Рясной стал не только заместителем министра МГБ, но и занял место Власика.

«По нашим данным, — признается Рясной, — Власик в последнее время вел себя неразумно разнузданно. Он устраивал бардаки на государственных дачах, которые числились за Сталиным. Сталин жил на так называемой Ближней даче, а Власик распорядился всеми дачами. По данным, которые через меня проходили, в этих оргиях участвовали и другие высокопоставленные особы, даже один из секретарей ЦК.

У художника, который декорировал Красную площадь к парадом, шведа по национальности, была красавица жена, которая многих удовлетворяла. Об этом стало известно, так же как и о поведении Власика, о чем в косвенном порядке мы сообщали Сталину, и это в какой-то мере послужило причиной его ареста. Получил восемь лет, кажется, — это была какая-то стандартная цифра у Сталина.

Но был еще один момент, подтолкнувший Сталина к такому решению. Он собрал членов Политбюро и сказал:

— Я хочу знать, сколько я стою государству.

И создал комиссию во главе с Маленковым, которая, как утверждает Рясной, нигде не была зафиксирована.

— Проверьте и доложите! — распорядился Сталин. А Маленков поручил проверку Рясному. В Главном управлении правительственной охраны была бухгалтерия, которая вела учет расходов на всех лиц, находящихся под этой охраной.

Сталин потом сам смотрел все выкладки и поразился тому, что селедка, которую ему подавали на стол, стоила на бумаге в тысячу раз дороже обычной.

— Это что ж за селедка такая! — возмутился Иосиф Виссарионович. — Пусть Власик посидит и обдумает, что почем в нашем государстве!

Стоило Сталину как-то за обедом обмолвиться при своих соратниках:

— Вы никогда не пробовали оленятину? Ну, тогда вы не ели настоящего мяса.

Сказал, а Берия да Маленков передали это Власику, и тот отправил два самолета, один в Тюмень, другой в Салехард, привезли оленьи туши. Каждый олень обошелся в миллион рублей. Сталин узнал и сказал:

— Строго разобраться!

Вот и разобрались.

— Это что, я столько съел, столько износил одежды? — шумел Сталин. — Я одни ботинки который год ношу! А тут еще одна селедка у Власика десять тысяч рублей стоит!

Осенью 1951 года Сталин приболел в Сочи на маестинской даче. Его даже не было на мавзолее 7 ноября.

«А рядом, на даче, Поскребышев стал бардаки устраивать, — говорит Рясной. — Сталин узнал и выгнал его».

Отстранив из-за жены самого Молотова, посадив начальника охраны Власика и выгнав своего помощника Поскребышева, Сталин фактически остался одинок.

Когда забирали генерала Власика, рассказывала его дочь, он сказал:

— Все. Сталину недолго осталось.

«И тогда исполняющим обязанности начальника Главного управления правительственной охраны назначили министра Игнатьева. А тот по договоренности с Маленковым и Сталиным поручил это дело мне, — говорит Рясной. — И я в последнее время ежедневно со своей дачи в Серебряном бору приезжал на дачу Сталина в Кунцево. Это февраль 1952 года».

ПОХОРОНИЛИ БОГА

Бедя со Сталиным случилась в ночь с 1 на 2 марта 1953 года. Рясному позвонил его подчиненный Старостин, начальник личной охраны Сталина:

— Что-то не просыпается.

В последнее время Сталин редко выезжал с дачи и поздно по вечерам собирал своих ближайших помощников. Приезжали Маленков, Хрущев, Берия, Булганин... Молотов тоже бывал, но уже редко. Прежде Сталин выезжал в Кремль, а сейчас все вопросы стал решать здесь, на даче...

Было уже часов девять утра. А он обычно вставал рано.

— А ты поставь лестницу или табуретку и загляни! — посоветовал Рясной Старостину.

Над дверью в спальню было стеклянное окно. В комнате стояли диван, стол, маленький столик для газет и рядом с ним мягкий диванчик, покрытый шелковой накидкой.

Старостин приставил лестницу, заглянул в окно и увидел, что Сталин лежит на полу. Потрясенный, он тут же позвонил Рясному, у которого на даче всегда дежурила машина. Рясной помчался в Кунцево и, приехав, сразу же вскарабкался на ту же лестницу. Сталин лежал на полу, и похоже было, что он спиной съехал с диванчика по шелковой накидке.

— Скорей звони Маленкову! — приказал Рясной Старостину.

Дверь в спальню заперта на ключ. Ломать не смеют. Ключ у хозяина.

«Не знаем, что делать, — говорит Рясной, — ждем, придет Маленков, распорядится. Я-то чего?»

Маленков и Берия приехали вместе. Рясной встретил их во дворе, кратко доложил о случившемся и добавил:

— Надо срочно вызвать врачей!

Тучный Маленков побежал в коридор к телефону, а Берия усмехнулся:

— А наверно, он вчера здорово выпил!

«Эта фраза покорила меня настолько, что до сих пор заставляет кое о чем задуматься», — признается Рясной. Тем самым Берия неожиданно высказал свое отношение к Сталину.

...А вождь лежал на полу, на спине, в полосатой пижаме. Наверно, собирался ложиться спать и сел за столик почитать. Рядом, под большим столом, лежали кучи пакетов постановлений Совета Министров, целую машину их потом загрузили и вывезли.

Приехал министр здравоохранения СССР Третьяков, посмотрел и сразу сказал:

— Это инсульт.

Потом врачи... Много часов прошло, пока они приехали. Сталина перенесли в другую комнату на постель. А члены Политбюро, тоже собравшиеся к этому времени, разбились на две группы и засели в соседних комнатах — делили портфели.

«Умер ли он своей смертью или нет, теперь никто не докажет», — говорит Рясной.

Одно ясно: Сталин был величайшей фигурой, которую хотели убрать. В Корее наши «МИГи» превосходили американские «Сейбры», в последний год жизни Сталина у нас уже была водородная бомба, которой еще не было у США.

В мировой истории этот человек навсегда останется в белом кителе генералиссимуса, в котором перекраивал за столом в Потсдаме карту мира...

5 марта 1953 года Сталин умер.

В Кремле вечером 5 марта обсуждали, что делать дальше. Рясного с дачи вызвали в Кремль к Маленкову, где собрались члены Политбюро.

— Ты хоронил кого-нибудь? — спросил его Берия.

— Бывало, что и хоронил, — ответил начальник правительственной охраны.

— Мы назначили Хрущева председателем комиссии по похоронам, но он ничего не сумеет, так что придется тебе организовывать это дело.

«Берия страшно не любил Хрущева, — говорит Рясной, — хотя и дружила эта «троица» — Берия, Маленков и Хрущев. Никита Берию тоже ненавидел, боялся, что тот его посадит, и все время заискивал перед ним.

И вот похороны полностью возложили на меня — Колонный зал и сами похороны. За порядок на улицах Москвы отвечал Серов, за военных — Гоглидзе».

После заседания в Кремле Рясной обратился к Хрущеву:

— Никита Сергеевич, что будем делать?

— Возвращайся на Ближнюю и организуй! Вскрытие, гроб — все на тебе!

От Рясного я узнал, что Сталина вскрывали на площади Восстания, в Институте усовершенствования врачей, напротив дома, где жил Берия.

— Ночью перевезите тело туда! — приказал министр здравоохранения Третьяков.

Составили список врачей-патологоанатомов, и Рясной вернулся на Ближнюю.

На даче выяснилось, что хоронить Сталина не в чем.

Рясной открыл шкаф, а там всего четыре костюма — два генералиссимусских и два гражданских, серый и черный. Черный сшили, когда приезжал Мао

Цзэдун, специально сшили, насильно, и Сталин его так ни разу и не надел. Да еще бекеша висела — старинная, облезлая, выцветшая.

«Лет сто ей, наверно, было, ей-богу, — говорит Рясной. — Бекеша или архалук вроде шубейки — наде-нет, бывало, и по саду гуляет. Один генералиссимус-ский китель был весь замазанный, засаленный, а дру-гой — обштрипанный...

Да, в этом отношении о нем ничего не скажешь».

Вспоминаю потрясение женщины-врача, которая как-то вела Сталина под руку в поликлинике и об-ратила внимание, что локоть шинели его защит грубо и неумело...

Рясной поднял чекистов, вручил им генералисси-мусский китель с обтрепанными рукавами и велел отвезти в правительственную химчистку в Кунцеве:

— Вычистите и привезите туда, где будет вскрытие.

Новый костюм не шили. Сталин лежал в гробу в своем, стареньком, но сносном: рукава подшили, китель вычистили. Недавно я прочитал в одном «демо-кратическом» издании, что у Сталина на кителе были золотые пуговицы.

«Какая чушь! — возмутился Рясной. — Мои ра-ботники поехали с костюмом в химчистку, а я сна-рядил машину с задней дверью, в нее положили тело на носилках, рядом — две машины охраны, и поехали. Подъезжаем к Киевскому вокзалу, а там народ гуляет, танцы, пляски, свадьба, что ли... Никто еще ничего не знает, по радио объявят утром. Свадьба нас не пропускает:

— Товарищ генерал, выпейте с нами рюмочку!

Знали б они, что я везу в машине тело мертвого вождя!»

Упросили, толпа раздвинулась, машины поехали на Садовое кольцо к площади Восстания.

Привезли и долго ждали врачей. Третьяков звонит, волнуется. А Рясной заранее отправил своих помощ-ников на десяти машинах по разным адресам за врача-ми. Было уже за двенадцать ночи, чекисты стучат в двери, никто не открывает — «дело врачей» было в разгаре. Одну дверь даже пришлось взломать. Вош-ли, а там врач лежит, приступ с ним, думал — пришли арестовывать.

Таковы нравы времени. Кое-как собрали человек

пять врачей, и стали они полосовать мертвое тело Сталина. Рясной видел все, ему полагалось по службе, но не выдержал и отошел в сторону. Ждет Хрущева, он должен был приехать, как договорились, ко вскрытию, но появился только утром, когда Сталина уже одели в привезенный из чистки мундир. Почему-то опоздал Никита Сергеевич на несколько часов.

Назначено было ехать по кольцу к площади Маяковского, оттуда — по улице Горького в Колонный зал Дома союзов.

— Нет, так мы не проедем, — говорит Хрущев, — уже народу полно, объявили!

И решили «обмануть» народ, поехали по улице Качалова, как говорится, «дворами» к Колонному залу. И правильно сделали.

Убрали зал, привезли гроб.

6, 7, 8 марта лежал Сталин в Колонном зале, а 9-го были похороны.

«Вообще Колонный зал для подобных дел не приспособлен, — утверждает Рясной. — Попробуй пропусти такую толпу!

А меня еще обвиняют в том, что я не обеспечил порядок на улицах Москвы, столько людей задавили! Но за это отвечал Серов. Конечно, на улицах творилось не поймешь что. Кто ж думал, что умрет Сталин? Был сплошной массовый плач. Вся страна повалила в Москву. Идут, рыдают, падают в обморок. Возникают давки, 129 человек погибло. А сейчас пишут, что это чуть ли не нарочно сделали. Приостановили это дело только тем, что прекратили пускать поезда в Москву, а то вообще черт знает что было б, если б вся страна съехалась!

Меня уже ни руки, ни ноги не держат, а голова... — трое суток не выхожу из Дома союзов. Сажу в комнате для артистов за Колонным залом, там стол посередине, коньяк, конечно. Еле сажу.

Входит Василий Сталин и ко мне обращается:

— Что же тут творится?

— А чего тебе нужно? — Меня зло взяло.

— Умер вождь, а музыка танцальки играет!

Что ему взбрело сдуру? Исполнялся подбор траурных мелодий, а он, видно, выпивши... Мне и раньше приходилось с ним мучиться. Ночью мне звонят на квартиру: Василий со своими дружками устроил драку

в баре на улице Горького — в Москве тогда был единственный ночной бар, сразу за Госпланом.

— Ну и что? — говорю.

— Что делать? — спрашивают.

— Что делать! Свяжите его и привезите домой.

Почти так и сделали. Почти связали. Отец узнал бы, дал бы ему. Он несколько раз давал распоряжения его арестовать. Васька — сорви-голова, бравировал. Слабохарактерный, легко поддавался на всякие похождения, пьянки. Яков — тот поспокойнее был, скромный, не то что Василий. И Артем, приемный сын, скромный парень. Сталин их никого не баловал. В первый же день войны всех троих отправил на фронт, это точно. Есть документы на этот счет.

Куда делся архив Сталина? Забрали в ЦК, Суслов забрал.

Когда уже было видно, что Сталин умрет, договорились с Хрущевым открыть музей в Ближней даче и туда кой-чего стали стаскивать. А из чего делать музей — непонятно. У него личных вещей почти не было. Да и Суслов все канителится, а потом приняли решение никакого музея там не открывать.

Похоронили Сталина...»

Похоронили бога.

БЕРИЯ И ДРУГИЕ

...Только похоронили Сталина, Рясной приехал домой, хотел прилечь отдохнуть — правительственный звонок, вызывают в Министерство внутренних дел. Приехал — там Маленков, Берия и его замы. МВД и МГБ вновь решили объединить, и Берия опять стал единым полновластным министром. Решали, кого куда назначить — Круглова, Гоглидзе... Всплыл Кобулов, которого Сталин давно выгнал, — его назначили первым замом министра.

«Это была такая сволочь, — говорит Рясной. — Основную часть тех язв, которые причинил государству Берия, нанес Кобулов. Страшный человек, подлец из подлецов. И в Грузии он у Берии был первым замом, Берия перетащил его в Москву. Сын крупного торговца, толстенный такой... У него был большой стол, наполовину округло вырезанный, чтобы пузо

помещалось. Когда он переезжал на другое место работы, стол этот с собой возил. Конечно, ерунда, с любым может случиться, но дело в том, что это очень коварный человек, он осуществлял разведку внутри МГБ и подобрал для этого людей, себе подобных, чтобы знать все, что делается внутри, и держать в руках все нити аппарата. Его потом расстреляли по делу Берии».

На совещании у Берии 9 марта 1953 года Рясного поставили во главе иностранной разведки, которую курировал Кобулов, и помещалось это ведомство в доме Коминтерна за институтом кинематографии.

Поработал Рясной месяца три, и пошли у него разногласия с Кобуловым, не заладилось дело.

Кобулов уговорил Берию созвать в Москве совещание резидентов в капиталистических странах. Рясной выступил резко против, мотивируя тем, что какая бы ни была конспирация, дело опасное, можно подставить резидентов. Почему не вызываем послов, секретарей посольств, а только одних резидентов?

Произошел большой разлад с Кобуловым, вопрос обсуждали среди членов и кандидатов в члены ЦК, а Рясной к тому же был кандидатом в члены ЦК КПСС. И в ЦК он выступил против такого совещания, и добился своего.

Крутили-рядили, и закончили тем, что вызвали Рясного в правительство и назначили начальником управления МВД города Москвы.

В это время в Москве после бериевской амнистии 1953 года собрались бандюги, воры и шпана со всей страны...

...Кабинет Берии был на третьем этаже на Лубянке. Но арестовали его в Кремле, на заседании Президиума ЦК. Сговорились.

«Там большая свара была, — вспоминает Рясной. — Он их подслушивал, обложил с точки зрения обслуживания крепко. Они его боялись. Но Хрущев добился того, что его стали поддерживать большинство членов Президиума. Молотов и Каганович сразу стали на сторону Хрущева в отношении Берии.

Жена Молотова, Жемчужина, при Сталине сидела. Она и артист Михоэлс были два главных закоперщика по всем еврейским делам. Они написали письмо в Политбюро о том, чтобы для евреев вместо Дальневос-

точной республики отдали Крым. Сталин расправился с ними. Михозлса убили, а Жемчужину сослали в Казахстан, и Молотов увидел ее на свободе через четыре года в кабинете Берии, на следующий день после похорон Сталина.

Берия лавировал, учитывал всякие нюансы в настроениях. Вообще его окружение, эта компания еще та была!

Но у меня хорошее мнение всегда было о Меркулове. Берия его за собой всюду таскал, однако Меркулов всегда сопротивлялся всяким таким вещам, но неуклюже, неумело и робко. Он был, по-моему, честным. Гражданский человек до мозга костей. Какой-то теленок был».

Надо сказать, когда арестовали Берию и его подручных, о Меркулове забыли. Он уже работал председателем Госконтроля, сидел не на площади Дзержинского, а на Пушкинской площади. Но после ареста Берии в его кабинете открыли сейф и обнаружили письмо Меркулова, где тот с умилением вспоминал годы совместной работы с Берией и пылал желанием снова с ним потрудиться. Меркулов, видимо, почувствовал, что Берия готовится взять всю власть, и хотел напомнить о себе. Но тут-то о нем вспомнили другие — где этот голубь? — и тоже арестовали, а потом расстреляли. Меркулов думал, что развязался с Лубянской, но с ней, оказывается, развязаться невозможно.

«Кто был самым скромным у нас, не побоюсь сказать, это Гоглидзе, — говорит Василий Степанович. — Скромнейший человек. Он Берии не верил. Его тоже расстреляли... По делу Берии проходили еще такие, как Мешик и Влодзимирский. Их тоже расстреляли. Влодзимирский слыл как опытнейший истязатель. Такой же, как Сильвановский...»

Мешика я знал хорошо. Подхалим, но много сделал для атомной бомбы. Был заместителем председателя этого комитета Берии. Надо отдать должное Берии, его заслуга в этом деле очень велика. Сейчас кое-кто из бывших работников органов многое себе приписывает, но это вранье. Там другие люди были. Кроме того, один из бывших моих коллег пишет, что наши ученые ничего не сделали, все мол, добыл он через своих агентов, а Опенгеймер вообще на нас работал».

...В. М. Молотов рассказывал мне, как он уговаривал академиков Иоффе и Капицу принять участие в создании атомного оружия, как они отказались и как ему порекомендовали молодого Курчатова, которому не давали ходу. Его обеспечили работой и предоставили материалы разведки, которым он очень обрадовался.

«Курчатов много сделал,— говорит Рясной.— А сейчас весь процесс создания атомной бомбы представляют упрощенно. И я должен сказать, что здесь Берия проявил себя здорово, полезное дело сделал.

Надо реально смотреть на вещи и воздать должное Берии. Его отношение к людям — это другой вопрос, но создание ядерного щита, начиная с Челябинска, это заслуга сначала Молотова, потом Берии!»

Читаем с Рясным письма Берии из тюрьмы, когда его арестовали. Он пишет Маленкову в июне 1953 года, что всегда выполнял все задания партии и правительства и в числе своих заслуг называет кадры, которые он воспитал:

«Взять хотя бы руководящих работников МВД товарищей Круглова, Кобулова, Серова, Масленникова, Федотова, Стаханова, Питовранова, Короткова, Сазыкина, Горлинского, Гоглидзе, Рясного, Судоплатова, Савченко, Райхмана, Обручникова, Мешика, Зырянова и многих других. Кроме помощи им в работе, требований, чтобы лучше организовать борьбу с врагами Советского государства как внутри страны, так и вне ее, у меня ничего не было. Товарищи работали, как положено настоящим партийцам...»

Берия обращается персонально и к Молотову:

«У меня всегда было прекрасное, ровное отношение к Вам, работая в Закавказье, мы все высоко ценили, считали Вас верным учеником Ленина и верным соратником Сталина, вторым лицом после товарища Сталина...»

Далее Берия пишет об интригах, которые царили в Политбюро, и что он всегда считал, что ссорить Сталина и Молотова — преступление перед партией.

В письме Берии к Молотову меня заинтересовал один момент. Берия напоминает о первых днях войны, решительном и хладнокровном поведении Молотова, который сразу же предложил создать Государственный Комитет Оборона, и они поехали уговаривать Сталина возглавить его.

В книге о Берии его сын Серго утверждает, что отца арестовали и убили дома, на улице Качалова, и из дома на носилках вынесли труп.

«А он действительно мог и не знать, как все было», — говорит Рясной.

«Каким вам запомнился Берия?» — спрашиваю у Василия Степановича.

«У него на лице всегда было выражение недовольства, какая-то тяжелая думка, настороженность. Редко его можно было застать веселым, шутливым... Черт его знает...

Но многие полезные дела Берии, повторяю, сейчас приписывают себе другие. Так же, как организацию убийства Троцкого Эйтинггом берет на себя один мой бывший коллега...»

МАТЬ УБИЙЦЫ ТРОЦКОГО

Рясной рассказал, как в 1952 году, когда он стал заместителем министра госбезопасности СССР, к нему пришел подлинный организатор этого убийства Эйтингон...

В мае 1970 года на столе у Главного маршала авиации А. Е. Голованова я увидел поздравительную открытку.

— Знаешь, кто прислал? Эйтингон. Мы с ним вместе работали в ЧК.

И вот я снова слышу эту фамилию.

«Эйтингон — крепкий, здоровый, краснолицый еврей, — говорит Рясной. — Я его впервые увидел. Он пришел ко мне и говорит:

— Я вас всегда знал как человека, который никогда слова на ветер не бросает. Я Эйтингон. Ко мне через надежных людей обратилась мать исполнителя, Меркадера. В свое время она благословила своего сына, по крайней мере не отговаривала, выполнить тяжелейшее задание — убить Троцкого. И ей тогда наши чекисты от имени страны дали честнейшее обещание, что ей будет выплачиваться определенная пожизненная пенсия.

Периодически менялись почтовые ящики, в которые ей вкладывали деньги, получала она аккуратно, но вот уже полгода ей ничего не платят.

Я обращался к разным начальникам, никто внимания не обращает. А Меркадер уже который год сидит. Мать живет в Париже, и в этом, видимо, вся сложность. Как быть?

Для меня это было новостью, — продолжает Василий Степанович. — Я посоветовался с Игнатьевым, и мы кое-что решили».

А для меня, честно скажу, ничего удивительного нет. Наобещать и забыть — наша национальная черта. Удивляюсь, что еще платили с 1940-го аж до 1952-го...

НЕ УГОДИЛ ХРУЩЕВУ

Три года — с 1953-го по 1956-й — Рясной руководил московской милицией.

«За это время я свел на нет преступность в Москве, — говорит Василий Степанович. — А ведь страшные дела творились, когда выпустили из лагерей всех уголовников! Амнистию надо проводить с умом, а эта амнистия была жуткой. Реабилитация тоже не всегда была оправданной — Солженицына в святого превратили!

Никто сейчас ничего не хочет понять в нашем МВД. Нынешнюю преступность можно ликвидировать элементарно. Но такое ощущение, что с ней связаны верхи, и потому они не хотят этого делать».

Один мой знакомый, в ту пору слушатель военной академии, рассказывал мне, как их ночью подняли, построили на плацу и отправили проверять столичные квартиры. Столько «малин» накрыли!

«Но в 1956 году я не угодил Хрущеву, — продолжает Рясной. — Никиту я знал как облупленного по Украине. Это тип такой: если трудный момент, сразу норovit за кого-нибудь спрятаться.

Меня уволили из МВД, а пишут, что я был там ставленником Хрущева. И уволили в том же звании — генерал-лейтенантом. Берия был маршалом, Абакумов — генерал-полковником, правда, их расстреляли».

О работе Рясного в Московском управлении я слышал неплохие отзывы. Один из крупных чекистов более позднего призыва генерал И. П. Абрамов, в то время секретарь комсомольской организации Московского управления, рассказывал:

«Я пришел молодой, горячий, критику там навел, так он не то что меня не выгнал или прижал, а еще потом и наградил! Я был так удивлен».

В 1956 году Рясного вызвали в ЦК, вспомнили, что в МВД он не раз занимался большими стройками, и назначили начальником строительства Волго-Балтийского канала. Этот канал завалили во время войны, надо было восстанавливать. Два года поработал — восстановили. Канал действует. Вместо малых — большие шлюзы, работают электростанции. На Ленинград из Москвы идут суда...

После этой стройки Рясного перевели в дорожное строительство, и долго, до 1988 года, он работал управляющим трестом. Ушел на пенсию в 84 года.

Такая биография.

КОРОТКА ЖИЗНЬ НАША

«Коротка жизнь наша, — говорит он. — Ребенку кажется, что она долгая, но я вот живу 92-й год, а по паспорту — 93-й, и, кажется, только недавно махал шашкой в Средней Азии в гражданскую войну».

Сам он, как мы знаем, родился в Самарканде, а отец — из Саратовской губернии, украинец. Отца призвали в армию и отправили в Оренбург, в воинскую часть, которую бросили на строительство железной дороги от Ташкента в сторону Красноводска. Служба кончилась, но он завербовался на эту дорогу путейским рабочим — костыли забивал. Там и родился Вася Рясной. Из Самарканда отца перевели в Каган, что возле Бухары. Там в 1907 году он участвовал в забастовке железнодорожников, и его сослали под надзор полиции в Кушку, в ту самую, про которую говорят, что дальше нее не сошлют.

Таково было начало Василия.

А сейчас он остался один-одинешенек в маленькой обшарпанной московской квартире.

Я переступаю порог квартиры человека, который мне интересен тем, что причастен к великой эпохе Сталина.

(«Я со Сталиным подолгу говорил, чтоб не со-
врать, раз восемь-десять, подолгу».)

Василий Степанович Рясной в старой клетчатой

рубаше, забытый генерал-лейтенант, заместитель министра двух самых опасных ведомств. На столе лежит написанный от руки его послужной список — зачем-то сидел, кропал. Недавно потерял жену, и вот только что умерла дочь, 62 года прожила. Она ухаживала за ним последние годы. Ни родных, ни близких, а тем, кто где-то еще есть в живых, сегодня не до него. Хорошо хоть пенсию платят, да может еще сам передвигаться и себя обслуживать.

Позвонил в ведомственную поликлинику, попросил, чтоб помогли ему, когда приедет, подняться с этажа на этаж, — слушать не захотели, бросили телефонную трубку. Поехал на троллейбусе, водитель резко тормознул, пассажиры проломили кабину, а Василий Степанович сильно ушиб бок...

Голова свежая, хочется работать, мыслить, писать, выступать перед людьми, а ноги болят, тело разваливается...

— А выпить вам можно немножко? — спрашиваю.

— Выпиваю чуть-чуть.

Я вынул бутылку коньяку, старик засуетился, поковылял на кухню, принес тарелочку с нарезанным сыром, колбаской и хлебом.

Пошел разговор...

ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ, ИЛИ «МАЭСТРО»

В совсем недавние времена, когда у нас был комсомол, практиковались так называемые агитперелеты. В двух я участвовал — в компании прославленных асов, Героев и дважды Героев, летал по многим точкам нашей огромной и, казалось тогда, незыблемой в границах державы, в 1985—86 годах побывал в Прибалтике, Закавказье, Казахстане, Средней Азии. Мы агитировали молодежь поступать в летные училища. Уже чувствовалось что-то неладное в стране, и за авиацию, что прежде была любимицей нации, уже приходилось агитировать.

Салон Ил-18 был полон людьми с Золотыми Звездами. Там я и познакомился с «Маэстро». Он участвовал в обоих перелетах. Целыми днями, с утра до вечера, мы были заняты выступлениями в школах, техникумах и дворцах культуры, ложились поздно, а утром — перелет в другой город. Во время этих перелетов для меня и открылся «Маэстро»-рассказчик.

Он был неутомим и никогда не повторялся. Я узнал, что он стал прототипом главного героя в фильме о летчиках «В бой идут одни старики». И хороший актер Леонид Быков играет «Маэстро». Однако самого Виталия Ивановича Попкова — так зовут нашего героя — в фильме хватило на два персонажа: кроме «Маэстро» он еще и «лейтенант Кузнечик». По крайней мере, точно как в фильме «лейтенант Кузнечик». Виталий Попков открыл на фронте счет сбитым самолетам. Немногим известно об этом. Недавно участвовал Ви-

талий Иванович в телевизионной игре «Поле чудес», но даже всезнающий ведущий, характеризую игрока, ни словом не обмолвился, что это — «Маэстро»...

Когда Попков окончил училище и прибыл в боевой полк, пополнение принимал сам командующий Первой воздушной армией Михаил Громов, Летчик Номер Один Мира, как его называли полвека. Виталий Иванович кое-что рассказал мне об этой встрече, а я написал такие стихи:

— Ну и какой у тебя налет? —
громко спросил великий Громов.
— Три часа! — взбодрился пилот.
— Силен ты! — великий пошел к другому.

И снова над аэродромом круги,
смущенные, первые дни фронтовые,
смотришь на ногти и на сапоги,
белые от необузданной пыли.

И ожидание жизни самой,
той, что еще себя порасскажет, —
от звезд, упрятанных над головой,
до нарисованных на фюзеляже.

«Скромные были ребята, — говорит «Маэстро», — а тут, представляешь, сам Громов! Смотрели на свои ногти да на сапоги...»

Не знал Громов (а может, и знал!), что перед ним будущие Герои. Не рассказывает «Маэстро», как доставались эти звезды на фюзеляже, что такое сбить хотя бы один самолет... А рассказывает, как получил орден Ленина и пошли с ребятами в кино:

«Я привинтил орден на гимнастерку чуть полее, чем нужно, а шинель расстегнул, чтоб орден было видно. В кино очередь, как всегда, но Героям Советского Союза — пожалуйста. Мне еще до Героя далеко-далеко было, но двинул без очереди. Кассирша посмотрела на мой орден Ленина, привинченный так, словно правее, под полую шинели, предполагалась Золотая Звезда, и, не сомневаясь в этом, выдала мне билеты на всю компанию...»

А почему «Маэстро», почему такое прозвище? В фильме рассказано, но не совсем так, как было в жизни. Летали на истребителях, подаренных джаз-

оркестром Утесова — с нотами на фюзеляжах. При случае Виталий сел за пианино и обратился к своим:

— Ну, что вам сыграть? Могу, например, «Амурские волны»...

Сыграл. Надо заметить, больше ничего он играть не умел, но этого вполне хватило для получения титула «Маэстро». Разучили «Смуглянку» — «клен зеленый, раскудрявый, лист резной...» Признаюсь, не могу спокойно смотреть кадры фильма, где рука летчика сжимает штурвал и гашетку... «Клен зеленый...» Жизнь — мгновение.

В «поющей эскадрилье» почти все — одиннадцать из четырнадцати — стали Героями Советского союза. Когда в Кремле семеро получили высокие награды, конечно, отправились в ресторан «Националь».

— Ты видел там старинное зеркало с дырочкой вверху? — спрашивает Виталий Иванович. — Это я стрелял! — улыбается он.

Сдвинули столы. Война — можно было заказать только шампанское и винегрет. Подошел официант:

— Вам шампанское подогреть или так?

«А дело в том, — поясняет «Маэстро», — что если пить подогретое шампанское, то становишься неуправляемый и совершенно дурной».

— Конечно подогреть!

Обмывать так обмывать. Официант принес подогретое шампанское в вазе, куда летчики сложили только что полученные у Калинина семь Золотых Звезд и орденов Ленина. За соседним столиком что-то свое отмечали артисты, среди которых без труда узнавался Кмит — Петька из легендарного кинофильма «Чапаев».

«А у нас у одного парня с шутками туговато было. Мы ему говорим:

— Ты знаешь, а Кмит сказал, что ты дурак.

— Ну и что я должен делать?

— Как что? Дать ему по морде».

Тот, недолго соображая, последовал совету товарищей. Началась потасовка, аранжированная пистолетной пальбой, к счастью не повредившей никому и ничему, кроме ресторанного зеркала. На многие годы осталась дырочка... Однако вызвали патруль. Появился

кавалерийский майор в бурке и папахе, а при нем солдат с винтовкой. Кавалерист решительно направился к летчикам, и взгляд его заворуженно окунулся в вазу с Золотыми Звездами в шампанском. Такого количества их в одной вазе он еще не видел. Майор покрутил ус, велел солдату выйти за дверь, а когда узнал, что эти летчики-истребители из дивизии Василия Иосифовича Сталина, у него окончательно пропала охота их задерживать. Кавалерист подсел к «семерке смелых», и праздник пошел по новому витку, без драки, конечно. Да и драться стало не с кем — артисты предусмотрительно удалились, поняв, что нечего переть против такого звездопада...

В этот раз обошлось. А на фронте за какую-то провинность командир полка приказал посадить «Маэстро» «на губу». Но поскольку в авиационном полку сроду никакой гауптвахты не водилось, велено было отвести провинившегося в траншею за селом.

«Вела меня девчонка с винтовкой. Ремень с меня сняли, она ведет меня по селу под конвоем, все прильнули к заборам, а я нарочно распахнул шинель, чтоб видели мою Золотую Звезду и ордена, и громко говорю ей, не оборачиваясь:

— И тебе перед всеми людьми не стыдно меня, сталинского сокола, Героя Советского Союза, вести под конвоем?

Она заканючила:

— Разве я по своей воле? Мне при-ка-за-а-ли... — И как заревет!

А я, довольный, иду.

Привела к траншее. Сижу, ворон считаю. Через полчаса прибегает командир полка, приносит ремень и шлем:

— Хватит отсиживаться, давай скорее на задание!

А было еще, стал наведываться к истребителям немецкий разведчик — «рама». Покружит, понюхает и улетит. Не удавалось достать эту «раму», непростая штука. Стал донимать летчиков начхоз:

— Эх вы, герои! Слабо его сбить? Вот кто собьет, тому дам бритву «Золинген»!

Знатная бритва. Помню, у моего отца была — «трофейная».

«Маэстро», конечно, заключил пари с начхозом,

дел Виталий и Сталина — чаще всего вместе с Кировым, у них была большая дружба. Киров любил заводить патефон, Молотов отлично музицировал на пианино и играл в городки, шаггал с теннисной ракеткой Буденный... Познакомился с сыном Сталина Васей, он был на год постарше, к нему «приклеивались» мальчишки, чтоб с ним пройти на пляж. Через годы встретились на фронте...

В Сочи будущий «Маэстро» и научился играть на пианино «Амурские волны»...

Лазили к Сталину на дачу за клубникой, малиной.

«Дурные были, — смеется Виталий Иванович, — чекист мог бы запросто застрелить из-за кустов».

Запомнилось, как Сталин подшучивал над своим дворником:

— А что, Костя, если в Англии произойдет революция, сядешь там на место Чемберлена?

— Да я здесь уже привык, — отвечал Костя, — но если вы скажете, товарищ Сталин...

Запомнилось и взволновавшее всех окрестных обитателей событие, названное покушением на Сталина.

У мыса Пицунда стояла погранзастава. Ее приехал проверять нарком внутренних дел Абхазии. Начальник заставы пожаловался, что не на чем отвезти грязное белье в прачечную, в Гагру. Нарком посоветовал:

— Подзови к себе катер, пусть заберет корзину с бельем, отвезет и привезет.

Катер был быстроходный, переделанный из торпедного, время от времени возил членов Политбюро.

— А как я его к себе подзову? — спросил начальник заставы. Радио тогда еще не было.

— Покричи в рупор, а если не поймет, дай поверх него пулеметную очередь.

...Увидев катер, начальник заставы по рупору стал звать его к себе. Катер подошел к заставе.

— Возьми у меня корзину с грязным бельем! — крикнул в рупор начальник заставы капитану.

Тот в ответ покрутил пальцем у виска, — мол, с ума сошел. И отчалил. Начальник заставы ничего не понял и велел дать поверх катера пулеметную очередь. Дали. И даже задели катер — потом две или три пробоины обнаружили.

Но дело в том, что в этот день на катере был Сталин с некоторыми из членов Политбюро. Заставу — восемь человек — расстреляли. Раздули «дело». Нашли «заговорщиков» с оптической винтовкой — в Абхазии уже тогда возникали вооруженные конфликты, и оружие у населения при желании можно было найти. Всего расстреляли 52 человека, которые «сознались», кроме двух, отрицавших свое участие в «заговоре».

Известная российская дурость была всему виной...

Она проявилась и в другом случае, уже во время войны. Полковник В. И. Сталин поручил капитану В. И. Попкову организовать рыбалку. Для этого выплавили содержимое 250-килограммовой немецкой бомбы и разлили взрывчатку по консервным банкам. Она загустела, как мыло, вставили в банку взрыватель, подожгли и бросили в речку. Никакого эффекта. Нашлась умная голова, посоветовала:

— Давайте возьмем со склада реактивный снаряд!

Так и сделали. Решили: запал горит 22 секунды, за это время можно бросить снаряд в реку, самим разбежаться и упасть на землю.

Бросили. Снаряд забулькал в воде и не взорвался.

Василий Иосифович предложил:

— Давайте сделаем запал на 16 секунд — успеем отбежать!

Попробовали — снова не вышло. Решили сделать на 10 секунд — успеем! Полковой инженер, державший снаряд, сидел под березой. Снаряд взорвался у него в руках, вычистил туловище, как рыбу, — сердце оказалось на одной ветке, печень на другой... Остальные участники успели отбежать, однако один осколок угодил Василию... в задницу. Приехала комиссия разбираться, спрашивают у Попкова:

— Кто приказал организовать рыбалку?

— Полковник Сталин.

Заскучали. А командиром полка был майор Бобков, и наверх пошел рапорт, что в полку Бобкова летчики пьют спирт, не разбавляя.

— Если не умеете пить, пейте воду и закусывайте картошкой, — сказал генерал Руденко.

Василий в это время лежал в госпитале в Москве.

«Мы с Бобковым решили его проведать, — говорит «Маэстро». — Героям Советского Союза тогда давали бутылку водки, 200 граммов масла и кусок колбасы.

Я взял с собой еще одного Героя, чтобы водки больше было, и мы прибыли к Василию. Он лежал в одной палате с летчиком «Нормандии-Неман» Героем Советского Союза Роланом де Ла Пуапом. А Бобков без мата слова сказать не мог — такая у него была особенность. Василий говорит французам:

— Видишь, какие у нас в армии простые отношения? Мой подчиненный вот так разговаривает с командиром дивизии.

— А почему ты майор? — обратился он к Бобкову. — Я же тебе еще под Сталинградом присвоил подполковника!

— А приказ забыли написать, тра-та-та-та, — ответил Бобков.

Василий снял телефонную трубку и позвонил в отдел ЦК партии. Сделали.

...Виталий Иванович показывает изданную в США книгу об асах второй мировой войны с надписью: «Бывшему врагу, нынешнему другу. Гюнтер Ралль».

Гюнтер Ралль, третий ас вермахта, сбивший 275 советских самолетов. Его превзошли только Эрих Хартман — 352 победы и Герхард Бартхорн — 301 сбитый самолет. Ныне Ралль — депутат бундестага, входит в Клуб асов мира. В первый день войны 22 июня 1941 года он сбил над Брестом в одном бою 9 советских самолетов.

— А почему не 10? — спросил его Попков. Немец показал пальцами, как бы нажимая на гашетку: кончились снаряды.

— А «Ла-пятые» сбивал? — спросил «Маэстро».

— Ни одного, — ответил Ралль.

То ли на самом деле правду сказал, то ли потому так ответил, что Попков летал на Ла-5...

В книге десятки фотографий немецких асов, сбивших более ста советских самолетов. Лучшие наши истребители: Кожедуб — 62, Покрышкин — 59... Я понимаю, что коэффициент — отношение боевых вылетов к сбитым самолетам — у наших летчиков выше, чем у немецких, и все же в чем дело?

— У немцев подготовка была намного выше, — говорит Виталий Иванович. — Вооружение мощнее. К тому же эти летчики занимались вольной охотой и не сопровождали, как мы, бомбардировщики и штурмовики.

К чести «Маэстро» надо заметить, что он под Сталинградом сбил одного из лучших летчиков Третьего рейха — Германа Графа, на счету которого был 221 сбитый советский самолет!

Герман Граф побыл в плену, ныне здравствует...

— Правильно сделал, что ты его сбил, это такой тип! — сказал Попкову Гюнтер Ралль...

Иногда «Маэстро» можно встретить в красном пиджаке Клуба асов второй мировой войны. Американцы включили его в десятку сильнейших в мире. Может быть, знают, что он к тем сбитым немецким самолетам добавил в Корее еще три американские машины, среди которых «Летающая крепость», хотя в своем справочнике американцы написали о нем так: «Виталий И. Попков, дважды Герой Советского Союза. Сбил 47 самолетов, где — неизвестно (вероятно, летчик-шпион)».

— Как их Пауэрс! — смеется Виталий Иванович.

А в Корее он побывал в начале 50-х, будучи заместителем трижды Героя Ивана Никитича Кожедуба. Но если спросить о его «командировке» на Корейскую войну, то «Маэстро» расскажет, как Кожедуб потерял там свой чемодан, а он нашел... Посольство Корейской Народно-Демократической Республики не забывает приглашать его по торжественным случаям...

Он и сейчас остается таким же веселым и по-детски проказливым. Глаза мальчишески-шкодливые, с искрой шалости. Так и кажется, сейчас что-нибудь отмочит. Идем с ним по улице, он наклонился к пацану, глотающему мороженое:

— Дай лизнуть!

Тот поднял голову, увидел седого генерала с двумя Золотыми Звездами и обалдел...

Такой он для меня, сегодняшний «Маэстро». И еще вижу, как несет он Знамя Победы на юбилейном параде через пять десятилетий после той войны. И за этим знаменем в небе его друзья, живые и мертвые, и он сам на Самотечном бульваре, бронзовый победитель из 40-х, 50-х годов второй мировой и иных войн, а рядом проходят тысячи и тысячи современных побежденных. Это мне напоминает страшную немецкую фотографию, на которой от горизонта тянутся советские пленные. Нынешние побежденные шагают не с поднятыми руками, как и те из 1941 года, где и конвойных-то не видно...

Но после 1941-го был 1945-й.

«Клен зеленый, раскудрявый, лист резной...»

Он подарил мне свою фотографию 1945 года и написал:

«Моему другу, пилоту по происхождению и бойцу по душе! На добрую память, с уважением — бывший "Кузнечик" и "Маэстро"».

Я счастлив, что могу позвонить живому победителю, которому в Москве стоит памятник.

НЕСПИСОЧНЫЙ МАРШАЛ

«№ 36412/42

Секр. 4 отд. РУ ВВС ГЕРМАНИИ

(перевод с немецкого).

**ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
АВИАЦИЯ ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ (АДД).**

Сентябрь 1943

4 отдел Разведуправления
Генштаба ВВС

...Данные для этой разработки были неоднократно проверены, ибо для этого много благоприятных обстоятельств. На достоверность всех данных было обращено особенно серьезное внимание...

1. История развития АДД

...В начале войны перед военным руководством Советского Союза встала серьезная задача создания единой системы подготовки и обучения всех соединений дальней бомбардировочной авиации, ибо налицо были грубые ошибки в ее боевом применении и ощутительные потери. Уже в первые дни войны высшее командование ВВС КА благодаря неправильному использованию соединений дальней бомбардировочной авиации потеряло весь состав самолетов-бомбардировщиков и отлично подготовленный для ночных и слепых полетов летный состав. При дневных действиях по переднему краю обороны дальнебом-

бардировочная авиация выполняла свои задачи без сопровождения истребителями, что привело к огромным потерям...

В апреле 1942 года военным руководством были приняты решительные меры, и в удивительно короткий срок был создан «Оперативный воздушный флот» — АДД.

...АДД выводят из состава ВВС КА и ставят во главе ее признанно способного, имеющего боевой опыт генерал-полковника Голованова, который быстро был произведен в маршалы авиации и пользуется чрезвычайно большим доверием у Сталина.

Принимая во внимание ее особые задачи, АДД в дальнейшем получает самостоятельность...

2. Организация АДД

...Во главе АДД стоит Главнокомандующий — летчик дальнебомбардировочной авиации А. Е. Голованов, который 3 августа 1943 года был произведен в маршалы авиации.

По всеобщему мнению, он считается одним из способнейших генералов ВВС СССР. Имея многолетний опыт как летчик гражданской авиации, он обладает большими летными данными и отличным организаторским талантом.

В Академии гражданского воздушного флота и во время своей работы в качестве руководителя территориальных управлений ГВФ в Средней Азии и Сибири он получил всесторонние знания в области авиации и, в частности, в области дальних воздушных сообщений, а также организационно-административные навыки, которые он и использует в настоящее время в военной авиации.

Кроме того, он имеет большую популярность, хорошее общее развитие и обладает большой энергией.

Значительно то, что до сих пор никто из плененных летчиков не мог сказать про него ничего отрицательного, что совершенно противоположно по отношению ко многим другим генералам ВВС СССР.

Положение Голованова, а также всей АДД знаменуется очень близким отношением Голованова к Сталину. Согласно показаниям военнопленных, Голованов еще в первые годы существования Советской влас-

Его рано уволили на пенсию, после смерти Сталина. Просил работу, ответили: «Для ваших погонов у нас и должности нет!» И тогда он пошел летать в НИИ.

Его дедом по матери был Николай Кибальчич, да, да, тот самый молодой человек, но уже с траурной каймой бороды, тот самый революционер-народоволец, что готовил покушение на царя и был за это царем повешен. Тот самый, что перед самой казнью отправил из тюрьмы на высочайшее имя пакет с чертежами первого в мире космического летательного аппарата...

Вот такое родство...

А в октябре 1917 года 13-летний Голованов вступил в Красную гвардию — благо вымахал ростом под два метра и выглядел на все 16... Воевал на Южном фронте, работал в контрразведке. Принимал участие в аресте Бориса Савинкова, и пистолет знатного эсера хранился в столе у будущего маршала. В 21 год он носил четыре шпалы на петлицах — полковник по более поздним понятиям. Но, как спустя годы напишет о нем в своем досье Гитлеру немецкая разведка, «он сменил свою работу в партийных органах на профессию простого летчика, где также успешно проявил себя».

Он стал гражданским летчиком, быстро вырос до начальника Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота.

И — 1937 год.

Исключен из партии в Иркутске, чудом избежал ареста: друзья-чекисты предупредили, чтоб срочно уезжал в Москву, за правдой. В Москве с трудом устроился вторым пилотом. И добился правды: Комиссия партийного контроля выяснила, что исключен он ошибочно, более того, обнаружили документы о представлении его к ордену Ленина за работу в Сибири. Ему вновь предложили руководящую должность, уже в Москве, но он отказался и продолжал летать пилотом. Очень хорошим пилотом.

Когда я смотрел на него, видел в нем летчика «громовского плана». Дело в том, что я давно уже всех хороших летчиков делю на два типа: громовский и чкаловский.

Так вот, Голованов, мне кажется, относился к громовскому складу характера в авиации. Хотя, конечно же, и у Громова, и у Чкалова было много общего:

беспредельная любовь к своему делу, стремление быть первым. Оба мечтали облететь земной шар. Чкалову помешала внезапная, нелепая гибель, Громову — война.

Таким же был Голованов. Тоже мечтал о полете вокруг шарика. В 1938 году газеты писали о нем как о летчике-миллионере, то есть налетавшем миллион километров. Дальше — Халхин-Гол, финская кампания. Голованов летает, применяя передовое в самолетовождении — радионавигацию, точно выводит самолет на цель, выполняет с экипажем задание и возвращается на базу. Немногие тогда так летали.

...Новый 1941 год шеф-пилот Аэрофлота Голованов встречал в Москве, в клубе летчиков, где теперь гостиница «Советская». Голованов сидел за столом с генеральным инспектором ВВС Яковом Владимировичем Смушкевичем. Смушкевич завел разговор о том, что наши летчики слабо подготовлены к полетам в плохую погоду, вне видимости земли, что показала Испания и особенно Финляндия. Летать по радио они не умеют, и у нас не придается должного значения этому делу.

— И вы должны об этом написать письмо товарищу Сталину, — сказал Смушкевич Голованову.

Много лет спустя мы вдвоем с Головановым читали это письмо.

«Товарищ Сталин! Европейская война показывает, какую огромную роль играет авиация при умелом, конечно, ее использовании. Англичане безошибочно летают на Берлин, Кельн и другие места, точно приходя к намеченным целям, независимо от состояния погоды и времени суток. Совершенно ясно, что кадры этой авиации хорошо подготовлены и натренированы...

Имея некоторый опыт и навыки в этих вопросах, я мог бы взяться за организацию и организовать соединение в 100—150 самолетов, которое отвечало бы последним требованиям, предъявляемым авиации, и которое летало бы не хуже англичан или немцев и являлось бы базой для ВВС в смысле кадров и дальнейшего увеличения количества соединений.

Дело это серьезное и ответственное, но, продумав все как следует, я пришел к твердому убеждению в том, что если мне дадут полную возможность в орга-

низации такого соединения и помогут мне в этом, то такое соединение вполне возможно создать. По этому вопросу я и решил, товарищ Сталин, обратиться к вам.

Летчик Голованов».

С облегчением, что выполнил указание начальства, отправил письмо, однако не надеясь на то, что оно попадет к столь высокому адресату, а если и попадет, то станет ли Сталин читать письмо простого летчика?

Вскоре его очередной полет в Алма-Ату был прерван, срочно вызвали в Москву.

— Несколько раз звонил какой-то Маленков, — сказала жена.

Вскоре снова позвонили, прислали машину, и Голованов оказался в кабинете секретаря ЦК Г. М. Маленкова, который после короткого разговора снова предложил сесть в машину. Не прошло и пяти минут, и они вошли в небольшой подъезд, поднялись на второй этаж. По кабинету от дальнего стола навстречу шел человек, знакомый всему миру по портретам.

— Здравствуйте, — сказал Сталин. — Мы видим, что вы действительно настоящий летчик, раз прилетели в такую погоду. Мы вот здесь, — он обвел присутствующих рукой, — ознакомились с вашей запиской, навели о вас справки, что вы за человек. Предложение ваше считаем заслуживающим внимания, а вас считаем подходящим человеком для его выполнения.

Как во сне. Все снова, с нуля, началось для Голованова. Верней, не с нуля. С полка. Сталин присвоил Голованову звание подполковника. За три года он вырос до Главного маршала авиации. Небывало!

— Как к вам относился Сталин? — спросил я его.

— Как я к тебе, — коротко ответил Александр Евгеньевич.

В Подольском военном архиве мы вместе будем читать разработку немецкой разведки:

«Голованов, в числе немногих, имеет право на свободный доступ к Сталину, который называет его по имени в знак своего особого доверия».

— А ведь правда, называл, — улыбается Голованов, снимая очки. — Откуда они все это узнали? Я тебе скажу следующее дело: я его ни разу не подвел, ни разу не обманул. А среди командующих такие были, и Ста-

лин имел при себе средство против них: записную книжку — «колдуна», как он говорил, которую доставал из глубочайшего кармана брюк. В нее он записывал наиболее важные цифровые данные.

«Средство против брехунов типа Еременко и Жигарева», — говорил Сталин.

В одну из самых первых наших встреч я напрямик сказал Голованову:

— Александр Евгеньевич! Немецкие полководцы написали горы фолиантов о том, как вы их разбили, а вы, наши маршалы Победы, ничего не рассказали.

Еще не было мемуаров Жукова, Рокоссовского, Конева...

— Да я не умею.

— Поможем.

— Не напечатают.

В этом была большая доля истины, хотя поначалу повезло: несколько исписанных маршалом ученических тетрадок я показал В. А. Кочетову, возглавлявшему журнал «Октябрь», и в июле 1969-го в журнале появились первые главы «Дальней бомбардировочной...» Голованова. Но тут-то и началось!

Своими прямыми, откровенными воспоминаниями Голованов как бы разворошил былое. Каждая новая публикация давалась с великим трудом и автору, и редактору журнала. Было, конечно, немало сторонников и союзников. Однако было много и высоких недругов, некоторые из них ныне стали «перестройщиками». Мемуары Голованова появлялись в «Октябре» с большими перерывами еще четыре раза, последний отрывок — в июле 1972 года. Были они набраны отдельной книгой в издательстве «Советская Россия», но по чьему-то злому умыслу ее рассыпали.

Я помогал маршалу, редактировал рукопись, добывал нужные материалы, но все — впустую. Неудобен-с. Книга вышла в Воениздате лишь в 1997 году, весьма сокращенная, мизерным тиражом.

— Я особенно им неудобен, — говорил Голованов, — потому что сам пострадал в 1937-м, мужа сестры моей расстреляли. Но я, работая со Сталиным, видел, какой это человек.

...В последнюю нашу встречу с Головановым, когда

ему оставались считанные дни, он лежал на даче, сломленный страшным недугом:

— Даже руки тебе не могу пожалеть. Давай попрощаемся с тобой по-испански: «Салют! Салют!» — Он с трудом поднял сжатую в кулак руку. Очень переживал, что не издана книга: — Какая-то букашка правит идеологией... Но придут люди из нашей России, Советской России, все напечатают!

Я понимал, что это будет не скоро, и все годы, как и при общении с Молотовым, вел подробнейший дневник, записывая каждую встречу. Сколько мне понарасказывал маршал Голованов!

Хочу поделиться с вами, читатель, ибо это, наверно, не только мне до сих пор интересно.

Я всегда вижу его перед собой. Вот он сидит за столом в белой рубашке, крутит в руках расческу и, покашливая, начинает:

— Я тебе должен сказать следующее дело...

Когда противен мир и не хочется жить, когда из года в год, изо дня в день над тобой измываются, оскорбляют и унижают животные разных уровней развития и общественного положения, думаешь: «Боже мой! Того мы все и стоим!» И не жаль становится ни прошлых жертв, ни будущих, и сам готов чуть ли не стрелять в любое омерзительное существо, у которого вместо бирки на шее почему-то имеется в кармане документ, удостоверяющий личность и гражданство, — вот тогда, чтобы остановить себя и не уподобиться стоящей перед тобой твари в человеческой одежде, я вспоминаю таких, как Александр Евгеньевич Голованов. И горжусь своей Родиной. Своим народом.

НАГРАДЫ

Приехали с братом на дачу к Голованову в Икшу. Брат мой говорит, что у них в интернате ребята болтают, будто Сталин сам себе присвоил звание генералиссимуса.

— Я тебе должен сказать по этому поводу следующее, — начал Александр Евгеньевич. — У Сталина бы-

ло очень немного наград, и каждый орден он получал только после согласия всех командующих. Никогда никаких орденов Сталин не носил. Это его только рисовали так. Исключение — звездочка Героя Социалистического Труда. Но тут была особая причина. Проснувшись в день своего рождения, он увидел эту звездочку, которую раньше никогда не носил, на своем свежeweыглаженном кителе. Это дочь Светлана приколола. А у восточных людей есть обычай: если что-то сделала женщина, так должно и быть. С тех пор он и носил эту единственную звездочку до последних дней жизни.

Поздней осенью 1943 года в штаб к Голованову приехал генерал-полковник Е. И. Смирнов и привез обращение командующих в Президиум Верховного Совета с просьбой о награждении И. В. Сталина орденом Суворова. В обращении перечислялись его заслуги в войне против фашистских захватчиков.

— А почему я, подчиненный непосредственно Сталину, должен подписывать представление на своего руководителя? — спросил Голованов.

— Дело в том, что товарищ Сталин вообще отказался принимать эту награду и только по ходатайству командующих согласился, — ответил Ефим Иванович.

— Но здесь еще нет подписей. Мне как-то неудобно первым подписывать...

— Решили начать с тебя.

«Я подписал представление от чистого сердца, — вспоминал Голованов, — а в начале ноября 1943 года был опубликован Указ о награждении И. В. Сталина: «За правильное руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне против немецких захватчиков и достигнутые успехи...» Я более чем уверен, что лаконичность и скупость формулировки Указа говорит о том, что его редакция не прошла мимо Сталина. Его награждали очень редко, и думаю, что его авторитет мог бы значительно уменьшиться, допусти он слабость в этом вопросе.

Когда я приносил папку с награждениями, повышениями, Сталин расписывался на ней сверху, не глядя, только спрашивал: «Проверил? Все проверил?» И не дай бог, если б я ошибся!

Иногда Сталин вносил свои поправки, добавления. Летчика В. В. Пономаренко я неоднократно представлял к званию Героя, и, когда приносил очередную папку, Сталин спрашивал: «А Пономаренко здесь есть?» «Есть». Тогда Сталин развязывал тесемки папки, вычеркивал Пономаренко и против его фамилии писал: «Орден Ленина». Понижал награду на ранг. Дело в том, что Пономаренко после выполнения боевого задания садился в сложных условиях и на летном поле побил несколько самолетов. Его хотели судить, но я заступился. Однако Сталин помнил этот случай... Надо сказать, после войны Сталин прекратил все повышения генеральских званий, исключая случаи особых заслуг.

Когда мы прибыли из Сталинграда, были учреждены новые ордена — Суворова и Кутузова. Сталину принесли образцы. Он взял орден Суворова первой степени, сказал: «Вот кому он пойдет!» — и приколот мне на грудь. Вскоре вышел Указ...»

Этим главным полководческим орденом Голованов был награжден трижды. Мало у кого из наших полководцев было три ордена Суворова I степени. Даже у Жукова, по-моему, два. Во всяком случае, сами маршалы, с которыми мне приходилось общаться, придавали этому большое значение. Помню, умер один из полководцев, мы с Головановым читали некролог, и Александр Евгеньевич сказал: «А посмотри, сколько у него орденов Суворова?»

МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

Александр Евгеньевич показал мне свою Маршальскую Звезду — достал из ящика письменного стола. Как и большинство людей, я никогда раньше не держал ее в руках. Она из золота и платины, чуть больше Звезды Героя СССР, в центре — большой бриллиант, в каждом из пяти лучей — мелкие.

— Ты знаешь, ее можно в комиссионку сдать, — сказал Голованов, — и за нее дадут 5 тысяч рублей.

Александр Евгеньевич ошибся. В 1977 году я выступал на ювелирной фабрике и узнал, что Маршальская Звезда — ее там изготавливают — стоит от 12,5

до 46 тысяч рублей, в зависимости от того, какие бриллианты.

В Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии, где прощались с маршалом Головановым, я прикалывал его Маршальскую Звезду к алой подушечке. Рядом стоял солдат, которому внушал офицер:

— Смотри за ней в оба! И еще орден Сухэ-Батора, вот тот, большой, могут спереть!

ЛЮБИЛ РУССКИХ...

— Сталин очень любил русских, — рассказывал Голованов. — Сколько раз Чкалов напивался у него до безобразия, а он все ему прощал — в его понимании русский человек должен быть таким, как Чкалов.

Сталин жалел, что не родился русским, говорил мне, что народ его не любит из-за того, что он грузин. Восточное происхождение сказывалось у него только в акценте и гостеприимстве. Я не встречал в своей жизни человека, который бы так болел за русский народ, как Сталин.

Сталин сам не представлял масштабов своего влияния. Если бы он знал, что скажет — и человек разорвется, а сделает, он бы много еще хорошего сделал. Но в нем жила трагедия, что он не русский.

Он подчеркивал, что во время войны у нас было выбито 30 миллионов человек, из них — 20 миллионов русских. А Сахаров и прочие написали письмо Брежневу: чтобы поправить экономическое положение страны, нужно упразднить нации — пусть, дескать, как в Америке будет...

А ведь пройдет каких-нибудь 50 лет, и люди удивятся, как это были какие-то споры о Сталине, когда очевидно, что он великий человек! Да, сейчас у нас преобладает центризм — боятся загибов в ту и другую стороны, что на руку левакам, и они сейчас торжествуют. Почему на Западе так боятся воскрешения имени Сталина? Почему так приемлем был для них Хрущев? Да потому, что они боятся своего конца! А Сталин к этому дело вел.

...На встрече ветеранов в Барановичах 7 августа 1971 года Голованов сказал:

— Мне посчастливилось работать с великим, величайшим человеком, для которого выше интересов государства, выше интересов нашего народа ничего не было, который всю свою жизнь прожил не для себя и стремился сделать наше государство самым передовым и могучим в мире. И это говорю я, которого тоже не миновал 1937 год!

ДОКТОР ВИНОГРАДОВ

Александр Евгеньевич рассказал, что ему академик Виноградов, врач, лечивший Сталина, говорил, что после ареста его вызвал Сталин и спросил:

— Так это правда, что ты шпион?

— Правда, товарищ Сталин.

— Неужели и правда то, что ты хотел меня убить?

— Правда, — ответил милейший человек Виноградов.

Зачем он так наговаривал на себя? Ему сказали перед этим: признаешься — поедешь лечить на Колыму, не признаешься — расстреляем.

«37-й ГОД МНЕ ПОНЯТЕН»

— 37-й год мне понятен, — говорил Голованов. — Были такие, как Хрущев, Мехлис — самые кровавые, а потом пошло массовое писание друг на друга, врагомания, шпиономания, еще черт знает что! Великая заслуга Сталина, я считаю, в том, что он все-таки понял и сумел остановить это дело.

То, что взяли Тухачевского и прочих, видимо, было правильно, начало было правильным. Но зачем забирали простых людей по всей стране? Решили избавиться от подлинных врагов, но потом стали писать друг на друга. Я знаю одного человека. Спрашиваю: «Писал?» — «Писал». — «Почему?» — «Боялся». А ведь никто не заставлял.

Тухачевский через несколько часов на всех написал. Ворошилов возмущался: «Что это за человек?» А Рокоссовский, как его ни истязали, никого не выдал. Надо тебе, Феликс, написать о нашей дружбе с Рокоссовским. Из общевойсковых полководцев он был самый любимый у Сталина...

Из прокуренной редакции журнала «Октябрь» мы выходим с Александром Евгеньевичем на улицу «Правды», в морозный день, в снежок, идем пешком до Белорусского, спускаемся в метро и расстаемся на «Площади Революции». Я говорю, что иду в ГУМ покупать лыжи — сегодня сломал лыжу на крутом, градусов 85, склоне, где никто не катается.

— Видимо, там угол выхода неподходящий, — сказал Александр Евгеньевич.

ДО ВСТРЕЧИ СО СТАЛИНЫМ

— Сталин был человеком не робкого десятка, — рассказывал Голованов. — Когда я работал у Орджоникидзе, мне довелось присутствовать на испытаниях динамореактивного оружия, созданного Курчевским, предшественником создателей знаменитой «катюши». У Курчевского была пушка, которая могла стрелять с плеча. На испытания приехали члены Политбюро во главе со Сталиным. Первый выстрел был неудачным: снаряд, как бумеранг, полетел на руководство. Все успели упасть на землю. Комиссия потребовала прекратить испытания. Сталин встал, отряхнулся и сказал:

— Давайте еще попробуем!

Второй выстрел был более удачным. Со Сталиным я тогда еще не общался. До встречи со Сталиным, — продолжает Голованов, — я представлял его деспотом, кровавым тираном. И что же? Разговариваю с ним день, другой, месяц за месяцем, год за годом... Конечно, было у него мнение, что теперь наши враги не станут работать по мелочам, а постараются заслать своих агентов повыше, проникнуть в Кремль...

«ЕЩЕ БЫ! КОНЕЧНО ИСПЫТАЕМ!»

...Отставал Красноярский танковый завод. Решили назначить нового директора. Нарком предложил своего заместителя.

— А сколько он получает? — спросил Сталин.

— Семь тысяч рублей.

- А директор завода?
- Три тысячи рублей.
- А он согласен туда поехать?
- Он коммунист, товарищ Сталин.
- Мы все не эсеры, — ответил Сталин.

Вызвали этого товарища.

— Есть мнение, — сказал Сталин, — назначить вас директором завода. Вы согласны?

— Если надо, поеду.

Сталин спросил у него о семье, детях.

— Давайте сделаем так: мы сохраним здесь для семьи вашу зарплату, а вы там, как директор, будете получать свои три тысячи. Согласны?

И человек с радостью поехал в Красноярск.

— Я тебе скажу следующее дело, — продолжает Голованов, — как-то Сталин приехал к летчикам-испытателям и стал выяснять, сколько потребуется времени для испытания одного весьма актуального самолета.

— Три месяца, — ответили ему.

— А за месяц нельзя испытать?

— Никак, товарищ Сталин.

— Сколько получит летчик за испытания?

— Двадцать тысяч рублей.

— А если заплатить сто тысяч, за месяц испытаете?

— Еще бы! Конечно испытаем!

— Будем платить сто тысяч, — сказал Сталин.

КТО ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ?

— Кто из немецких полководцев во вторую мировую войну был наиболее силен? Манштейн? — спрашиваю.

— Фон Бок, — отвечает Александр Евгеньевич. — Его товарищ по академии попал в плен под Сталинградом и обратился с письмом к Боку, предлагая ему сдаться. Но как передать это личное письмо? Немец сказал, что, стоит только любому человеку на передовой показать, что у него есть письмо, адресованное фон Боку, — сразу пропустят. Такой авторитет. Наши послали офицера, одетого в немецкую форму. Тот пришел в штаб Бока, передал письмо и два часа дождался ответа. Ответ, конечно, был отрицательным, но нашему офицеру выписали пропуск, и он благо-

получно прибыл к своим. Ну, правда, страху натерпелся, но никто его не тронул...

Это тот самый генерал-фельдмаршал фон Бок, который еще в августе 1941-го, когда немцы на всех парах перли к Москве, сказал Гитлеру, что войну Германия проиграла...

НОВАЯ ФОРМА

Голованов рассказывал, как во время войны в Красной Армии вводили погоны и новую форму.

Буденный возражал против гимнастерок. С погонями не соглашался только Жуков.

На некоторое время кабинет Сталина превратился в выставочный зал со всякими вариантами новой формы. Чего только не напридумали! И эполеты, и лента через плечо...

Сталин смотрел-смотрел и спросил:

— А какая форма была в царской армии?

Принесли китель с капитанскими погонями.

— Сколько лет существовала эта форма? — спросил Сталин.

Ему ответили: несколько десятилетий. Изменилось только количество пуговиц на кителе — было шесть, стало пять.

— Что же мы тут будем изобретать, если столько лет думали и лишь одну пуговицу сократили! Давайте введем эту форму, а там видно будет, — сказал Сталин.

ЛЮБИМЫЙ ЦАРЬ

— Любимым царем Сталина, — говорил Голованов, — был Алексей Михайлович, «Тишайший». Сталин часто приводил его в пример...

«ВЫ ЖЕРТВОЮ ПАЛИ...»

— Балет не люблю и не понимаю, — говорит Голованов. — Из опер мне больше нравится «Евгений Онегин». Люблю «Лунную сонату», лирическую музыку, терпеть не могу тяжелую, похоронную. До сих пор

не могу забыть и вспоминаю со смехом: когда мы в 41-м оставляли Курск, впереди шел оркестр и дул: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Тут тебе немец сверху летает, поливает нас, артиллерия бьет, мы отступаем, и — «Вы жертвою пали...». И не хороним никого, ни одного гроба...

БЫТ СТАЛИНА

— Мне довелось наблюдать Сталина и в быту. Быт этот был поразительно скромнен. Сталин владел лишь тем, что было на нем надето. Никаких гардеробов у него не существовало. Вся его жизнь заключалась в общении с людьми и в бесконечной работе. Явной его слабостью и отдыхом было кино. Много раз с ним я смотрел фильмы, часто одни и те же. У Сталина была удивительная способность, а может быть, потребность, многократно, подряд смотреть один и тот же фильм. Особенно с большим удовольствием смотрел он картину «Если завтра война», много раз смотрел, причем даже в последний год войны. Видимо, этот фильм нравился ему потому, что события в нем развивались совсем не так, как оказалось на самом деле, однако победили все-таки мы! А сколько раз смотрел он созданный уже в годы войны «Полководец Кутузов»!

В его личной жизни не было чего-либо примечательного, особенного. Мне она казалась серой, бесцветной, видимо, потому, что в привычном нашем понимании ее у него просто не было.

Огромное количество людей каждый день бывали у Сталина — от самых простых до верхушки. Всегда с людьми, всегда в работе — так мне запомнилась его жизнь.

ВАСИЛИЙ

— Личная жизнь у Сталина не сложилась, — говорил Голованов. — Жена его, как известно, застрелилась, а дети возле него не прижились. Сын же его Василий представлял из себя морального урода и впитал столько отрицательных качеств, что хватило бы на

тысячу подлецов. Насколько отец был кристаллический (так и сказал — кристаллический. — Ф. Ч.), настолько сын был мерзавец. Единственный, кто его обуздывал, — отец. Он боялся отца пуще огня, но становился все подлее.

Василий был лейтенантом на фронте, через год встречаю его майором, потом полковником — это все Жигарев старался, Главком ВВС. Он хотел получить новое здание для штаба ВВС и присмотрел дом на Пироговке. «Уговоришь отца, — сказал он Василию, — станешь полковником!» Но Василий боялся идти к отцу с этой просьбой. Жигарев посоветовал ему сразу к отцу не обращаться, а под проектом решения собрать подписи членов Политбюро, сказав им, что отец согласен. Василий так и сделал, а потом пошел к отцу, показав ему, что все согласны. Так Василий стал полковником, а здание это и поныне служит штабом ВВС.

Командовал он полком, состоявшим из одних Героев Советского Союза. Летали они мало, больше пили и безобразничали во главе со своим командиром. Дошло до отца. Тот спросил у Жигарева:

— А почему в полку все Герои, а командир полка — не Герой?

— Мы представляли, а вы несколько раз вычеркивали его из списков, товарищ Сталин.

Сталин приказал полк расформировать, Героев определить по разным частям, а Василия разжаловал в майоры.

Василий исправился, стал вести себя примерно, но, как только отец сменил гнев на милость, взялся за прежнее. Наконец у отца лопнуло терпение, он решил разжаловать его в рядовые и отправить в Сибирь.

Василий прибежал ко мне в слезах. И надо ж, умел прикинуться, что его все обижают, как ему трудно быть сыном Сталина. «Позвоните отцу, — попросил он, — отец вас любит, он вас послушает!»

Я никогда не звонил Сталину, — продолжает Голованов, — обычно он мне звонил. На сей раз я позвонил — при Василии. Сталин удивился, обрадовался, что я звоню. Спросил: «Наверно, что-то случилось?»

Я заступился за Василия, попросил не столь сурово его наказывать: «Ведь он еще очень молодой человек, а вокруг него столько всяких людей, желающих его использовать в своих целях!»

Сталин ответил: «Товарищ Голованов, я лучше знаю своего сына, а вам не рекомендую вмешиваться в чужие семейные дела!» — и положил трубку. Я развел руками.

Но Василий радостно бросился ко мне: «Спасибо, вы меня спасли!» Как изучил своего отца! И действительно, ни в какую Сибирь он не поехал.

Василий был умен и изворотлив. Однажды приехал ко мне в штаб:

— Отец мне поручил инспектировать вашу авиацию!

— Было бы правильнее, Василий Иосифович, если бы вы сказали, что отец поручил вам помочь нашей авиации! — осадил я его, и Василий ничего не возразил.

Но он меня отблагодарил за все доброе. После войны на Тушинском параде вылетел со своими истребителями в нарушение программы на минуту раньше меня и поломал мне в воздухе строй бомбардировщиков.

Сталин не раз понижал его в звании, сажал под домашний арест, в конце концов разжаловал в подполковники из генерал-лейтенантов, но вскоре помер...

Сталин уговорил маршала Тимошенко выдать его дочь за Василия:

— У вас такая хорошая семья, — может, ваша дочь на него повлияет. А если вам что-то не понравится, рубите обоих шашкой!

«ПРОТИВ ЛЕНИНА НЕ ПОЙДЕМ!»

— Сколько раз приходили к Сталину различные товарищи с проектами повышения ежемесячной квартирной платы! Известно, что у нас в стране квартплата невысока и далеко не окупает затрат на строительство. Увеличение ее могло бы существенно пополнить государственный бюджет.

Сталин в таких случаях отвечал:

— Владимир Ильич подчеркивал: «Квартира — это главное для рабочего, и ни в коем разе нельзя ущемлять его в этом». — И сделав характерный жест трубкой, Сталин заканчивал так: — Против Ленина не пойдем!

«И НАОБОРОТ!»

— Как-то прихожу к Сталину, — рассказывал Голованов, — у него в кабинете верхом на стуле сидит Каганович — лысина багровая. Сталин ходит вокруг него:

— Ты что мне принес? Что это за список? Почему одни евреи?

Оказывается, Каганович принес на утверждение список руководства своего наркомата.

— Когда я был молодым, неопытным наркомнац, — сказал Сталин, — я принес Ленину просьбу одного наркома, еврея по национальности, назначить к нему зама, тоже еврея. «Товарищ Сталин! — сказал мне Владимир Ильич. — Запомните раз и навсегда и зарубите себе на носу на всю свою жизнь: если начальник еврей, то зам непременно должен быть русским, батенька, и наоборот! Иначе они за собой целый хвост потянут!»

Резким движением трубки Сталин отодвинул лежащий на столе список:

— Против Ленина не пойдём!

РАЗБИРАЕТ АВТОМАТ...

— Не раз я заставлял Сталина — сидит на диване и разбирает какой-нибудь автомат Калашникова... Или с пулеметом возится, потом вызывает конструктора, что-то уточняет и дает советы — весьма дельные. Левая рука у него почти не работала, так он ею только поддерживает, а все делает правой. Было у него в молодости костное осложнение, когда бежал из ссылки и провалился в полыню.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

— Самые лучшие люди — на заводе, в поле, на аэродроме. Когда я в 37-м приехал в Москву без партбилета, кто меня спас, заслонил? Летчики, техники взяли меня в кольцо...

ШТАТ КУПЦА БУГРОВА

Обсуждался вопрос об увеличении выпуска боевой техники. Нарком станкостроения Ефремов сказал, что такая возможность есть, но для этого нужна помощь и, в частности, необходимо увеличить управленческий аппарат до восьмисот человек.

Сталин, как обычно, ходил по кабинету и внимательно слушал Ефремова. Когда тот закончил, обратился к нему:

— Скажите, пожалуйста, вы слышали фамилию Бугров?

— Нет, товарищ Сталин, такой фамилии я не слышал.

— Тогда я вам скажу. Бугров был известным на всю волгу мукомолом. Все мельницы принадлежали ему. Лишь его мука продавалась в Поволжье. Ему принадлежал огромный флот. Оборот его торговли определялся многими миллионами рублей. Он имел огромные прибыли. — Сталин сделал короткую паузу и спросил: — Как вы думаете, каким штатом располагал Бугров для управления всем своим хозяйством, а также контролем за ним?

Ни Ефремов, ни остальные присутствующие не знали этого. Верховный ходил и молча набивал трубку. Наконец произнес:

— Раз вы все не знаете, я вам скажу. У Бугрова были: он сам, приказчик и бухгалтер, которому он платил двадцать пять тысяч рублей в год. Кроме того, бухгалтер имел бесплатную квартиру и ездил на бугровских лошадях. Видимо, бухгалтер стоил таких денег, зря Бугров платить ему не стал бы. Вот и весь штат. А ведь капиталист Бугров мог бы набрать и больше работников. Однако капиталист не будет тратить деньги, если это не вызывается крайней необходимостью, хотя деньги и являются его собственностью. — И, помолчав, подумав, Сталин продолжал: — У нас с вами собственных денег нет, они принадлежат не нам с вами, а народу, и потому относиться к ним мы должны особенно бережливо, зная, что распоряжаемся не своим добром. Вот мы и просим вас, — обратился к наркому Сталин, — посмотрите с этих позиций наши предложения и дайте нам их на подпись.

— Я не знаю, — говорил Голованов, — что представил Ефремов на утверждение Сталину, но в одном совершенно уверен, что числа в восемьсот человек там не было.

ГЕНШТАБ

Не раз мы говорили о Генеральном штабе. Особенно после книг Штеменко и Василевского. Однажды я заметил:

— Василевский пишет, что Сталин не придавал значения роли Генштаба...

— А как он мог придавать, — откликнулся Голованов, — если до Сталинграда Генштаб был такая организация, которая неспособна была действовать и работать? Какое значение можно было придавать этому аппарату, который не в состоянии был собрать даже все необходимые материалы! Все основные предложения о ведении войны были от Сталина — я там каждый день бывал, а иногда и по несколько раз в день.

Генеральный штаб войну проморгал — вот что такое Генеральный штаб!

И я, между прочим, пишу так: «Генеральный штаб в первый год войны особой роли не сыграл».

Жуков командовал дивизией, корпусом, округом. А что такое начальник Генштаба? Это человек, который все суммирует и докладывает без своего мнения, без навязывания идей, а когда все доложат, обсудят и спросят его мнение, он скажет. А Государственному комитету обороны решать эти вопросы. Как бы там ни было, Жуков показал бы документы — вот то, что происходит, это нападение на нас, это подтверждает заграница, а вот мнение Генерального штаба, — и расписался бы: начальник Генерального штаба такой-то. А почему этого не делали? Не делали потому, что Сталин говорил: «смотрите, это провокация!» И все хвосты поджали, к ядрене бабушке! Жуков — вон Василевский пишет: решение о боевой готовности приказали отдать в 8 часов вечера, а они только в час ночи передали, а в 4 часа уже немцы напали. С восьмью до часу ночи! Это, знаешь что, за одно место нужно повесить за такие вещи! Василевский пишет: «Конечно, мы запоздали с этим делом».

Но мы же знаем, кто был начальником Генштаба. Каждый должен быть на своем месте. Когда козел ест капусту, а волк ягненка, это одно дело, а когда волк начинает капусту жрать, ничего не получается. Жуков полгода не просидел, наверно, на этом деле, его поставили на свое место — командовать фронтом, замом Верховного — вот это его место, это волевой человек, который имеет свое мнение, организаторские способности, умеет предвидеть и крутит на свой лад. Все стало на свои места, когда начальником Генштаба опять стал Шапошников. Жуков никаким начальником Генштаба не был и быть им не мог — для этого надо иметь не такой характер. В то же время работники Генштаба, когда их посылали на фронты, дело проваливали. У Василевского не получилось с командованием в 1945 году, а в Генштабе он был достойным преемником Шапошникова...

РУКОВОДИЛ ЛИЧНО СТАЛИН

— У меня не было другого начальства, кроме Сталина. Я подчинялся только ему, — говорит Голованов. — У меня не было каких-либо других руководителей, кроме него, я бы даже подчеркнул — кроме лично его. С того момента, как я вступил в командование 81-й дивизией в августе 1941 года, в дальнейшем преобразованной в 3-ю авиационную дивизию дальнего действия Ставки Верховного Главнокомандования, а потом стал командующим АДД, кроме лично Сталина, никто не руководил ни моей деятельностью, ни деятельностью указанных мною соединений. Почему так решил Верховный, не поручил это кому-то другому из руководства, мне остается только догадываться. Покажется странным, но второго такого случая я не знаю, а все архивные документы однозначно подтверждают это.

Прямое, непосредственное общение со Сталиным дало мне возможность длительное время наблюдать за его деятельностью, стилем работы, как он общается с людьми, вникая в каждую мелочь.

Изучив человека, убедившись в его знаниях и способностях, он доверял ему, я бы сказал, безгранично. Но не дай Бог, как говорится, чтобы этот человек

проявил себя где-то с плохой стороны. Сталин таких вещей не прощал никому. Он не раз говорил мне о тех трудностях, которые ему пришлось преодолевать после смерти Владимира Ильича, вести борьбу с различными уклонистами, даже с теми людьми, которым он бесконечно доверял, считал своими товарищами, как Бухарина, например, и оказался ими обманутым. Видимо, это развило в нем определенное недоверие к людям. Мне случалось убеждать его в безупречности того или иного человека, которого я рекомендовал на руководящую работу. Так было с А. И. Бергом в связи с его запиской по радиолокации и радиоэлектронике. Верховный подробно, с пристрастием расспрашивал все, что я знаю о нем, потом назначил заместителем председателя Госкомитета.

Кроме единственного случая с Берией, я не видел Сталина в гневе или в таком состоянии, чтобы он не мог держать себя в руках. Не помню случая, чтобы он грубо со мной разговаривал, хотя неприятные разговоры имели место. Дважды во время войны я подавал ему заявления с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Причиной тому были необъективные суждения о результатах боевой деятельности АДД, полученные им от некоторых товарищей. Бывает так, что, когда у самого дела не идут, хочется в оправдание на кого-то сослаться. Тон моих заявлений был не лучшим, но это не изменило отношения Сталина ко мне. Сталин всегда обращал внимание на существо дела и мало реагировал на форму изложения. Отношение его к людям соответствовало их труду и отношению к порученному делу. Работать с ним было не просто. Обладая сам широкими познаниями, он не терпел общих докладов и общих формулировок. Ответы должны были быть конкретными, предельно короткими и ясными. Если человек говорил долго, попусту, Сталин сразу указывал на незнание вопроса, мог сказать товарищу о его неспособности, но я не помню, чтоб он кого-нибудь оскорбил или унизил. Он констатировал факт. Способность говорить прямо в глаза и хорошее, и плохое, то, что он думает о человеке, была отличительной чертой Сталина. Длительное время работали с ним те, кто безупречно знал свое дело, умел его организовать и руководить. Способных и умных людей он

уважал, порой не обращая внимания на серьезные недостатки в личных качествах человека.

Удельный вес Сталина в ходе Великой Отечественной войны был предельно высок как среди руководящих лиц Красной Армии, так и среди всех солдат и офицеров. Это неоспоримый факт.

Повторяю, я подчинялся только ему. Когда сначала Г. К. Жуков, а потом А. И. Антонов попросили у меня боевые донесения, я ответил, что докладываю лично Верховному...

ЛОПАТЫ

В октябре 1941 года, в один из самых напряженных дней московской обороны, в Ставке обсуждалось применение 81-й авиационной дивизии, которой командовал Голованов. Неожиданно раздался телефонный звонок. Сталин не торопясь подошел к аппарату. При разговоре он никогда не прикладывал трубку к уху, а держал ее на расстоянии — громкость была такая, что находившийся неподалеку человек слышал все.

Звонил корпусной комиссар Степанов, член Военного Совета ВВС. Он доложил, что находится в Перхушкове, немного западнее Москвы, в штабе Западного фронта.

— Как там у вас дела? — спросил Сталин.

— Командование обеспокоено тем, что штаб фронта находится очень близко от переднего края обороны. Нужно его вывести на восток, за Москву, примерно в район Арзамаса. А командный пункт организовать на восточной окраине Москвы.

Воцарилось довольно долгое молчание.

— Товарищ Степанов, спросите в штабе, лопаты у них есть? — не повышая голоса, сказал Сталин.

— Сейчас. — И снова молчание.

— А какие лопаты, товарищ Сталин?

— Все равно какие.

— Сейчас... Лопаты есть, товарищ Сталин.

-- Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушкове, а я останусь в Москве. До свидания. — Он произнес все это спокойно, не повышая голоса, без тени раздражения и не спеша положил трубку. Не спросил даже, кто именно ставит такие вопросы, хотя было

ясно, что без ведома командующего фронтом Жукова Степанов звонить Сталину не стал бы.

А Верховный продолжил разговор с Головановым о его дивизии...

СРЕДСТВО ПРОТИВ БРЕХУНОВ

— Как вы оцениваете командующего фронтом, где вы сейчас были? — спросил Сталин у Голованова.

Вопрос был неожиданным. Голованов знал, как Сталин мог отреагировать на мнение тех, кому он доверял, и поэтому не спешил с ответом. Речь шла о генерале Еременко.

Сталин понял и сказал:

— Ну хорошо, мы сегодня еще с вами встретимся.

Вечером Голованов снова был на сталинской даче, и разговор продолжился — прежний разговор.

— Странный он какой-то человек, много обещает, но мало у него получается, — задумчиво сказал Сталин. — На войне, конечно, всякое может быть. Видишь, что человек что-то хочет сделать, но не получается, на то и война. А здесь что-то не то. Был я у него в августе на фронте. Встретил нас с целой группой репортеров, фотографов. Спрашиваю: это зачем? Отвечает: запечатлеть на память. Я ему говорю, не сниматься к вам приехали, а разобраться с вашими делами. Вот возьмите Смоленск, тогда и снимемся!

— Товарищ Сталин, считайте, что Смоленск уже взят! — не задумываясь, отвечает он.

— Да вы хоть Духовщину-то возьмите! — говорю ему.

— Возьмем, товарищ Сталин!

— Конечно, ни Духовщины, ни тем более Смоленска он не взял, пришлось поручить Соколовскому. Сколько раз его перемещали туда-сюда, ничего у него не получается. Что за него держаться? — в недоумении спросил Сталин.

«Мне стало ясно, — говорит Голованов, — что среди ответственных товарищей есть люди, заступающиеся за этого командующего, и Сталин прислушивается к их мнению, но в то же время очень сомневается».

От Александра Евгеньевича я слышал рассказ и о таком эпизоде. Осень 1941 года. А. Е. Голованов

и командующий ВВС генерал-лейтенант П. Ф. Жигарев прибыли в Ставку. На одной из железнодорожных станций намечалась разгрузка наших войск, и Сталин спросил Павла Федоровича, сможет ли он организовать прикрытие. Жигарев пообещал это сделать и вместе с Головановым уехал в штаб ВВС. Вызвал начальника штаба и дал указания выделить полк истребителей для прикрытия выгружавшейся дивизии. Начальник штаба тут же недоуменно ответил:

— Вы же знаете, товарищ командующий, что истребителей у нас нет.

В это время раздался звонок. Сталин спрашивал, даны ли указания о выделении прикрытия.

— Да, товарищ Сталин, даны, — ответил Жигарев. Начальник штаба и Голованов смотрели на него изумленными глазами.

«Так и не знаю, как он выкрутился из этого положения», — говорил мне Голованов и вспомнил случай, когда Жигарев опять обманул Сталина, сказав, что заводы не поставляют ему самолеты. Сталин тут же, из кабинета, обзвонил все авиационные заводы, подробно записав, сколько на каждом из них скопилось самолетов, за которыми не прибыли с фронта».

В продолжение этого эпизода я приведу не пропущенный цензурой конца 60-х годов отрывок из головановских мемуаров «Дальняя бомбардировочная...»:

«Когда товарищи ушли, Сталин медленно подошел к Жигареву, одна из рук его стала подниматься.

«Неужели ударит?» — мелькнула у меня мысль.

— Подлец! — с выражением глубочайшего презрения проговорил Сталин, и рука его опустилась. — Вон!

Быстрота, с которой ушел Павел Федорович, соответствовала его желаниям.

Долго ходил Сталин, а я, глядя на него, думал, какую нужно иметь волю, какое самообладание, как умеет держать себя в руках этот изумительный человек, которого с каждым днем узнавал я все больше и больше, невольно чувствуя к нему уважение...

Что теперь он будет делать с Жигаревым? Предаст его военно-полевому суду, как было сделано с Павловым? Но положение на фронтах сейчас не то, что было в июне-июле 1941 года. Наконец Сталин заговорил:

— Вот повоюй и поработай с этим человеком! Не знает даже, что творится в своей же епархии!

Придется вам выправлять дело!»

Сталин хотел назначить Голованова командующим ВВС. Но молодой генерал отказался:

— Товарищ Сталин, мне бы с АДД справиться! Только начало что-то получаться...

— Жаль, очень жаль, — сказал Сталин, но согласился с Головановым.

...У Сталина были брюки с очень глубокими карманами, откуда он иногда подолгу доставал замусоленную записную книжку — «колдуна» — и говорил:

— Это у меня средство против брехунов типа Еременко и Жигарева!

Надо сказать, что оба они, в общем, благополучно закончили войну, а при Хрущеве один стал Маршалом Советского Союза, другой — Главным маршалом авиации.

ЗОРГЕ

— О том, что война с Германией неизбежна, было известно всем, имеющим отношение к военному делу, — говорит Голованов. Сталин был фактическим руководителем государства и нес ответственность за просчет в определении срока нападения Германии, он и сам указывал на этот свой просчет во время встречи с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране, ни на кого не сваливая вину. Однако надо прямо сказать, что его действия были результатом той информации, которой его питали. Известно, что начальник Главного разведывательного управления Красной Армии Ф. И. Голиков, да и не только он один, докладывал Сталину разведанные из зарубежных источников, подчеркивал, что считает эти сообщения провокационными. Есть документы. Об этом пишет в своей книге и Г. К. Жуков.

Все мы очень уважали С. К. Тимошенко — жаль, он не оставил никаких мемуаров. А это был очень честный и интересный человек! — И Голованов рассказал, как однажды, в 60-е годы, когда в Москве проходила международная встреча ветеранов, в перерыве С. К. Тимошенко пригласил пообедать Жукова, Конева, Тюленева, адмирала Кузнецова и Голованова. За-

говорили о нашем разведчике Рихарде Зорге, о котором в то время впервые стали много писать.

— Никогда не думал, что у меня такой недобросовестный начальник штаба, — сказал Тимошенко, имея в виду Жукова, — ничего не докладывал мне об этом разведчике.

— Я сам впервые о нем недавно узнал, — ответил Жуков. — И хотел спросить у вас, Семен Константинович, почему вы, нарком обороны, получив такие сведения от начальника Главного разведывательного управления, не поставили в известность Генеральный штаб?

Голованов отмечал, что Тимошенко всю жизнь был большим авторитетом для Жукова, Георгий Константинович всегда относился к нему с большим почтением.

— Так это, наверно, был морской разведчик? — спросил Тимошенко Н. Г. Кузнецова.

Но и Николай Герасимович ответил отрицательно.

Так выяснилось, что ни начальник Генерального штаба, ни нарком обороны не знали о важных документах, которыми располагало Главное разведывательное управление...

БАНКЕТ С ЧЕРЧИЛЛЕМ

Рассказ об этом эпизоде я не раз слышал от Голованова, да и описание его есть в мемуарах маршала «Дальняя бомбардировочная...». Однако в печать прошло не все написанное Александром Евгеньевичем. Постараюсь воспроизвести и то, что было вырублено цензурой в 1971 году.

Голованов рассказывал, как в августе 1942 года его вызвал с фронта Сталин, что бывало нередко. Когда Голованов прибыл в Москву, Сталин позвонил ему в штаб АДД и сказал:

— Приведите себя в порядок, наденьте все ваши ордена и через час приезжайте. — Сталин положил трубку.

«И прежде случалось, — пишет Голованов, — что Сталин, позвонив и поздоровавшись, давал те или иные указания, после чего сразу клал трубку. Это было уже привычно. Верховный имел обыкновение

без всяких предисловий сразу приступать к тому или иному вопросу. А вот указаний надеть ордена и привести себя в порядок за год совместной работы я еще ни разу не получал.

Обычно я не носил никаких знаков отличия, и пришлось потрудиться, чтобы правильно прикрепить ордена на гимнастерке, почистить ее и пришить новый подворотничок.

Придя в назначенный час, я и вовсе был сбит с толку. Поскребышев направил меня в комнату, расположенную на одном этаже с Георгиевским залом. Там уже были К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, А. С. Щербаков и еще два-три человека.

Вошел Сталин, не один. Рядом с ним я увидел высокого полного человека, в котором узнал Уинстона Черчилля, и какого-то военного, оказавшегося начальником английского генерального штаба Аланом Брукком. Сталин представил Черчиллю присутствующих, а когда очередь дошла до меня и он назвал мою довольно длинно звучащую должность, дав при этом соответствующую аттестацию, я почувствовал, что краснею. Черчилль очень внимательно, в упор разглядывал меня, и я читал в его взгляде некоторое изумление: как, мол, такой молодой парень может занимать столь высокую ответственную должность? Поскольку я был самым младшим, здоровался с Черчиллем последним. После представления Черчиллю всех нас Сталин пригласил к столу».

Далее Голованов рассказывал, что стол был небольшим, присутствовало человек десять или немного больше. Последовали тосты, и между Черчиллем и Сталиным возникло как бы негласное соревнование, кто больше выпьет. Черчилль подливал Сталину в рюмку то коньяк, то вино, Сталин — Черчиллю.

— Я переживал за Сталина, — вспоминал Александр Евгеньевич, — и часто смотрел на него. Сталин с неудовольствием взглянул на меня, а потом, когда Черчилля под руки вынесли с банкета, подошел ко мне: «Ты что на меня так смотрел? Когда решаются государственные дела — голова не пьянеет. Не бойся, России я не пропью, а он у меня завтра, как карась на сковородке, будет трепыхаться!»

В 1971 году это не напечатали. На полях верстки было написано: «Сталин так сказать не мог».

— Не мог! Да он мне это лично говорил! — воскликнул Голованов. В словах Сталина был резон, ибо Черчилль пьянел на глазах и начал говорить лишнее. Брук, стараясь это делать незаметно, то и дело тянул его за рукав. В поведении Сталина ничего не менялось, и он продолжал непринужденную беседу. Сталин видел в Черчилле человека, которого не обьедешь, не обойдешь. Он говорил о нем: «Враг номер один, но более умного человека из всех, кого я знал, не встречал».

ПРИНОСЯЩАЯ ПОБЕДУ...

В очередной раз вызванный с фронта в Москву, Голованов прибыл в столицу до рассвета и, решив, что в такой ранний час им никто не будет интересоваться, поехал навестить семью, тем более что родилась дочь, которую он еще не видел. Однако перед этим заехал в штаб и сказал офицеру Евгению Усачеву, чтоб сразу вызвал, если спросят. А кто может спросить командующего АДД, безусловно исполнительный Усачев знал.

Дома время летело быстро, из штаба не звонили, но в половине одиннадцатого Голованов решил все-таки поехать в штаб. Каково же было его удивление, когда Усачев доложил, что его уже давно спрашивали.

— Как же вы могли мне об этом не сообщить? — возмутился Голованов.

— Мне было запрещено.

— Кто же мог вам запретить?

— Товарищ Сталин.

Оказывается, в десятом часу утра позвонил Верховный и спросил, прибыл ли Голованов и где он сейчас находится. Усачев доложил. Спросив фамилию офицера и занимаемую должность, Верховный сказал:

— Вот что, товарищ Усачев, Голованову вы не звоните и его не беспокойте, пока он сам не придет или не позвонит, иначе вы больше не будете работать у Голованова. Когда он появится, передайте, чтоб он мне позвонил. Все ясно?

Разговор был окончен.

— Не мог же я, Александр Евгеньевич, не выполнить указание товарища Сталина, — сказал Усачев. «Конечно, он прав», — подумал Голованов. Не часто

Сталин давал указания младшим офицерам. Да и кто бы посмел не выполнить?

Раздался звонок. В трубке был голос Молотова. Голованова ждали на Ближней даче. Поехал, переживая. Еще бы! Отлучился из штаба, когда могли вызвать в любое время. Решил сразу извиниться.

Однако, войдя в комнату, увидел улыбающегося Сталина и рядом Молотова.

— Ну, с кем поздравить? — весело спросил Сталин.

— С дочкой, товарищ Сталин.

— Опять дочка? — Это была третья дочь у Голованова. — Ну, ничего, люди нам очень нужны. Как назвали?

— Вероника.

— Это что же за имя?

— Греческое имя. В переводе на русский — приносящая победу.

— То, что нам нужно. Поздравляю вас!

Разговор перешел на другие темы. Сталин, обычно больше слушавший и мало говоривший, на этот раз сам стал рассказчиком. Он вспоминал побеги из ссылок, как провалился в прорубь на Волге и потом долго болел, как из-за плохой конспирации не удался побег Свердлова из Туруханского края... И вдруг без всякого перехода Сталин сказал:

— Полетим в Тегеран на встречу с Рузвельтом и Черчиллем.

«Я не выдержал и улыбнулся, — вспоминал Голованов, — улыбнулся той осторожности, которой придерживался Сталин, видимо, всю жизнь, даже с людьми, которым доверяет. Нелегкая была жизнь у этого человека, когда приходилось разочаровываться в друзьях».

— Чему вы улыбаетесь? — спросил Сталин удивленно. Голованов промолчал. Сказать правду не решился, а неправду — не смог.

Немного помолчав, Сталин сказал:

— Об этом никто не должен знать, даже самые близкие вам люди. Организуйте все так, чтобы самолеты и люди были готовы к полету, но не знали, куда и зачем. Нужно организовать дело, чтобы под руками были самолеты и в Баку, и в Тегеране, но никто не должен знать о нашем там присутствии.

Было решено, что Голованов также полетит в Тегеран, а Сталина повезет летчик Грачев, которого Голованов знал по полетам в Монголии.

Как выяснилось позже, осторожность Сталина была весьма не лишней: немецкая разведка тщательно подготовила покушение на «Большую тройку» в Тегеране. Но на сей раз Сталин перехитрил Гитлера.

Сразу после Тегеранской конференции, 5 или 6 декабря 1943 года, Голованову позвонил Сталин и попросил приехать на дачу. Сталин был один. Он ходил в накинутой на плечи шинели. Поздоровался и сказал:

— Наверно, простудился. Как бы не заболеть воспалением легких.

Он тяжело переносил такие заболевания. Немного походив, он неожиданно заговорил о себе:

— Вот все хорошее народ связывает с именем Сталина, угнетенные видят в этом имени светоч свободы, возможность порвать вековые цепи рабства. Конечно, такие волшебники бывают только в сказках, а в жизни даже самый хороший человек имеет свои недостатки, и у Сталина их достаточно. Однако, если есть вера у людей, что, скажем, Сталин сможет их выволить из неволи и рабства, такую веру нужно поддерживать, ибо она дает силу народам активно бороться за свое будущее.

«ЗМЕЯ!»

В конце 1943 года, в очередной раз приехав на дачу в Кунцево, Голованов открыл дверь в прихожую и услышал громкий голос Сталина:

— Сволочь! Подлец!

Голованов остановился в нерешительности. «Кого это он так? Может, сына, Василия? Пожалуй, не стоит к нему сейчас заходить». И Голованов собрался было уйти, но Сталин уже заметил его:

— Входите, входите!

В маленькой комнатке рядом с прихожей, где помещались всего лишь стол, стул и книжный шкаф, стоял Сталин. На подоконнике сидел Молотов. Спи-

ной к Голованову стоял человек, которого он не сразу узнал.

— Посмотри на эту сволочь! — сказал Сталин Голованову, указывая на стоящего. — Повернись! — командовал Сталин.

Человек повернулся, и Голованов узнал Берия.

— Посмотри на этого гада, на этого мерзавца! Видишь? — показывая пальцем на Берия, продолжал Сталин.

Голованов стоял, ничего не понимая.

— Сними очки!

Берия послушно снял пенсне.

— Видишь — змея! Ведь у него глаза змеиные! — воскликнул Сталин.

«Я посмотрел, — вспоминает Голованов, — Сталин прав, действительно у него змеиные глаза!»

— Видел? — уже спокойно продолжил Сталин. — А ведь у него прекрасное зрение, мелким бисером пишет, а очки носит с простыми стеклами. Вот почему он носит очки! Вячеслав у нас близорукий, плохо видит, потому носит пенсне. А у этого глаза змеиные!

Голованов стоял молча. В Сталине чувствовалась какая-то внутренняя борьба.

— Всего хорошего, — сказал Сталин, поднимая руку. — Встретимся позже.

У Сталина часто возникали сомнения по поводу Берия, считает Голованов.

— Но такие, как Хрущев, дружок Берии, который перед ним на брюхе ползал, все время разубеждали Сталина: «Да что вы, товарищ Сталин! Это преданнейший человек!» Боялись Берии. А Сталин его, было дело, по полгода не принимал. В последний год жизни Сталина чувствовалось, что дни Берии сочтены.

ИЛЬЮШИН

Главным поставщиком самолетов для авиации дальнего действия было конструкторское бюро Сергея Владимировича Ильюшина. Его Ил-4 служили летчикам-дальникам всю войну.

— Несмотря на то, — вспоминал Голованов, — что самолеты Сергея Владимировича имели огромный удельный вес в Военно-Воздушных Силах, особенно

знаменитые штурмовики Ил-2 — «Черная смерть», как прозвали этот самолет немцы, — сам конструктор был удивительно скромным, я бы сказал, малоприметным человеком. Его, как говорят, не было ни видно, ни слышно. Вторым таким человеком среди конструкторов был, по моему мнению, создатель непревзойденных истребителей Лавочкин...

Но Ильюшин при всей своей скромности был человеком твердым, и добиться от него изменений в конструкции его самолетов было весьма непросто.

Голованов рассказал такой эпизод. Радиус действия самолетов Ил-4 не позволял свободно летать по глубоким тылам противника и доставать такие объекты, как, скажем, Берлин. Дополнительная загрузка горючим увеличивала полетный вес самолета, и получалось, что надо было меньше брать бомб. Но об этом в ту пору не могло быть и речи. Значит, оставалось только одно: увеличить предельно допустимый полетный вес самолета, что разрешается только в исключительных случаях. Когда штаб АДД попросил Ильюшина увеличить этот вес на 500 килограммов, конструктор отказал.

Однако через некоторое время довольно часто стали появляться сообщения о налетах на Берлин и другие объекты противника, расположенные в глубоких тылах. Причем в сводках говорилось о налетах больших групп самолетов, наименования которых не упоминались. Ильюшин понимал, что либо летают его самолеты, либо в АДД появились какие-то новые машины с большим радиусом действия. И Сергей Владимирович приехал к Голованову:

— Александр Евгеньевич, вот вы Берлин бомбите, у вас что, новые машины появились?

— Летаем на вашей машине, — ответил Голованов.

— А как же с горючим, с бомбовой загрузкой?

— Подвешиваем дополнительные баки на 500 литров, а боевая загрузка — полная. Отличную машину вы сделали, Сергей Владимирович! У меня орлы прилетают — по три сотни пробоин, на честном слове тянут, а возвращаются!

Конструктор покачал головой и ничего не сказал. Но через некоторое время прислал официальное решение увеличить полетный вес его самолета.

— С таким полетным весом мы проработали всю войну, — говорит Голованов. — И когда летали на предельный радиус, за счет увеличенного конструктором полетного веса брали дополнительную бомбовую нагрузку.

Удивительный человек! Другой сделает на грош, а развонит повсюду на рубль!

Голованов был весьма высокого мнения об Ильюшине, выделял его из всех наших авиационных конструкторов.

— Шла война, но думали о будущем, — говорил Александр Евгеньевич. — Ильюшин, создатель знаменитых штурмовиков и бомбардировщиков, выполнил новую задачу — сконструировал современный по тому времени пассажирский самолет. 2 августа 1944 года я подписал приказ о назначении макетной комиссии для заключения по двухмоторному магистральному пассажирскому самолету конструкции Героя Социалистического Труда С. В. Ильюшина. И вскоре на линиях Гражданского воздушного флота появился Ил-12...

АМЕТ-ХАН

Спрашиваю о недавней гибели дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана. Он испытывал двигатель, подвешенный под Ту-104. Двигатель в полете взорвался. Погиб легендарный военный летчик-истребитель, заслуженный испытатель. Он крымский татарин. На родине, в Алушке, откуда все его земляки были выселены, ему тем не менее поставили памятник. Помню, как один из крымских татар, поэт, читал свое стихотворение на родном языке, и там была такая строка:

«Покрышкин, Кожедуб, Амет-хан...» — и стало ясно, о чем стихи.

— Первого Героя ему с трудом дали, — говорит Голованов, — второго тоже... За те испытания, которые он проводил, за каждое в отдельности, другие получали Героя. А ему не давали...

Я думаю, что второго такого летчика у нас в стране не было. Конечно, ни Покрышкин, при всем уважении к нему, ни кто другой с ним не сравнится.

СЛУЧАЙ С ЛЕТЧИКОМ ВАГАПОВЫМ

Время у Сталина было строго расписано, и Голованов смог припомнить лишь один случай, когда, вызванный к Верховному, он ждал в приемной три или четыре минуты. Но и сам Голованов однажды опоздал в Кремль.

Получилось так. Зимой 1942—1943 годов Сталин позвонил Голованову на фронт и вызвал в Москву. Спросил, как думает добираться и когда может прибыть. Аэродром находился на значительном расстоянии от командного пункта фронта, добраться можно было на самолете ПО-2, идя на бреющем полете. Получалось, что в Москву можно было попасть на другой день, часов в десять-одиннадцать. Немного подумав, Сталин назначил встречу на два часа дня.

Постоянно держать самолеты на фронтовых аэродромах было нельзя — немцы караулили, и Голованов дал указание, чтобы самолет из Москвы прибыл за ним на следующий день к десяти утра. Но, прилетев на ПО-2 на аэродром, самолета там не обнаружил. Не было его и в одиннадцать часов. Не сбили ли по дороге? Другие версии исключались, потому что экипаж — летчик Михаил Вагапов и борттехник Константин Томплон — летал с Головановым еще со времен Халхин-Гола. Александр Евгеньевич собрался было уже улететь назад, на КП фронта, чтобы оттуда связаться со штабом, когда в воздухе появился знакомый самолет.

По смущенным лицам своих давних друзей Голованов понял, что расспросы ни к чему, и молча долетел до Москвы. Но что он скажет Верховному, чем объяснит свое опоздание?

В Москве встретил начальник штаба и доложил, что вылет задержали из-за того, что не могли найти Вагапова, который, не сказав никому ни слова, отправился на свадьбу к товарищу. Нашли его только утром. А посылать другой экипаж, не знавший аэродрома посадки, начальник штаба не решился.

Голованов дал указание снять Вагапова с должности шеф-пилота и прямо с аэродрома поехал в Кремль. В приемной посмотрел на часы: без четверти три, встретил удивленный взгляд помощника Сталина и с тяжелым сердцем пошел в кабинет Верховного.

При появлении Голованова Сталин взглянул на часы, стоявшие в углу, достал из кармана свои серебряные «Павел Буре», показал их вошедшему:

— Что случилось?

Голованов кратко доложил.

— Что же вы думаете делать со своим шеф-пилотом?

— Снял с должности.

— А вы давно с ним летаете?

— С Халхин-Гола, товарищ Сталин.

— И часто он проделывает у вас подобные вещи?

— В том-то и дело, товарищ Сталин, что за все годы совместной работы это первый случай. Я и мысли не допускал, что с ним может быть что-то подобное.

— Вы с ним уже говорили?

— Нет, не говорил — какой тут может быть разговор?

— А не поторопились ли вы со своим решением? Как-никак не первую войну вместе!

Слова Сталина озадачили Голованова. Подумав, ответил:

— Это верно, товарищ Сталин. Однако порядок есть порядок, и никому не позволено его нарушать, тем более так, как это сделал Вагапов. Да и наказание ему за такой проступок не велико.

— Ну что ж, вам виднее, — заключил Верховный и перешел к вопросам, ради которых был вызван Голованов.

Однако потом время от времени Сталин спрашивал о Вагапове, и через несколько месяцев Голованов вернулся на прежнюю должность.

«Я НИЧЕГО НЕ ЗАПИСЫВАЛ...»

Голованов обычно являлся к Сталину без блокнота, карандаша, вообще не имея при себе никаких записей. Докладывал по памяти и получаемые распоряжения, весьма разнообразные по содержанию, всегда запоминал и точно выполнял. Когда заданий набиралось много, Сталин говорил Голованову, и не раз, чтоб тот записывал, иначе что-нибудь упустит или забудет. Этого ни разу не было, но все же Сталин

сказал, что когда-нибудь такое обязательно произойдет и могут быть большие неприятности.

Сам Сталин обладал исключительной памятью, и примеров тому Голованов приводил немало. Так, речь Сталина на параде 7 ноября 1941 года была плохо записана на пленку, и он повторил ее наизусть для новой записи слово в слово.

— Зная, какой памятью обладает сам Верховный, мне было непонятно, почему он всякий раз меня предупреждает, чтобы я чего-то не забыл, — говорит Голованов. — Обычно человек, который сам забывчив, напоминает другим, чтобы с ними этого не случилось. Надеюсь на свою память, которая меня никогда не подводила, я такие замечания, грубо говоря, пропускал мимо ушей...

И вот однажды, в 1944 году, когда шли упорные бои в Венгрии, Сталин вечером позвонил Голованову, сказал, чтобы тот взял карандаш, и стал диктовать объекты для ударов с воздуха. Диктуя, Сталин указывал, по какой цели, в какой день и каким количеством самолетов следует нанести удар. Спросил: «Вы опять не записываете, что я вам говорю?»

«Не беспокойтесь, товарищ Сталин, все будет выполнено в лучшем виде!»

«Ну, смотрите! С такими вещами не шутят». — И Верховный повесил трубку.

Однако венгерские названия населенных пунктов порой непросто для нашего русского слуха, и из пяти указанных Сталиным объектов для бомбардировки, причем поочередной массированной бомбардировки в каждую последующую ночь, четвертый объект выпал у Голованова из памяти. Однако он решил, что найдет объект на карте. Но и карта не помогла. Память впервые подвела. Какие только ассоциации не пытался вызвать Голованов, ничего не получалось. Населенный пункт как бы исчез со всех карт, которые были подробнее буквально «промиллиметренны» Головановым вместе с начальником штаба. А Сталин лично следил за каждым заданием, боевые донесения посылались лично ему, прочитав их, он нередко звонил и уточнял интересующие данные... Ничего не оставалось делать, как идти к Верховному с повинной. Но в запасе было еще три дня, и Голованов надеялся, что, может быть, ему повезет и злополучное название само всплывет в памяти или приснится.

Позвонил Сталин, высказал удовлетворение результатами налета по объекту, назначенному на первую ночь, и дал указание действовать по цели второй ночи. Однако испортилась погода, АДД в эту ночь боевых действий не вела, в следующую ночь бомбили третий объект, но название четвертой цели так и не восстанавливалось.

И тут позвонил Сталин и сказал, что надобность в нанесении удара по четвертому объекту отпала: «Действуйте по цели номер пять!»

В следующий раз, приехав к Сталину, Голованов раскрыл блокнот и достал карандаш. Верховный удивленно посмотрел и ничего не сказал. И никогда не спрашивал. Но Голованов сделал для себя вывод, что разумными советами нужно пользоваться не по русской пословице «Гром не грянет — мужик не перекрестится».

Мне ж думается, что, если б не этот случай, Александр Евгеньевич мог бы прожить побольше на земле. Да только ли этот...

СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

В 1944 году Голованов тяжело заболел. Перенапряжение войны сказалось и на молодом организме. Случилось это в Житомире, в июне. Закончив работу в штабе, Голованов на рассвете прилег отдохнуть и внезапно почувствовал, что у него остановилось сердце. Да, именно почувствовал, поскольку раньше он вообще его не ощущал. Далее он так же физически ощутил, что перестал дышать. В это мгновение какая-то сила подняла его с постели, бросила к окну и заставила выпрыгнуть со второго этажа. Произошло это в считанные секунды. Удар о землю вернул дыхание. Видимо, организм сам боролся за свое существование — иначе объяснить этот поступок Александр Евгеньевич не мог. Травм не было, болей — тоже, однако подняться на ноги не получалось. Вновь началось удушье. В это время в организме жили как бы два различных существа: одно испытывало огромные физические страдания и было на грани потери власти над собой, другое — решительное, властное, управляющее мыслями и действиями, заставляющее бороться. И первое

существо подчинилось воле второго. Прибежали сослуживцы, перенесли своего командующего в госпиталь медсанбата. Приступы нехватки кислорода кончились, но Голованов почувствовал, что начинает окаменевать — да, именно так, каменели пальцы, и это страшное явление продвигалось миллиметр за миллиметром все выше, по всему телу. Ноги перестали шевелиться. Голованов решил попрощаться с боевыми товарищами, сожалея, что не придется дожить до победы.

А в это время разыскивали терапевта медсанбата, который был ассистентом известного профессора Зеленина. Явился терапевт майор Леонтьев, быстро сделал внутривенное вливание глюкозы. Вскоре из Москвы прилетела группа врачей, направленная Верховным. Голованов чувствовал себя уже намного лучше и собирался покинуть госпиталь, но врачи не позволили.

В госпитале он вспомнил, как два года назад, в 1942-м, Сталин говорил с ним о том, что, по его сведениям, Голованов работает практически круглые сутки без отдыха. «Это плохо кончится, — сказал Сталин. — Человек без сна долго работать не может. А здоровье людей, находящихся на большой, ответственной работе, им не принадлежит, оно является казенной собственностью, и распоряжаться им может только государство. А поскольку вы распоряжаться своим здоровьем сами не умеете, придется к вам приставить охрану, которая будет регулировать вашу работу и отдых. Как вы на это посмотрите?»

Голованов ответил довольно дерзко, видимо по своему истолковав желание Сталина приставить к нему охрану. Сказались годы работы в государственной безопасности.

«Если вы считаете, — ответил он Сталину, — что я трачу очень много времени, чтобы справиться с должностью командующего АДД, то меня следует освободить. Если же я соответствую своему назначению, то прошу предоставить мне право выбирать самому, когда я должен работать, а когда отдыхать».

Своим ответом Голованов сильно рассердил Сталина, и он после этого несколько дней с ним не встречался и даже не звонил по телефону.

После трех госпитальных дней показатели организма пришли в норму, и по приказу Верховного Голова-

нов вылетел в Москву, захватив с собой и всех прибывших врачей. Как ни уговаривали они его лететь пассажиром, маршал, как обычно, сам сел за штурвал. Полет прошел хорошо, чувствовал Александр Евгеньевич себя превосходно, но не прошло и двух дней, как вся история повторилась заново; правда, не в такой тяжелой форме, чтобы прыгать из окна, но вновь начинало сильно биться сердце, потом чуть не останавливалось, отказывали ноги во время ходьбы, останавливалось дыхание. Врачи долго ничего не могли понять, пока не установили, что причиной всех неприятностей были спазмы в организме. А это стало следствием постоянного недосыпания, значительно разрушившего центральную нервную систему. И маршалам было несладко на войне.

Опыта в лечении таких заболеваний тогда было маловато. Позвонил Сталин, поинтересовался:

— Как здоровье?

— Не могу похвалиться здоровьем, товарищ Сталин, а лекарства улучшения не дают.

Помолчав немного, Сталин сказал:

— Вот что. Врачи, я вижу, вам помочь не могут. Я знаю, вы человек непьющий. Заведите у себя на работе и дома водку. Когда почувствуете себя плохо, налейте и выпейте. Я думаю, это должно вам помочь. О результатах позвоните мне. Всего хорошего.

Голованов пригласил своего лечащего врача Н. А. Леонтьева и рассказал ему о разговоре со Сталиным. Реакция терапевта, против ожидания, была положительной. Он сказал, что сам хотел предложить водку как лекарство, но побоялся высоких врачей. Водку доставили, и, когда начался очередной приступ, Голованов выпил полстакана. Нарушение дыхания прекратилось, стало легче. Помогла водка и на следующий раз. Приступы перестали быть ежедневными, и Голованов справлялся с ними, не прекращая работу. Недели через две позвонил Верховный и снова поинтересовался здоровьем.

— Каких только специалистов не приглашали, товарищ Сталин, — ответил Голованов, — вплоть до светил, сделать ничего не могли. А простая водка справилась!

— А почему вы не позвонили и сами не рассказали об этом? — спросил Сталин.

Почему? Потому, что Голованов никогда не обращался с личными делами.

— Вот что, — сказал Сталин, не дождавшись ответа, — имейте в виду, что водка будет вам помогать до тех пор, пока будете пользоваться ею как лекарством. Если вы начнете ее пить как водку, то можете поставить крест на своем лечении.

А ведь был случай, вспомнил Голованов, еще во время обороны Москвы, когда на докладе у Сталина ему стало плохо и он упал прямо в кабинете, Сталин моментально влил ему в рот из стакана крепкое спиртное. Но тогда ощущения были другие, хотя и тогда он не спал день и ночь...

— К водке я прибегал всякий раз, когда начинали появляться признаки приближающегося приступа, — говорил Александр Евгеньевич, — и всякий раз с положительным результатом, пока через годы совсем не избавился от этих приступов. Однако к питью я так и не приучился.

Могу от себя добавить, что выпивал он действительно редко, может, в последние годы почаще, иной раз и мне в этом приходилось участвовать. Помню, зимним вечером долго мы с ним вдвоем сидели на даче, он рассказывал... Утром я проснулся с тяжелой головой. Маршал умывался и, отфыркиваясь, сказал мне:

— Здорово мы вчера с тобой врезали!

...Однажды я заметил Голованову, что, вероятно, его болезнь в 1944 году сильно подорвала его дальнейшую карьеру.

— Если б не болезнь, Сталин подчинил бы мне всю авиацию, что он хотел сделать и ранее, но я отказался. Не хвати меня кондратий, все сложилось бы по-другому. И войну я кончил бы с двумя звездами, а если б еще к Хрущеву на поклон пошел, и третью получил бы! А какое это имеет значение?

В 1948 году мне предложили командовать дальней авиацией в составе ВВС, но я сказал, что такой авиацией я командовать не буду, и пошел учиться в академию. Ты знаешь, как говорил мой батя покойный: все, что ни делается, к лучшему. Случись все наоборот, вырос бы я здорово, Берия бы наверняка на меня выстропал дело, и не было б меня сейчас...

Голованов осилил общевоинской факультет Ака-

демии Генерального штаба — с золотой медалью, окончил курсы «Выстрел». Но работы не давали. Написал письмо Сталину. Его вызвал Булганин, потом Василевский:

— Ты зачем пишешь Сталину? Хочешь, чтоб нас всех из-за тебя выгнали?

— А я на вас не жаловался.

— Но ты пишешь, что тебе не дают работы. Какую ты хочешь работу?

— Округ.

— Но ведь ты завалишь дело! Это же не авиация!

— Не завалю. Дайте мне Одесский округ, где всего две дивизии.

Округ Голованову не дали. Назначили командиром корпуса, правда воздушно-десантного, и попросили написать заявление в Президиум Верховного Совета с просьбой понизить ему звание с Главного маршала авиации до общевойскового генерал-полковника. Вот так! И такое, оказывается, у нас возможно...

— Да вы что, хотите, чтоб я наплевал на указ Президиума Верховного Совета? — возмутился Голованов.

— Но ты же берешься за пехоту! Мы ведь в авиацию не лезли! А то что получается: ты, Главный маршал авиации, поступаешь в распоряжение командующего армией, генерал-лейтенанта — так ведь он должен тебя встречать с почетным караулом, оркестром, а уж после этого ты станешь его подчиненным!

Голованов не согласился. И пять лет командовал корпусом, и командовал отлично...

НЕСПИСОЧНЫЙ МАРШАЛ

Показываю Голованову газету «Красный сокол» от 20 августа 1944 года с указом Президиума Верховного Совета СССР: «Маршалу авиации Голованову Александру Евгеньевичу присвоить военное звание Главного маршала авиации».

— Коротко и ясно, — сказал, улыбаясь, Александр Евгеньевич. — Говорят, Новиков написал, — добавляет он, — что АДД плохо работала на Курской дуге. Я за Курскую битву получил маршальское звание! А стать маршалом, да на поле сражения, да у товарища Сталина...

Я не из тех, кто получил это звание списком при Никите, я не «списочный», а боевой маршал! И Жуков, и Рокоссовский признавали только тех маршалами, кто получил это звание на фронте.

Голованов рассказывал, как после победы под Москвой, когда он был еще полковником, ему позвонил Сталин:

— Есть мнение присвоить вам генеральское звание. Как вы на это смотрите?

— Мне все равно, товарищ Сталин.

Что ж, еще походил, верней, полетал, повоевал в полковниках. Но когда в 1943-м Сталин по телефону известил его о маршальском звании и опять спросил, как он на это смотрит, Голованов ответил:

— Если вы считаете, товарищ Сталин, что авиация дальнего действия заслуживает того, чтобы ее командующий был маршалом, я не возражаю.

— Считаем, что заслуживает, — ответил Верховный.

...Мы сидим за столом, Голованов покачал головой, засмеялся:

— Это ж надо — допереть до маршала!

По-моему, Голованов был единственный из Главных маршалов и Маршалов Советского Союза, не удостоенный звания Героя. Сам он говорил мне, что за Берлинскую операцию АДД вообще отметить «забыли», так же как и присвоить звание Героя Советского Союза ее командующему. Жуков вычеркнул его из списка по просьбе командующего ВВС А. А. Новикова, трения с которым начались у Голованова после включения АДД в состав ВВС в 1944 году — из-за болезни Голованова.

Голованову не присвоили это звание ни к двадцати-, ни к тридцатилетию Победы, звание, которое он, конечно же, заслужил сполна, ибо был настоящий Герой хотя бы потому, что с самого начала и до конца войны уже в высочайшем своем звании летал на боевые задания.

Вспоминаются страшные кадры из кинофильма «Живые и мертвые», когда немецкие истребители сбивают один за другим наши тяжелые бомбардировщики, летящие без прикрытия. В военных дневниках К. Симонова читаем: «В тот драматический день 30 июня 1941 года, самоотверженно выполняя приказ ко-

мандования и нанося удар за ударом по немецким переправам у Бобруйска, полк, летавший в бой во главе со своим командиром Головановым, потерял одиннадцать машин».

Погибали, но срывали гитлеровский блицкриг. Одну из пятёрок бомбардировщиков водил лично Голованов.

Воистину, «у летчиков и маршалы летают». Я написал эти стихи задолго до знакомства с живым маршалом.

— Нас называли «головановцы», и мы этим гордились, — рассказывал мне ветеран АДД А. В. Петин. — Приезжает к нам в полк Голованов, катят машины, а он идет пешком километра два-три. Соберет весь личный состав без начальства и спрашивает, кто чем недоволен, кого наградой обошли или звание забыли повысить. Мне он в июле 1944-го прямо на плоскости самолета подписал приказ о присвоении майорского звания...

СЛУХИ

Слухи — великая движущая сила нашего общества. Они могут круто изменить нашу жизнь, и даже в лучшую сторону, но это реже, ибо, умело распространяемые, они, как правило, растут цветами зла и зависти.

— Я долго не мог понять, — говорит Голованов, — почему ко мне такое отношение после Сталина, не дают работы. Спросил напрямик в Министерстве обороны, а мне говорят: «Все было бы хорошо, но зачем вы в 1945 году дочь выдали замуж за англичанина? Зачем вам это было нужно, Александр Евгеньевич!» — «Да моей старшей дочери в 1945 году было 11 лет!» — отвечаю. Открыли рты. Откуда что берется, черт его знает! — смеется Александр Евгеньевич, покачивая головой.

— Был такой генерал-полковник Ермаченко, — продолжает Голованов, — женился на молодой, а старая жена пожаловалась в политотдел. Когда его стали разбирать, он вспылал:

— Сталину можно, а мне нельзя?

А ходили слухи, — абсолютная чепуха! — что Сталин женился на дочери Кагановича после смерти Аллилуевой (кстати, Майя Каганович в ту пору была пионеркой).

Далее, со слов Голованова я узнал, что генерала Ермаченко разжаловали. Голованов определил его начальником Быковского аэропорта. А при удобном случае рассказал о нем Сталину. Тот возмутился и велел восстановить Ермаченко в звании и должности. Погиб он нелепо: на озере, на охоте, поскользнулся и попал под винт моторной лодки...

Я рассказываю Голованову, что недавно выступал в парке Горького вместе с Героем Советского Союза генерал-майором авиации Иваном Алексеевичем Вишняковым:

— Знаете его?

— Фамилия знакомая, — отвечает Голованов.

— О вас разговорились. Он доказывал, что после войны Сталин вас посадил вместе с маршалом Новиковым. Я ему сказал, что он путает, а он отвечает: «Голованов тебе об этом не расскажет, он это скрывает от всех. Его посадили за то, что они с Новиковым привезли себе из Германии два самолета барахла...»

— Обо мне много легенд, — смеется Голованов, — и что дачу Геринга я себе перевез...

А насчет вещей из Германии Голованов рассказал такой эпизод. До поры до времени на трофеи, которые, кто как умел, возили из Германии, смотрели, как говорится, сквозь пальцы. Пока не вышел приказ Сталина: с такого-то дня на границе все отбирать в пользу государства. И вот у одного известного генерал-полковника конфисковали целый вагон вещей, несмотря на то, что тот возмущался и грозил написать товарищу Сталину.

— И ведь хватило ума написать! — восклицает Голованов.

Ответ Сталина поступил в виде резолюции, которая стала известна всему высшему командованию и долго служила поводом для насмешек над этим генералом. Резолюция выглядела так: «Вернуть г.-полковнику барахло. И. Сталин».

«ПОМОГИ, ГОСПОДЬ!»

— Сталин не был воинствующим безбожником. Может, сказалась его духовная семинария? Часто, закругляя разговор, он говорил: «Ну, с Богом!», «Ну, дай

Бог!» или: «Помоги, Господь!» Когда же он узнал, что многие попы ушли в партизаны и среди них есть даже начальники штабов отрядов, у него искренне вырвалось: «А мы храм Христа Спасителя взорвали!»

В войну он очень потеплел к церкви.

В ЭТОМ СУТЬ

— Генерал Ф. А. Астахов, выйдя из окружения и будучи назначенным начальником ГВФ, несколько месяцев скрывал, что зарыл в окружении свой партбилет. Платил ежемесячно партвзносы и ссылался на то, что забыл партбилет дома. Спустя несколько месяцев дошло это до А. С. Щербакова, члена Политбюро, начальника Главного политического управления. Истина была установлена, и А. С. Щербаков, докладывая об этом Сталину, поставил вопрос о пребывании Астахова в партии и на посту начальника ГВФ.

Сталин, по своему обыкновению, долго ходил, покуривая трубку, и не торопился с ответом. Наконец, подойдя к Щербакову, спросил:

— А вы бы что сделали на месте Астахова? — Не дожидаясь ответа, продолжал: — Плохо не то, что Астахов закопал свой партбилет, а плохо то, что побоялся об этом сказать. В этом суть.

Астахов остался на своем посту. В 1944 году, по представлению командования АДД, которому тогда подчинялся ГВФ, ему было присвоено звание маршала авиации, но в 1946 году он был освобожден от должности и, несмотря на большое число ходатайств, ответственной работы больше не получил. Пословица «кто старое помянет, тому глаз вон» всегда дополнялась Сталиным: «А кто старое забудет, тому оба долой».

Я вспомнил этот эпизод, когда встретился с Иваном Васильевичем Сулимовым, который в войну командовал знаменитым 120-м гвардейским отдельным ордена Александра Невского Инстенбургским авиационным полком, где летал мой отец.

Иван Васильевич сказал мне, что Голованов после войны признался ему: «Я в своей жизни совершил две ошибки: Астахову присвоил маршальское звание, а тебе не дал генеральского».

КВАРТИРУ... ЕЩЕ КВАРТИРУ

— Есть люди, воспринимающие заботу о них по известной поговорке: дают — бери. Одного товарища назначили на весьма ответственный пост, и, естественно, общение со Сталиным стало у него частым. Как-то Сталин поинтересовался, как этот товарищ живет, не нужно ли ему чего-нибудь, каковы его жилищные условия? Оказывается, ему нужна была квартира. Квартиру он, конечно, получил, а в скором времени Сталин опять его спросил, нет ли в чем-либо нужды. Оказалось, то ли его теща, то ли какая-то родственница тоже хотела бы получить жилплощадь. Такая площадь была получена. В следующем раз товарищ, видя, что отказ ни в чем нет, уже сам поставил вопрос о предоставлении квартиры еще кому-то из своих родственников. На этом, собственно, и закончилась его служебная карьера, хотя Сталин и поручил своему помощнику рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения и этой просьбы. Не знаю, получил ли он еще одну квартиру, но в Ставке я его больше не встречал, хотя знал, что службу свою в армии он продолжает...

Сталин очень не любил какого-либо выделения руководящего состава, особенно политического, из общей среды. Так например, узнав, что члены военных советов фронтов Булганин и Мехлис завели себе личных поваров и обслуживающий персонал, снял их с постов на этих фронтах.

О СТИХАХ

Генерал А. И. Еременко писал стихи — довольно слабые. Переплел их и принес Сталину в подарок.

— В русской армии я знаю только одного генерала, который писал хорошие стихи, — сказал Сталин. — Но он был в первую очередь поэтом, а потом генералом.

Сталин сам писал стихи в молодости — талантливо писал. Они печатались до того, как он стал Сталиным. Когда ему предложили издать его юношеские стихи — к 60-летию юбилею, — он сказал:

— В Грузии и так много классиков. Пусть будет хоть на одного поменьше!

«ЛЕТАЮЩАЯ КРЕПОСТЬ»

В 1945 году на Дальнем Востоке заблудился американский бомбардировщик Б-29 («Летающая крепость»). Вынужден был приземлиться на нашем аэродроме.

— Мы посмотрели — во самолет! — говорит Голованов. — Доложили Сталину, он быстрый был в таких вопросах, спрашивает:

— Что будем делать?

Некоторые стояли за то, чтобы строить Пе-8, четырехмоторный бомбардировщик, на котором Молотова возили в 1942 году в Лондон и Вашингтон. А я предложил: все наши воевавшие самолеты — под пресс, и строить Б-29.

— Кто может сделать такую машину? — спросил Сталин.

— Туполев.

Но Туполев стал отказываться: нет чертежей, и вероятно сложно переводить американские дюймы в миллиметры.

— Мы назовем новый самолет вашим именем, — сказал Сталин. Было привлечено свыше 300 заводов, Б-29 полностью скопировали, назвали Ту-4. Экипаж — 9 человек.

...Голованов открывал на Ту-4 воздушный парад, сверху шли истребители, а внизу — Пе...

КОНЕВ

С симпатией отзывался Голованов об Иване Степановиче Коневе. Говорил, как нелегко достались Коневу первые полтора года войны, когда ему постоянно приходилось сталкиваться с отборными кадровыми гитлеровскими войсками. Молотов по поручению Сталина ездил на фронт снимать Конева с поста командующего фронтом и назначать вместо него Жукова. Конева хотели судить за неудачи, и дело кончилось бы трагически для Ивана Степановича, но Жуков защитил его перед Сталиным. «Так мы всех расстреляем!» — сказал он Верховному.

Неудачи не сломили Конева. Велики были его воля и желание воевать. Он совершенствовал свой талант

и стал проводить смелые, решительные, успешные операции по окружению крупных сил противника. В знаменитой Корсунь-Шевченковской операции было разгромлено более десятка немецких дивизий. Жуков лично привез Коневу маршальские погоны. В Уманьской наступательной операции войска Конева уничтожили до ста восемнадцати тысяч солдат и офицеров противника и более двадцати семи тысяч взяли в плен, не говоря уж о крупных трофеях.

«Характер у маршала Конева был прямой, — пишет Голованов, — дипломатией заниматься, прямо надо сказать, он не умел. Комиссар еще с времен гражданской войны, он привык общаться с солдатскими массами. В войсках его звали солдатским маршалом».

Александр Евгеньевич отмечал, что Конев был удивительно храбрым человеком. Командуя Калининским фронтом, он получил донесение, что одна из рот оставила свои позиции и отошла. Иван Степанович поехал туда и, лично руководя боем, восстановил положение. «Правда, — говорил Голованов, — я был свидетелем, как Сталин ругал его за такие поступки и выговаривал ему, что не дело командующего фронтом лично заниматься вопросами, которые должны решать, в лучшем случае, командиры полков, но храбрых людей Сталин очень уважал и ценил».

— Я тебе скажу следующее дело, — продолжает Голованов, — Конев иной раз бил палкой провинившихся. Когда я ему сказал об этом, он ответил: «Да я лучше морду ему набью, чем под трибунал отдавать, а там расстреляют!»

Вот отрывок из неопубликованной второй части мемуаров Голованова:

«Он мог вносить и вносил Верховному немало различных предложений и отстаивал свою точку зрения по ним. Был смел и решителен, отправляясь подчас непосредственно в батальоны и роты для личного руководства боем, оставляя штаб фронта, а следовательно, и управление войсками. После внушения со стороны И. В. Сталина о недопустимости подобных действий послушался его и такие выезды в дальнейшем прекратил, оставшись, однако, при своем мнении.

Осенью 1942 года в моем присутствии в разговоре с Верховным Конев поставил вопрос о ликвидации института комиссаров в Красной Армии, мотивируя

тем, что этот институт сейчас не нужен. Главное, что сейчас нужно в армии, доказывал он, это единоначалие.

— Зачем мне нужен комиссар, когда я и сам им был! — говорил Конев. — Мне нужен помощник, заместитель по политической работе в войсках, чтобы я был спокоен за этот участок работы, а с остальным я и сам справлюсь.

Командный состав доказал свою преданность Родине и не нуждается в дополнительном контроле, а в институте комиссаров есть элемент недоверия нашим командным кадрам».

Это произвело впечатление на Сталина, и он стал выснять мнения по этому вопросу. Большинство поддержало Конева, и решением Политбюро институт комиссаров в армии упразднили, отметив, что он сыграл положительную роль в начальный период войны.

— Сталин, — отмечал Голованов, — всегда отзывался о Коневе положительно, хотя и указывал ему на его недостатки.

«Не раз Верховный брал его под защиту и, надо сказать, был очень доволен, когда дела у Ивана Степановича пошли, образно говоря, в гору, видимо считая, что и он, Сталин, имеет к этому определенное отношение. Надо прямо сказать, что все награды, полученные Коневым, а также высокое звание Маршала Советского Союза достались ему по праву и нелегко. Иван Степанович Конев вошел в когорту заслуженных полководцев нашего государства».

...Когда же я сам думаю о Коневе, в памяти возникают три эпизода. Первый я слышал от друзей Е. В. Вучетича — знаменитый скульптор лепил портрет не менее знаменитого полководца. Договорились о встрече, и Иван Степанович вышел к мастеру при полном параде:

— Ну, как меня наградили?

— Хорошо... Только многовато, — сказал Вучетич, прикидывая, что такое обилие наград на портрете может затмить лицо.

— Да, многовато, многовато, — согласился Конев. — То есть как многовато?

— Орден Подвязки на х... болтается, — заметил скульптор.

Конев тут же приказал порученцу:

— Свинти с х... подвязку!

...Второй эпизод известен всем на земле, да, может, теперь кое-кем нарочно подзабыт. Май 1945-го. Ликующая Прага. В открытом автомобиле едет советский маршал — весь в чехословацких цветах.

...И третий эпизод — сугубо личный. Его знаю только я, да, может, еще кто-то случайно. В начале семидесятых годов я входил в состав Центрального Комитета комсомола и должен был выступить на очередном пленуме ЦК. Мне сказали, что дадут слово в конце заседания. Я сидел в зале, ожидая объявления председательствующего Б. Н. Пастухова, но тут в президиуме неожиданно появился И. С. Конев, ему предложили выступить, и на меня времени не хватило. Пленум закончился. Не скрою, было обидно, что зря готовился, писал речь, которую проверяли в разных инстанциях, волновался, как всегда. Но, однако, запомнилось, что мое время для выступления «съел» маршал Конев...

МАРКИАН ПОПОВ

Фамилию генерала Попова я читал еще в детстве в приказах Верховного Главнокомандующего. Но не обращал особого внимания. По-настоящему я узнал о нем от А. Е. Голованова. Рассказывая о Попове, Александр Евгеньевич всегда улыбался, вспоминая какой-нибудь эпизод, не укладывающийся в рамки понятия о полководце. А по словам Голованова, Маркиан Михайлович Попов — человек выдающихся военных способностей, самородок в военном деле, и место его — в ряду лучших наших маршалов, хотя он этого звания так и не получил. «Слабость к спиртному и прекрасному полу все время вставала ему поперек дороги, — говорил Голованов. — Так он и остался генералом армии, хотя командовал и фронтами, и округами».

Голованов познакомился с Поповым в 1943 году, когда тот командовал Брянским фронтом. Приехал он к нему в штаб вместе с Г. К. Жуковым и слушал доклад командующего фронтом Георгию Константиновичу о положении на фронте и наметках решения по предстоящему наступлению войск фронта.

«Слушая его ответы на задаваемые Жуковым воп-

росы, — говорит Голованов, — я увидел человека необычного склада ума. Он отлично знает свои войска, не задумываясь, со знанием дела, отвечает на любые вопросы Жукова, ему не нужно на это ни времени, ни уточнений. Доклад шел без бумаг или каких-то записей. Он носил даже, я бы сказал, какой-то несколько театральный характер, показной, что ли. С одной стороны, короткий, предельно ясный доклад, такие же короткие, емкие ответы на вопросы показывали, что перед вами прекрасно образованный человек и весьма способный в военном отношении. С другой стороны, мне не приходилось видеть ни одного командующего, который вел бы себя столь свободно, почти на грани развязности, слово это так и вертится на языке, потому что грань была все же где-то близко. Он говорил с Жуковым таким тоном, каким обычно подчиненные не говорят с начальниками. Положительного впечатления это не производило, и в то же время и претензий к нему никаких не предъявишь. А по выражению лица Жукова было видно, что он удовлетворен и докладом, и ответами Попова».

Голованов потом поделился своими впечатлениями с Жуковым, а тот улыбнулся и сказал:

— Это кажется поначалу, когда его как следует еще не знаешь. На самом деле это дисциплинированный, образованный и очень способный командующий. Таких не особенно много.

Потом Голованов заметил, что Попов резко отличался от некоторых командующих и в общении с подчиненными. Когда фронт начал наступление и все поначалу шло, как задумано, Попов не переносил некоторую нервозность на подчиненных. Со своего командного пункта он вежливо разговаривал с командармами, поддерживал бодрость духа у подчиненных.

«М. М. Попов своим поведением и общением с подчиненными очень походил на Рокоссовского, — говорил Голованов. — Чего греха таить, были у нас такие, надо прямо сказать, неплохие командующие, которые, однако, во время боя проявляли неуравновешенность, нервозность. Я знал таких командующих армиями и других командиров, которые при разговоре с командующим фронтом по телефону не раз побывали на том свете, а после проведения операции получали награды вплоть до Звезды Героя».

М. М. Попов успешно командовал армией в Сталинградской битве, и после ее завершения Сталин решил его назначить командующим фронтом и вызвал в Ставку. Такое распоряжение обычно выполнялось незамедлительно. Ждали Попова в Москве на другой день. Однако прошли сутки, вторые, а Попова в Ставке не было, хотя сообщили, что вылетел он вовремя. Прибыл на третьи сутки в полном здравии. Невиданное ЧП. Друзья искренне жалели, что так нелепо закончится карьера весьма способного генерала, который еще до войны совсем молодым человеком командовал военным округом.

Однако Сталин, который, видимо, уже получил информацию, где пропал Попов, вместо того, чтобы воздать ему по заслугам, рассказал случай из гражданской войны, когда Троцкий потребовал снять с должности одного командира дивизии, обвинив его в пьянстве. Ленин поручил Сталину разобраться с этим делом. Сталин прибыл на фронт, вызвал к себе командный состав дивизии и прямо поставил вопрос: как они оценивают своего командира?

Все в один голос ответили, что лучшего комдива они не видели, что бойцы идут за ним в огонь и в воду, дивизия успешно сражается.

— А вот Троцкий говорит, что он пьяница, и требует снять, — сказал Сталин.

— Какой он пьяница? Он пьет только тогда, когда нет боевых действий, от безделья! — ответили командиры.

Сталин доложил Ленину, и было решено оставить комдива на своем месте, только побольше загрузить работой, чтобы у него не оставалось времени для безделья.

— Видите, как товарищ Ленин решал такие вопросы? — сказал Сталин собравшимся в Ставке. — Можно мириться со многими недостатками человека, лишь бы голова была на плечах. С недостатками бороться можно и исправить их можно — новой же головы человеку не поставишь.

И Попов стал командовать Брянским фронтом, войска которого успешно справились со своей задачей в Курской битве, и Маркиан Михайлович уже в звании генерала армии был назначен на другой фронт. Однако здесь его личные слабости стали уже влиять на интере-

сы дела, и его освободили от командования фронтом, понизили в звании, назначили на менее ответственную должность. До конца войны он командовал армиями и штабами, а после победы был командующим ряда военных округов, снова став генералом армии.

В мирное время, когда проводились крупные учения, Маркиан Михайлович снова блеснул своим военным даром: командуя армией в обороне, наголову разбил значительно превосходившего в силах «противника», которым командовал сам министр обороны...

К сожалению, прославленный герой Великой Отечественной ушел из жизни преждевременно и нелепо, и виной тому оказались его прежние слабости. Он сгорел на даче с женщиной...

ВАСИЛЕВСКИЙ

— Если Конев и Жуков имеют что-то общее между собой и общее в характерах, — говорил Голованов, — то Василевский не походит ни на одного из них. Стиль работы Александра Михайловича является примером для работника крупного масштаба.

Сталин, — продолжал Голованов, — сразу обратил внимание на эти способности Василевского и, как он это делал со многими другими подчиненными, все больше и больше общался непосредственно с ним.

Начальник Генерального штаба Борис Михайлович Шапошников болел. Сталин его, единственного, называл по имени и отчеству, относился к нему очень тепло, «если не сказать больше», — добавлял Голованов.

«Были нередки случаи, — пишет Голованов, — когда, не считая для себя возможным сидеть в присутствии Сталина, Шапошников выходил в приемную и присаживался отдохнуть. Работая изо всех сил, он старался не показывать состояния своего здоровья. Наконец, летом 1942 года, Сталин в моем присутствии заговорил с Борисом Михайловичем о его здоровье, и здесь Шапошников сказал, что ему трудно работать... Верховный спросил, почему же он об этом молчал раньше. Борис Михайлович ответил, что в условиях войны он не считал себя вправе ставить такие вопросы».

Сталин спросил у Шапошникова, чем бы он мог заняться, и тот ответил, что с удовольствием пошел бы на академию. А своим преемником в Генштабе назвал Василевского. Это предложение полностью соответствовало и мнению Верховного. Известно также, что Сталин говорил Шапошникову: «Борис Михайлович, работайте только два часа в сутки, а все остальное время отдыхайте и думайте, думайте, а мы будем к вам присылать людей».

...Василевский стал начальником Генштаба, и в этом не ошиблись ни Шапошников, ни Сталин. Работа Генштаба не только не ухудшилась, но стала в дальнейшем совершенствоваться. Василевский оказывал Верховному огромную помощь в его деятельности. Он обладал особым умением обобщить доклады с фронтов, доложить их Верховному, изложить поступившие предложения по дальнейшему ходу боевых действий, а также точку зрения Генштаба, если она отличалась от мнения командующих фронтами.

Голованов отмечал, что авторитет Василевскому создавал и такт в обращении с людьми. Он охотно докладывал то, о чем его просили, Верховному, предупреждая, если это не совпадало с его собственным, Василевского, мнением, что поддерживать не будет. И конечно, защищал те мнения, с которыми был согласен.

«Нужно, однако, сказать, — пишет Голованов, — что Верховный тоже имел свои мнения, которые подчас не совпадали ни с мнениями, ни с предложениями, вносимыми и Генеральным штабом».

В беседах Голованов не раз говорил мне о широком кругозоре Василевского. Я, например, не знал о том, что после финских событий (еще в 1940 году) Василевский принимал участие в определении Государственной границы с Финляндией и что В. М. Молотов якобы пытался забрать его к себе в Наркомат иностранных дел. Правда, сам Вячеслав Михайлович не мог припомнить этот факт...

Характерной чертой Василевского была скромность: он никогда не подчеркивал ни своего высокого положения, ни отношения к нему Верховного, который ему, безусловно, доверял. Стоит вспомнить «культурные» фильмы о войне — везде Сталин и рядом Василевский...

«Так же, как и Жуков, — продолжает Голованов, — Василевский получил все награды, которые существовали в то время в нашем государстве. Ему уже в 1943 году было присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза. Александр Михайлович относится к когорте тех людей, которые внесли наибольший вклад в разгром врага».

...В своей книге А. М. Василевский пишет, как Сталин сделал ему внушение за то, что он забыл своего отца-священника, не помогает ему.

Голованов так дополнил этот эпизод:

«Сталин подошел к сейфу, достал пачку квитанций почтовых переводов и показал Василевскому:

— Теперь вы долго со мной не расплатитесь!

Оказывается, Сталин каждый месяц анонимно посылал деньги отцу Василевского, а тот наверняка думал, что это от сына...»

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ...

Маршал Голованов много рассказывал мне об этих людях, каждый из которых — ратная слава нашего Отечества... Мы сидим за столом во дворе дачи в Икше.

Про головановскую дачу я не так давно прочитал в газете «Нижегородские новости» перепечатку из журнала «Столица» статьи о том, что в 1945 году летчики дальней авиации по бревнышку, с воздуха сбросили сюда дачу Геринга из Германии. Правда, сия писанина подается вроде бы как легенда — на всякий случай! — но надо ж было до такого додуматься! И много еще в этой статье излито всякой чепухи, — видимо, писал человек, не имеющий ни малейшего понятия о личности Голованова и подошедший к нему и с общими, и с сегодняшними мерками и мнениями о высшем военном руководстве. Одно могу сказать: никаким Герингом в Икше не пахло, и единственное, что связывало Голованова со «вторым наци Германии», это то, что летчики считали: Голованов был у Сталина, как Геринг у Гитлера. Я об этом слышал еще в ту пору, когда мы беседовали с маршалом за столом на даче.

— Вот еще какой-то пролетел! — говорит Александр Евгеньевич, и мы смотрим, как над крышей

снижается самолет и покачивает крыльями. Голованов едва ли не забыт, о нем не вспоминают в газетах даже в празднично-военные дни, но самолеты, пролетающие над дачей Главного маршала авиации страны, снижаются и качают крыльями. Я не только видел это своими глазами — сам так проделывал, когда летал. Не знаю, кому, где и когда при жизни оказывали такую постоянную почесть...

Под сенью сосен подмосковной станции,
завидно сохранив авторитет,
рыбалит Главный маршал авиации,
опальный, гордый, по прозванию «Дед».

Какой он дед! Он будто бы у власти,
у самых главных, у державных дел.
Когда-то с кем-то был он не согласен
и сам, как говорится, полетел.

Да, из упрямых он, из тех, что спорили,
и правота их в будущем, вдали,
да, он из тех догматиков, которые
Отечество спасали и спасли.

Он жилист, маршал. Силушка ушкуйника
и стойкость разума — на том стоим! —
и скромность, рокосовская, с сутулинкой,
присущая особенно прямым.

Сухие ветки с яблонь обрезают,
лопатою командует легко...
Просил работу, да ему сказали,
что звание уж больно высоко.

В штабах особых молодые служат,
не дай им Бог Москву и Сталинград!
Они и так усидчиво заслужат
не менее регалий и наград.

Но дай им Бог — повыше всех религий —
при жизни чтоб, над крышей, им, живым,
все самолеты крыльями махали
когда-нибудь вот так же, как над ним.

Я написал эти стихи в 1968 году. Но «та ж в душе
моей любовь»...

СЕКРЕТЫ «МИСТЕРА БРАУНА»

В январе 1942 года «Правда» публикует материалы о поддержке советского народа трудящимися стран антигитлеровской коалиции.

Телеграмма Председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину:

«Митинг семисот русских и украинцев, созванный русско-украинскими объединениями помощи родине в Виндзоре (Канада) решил выделить девять тысяч долларов на приобретение медикаментов для Красной Армии. Митинг обещал полную поддержку вашей борьбе против фашистов. Мы уверены, что победа будет за вами. Председатель Хунчак».

На имя В. М. Молотова поступило приветствие от мэра города Торонто, на имя И. В. Сталина — от Генерального исполнительного комитета союза рабочих-кожевников США и Канады, который «от имени 75 тысяч членов союза приветствует героическую Красную Армию и народы Советского Союза и выражает глубокое восхищение Вашей блестящей, безграничной доблестью и гениальной стратегией, которая разбила легенду о «непобедимости» нацистской армии и сделала возможными нынешние крупные победы Советского Союза. Ваша историческая борьба в защиту всего человечества воодушевляет весь мир. Мы обязуемся продолжать оказывать полнейшую поддержку важнейшему делу уничтожения общего врага — нацизма и фашизма. Наша победа неизбежна».

В новогоднем приветствии председатель Общества советско-китайской дружбы Сунь Фо пишет:

«Я искренне желаю здоровья величайшему вождю Сталину, поздравляю красноармейцев и командиров Красной Армии с величайшими победами и желаю общей победы демократическим странам».

Президент США Рузвельт в послании Конгрессу отмечает:

«Мы сражаемся на одной стороне с русским народом, которому пришлось пережить вторжение нацистских орд в Россию, докатившихся до самых ворот Москвы, с русским народом, который с почти сверхчеловеческими волей и мужеством заставил противника отступить».

Он же пишет Сталину в феврале 1942 года:

«Вести об успехах Вашей армии очень нас ободряют. Посылаю Вам мои горячие поздравления в день 24-й годовщины основания Красной Армии».

Выражает свое восхищение мужеством бойцов Красной Армии Черчилль, посылает телеграмму Сталину Де Голль:

«Руководимая Вами, находящаяся под командованием выдающихся руководителей Красная Армия является одним из главных инструментов освобождения пораженных народов».

Поздравляют, восхищаются, а второго фронта нет...

«Правда» публикует очерк «Таня» — еще никто не знает, что это была Зоя Космодемьянская:

«...И Сталин мысленно придет к надгробью своей верной дочери».

Читаю:

«В течение 4 апреля на фронте чего-либо существенного не произошло. Сбито и уничтожено на аэродромах 102 немецких самолета. Наши потери — 16 самолетов».

Это мой день рождения. Мне один год...

5 апреля 1942 года страна сурово отмечала 700-летие разгрома немцев на Чудском озере. «Правда» пишет:

«Мы с любовью и законной гордостью за великий русский народ вспоминаем тех, кто сражался за победу нашей Родины в неизмеримо более трудных условиях — и победил.

Бейте же, славные советские воины, еще беспощаднее немецких захватчиков, гоните их с советской земли, как гнал их 700 лет тому назад славный русский полководец Александр Невский!»

Приводится запись К. Маркса:

«1242. Александр Невский выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера так, что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы»..

А со вторым фронтом союзники не спешат...

...Эту историю весны 1942 года рассказали мне три человека, и каждый со своей стороны.

Первый — Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, который в ту пору командовал Авиацией дальнего действия.

Второй — Герой Советского Союза летчик Эндель Карлович Пусэп.

Третий — Вячеслав Михайлович Молотов, правая рука Сталина на протяжении нескольких десятилетий, народный комиссар иностранных дел.

Всех троих я знал лично, а Голованову помогал писать его мемуары. Все три рассказа складываются в один потрясающий драматизмом эпизод второй мировой войны, когда на карту была поставлена судьба человеческой цивилизации.

...Морозным декабрьским вечером мы сидим с маршалом Головановым на его подмосковной даче и растапливаем печь. Александр Евгеньевич высок и строен, как юноша, он еще бодр и силен. Блики огня, как сполохи битв, играют на его сухощавом лице, когда он подбрасывает в печь расколотые березовые поленья.

Он вспомнил, как почти тридцать лет назад, в декабре 1941-го, после победы Красной Армии под Москвой Сталин поделился с ним своими мыслями о дальнейшем ходе войны.

— Полагаю, что нам не следует обольщаться своими успехами, — сказал Сталин. — В новом году нам придется еще труднее. Дай Бог нам эту войну закончить в 1946 году. Надеяться будем только на свои собственные силы. Но попытаемся получить максимум помощи от союзников. Не хотят они открывать второй фронт, но требовать мы будем.

В феврале или марте 1942 года, Голованов точно не помнит, Сталин спросил его, в каких районах Севера пришлось летать Александру Евгеньевичу. Когда Голованов рассказал ему о своих полетах в Восточной Сибири, Верховный неторопливо произнес:

— Нужно будет организовать нам трассу на Аляску, скажем, в Фербенкс.

И, поручив Голованову это дело, добавил:

— Может быть, нам с вами придется слетать в Квебек. Но это между нами...

Вскоре Сталин спросил:

— Как лучше и быстрее попасть в Вашингтон самолетом? Я полечу к президенту Соединенных Штатов Америки Рузвельту. Об этом знают трое: я, вы и Вячеслав Михайлович Молотов.

— Я тебе скажу следующее дело, — говорит Голованов, имея давнюю привычку часто повторять эту фразу в беседе и при этом что-нибудь крутить в руке — авторучку, расческу (сейчас это была березовая щепка), — если это сказал Сталин, так оно и было: знали действительно трое.

...И Голованов стал прикидывать все возможные варианты полета в Вашингтон по разным направлениям и на разных самолетах. Полет через Аляску был бы слишком долгим и требовал большой подготовки. Лететь через Иран тоже далековато, да и неизвестно, как к этому отнесутся государства, над территориями которых прошла бы трасса...

Голованов остановился на самом, казалось бы, парадоксальном варианте: лететь на одиночном четырехмоторном бомбардировщике ТБ-7 (Пе-8) из Москвы в Лондон, потом через Исландию и Канаду — в США.

Это был рискованнейший шаг — полет над Европой, занятой противником! Тем более, что на борту должен быть сам Сталин. Голованов считал эту трассу наиболее выгодной и безопасной, потому что даже если немецкая агентура каким-то образом пронюхает о готовящемся визите советского руководителя в Америку, то вряд ли кто подумает, что русские пойдут на такой риск, как длительный полет над вражеской территорией.

Сталин согласился с этими доводами и сказал Голованову:

— Мы вам верим и на вас полагаемся. Действуйте, как найдете нужным, так как вы в первую очередь несете ответственность.

Голованов стал разрабатывать утвержденную трассу. Генерал-лейтенант, командующий стратегической авиацией Ставки Верховного Главнокомандования, он прятал в стол карту маршрута, когда в кабинет входил даже его заместитель или начальник штаба, — настолько велика была секретность намеченного дела...

12 апреля 1942 года в Москву приходит послание:

«ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Г-НУ СТАЛИНУ

К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу практически невозможной в настоящее время. Такая встреча, дающая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения войны против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, как мы надеемся, мы сможем с Вами провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально приближающееся к обмену мнениями.

Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с использованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение.

Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближайшее время

в Вашингтон г-на Молотова и доверенного генерала. Время имеет большое значение, если мы должны оказать существенную помощь. Мы предоставим в их распоряжение хороший транспортный самолет, и они смогут совершить перелет туда и обратно в две недели...»

Сталин ответил 20 апреля 1942 года:

«Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях получил в Москве.

Советское правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами для обмена мнений по вопросу об организации второго фронта в Европе в ближайшее время. В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10—15 мая с соответствующим военным представителем.

Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена мнениями с английским правительством...»

Из этих писем видно, что желания Сталина и Рузвельта совпали, однако инициатива встречи теперь исходит от Рузвельта.

«Если дела пойдут так хорошо, как мы надеемся...», — пишет американский президент. Существенное условие. Оно-то и не позволило полететь Сталину в Вашингтон. Ситуация на фронтах к апрелю осложнилась, и покинуть капитанский мостик было нельзя. Видимо, понимая это, Рузвельт просит направить в Вашингтон Молотова.

А может, Сталин испугался лететь? Нет, он был не робкого десятка. Об этом мне не раз говорили и Голованов, и Молотов, знавший Сталина 42 года...

— Прежде чем осуществить этот перелет, — вспоминал Голованов, — я отправил в Лондон мой лучший экипаж во главе с майором Сергеем Асямовым. Вторым пилотом был Пусэп, а штурманами — Романов и Штепенко.

Это был пробный полет, истинной цели которого летчики не знали. Асямов под большим секретом сказал Пусэпу, что у англичан закуплена партия четырех-

моторных самолетов, и в ближайшее время нужно будет возить в Англию наших летчиков, чтобы перегонять эти самолеты. Вот, мол, начальство и решило проверить, справимся ли с этим заданием...

Утром 29 апреля огромный петляковский бомбардировщик ТБ-7, пробыв в воздухе 7 часов 10 минут, приземлился на аэродроме Тилинг в Шотландии. Союзники тепло встретили русских летчиков, и вскоре на пассажирском самолете «Фламинго» доставили в Лондон. Посол в Англии И. Майский сообщил о благополучном прилете экипажа, о чем Голованов доложил Сталину. Но радость была преждевременной. Случилось непредвиденное.

На другой день по просьбе англичан майор Асямов на том же небольшом «Фламинго» вылетел в Тилинг — там собралось много желающих посмотреть невиданный советский бомбардировщик ТБ-7. Затем союзники решили показать русскому пилоту свою боевую технику в Ист-Форчуне. На обратном пути в Лондон «Фламинго» воспламенился в воздухе и развалился на части. Все десять человек, находившихся на борту, погибли — английский экипаж, два офицера и три члена советской военной миссии. Погиб майор Асямов, всеобщий любимец, замечательный человек, летчик «чкаловского типа».

В 1971 году вместе с маршалом Головановым мне довелось быть на тридцатилетнем юбилее дальнебомбардировочного авиационного полка, в списки которого навечно зачислен майор С. Асямов. Там я и познакомился с Энделем Карловичем Пусэпом, седым, уса-тым ветераном.

«Ты знаешь, я его не узнал!» — сказал мне Голованов. А я вспомнил фотографию бравого молодого летчика с только что полученной Звездой Героя — 1942 год. Пусэп в составе экипажа легендарного Михаила Водопьянова одним из первых в августе 1941 года летал бомбить Берлин. На обратном пути пришлось на подбитом самолете совершить вынужденную посадку и пробираться к своим через линию фронта по эстонской земле. Летчиков спасло то обстоятельство, что Пусэп — эстонец и на родном языке поговорил с мальчишкой-пастухом, который показал правильную дорогу...

Пусэпа я увидел в парадном строю ветеранов на бетонке аэродрома. Когда они с возвышающимся над всеми двухметровым Головановым направились к строю современных боевых летчиков, грянул оркестр. Командир полка оттрапортовал:

— Товарищ Главный маршал авиации! Гвардейский Орловский полк тяжелых бомбардировщиков дальней авиации построен по случаю тридцатилетнего юбилея!

— Здравствуйте, гвардейцы! — тряхнул старинной бывший первый командир этого полка, ставший их маршалом.

Когда он обошел строй, последовала команда:

— Ветеранам части принять Боевое Знамя!

Солнечные лучи рьят бетонку, сверкают на лаковых козырьках парадных фуражек, на трубах оркестра, на золоте букв Боевого Знамени, на серебре слезинок, что вспыхнули у многих, ибо редкое сердце не дрогнуло, когда седой Пусэп высоко над головой поднял красное бархатное полотнище, ветер подхватил, развернул его, и колонна ветеранов во главе со своим легендарным маршалом двинулась по квадратам бетонки мимо широких капониров и огромных современных «Ту» — «бэкфайеров». За ними по эскадрильям синими сверкающими квадратами по белой бетонке прошел полк — второе, третье после них поколение летчиков-дальников, а небо над шагающими колоннами разорвал гром взлетевших «Сухих». Это соседний истребительный полк каскадом высшего пилотажа приветствовал своих друзей — бомбардировщиков...

Но я отвлекся, да и не мог не отвлечься от своего основного рассказа, потому что все дорого, все ярко озарено в памяти... Был торжественный ужин, и я сидел за столом рядом с Пусэпом. Эндель Карлович — маленький, собранный — и за столом все делал как-то по особому аккуратно, тщательно.

— Мы среди экипажа решили разыграть на спичках, — сказал он мне, — кому лететь с англичанами в Тилинг. Я вытасил спичку с головкой, и это означало, что полетит Сережа Асямов. А то бы сейчас он тебе рассказывал об этом, а не я.

Почему погиб Асямов? Голованов был убежден, что дело здесь нечистое. В английском руководстве,

считал он, не были заинтересованы в визите советского представителя. Гибель Асямова произвела сильное впечатление на Сталина.

— Ну и союзнички у нас! — сказал он. — Только и смотри за ними в оба!

Этой фразы нет в мемуарах Голованова. Она не прошла через «инстанции».

— Ну что же нам делать теперь? — спросил Сталин у Голованова. — Встреча с Рузвельтом должна обязательно состояться! Вы еще что-нибудь можете предложить?

— Могу, товарищ Сталин, — ответил Голованов. — Летчик Пусэп, находящийся сейчас в Англии, является командиром корабля. Он полярный летчик, привыкший по многу часов летать на Севере без посадки, да и во время войны ему приходилось подолгу быть в воздухе, поэтому он один приведет самолет домой. Здесь мы пополним экипаж, и можно будет отправляться в путь.

— Вот как! А вы уверены в этом?

— Да, уверен, товарищ Сталин.

— Ну что ж, действуйте!

«Англичане-то не знали, что Пусэп — тоже командир корабля, — говорил мне Голованов. — Представляешь, как они удивились, когда тяжелый четырехмоторный бомбардировщик с одним пилотом поднялся в воздух и через несколько часов благополучно приземлился в Москве!»

...Экипаж дополнили опытным летчиком капитаном Обуховым, который занял место второго пилота. А командиром стал Пусэп.

5 мая 1942 года генерал Голованов вызвал к себе экипаж.

— Вы уверены, что гибель майора Асямова была случайностью? — спросил он у Пусэпа.

— Вместе с нашими людьми в катастрофе погибли пять английских старших офицеров, — ответил Пусэп.

Голованов опустил в кресло, задумался, но вскоре энергично поднялся и сказал:

— В ближайшие дни вам придется выполнить еще одно сложное и ответственное задание... А за рубежом придется отказаться от чужих самолетов. Если окажется необходимым, поезжайте на поезде или на машине.

К 10 мая самолет был еще раз осмотрен, проверен

комиссией и признан готовым к дальнему перелету. Сталин ведь обещал Рузвельту — 10—15 мая. Однако принимать самолет в Англии не торопились. И все-таки 19 мая вылет состоялся.

Едва экипаж сел поужинать в летной столовой, вызвали командира:

— Товарищ Пусэп, с вами желает поговорить «хозяин»!

Пусэп не понял, о каком «хозяине» идет речь, но уже издали увидел вокруг своего самолета десяток автомашин. Группа людей в шляпах надевала летную амуницию. Возле генерала Голованова человек в песне застегивал молнию комбинезона. Пусэп сразу узнал по портретам, знакомым каждому школьнику, — Молотов!

— Такой молодой, а уже майор! — с улыбкой сказал Вячеслав Михайлович, пожимая руку пилоту.

Экипаж и десяток пассажиров заняли места в бомбардировщике, и он пошел на взлет. Чтобы не выдать месторасположение своего аэродрома, если карта маршрута попадет к противнику, начало трассы было нанесено от Загорска, а до этого исходного пункта нужно было знать курс наизусть. Главный пассажир летел под именем «мистер Браун»...

Многочасовое путешествие на необорудованном для пассажиров бомбардировщике — непростое дело. Самолет не был герметичным. Значительную часть маршрута пришлось лететь на большой высоте при низкой температуре и недостатке кислорода. Пассажиры пользовались кислородными масками. Многих клонило в сон, но члены экипажа постоянно следили, чтобы никто не уснул, потому что могла перегнуться трубочка кислородного прибора. Разумеется, особое внимание уделялось «мистеру Брауну», которому тоже пришлось изрядно померзнуть, хоть он и был в меховом летном обмундировании: температура внутри самолета равнялась наружной и порой достигала нескольких десятков градусов ниже нуля по Цельсию.

Когда пролетали линию фронта, на самолет обрушился шквал зенитного огня, дальше летели над территорией, оккупированной противником, ускользали от немецких истребителей, попадали в болтанку. Пассажиры это ощущали, но, может, к счастью, почти

ничего не видели: в их распоряжении было только одно маленькое окошечко.

Но в целом все шло нормально. И вдруг — в четвертом моторе утечка масла! Струя потекла по правому крылу. Чтобы сократить время полета, пришлось изменить курс, но штурманы Романов и Штепенко все же вывели самолет к побережью Шотландии, и он приземлился на уже знакомом аэродроме Тилинг.

Вереница машин увезла «мистера Брауна» и его спутников в город Данди, где их ждал специальный поезд. Но и поезд не довез их до Лондона. Он остановился на маленькой глухой станции, где «мистера Брауна» встретил министр иностранных дел Великобритании сэр Энтони Иден, и уже на автомобилях делегация прибыла в английскую столицу. Вот так. Почтище, чем в детективных романах.

Трудная была задача у «мистера Брауна». Главный вопрос — открытие второго фронта в Европе в 1942 году. Но английский премьер Уинстон Черчилль и слушать об этом не хотел. Вот что говорил мне сам В. М. Молотов:

— В 1942 году я был участником всех переговоров по второму фронту, и я первый не верил, что они это могут сделать. Я был спокоен и понимал, что это для них совершенно невозможная вещь. Но, во-первых, такое требование нам было политически необходимо, а, во-вторых, из них надо было выжимать все. И Сталин тоже не верил, я в этом не сомневаюсь. А требовать надо было!.. Для нас их бумажка имела громадное политическое значение. Ободряла, а это тогда много значило... От них ждать помощи в деле защиты социализма? Большевики были бы такие идиоты! А вот чтобы их прижать: вот вы какие подлецы, говорите одно, а делаете другое, это и перед их народом ставит их в трудное положение, народ-то все-таки чувствует, что русские воют, а они — нет. Потом, не только не воюют, но и пишут, и говорят одно, а делают другое, это их разоблачает перед народом: что же вы жульничаете? Веру подрывает в империалистов. Все это нам очень важно... Конечно, мы не верили в такой второй фронт, но должны были его добиваться. Мы втягивали их: не можешь, а обещал...

Подписать коммюнике об открытии второго фронта Черчилль наотрез отказался.

Другой важной задачей для Молотова было добиться заключения договора между СССР и Великобританией, и этого он добился.

— Я подписал договор в Лондоне в присутствии Черчилля, — говорит Молотов. — Подписывал Иден и я — о союзе, об организации союза стран для подготовки мира в будущем; о том, чтобы совместно кончить войну и совместно организовывать мир...

Жили в Чекерсе. Километров пятьдесят — шестьдесят от Лондона. И там я устроил обед в первый день приезда. Черчилль и Иден были, я и мои. Какой-то небольшой сад. Небогатое старинное здание. Подарил, значит, какой-то старый дворянин правительству — пользуйтесь! Резиденция премьер-министра. Ванная есть, а душа нет. Вот я у Рузвельта был, я же ночевал в Белом доме. У Рузвельта устроено все по-настоящему, у него и ванна с душем... Черчилль в Москве умилялся, что у нас вода течет из кранов в изобилии и, когда умываешься, не принято затыкать раковину...

— Мы настаивали на документе о наших послевоенных границах, — продолжает Молотов. — Деталей не помню, а сущность помню, конечно. Мы настаивали все время, я напирал на это. Сталин в 1941 году, потом я прилетел с проектом в 1942-м... Черчилль: «Это мы никак не можем». Я так и вертелся туда-сюда. Послал Сталину телеграмму. Отвечает: «Согласись без этого». Я — вперед. Все упиралось в признание за нами Прибалтики. Они не соглашались. А когда мы от этого отошли, — конечно, это было необходимо в тот момент, — они удивились. Черчилль был поражен. Иден обрадовался очень, что мы пошли ему навстречу.

Когда Иден приезжал, Сталин все время на самолюбие бил, что тот сам, без консультаций, не может решить этот вопрос...

Пришлось нам уступить. Оставить этот вопрос открытым. Открытым. Вот только теперь, в нынешнем положении, Англия и Америка впервые официально признали наши границы с Прибалтикой. Поздно, но признали...

Президент Форд сказал: «Безобразно, что Прибалтика до сих пор не имеет независимости, но политика требует не вмешиваться».

То, что американцы признали Прибалтику нашей,

большой шаг в нашу пользу. Они ни за что не хотели. Шаг вперед, большое дело.

...Частично выполнив свою задачу в Лондоне, «мистер Браун» собрался лететь в Вашингтон. Англичане дали своего радиста, веселого толстяка Кэмпбела с большим желтым портфелем, где, как он выразился, у него «лежит все радио мира». Так у Пусэпа, честно говоря, вопреки желанию, появился новый, четырнадцатый член экипажа — радист, который впоследствии хоть и не всегда мог связаться по радио с нужным аэродромом, но сразу после знакомства начал свою деятельность с безмолвного, но понятного во всех концах земного шара жеста, и весь экипаж направился в бар...

Когда самолет подготовили к дальнейшему полету, в диспетчерской аэродрома появилась необычная надпись мелом на доске: «Самолет ТБ-7, командир Пусэп, прибыл из Советского Союза, направляется в Исландию».

Да, следующая посадка намечалась в Исландии, а конечный пункт маршрута английской службе движения знать было обязательно.

Дальнейший полет проходил над океаном, и «мистеру Брауну», как и другим пассажирам, пришлось надеть на себя «мисс Мэй» — спасательный воротник, который, когда его надували, оттопыривался на груди и, по утверждению знатоков, был очень похож на бюст голливудской кинозвезды мисс Мэй.

— Дали нам резиновые лодки, скамеечки поставили, — вспоминал Молотов.

— Мне рассказывал Пусэп, — говорю я Молотову, — что англичане, разрабатывавшие маршрут от Лондона до Америки, дали вам такую конечную точку, чтоб вы там не сели. Но во время промежуточной стоянки в Рейкьявике Пусэп познакомился с американским полковником Арнольдом, который, узнав, что русские собираются сесть на острове Ньюфаундленд, сказал: «Не летите туда. Вы там не сядете. Там все время меняется погода. Садитесь вот здесь. — И Арнольд отметил на карте аэродром Гус-Бей. — Только никому не говорите, что я вам посоветовал. Это наш секретный аэродром. Там еще идет строительство, условия спартанские, но виски и консервы имеются.

Я знаю, кого вы везете, — добавил американский полковник. — Не летите на Ньюфаундленд, куда вам предлагают англичане, вы там в тумане разобьетесь, а в Гус-Бее сядете нормально».

«Я, конечно, — признался Пусэп, — летел по трассе, утвержденной командованием — на Ньюфаундленд. Вдруг этот американец — провокатор? Но летел осторожно и убедился, что он прав. Отвернул от туманов и сел в Гус-Бее, что было полной неожиданностью для союзников. Когда американцы спрашивали нас, как мы нашли их аэродром, мы отвечали: «По сигналам радиовещательных станций». Никогда не забуду полковника Арнольда.

— Вот этого я не знал, — говорит Молотов. — Да, англичане очень не хотели, чтоб я летел к Рузвельту.

Можно себе представить, что творилось на аэродроме Гус-Бей, когда приземлился невиданный бомбардировщик с красными звездами! Среди подбежавших к самолету оказались украинцы и русские аляскинцы, строительные рабочие.

— На борту — народный комиссар иностранных дел Советского Союза, — сказал командир корабля.

Подъехал начальник базы и сразу пригласил всех за общий стол. Недостатка ни в спиртном, ни в консервах не было — и в этом оказался тоже прав полковник Арнольд. После многочисленных тостов за победу советско-американского оружия и за американо-советскую дружбу пошел обмен сувенирами.

«Пуговицы от мундиров, зажигалки, даже спички переходили из рук в руки, — вспоминал Пусэп. — Смотрю, один американский лейтенант уже пытается отвинтить с моей гимнастерки орден Красной Звезды».

Молотов заметил это и выручил Пусэпа:

— Давайте мы запишем вас в нашу дальнюю авиацию, — сказал он американцу, — вы полетаете, как он, побомбите Берлин, и мы вам дадим точно такую же звезду и, может, даже не одну.

Лейтенант сразу стал серьезным, и у него пропала охота отвинчивать русский орден.

В это время в столовую вошли штурманы Романов и Штепенко, побывавшие на метеорологической станции, и сказали, что до Вашингтона по всей трассе яркая, солнечная погода. Взлет!

Однако дул сильный встречный ветер, и, если 3000 километров над океаном самолет преодолел за восемь часов, то теперь то же время потребовалось на оставшиеся 2000 километров. К тому же спустился туман, и пришлось лететь на высоте всего нескольких сот метров над землей. Моторы настолько перегрелись, что на их обшивке, как говорят в таких случаях пилоты, можно было жарить картошку. Один мотор пришлось выключить, когда до Вашингтона оставалось 50 миль, на другом сбавили обороты. Оставалось два мотора, работавшие на полных оборотах, но Пуэп отлично посадил машину. По его выражению, самолет был похож на пирожок, который окунули в горячее масло...

Нашу правительственную делегацию встретили государственный секретарь США Корделл Хэлл и посол СССР М. Литвинов. «Мистера Брауна» повезли в Белый дом...

А вокруг летчиков собралась толпа американских офицеров — фотографировали, просили автографы... Наконец штурман Романов на ломаном английском объяснил, что они очень устали и хотели бы отдохнуть. Но американцы, видимо, неправильно его поняли и привели экипаж в помещение с огромным количеством бутылок... И только после тостов над гостями жались, и они проспали шестнадцать часов подряд...

Один из советских дипломатов, встречавших Молотова в Вашингтоне 29 мая 1942 года, отмечает, что Вячеслав Михайлович был очень бледен и показался нездоровым. Конечно, полет из Лондона через Исландию в Вашингтон был длительным и тяжелым. Но несмотря на усталость, Молотов в тот же день встретился в Белом доме с президентом Рузвельтом.

Переговоры шли четыре дня.

Расскажу о них подробнее.

После обычной церемонии представлений и приветствий Молотов с присущей ему краткостью поделился впечатлениями о перелете и сразу же перевел разговор в деловое русло. Он пожелал подробно обсудить военное положение, главным образом на советско-германском фронте, и принять конкретные решения.

Рузвельт согласился, что главным врагом является Гитлер, поэтому на Тихом океане следует занимать

только оборонительную позицию. Но как убедить в этом некоторых деятелей США? К тому ж неизвестно, куда японцы бросят скопление своих военных кораблей — на юг против Гавайских островов и Австралии или на север против Аляски или Камчатки? Молотов заметил, что Камчатка будет обороняться, но Красная Армия не сможет выделить для ее защиты необходимое количество войск и оружия.

— А какими сведениями располагает господин Молотов об обращении нацистов с советскими военнопленными? — спросил Рузвельт.

— Судя по данным, полученным не только от советских разведчиков, но также из польских и чешских источников, с русскими военнопленными обращаются жестоко, бесчеловечно. Об этом сообщили и 25 советских военнопленных, бежавших из Норвегии в Швецию. Немцы не считают себя связанными какими бы то ни было соглашениями, хотя Советский Союз, насколько мог, действовал в соответствии с Гаагской конвенцией.

— Мы столкнулись с аналогичной проблемой в связи с американцами, попавшими в плен к японцам, — заметил президент. — Питание их ограничено японским армейским пайком, что равносильно для американцев голодному пайку.

«Если б наших хоть бы так кормили!» — подумал Молотов, но ничего не сказал.

— А вы не заметили, что увеличилось число сообщений об ухудшении морального состояния Германии? — спросил Рузвельт.

— Да, увеличилось, — согласился Молотов, но не высказался по поводу их значения.

Президент заговорил о Японии. Молотов сказал:

— Японцы стараются всеми способами мешать переброске дивизий из Сибири на германский фронт, и будут продолжать угрожать Сибири, связывая там наши войска.

Рузвельт заинтересовался применением отравляющих веществ. Советский нарком сказал, что немцы перебрасывают на русский фронт большое количество таких веществ, но пока их не применяли...

В шесть часов вечера первая беседа закончилась. В кабинет вошел камердинер и увез сидевшего в коляс-

ке президента. Рузвельт был в элегантном белом костюме, а ноги его, как всегда, были покрыты клетчатым пледом. Молотову показали приготовленную для него комнату в Белом доме...

А уже через час и сорок минут переговоры продолжились за обедом и затянулись до полуночи.

Рузвельт говорил о своем желании после войны приступить к разоружению, сохранив оружие только для полицейских функций, в основном против Германии и Японии.

— Мировое хозяйство долго не оправится, если мы снова будем вынуждены нести бремя вооружений, — сказал он. — Но на 25 лет мы сможем установить мир.

Молотов долго выслушивал рассуждения президента, а в конце беседы обратился к нему с предложением обсудить завтра вопрос об открытии второго фронта в Европе. Они еще недолго поговорили один на один, а на другой день, в 11 утра, переговоры возобновились.

На этот раз в Овальном зале кроме президента находились генерал Маршалл и адмирал Кинг.

— Я хочу проинформировать вас, — обратился к ним Рузвельт, — о проблемах, поднятых господином Молотовым, который только что прибыл из Лондона, где он обсуждал с английскими властями вопрос об открытии второго фронта в Западной Европе. Нет никакого сомнения, что на русском фронте у немцев имеется такое превосходство в авиации и механизированных силах, что положение является неустойчивым. Советский Союз хочет, чтобы англичане и американцы высадили на континент такое количество войск, которое сможет отвлечь с советского фронта сорок германских дивизий. Мы сознаем трудности и считаем будущее достаточно серьезным. Мы считаем своей обязанностью помочь в меру своих сил Советскому Союзу, хотя возможность осуществления этой помощи в настоящий момент представляется сомнительной. В связи с этим встает вопрос: что мы можем сделать, даже если шансы на успех не особенно велики? Наибольшие трудности США испытывают в области океанского транспорта. Отправка каждого транспорта с конвоем через океан в Мурманск сама по себе уже является крупной военно-морской операцией...

— Вопрос об открытии второго фронта, — сказал Молотов, — хоть и носит как военный, так и политический характер, все же преимущественно вопрос политический. Возможно, в 1943 году положение будет существенно отличаться от положения 1942 года. В 1942 году Гитлер является хозяином всей Европы, за исключением нескольких незначительных стран. Он главный враг всех народов. Правда, нужно надеяться, что русские смогут устоять и продолжать борьбу в течение всего 1942 года, однако следует проанализировать и другую возможность. Опираясь на свое господство на континенте, Гитлер может бросить в бой такие людские резервы и такую технику, что Красная Армия, возможно, и не устоит перед нацистами. Это создаст серьезную обстановку, которую нельзя не учитывать. В этом случае советский фронт станет второстепенным, Красная Армия будет ослаблена, а силы Гитлера соответственно возрастут, поскольку он будет иметь в своем распоряжении не только большое количество войск, но также продовольствие и сырье Украины, нефть Кавказа. В этих условиях война станет более тяжелой и затяжной. Открытие нового фронта в 1942 году осложнит положение Гитлера, и, стало быть, создание такого фронта не следует откладывать. Во всем этом деле решающим является вопрос, когда для Объединенных Наций открытие второго фронта будет выгоднее — в 1942 или в 1943 году?

— Силы, сосредоточенные на советском фронте, очень велики, — продолжал Молотов, — и, говоря объективно, в отношении численности войск, авиации и моторизованных сил существует перевес в пользу Гитлера. Тем не менее русские уверены, что они смогут продержаться. Это в высшей степени оптимистические перспективы, и моральное состояние народов Советского Союза не подорвано. Но главная опасность заключается в том, что Гитлер попытается в этом году нанести Советскому Союзу мощный, сокрушительный удар. Если же Великобритания и Соединенные Штаты в качестве союзников создадут новый фронт и отвлекут с советской фронта сорок германский дивизий, соотношение сил настолько изменится, что Советский Союз либо сможет разбить Гитлера в этом же году, либо обеспечит в конечном счете его полное поражение.

Поэтому я хочу спросить: могут ли союзники предпринять такие наступательные действия, которые отвлекут сорок германских дивизий? Если ответ будет утвердительный, исход войны решится в 1942 году. Если же он будет отрицательный, Советский Союз будет продолжать борьбу в одиночестве, делая все, что в его силах, и никто не вправе ожидать от него чего-либо большего. В случае создания второго фронта англичанам придется нести главную тяжесть операций, но роль Соединенных Штатов и влияние этой стороны на вопросы стратегии будут внушительны.

Я не преуменьшаю риска, сопряженного с открытием второго фронта этим летом, но от имени своего правительства хочу услышать откровенный ответ на вопрос о том, какую позицию занимают США в вопросе о втором фронте и готовы ли союзники открыть такой фронт. Прошу дать прямой ответ.

В 1943 году трудности будут несколько не меньшими. В настоящее время шансов на успех фактически больше, поскольку русские прочно держат фронт. Если вы отложите ваше решение, вам в конечном счете придется нести на своих плечах все бремя войны, а если Гитлер станет безраздельным хозяином континента, то в следующем году положение будет, несомненно, серьезнее, чем в этом.

Выслушав Молотова, Рузвельт обратился к генералу Маршаллу:

— Достаточно ли ясно вам положение дел, и можно ли сказать Сталину, что США готовят второй фронт?

— Да, — ответил Маршалл.

— Прошу вас, господин Молотов, — сказал президент, — уведомить господина Сталина, что США надеются открыть второй фронт в этом году.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться такого положения, — добавил генерал Маршалл, — при котором открытие второго фронта станет возможным. Как военный, я понимаю всю серьезность нынешнего положения и необходимость быстрых действий. Меня весьма радует сопротивление, оказываемое русскими, и ваше контрнаступление на Южном фронте.

— Прошу вас, адмирал Кинг, изложить свою точку зрения, — сказал президент.

— Доставка транспортов в Мурманск и Архангельск для нас серьезная проблема, — сказал Кинг, — ввиду наличия в Нарвике и Тронхейме крупных германских кораблей, а также авиабаз в Северной Норвегии. Германские разведывательные самолеты следуют за американским транспортом от Исландии до Мурманска и, когда транспорт приближается к цели, наводят на него подводные лодки и корабли. Было бы полезно, если бы советская авиация оказала американским конвоям дополнительную помощь своими налетами на германские авиабазы и базы подводных лодок в Нарвике и Киркенесе.

— Господин Молотов, — заметил Рузвельт, — в Хартуме у нас есть 24 тяжелых современных бомбардировщика, и как посмотрит на это Советский Союз, если они вылетят на север для бомбардировки румынских нефтепромыслов, а затем приземлятся где-нибудь в районе Ростова? Передавать эти бомбардировщики вместе с теми 200 самолетами, которые мы вам поставляем ежемесячно, думаю, нецелесообразно по той единственной причине, что для обучения экипажа бомбардировщика требуется два месяца.

— Считаю это предложение вполне приемлемым, — сказал Молотов, — и наше правительство ничего не имело бы против соглашения, по которому советские бомбардировщики могли бы также совершать челночные операции на Германию при условии заправки горючим и пополнения запаса боеприпасов в Англии.

Говорили о поставке американских истребителей из Аляски в Сибирь и дальше на запад...

Беседа прервалась на время завтрака, на котором кроме Рузвельта и Молотова присутствовали вице-президент Уоллес, государственный секретарь Хэлл, Маршалл, Кинг, Форрестол, сенатор Конэлли, член конгресса Блум, генерал Бирнс, Гопкинс, Кросс, морской адъютант президента, переводчик Павлов, советские военный и морской атташе и посол Литвинов, которого Молотов не приглашал на официальные беседы.

За завтраком разговоры были иными. Президент рассказал Молотову, что приобрел новый портрет Линкольна, и напомнил, как близка была линия конфедератов к Вашингтону в начале гражданской войны, но тем не менее северяне победили.

— Так будет и теперь на русском фронте! — воскликнул Рузвельт. — Господин Молотов, вы позже всех присутствующих виделись и беседовали с Гитлером и, может быть, согласитесь поделиться впечатлениями об этом человеке?

Молотов задумался. Потом сказал:

— В конце концов, договориться можно почти со всеми. Гитлер, чувствовалось, старался произвести на меня хорошее впечатление. Но мне еще ни разу не приходилось иметь дело с более неприятными людьми, чем Гитлер и Риббентроп.

— Говорят, Риббентроп раньше занимался торговлей шампанским? — спросил президент.

— Не сомневаюсь, что там он был больше на своем месте, чем на дипломатическом поприще, — сухо заметил Молотов.

Узнав, что сенатор Конэрли является председателем сенатской комиссии по иностранным делам, Молотов спросил его, какую дипломатическую проблему из стоящих сейчас перед Соединенными Штатами он считает самой серьезной.

— Виши, — ответил Конэрли.

— Правительство Виши является насквозь фальшивым и представляет собой досадную помеху, — заметил Молотов.

К концу завтрака президент завладел разговором и сказал:

— Я рад приветствовать выдающегося гостя, родина которого внесла столь важный вклад в успешное ведение войны. Наши беседы носят дружественный и откровенный характер и, надеюсь, приведут к благотворным результатам. О наших переговорах в печати не должно быть никаких сведений, поскольку сообщение о визите Молотова будет опубликовано только после его благополучного возвращения в Москву.

В самом конце трапезы заговорили о Румынии.

— Мы не объявили войну Румынии, потому что считали это излишним, — сказал президент.

— Это, может быть, и так, — отреагировал Молотов, — но Румыния сражается против Советского Союза и доставляет нам известные неприятности своей помощью нацистам.

После этого президент спросил сенатора Конэлли и конгрессмена Блума о возможной позиции возглавляемых ими комиссий в вопросе об официальном объявлении войны Румынии. Конэлли и Блум высказались, что возражений не будет.

— Тогда давайте в течение недели примем соответствующее решение, — закруглил завтрак президент.

Во время дальнейших переговоров Рузвельт вручил Молотову спецификацию на 8 миллионов тонн материалов, которые США обязывались изготовить по ленд-лизу в течение года, начиная с 1 июля 1942 года. Однако президент сказал, что из этого количества американцы смогут перевезти только 4 миллиона 100 тысяч тонн.

Помимо поставки сырья и товаров по ленд-лизу, советский представитель настаивал на следующем:

1) посылка одного транспорта в месяц из американских портов в Архангельск под эскортом американских военных кораблей;

2) ежемесячная поставка 50 бомбардировщиков Б-25 путем переездки их через Африку с передачей в Тегеран или Басре;

3) доставка 150 бомбардировщиков Бостон-3 в порты Персидского залива и сборка их в этих портах;

4) ежемесячная доставка в порты Персидского залива трех тысяч грузовых автомобилей и сборка их в этих портах.

Рузвельт пообещал выполнить эту просьбу. Но он попросил Молотова изучить вопрос о сокращении поставок по ленд-лизу, что высвободило бы большое число судов, которые можно использовать для отправки в Англию, ускорив тем самым открытие второго фронта.

Молотов настаивал на поставке металла и железнодорожных материалов. Рузвельт, подчеркивая, что США приложат все силы для открытия второго фронта в этом, 1942 году, говорил, что для этого американцам крайне необходимо иметь как можно больше судов.

— Второй фронт будет крепче, если первый фронт будет стойко держаться, — парировал Молотов. — Но если Советский Союз сократит свои заявки и его фронт не выдержит, то тогда не нужно будет никакого второго фронта.

— Мы еще раз обсудим этот вопрос со своими помощниками, — сказал Рузвельт.

...Последняя беседа, носившая итоговый характер, состоялась в понедельник 1 июня в 10 часов 30 минут утра. Здесь присутствовали также Литвинов, Гопкинс и оба переводчика — Павлов и Кросс. Решались некоторые технические вопросы, связанные с транспортировкой грузов по ленд-лизу, говорили о театре военных действий на Тихом океане...

— Представительная группа известных деятелей Финляндии, — сказал Рузвельт, — обратилась к правительству США с просьбой выяснить возможность заключения сепаратного мира с Советским Союзом. Если правительство СССР согласно начать эти переговоры, то правительство Соединенных Штатов готово предложить для этой цели свои услуги.

— Может ли эта группа официально представлять Финляндию? — спросил советский нарком.

— Обещаю вам это уточнить.

— А мы со Сталиным обсудим этот вопрос, — сказал Молотов.

В конце беседы он поблагодарил президента за быстрое рассмотрение всех вопросов и оказанную помощь.

— Соединенные Штаты Америки могут быть уверены, — сказал Молотов, — что вооружение, доставленное в Советский Союз, будет эффективно использовано против немцев и что на Россию можно положиться в том, что она будет продолжать войну до полной победы.

...И американские, и советские дипломаты отмечали, что визит Молотова сыграл огромную роль не только в решении вопроса дальнейшей американской помощи по ленд-лизу, но и в установлении более дружеских отношений с союзниками, которые и привели в конце концов к открытию второго фронта, правда не в 1942-м, а на два года позже. Все понимали, что советский представитель ведет переговоры в тяжелейшее для СССР время, когда Красная Армия терпела неудачи на фронте. Дипломат Молотов вел переговоры твердо, мужественно и держался с высоким достоинством, подчеркивая престиж нашей страны в глазах всего мира...

Повторяю, этот визит был настолько засекречен, что даже сотрудники Белого дома, не говоря об аккредитованных корреспондентах, считали, что президент проводит переговоры с неким господином Брауном.

Один из американских дипломатов спросил нашего сотрудника посольства:

— Почему вы назвали своего министра иностранных дел «мистер Браун», по-английски — коричневый, а не «мистер Рэд» — красный, что было бы правильнее?

— Наверно, потому что фамилия Браун в Америке так же распространена, как Иванов в России, — ответил наш дипломат.

...Нынешние наши «демократы» сумели объединить эти два цвета в один — красно-коричневый. Но это так, к слову...

— Я считал нашей громадной победой мою поездку в 1942 году и ее результаты, — говорит Молотов, — потому что мы ведь знали, что они не могут пойти на это, а заставили их согласиться и подписать. Сталин давал еще указания, чтоб мы требовали от них оттянуть 30—40 дивизий на себя. И когда я к Рузвельту приехал и сказал, в душе подивился тому, что он ответил: «Законное, правильное требование». А сам он видел только доллары и думал, наверное: «И все равно вы к нам придете кланяться».

Рузвельт подписал и коммюнике об открытии второго фронта в Европе, и договор, и соглашение о поставках по ленд-лизу — убежденный, что Черчилль в Лондоне сделал то же самое...

Американский президент тепло принимал второе лицо Советского государства. Подарил свой портрет с надписью: *«Моему другу Вячеславу Молотову от Франклина Рузвельта. Май 30, 1942»*.

По традиции Рузвельт устраивал приемы для всех летчиков, впервые перелетевших через Атлантический океан. Был приглашен и советский экипаж.

«Я сразу обратил внимание на то, что президент Рузвельт был одет довольно скромно, — пишет в своих воспоминаниях Э. К. Пусэп. — Белоснежная рубашка под серой курткой из грубого полотна, брюки из того

же материала. На ногах легкие матерчатые туфли. Его открытое лицо и приветливый взгляд выражали теплую сердечность».

Об этом мне говорил и Молотов, но для него, конечно, было важно другое:

— А Рузвельт мне все подписал, и я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю. Тут он удивился не на шутку...

Из Вашингтона Молотов по плану полета должен был возвращаться в Москву, но он приказал лететь в Лондон для возобновления переговоров. И когда Черчилль снова отказался подписывать коммюнике, Молотов показал ему подпись Рузвельта. Тут-то у него и выпала сигара изо рта... Он попросил сутки на раздумье.

— С моей точки зрения, Черчилль наиболее умный из них как империалист, — говорил мне Молотов. — Он чувствовал, что если мы разгромим немцев, то и от Англии понемногу полетят перья... Но и если Англия не будет нам помогать, то после разгрома Германии может остаться ни с чем.

И на другой день Черчилль подписал коммюнике. Правда, при этом вручил Молотову письмо, содержащее большее количество поправок и оговорок, по сути сводивших эту подпись на нет. Но советскому представителю это уже было не столь важно: он держал в руках три документа, подписанные Англией и Америкой.

— Заставили в одной упряжке бежать, — говорил он много лет спустя. — Иначе нам было бы тяжело.

— Черчилль пишет о вашей встрече в Лондоне, — говорю я Молотову: — «Лишь однажды я как будто добился от него естественной человеческой реакции. Это было весной 1942 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов, мы подписали англо-советский договор, и ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Под маской стал виден человек. Он ответил мне таким же крепким пожатием. Мы молча сжимали друг другу руки. Однако тогда мы

были прочно объединены, и речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть вместе...»

...Но подписанные документы — еще не все. Надо доставить их на родину. Англичане предложили не рисковать и обратный полет совершить через Африку. Молотов посоветовался с Пусэпом и не согласился на «африканский вариант».

Тогда Черчилль сказал советскому наркому, что немецкая разведка якобы пронюхала о том, что он находится в Лондоне, и сейчас возвращаться в Москву — самоубийство.

Молотов поступил так: из Лондона пошло указание в Москву напечатать в газетах сообщение о визитах и благополучном возвращении на родину советского наркома иностранных дел. После этого Молотов вылетел из Лондона и прежним, рискованным маршрутом 12 июня 1942 года вернулся в Москву, на центральный аэродром. Правда, под Рыбинском бомбардировщик был обстрелян и чуть не сбит по ошибке своим же истребителем — Пусэп еле от него отвязался. Виновника так и не нашли, да, видать, генерал Голованов и не очень-то его искал, потому что так удачно, ловко и везуче завершилась уникальнейшая миссия «мистера Брауна»...

Черчилль отправил Сталину послание:

«Мы были очень признательны Вам за то, что Вы пошли нам настолько навстречу относительно наших затруднений в связи с договором. Я уверен, что это вознаградится в сильной степени в США и что отныне наши три великие державы смогут идти вперед в ногу и сообща, что бы нас ни ожидало. Мне доставило большое удовольствие встретиться с господином Молотовым, и мы сделали многое в смысле сокращения преград между нашими двумя странами. Я очень рад; что он возвращается этим путем, ибо осталась еще благоприятная работа, которую необходимо выполнить... Так как мы взаимно обязались быть союзниками и друзьями в течение двадцати лет, то я, пользуясь случаем, посылаю Вам свои искренние добрые пожелания и даю Вам заверение относительно убеждения, которое я питаю в том, что победа будет за нами».

Сталин отвечал, оценивая:

«...договор, который обеспечит тесное сотрудничество наших стран после победоносного окончания войны. Я также надеюсь, что Ваша встреча с Молотовым при его возвращении из США даст возможность выполнить работу, оставшуюся еще невыполненной...»

Многоточие Сталина говорит о многом.

Черчиллю вторит Рузвельт:

«Я очень благодарю Вас за посылку господина Молотова с тем, чтобы повидать меня, и я с нетерпением ожидаю сообщения о его благополучном прибытии обратно в Советский Союз. Визит к нам был весьма удовлетворительным».

Сталин отвечает американскому президенту:

«Советское правительство, так же как и Вы, господин президент, считает, что результаты визита В. М. Молотова в США были вполне удовлетворительны.

В. В. Молотов сегодня вернулся в Москву».

Ответ Сталина опубликовала «Правда» рядом со сводками Совинформбюро, которые были для нас неселыми. Бои на подступах к Воронежу... А в вечернем сообщении 3 июля 1942 года говорилось:

«После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь.

На других участках фронта существенных изменений не произошло».

8 сентября 1942 года Черчилль выступил в палате общин с такой речью:

«Для России большое счастье, что в час ее страданий во главе ее стоит этот великий твердый полководец. Сталин является крупной и сильной личностью, соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходится жить. Он является человеком неистощимого мужества и силы воли, простым человеком, непосредственным и даже резким в разговоре, что я, как человек, выросший в палате общин, не могу не оценить, в особенности когда я могу в известной мере сказать это и о себе. Прежде всего Сталин является

человеком с тем спасительным чувством юмора, который имеет исключительное значение для всех людей и для всех наций и в особенности для великих людей и для великих вождей. Сталин произвел на меня также впечатление человека, обладающего глубокой хладнокровной мудростью с полным отсутствием иллюзий какого-либо рода. Я верю, что мне удалось дать ему почувствовать, что мы являемся хорошими и преданными товарищами в этой войне, но это докажут дела, а не слова.

Одно совершенно очевидно — это непоколебимая решимость России бороться с гитлеризмом до конца, до его окончательного разгрома. Сталин сказал мне, что русский народ в обычных условиях является по природе своей миролюбивым народом, но что дикие зверства, совершенные против этого народа, вызвали в нем такую ярость и возмущение, что его характер изменился».

Черчилль произнес эту речь вскоре после того, как он вернулся из Москвы, где встречался со Сталиным. Речь эта очень перекликается с другой его речью в палате общин, сказанной позже, в 1959 году, тоже о Сталине, когда того уже не будет в живых, и на родине его будут, мягко говоря, критиковать...

МАРШАЛ С ГРОЗНЫМ ИМЕНЕМ ГЕОРГИЙ

Не знаю, доживем ли мы до того времени, когда отучимся шарахаться из крайности в крайность. Боюсь, однако, что это может произойти лишь в том случае, если мы перестанем быть русскими — всякое может случиться. Есть у нас неистребимая черта, по которой совсем недавно, всего полвека назад, одержав невиданную дотоле победу над очередными поработителями, чуть ли не все заслуги в ее достижении приписали одному человеку — Сталину. Безусловно, он был величайшим государственным, политическим и военным деятелем и сумел вынести на своих плечах немыслимую тяжесть сражающейся державы. Он руководил воюющей страной, и страна победила. Однако вскоре после его смерти многие осмелели и с прежних лакированных трибун стали чернить его имя, провозглашая, что «победу одержал советский народ, руководимый Коммунистической партией». Сейчас те же самые ораторы уже и так не говорят, ибо как бы не стало ни советского народа, ни той партии, в которую истинные патриоты вступали ради единственной привилегии — попасть на фронт.

Но Победа все-таки состоялась, кто же ее добыл?

По теперешнему мнению наших невероятно свободных средств массовой информации, завоевал ее некий беззипитетный народ. Какой? Кем руководимый? Советский — стараются не говорить, о коммунистах-большевиках, если вспоминают, только в отрицательном смысле — как, скажем, в ленинградскую блокаду руководство чуть ли не пировало в Смольном... Сам Сталин вот уже несколько десятилетий вызывает под-

черкнутую ненависть тех, кто готовил нынешний развал нашего Отечества. По их мнению, внедряемое в сознание населения четыре десятилетия, победили не благодаря Сталину, а вопреки ему.

Но кем заменить Сталина? Ведь России всегда нужны символы, которые бы отвечали ее представлению о великой, могучей и героической личности. Таким символом сейчас делают маршала Жукова, хотя фигура этого воистину выдающегося полководца вовсе не нуждается в том, чтобы из нее что-то делали. Однако не первый год в статьях, книгах, телепередачах, кинофильмах, рассчитанных на обывателя, Жукова противопоставляют Сталину, окружают ореолом религиозной святости, нарочно забывая, что Маршал Советского Союза Г. К. Жуков прожил жизнь убежденным коммунистом, как прежде говорили, верным сыном Коммунистической партии, защитником Советской власти и в нескольких войнах, выпавших на его долю, славно потрудился не только за русскую землю, но и за великую державу — Союз Советских Социалистических Республик.

Скажу сразу: Георгий Константинович Жуков с детства непоколебимо стоит в ряду моих самых любимых героев, в которых я видел образец доблести и мужества, таких, как Суворов, Сталин, Чкалов...

В 1956 году, девятиклассник кишиневской школы, я написал стихи о Жукове «Любимый маршал» и послал ему к 60-летию юбилею, не очень надеясь, что письмо дойдет до такого большого человека, члена Политбюро, министра обороны. Недавно, почти сорок лет спустя, Мария Георгиевна Жукова среди бумаг отца нашла это стихотворение. Так что я не обманываю вас, уважаемый читатель, относительно своей давней привязанности, к тому же я имею право причислять себя к тем людям, которые чтут завет Петра Великого: «Кто знамени присягнул единойды, тот у оного до смерти стоять должен».

С годами интерес к личности Жукова не ослабевал, я узнал о нем много и таких, и эдаких фактов, достоверных и не очень, но суровый солдатский облик русского полководца не искажался в моем представлении, а обретал новые оттенки. Не смогла же никакая хула, огульная и даже документированная, очернить во мне монументального образа Сталина,

как не поник Суворов, громивший крестьянского вождя Пугачева, как не померк Чкалов, после того как я достоверно узнал, что основную тяжесть перелета Москва — Северный полюс — США взял на себя второй пилот экипажа, выдающийся летчик Георгий Байдуков...

Сейчас из Жукова делают символ, идола, ибо не знают, что же придумать для России в новое, смутное для нее время. Сам Георгий Константинович говорил, что великому народу нужны великие имена и идеи, за которыми он бы следовал.

Обратились к церкви, да что-то не очень получается. Стоят со свечками бывшие партийные чины и крестятся — хочется посмеяться и сказать им кое-что. Такие будут молиться кому угодно. Придумали, что Жуков всю войну возил с собой в машине иконку Казанской Божьей Матери. Я сказал об этом личному шоферу Георгия Константиновича А. Н. Бучину, и он искренне посмеялся... И вот Жукова провозглашают спасителем Отечества, долго возятся с памятником ему, наконец решают установить его на Манежной площади. Но делается это, сдастся мне, не в честь несомненных заслуг полководца, а потому, что сейчас на этом можно сыграть — так надо, так выгодно.

Жуков заслужил памятник в центре столицы. Думаю, что, когда уйдут из жизни последние обиженные Сталиным, будет в Москве памятник и тому, кто стоял во главе Победы, — Верховному Главнокомандующему. Стоит же на берегу Невы Медный Всадник, и его почему-то не сваливают с гранитной глыбы, хотя при нем, при Петре Великом, погиб каждый пятый житель Российской империи. Так что будет в Москве памятник ее защитнику, не бросившему свой пост, когда немцы рассматривали советскую столицу в бинокли; будет памятник легендарному командарму 16-й Рокоссовскому, показавшему немцам, как надо воевать; будет памятник Главному маршалу авиации Голованову, в самые трудные дни сумевшему добыть для спасения московского неба 500 самолетов. Заслужена почеть и, конечно, заслужил ее Жуков, но, право, смешно, когда неомонархисты ныне всерьез провозглашают его внука наследником российского престола. Почему бы тогда не внука Сталина? Ну, во-первых, потому что Сталин

не русский, хотя был более русским, чем иные наши теперешние руководители, а во-вторых... Во-вторых, потому что он был Сталин. Еще при жизни Молотова я предложил отрывок из своей книги о нем главному редактору журнала «Москва» М. Н. Алексееву, он ответил мне: «Давай подождем, когда народ поумнеет».

Судя по событиям последних лет, ждать придется долго. Однако обидно, когда доверчивый народ обманывают, искажая историю в угоду сегодняшнему безвременью. Правнук А. С. Пушкина Григорий Григорьевич Пушкин как-то сказал мне: «У нас в России никогда не было принято говорить правду». А Юрий Васильевич Бондарев, прекрасный прозаик и глубокий философ, заметил: «То, что ты пишешь, так и было, но народу нужна такая правда, в которую он хотел бы поверить». И все-таки я буду говорить правду, ибо слышал ее от людей прямых и порой жестоких, а они, как я заметил, почему-то меньше врут, чем люди добренькие. И попытаюсь рассказать то, что знаю, как говорится, из первых рук, — уверен, что не все у нас столь ленивы и нелюбопытны, чтобы оставаться равнодушными к своей истории.

Среди ярчайших людей, подаренных мне жизнью, — да я и сам всегда стремился узнать таких, — редкий день не вспоминаю Александра Евгеньевича Голованова, великолепного летчика, нижегородского героя-богатыря, Главного маршала авиации. На известном снимке, изображающем Сталина среди военачальников, он сидит в первом ряду. А было так: как самый длинный, он встал сзади, но Сталин спросил: «А где Голованов?» — подошел и принес стул для него. Вот так.

Я уже писал, что в среде маршалов таковыми признавались те, кто получил это звание на полях сражений, а Голованов стал маршалом в 39 лет за Курскую битву.

В феврале 1968 года журнал «Смена» обратился к Маршалам Советского Союза И. Х. Баграмяну, Г. К. Жукову и К. К. Рокоссовскому с вопросом: «Как началась ваша военная служба и когда вы стали маршалом?»

И. Х. Баграмян ответил так: «Я думаю, что от солдата до маршала можно прийти и в мирное время. Однако истинная цена полководца по-настоящему рас-

крывается лишь на войне. Вот почему во время войны можно значительно быстрее и более заслуженно пройти путь от солдата до маршала». Это высказывание особенно ценно потому, что маршалское звание было присвоено Ивану Христофоровичу уже в мирное время, хотя в войну он занимал «маршалскую должность» командующего фронтом.

Скромнейший К. К. Рокоссовский, ставший маршалом в 1944 году за операцию «Багратион» — жемчужину военного искусства, которую изучают все военные академии мира, умолчал об этом и ответил, как всегда, интеллигентно: «Можно и в мирное время заслужить это высокое воинское звание, но его нужно действительно заслужить!.. Я верю, что у многих сегодняшних молодых офицеров есть возможности стать в будущем маршалами».

А вот ответ Г. К. Жукова: «Для получения маршалского звания совсем не обязательно военное время. Чтобы стать Маршалом Советского Союза, необходимо прежде всего быть достойным этого высшего воинского звания. Нужно много над собой работать, в совершенстве освоить марксизм-ленинизм, военную науку, отлично владеть оперативно-стратегическим искусством. Как известно, в мирное время у нас было присвоено ряду военачальников звание Маршала Советского Союза».

Не знаю, как вы, читатель, но в словах Георгия Константиновича я чувствую некоторую иронию, тем более что от А. Е. Голованова знаю, как очень хотел получить маршалское звание Н. С. Хрущев и как ему это не удалось.

Никите Сергеевичу просто не повезло. Надо заметить, что для присвоения маршалского звания было необходимо согласие маршалитета, то есть Маршалов Советского Союза и Главных маршалов родов войск. И тогда один из приближенных к Хрущеву маршалов отправился с опросным листом к каждому из своих коллег, и вышло так, как большинство из них отказались поставить свою подпись. Голованов, например, ответил резко, Рокоссовский — мягко, но тоже не подписал.

— Я не знаю за Никитой Сергеевичем никаких военных доблестей, — повертел в руках бумагу Рокоссовский.

А с Жуковым было так.

— Доложите Георгию Константиновичу, что при-
был маршал (такой-то)! — сказал приехавший с оп-
росным листом встретившему его офицеру на даче
Жукова. Тот удалился и вскоре вернулся, отрапор-
товал:

— Четырежды Герой Советского Союза Мар-
шал Советского Союза Георгий Константинович Жу-
ков приказал передать, что он не знает маршала (та-
кого-то).

Маршал-то приехал послевоенный, хрущевский,
«списочный», как говорил Голованов...

Да, были люди. Так и не стал Первый секретарь
ЦК партии и глава правительства Н. С. Хрущев Мар-
шалом Советского Союза. Граждане с хорошей па-
мятью и неравнодушные, жившие в 60-е годы, помнят
снимок в центральных газетах: Н. С. Хрущев в форме
генерал-лейтенанта сидит в президиуме среди марша-
лов...

А вот Л. И. Брежневу повезло: не было в живых
уже ни Жукова, ни Рокоссовского, ни Голованова,
ни других славных маршалов, получивших это звание
на поле брани...

Вижу, как в морозный день 2 декабря 1971 года еду
в электричке с А. Е. Головановым на дачу к В. М. Мо-
лотову. В эти дни отмечали 30-летие Московской бит-
вы, исполнилось 75 лет Г. К. Жукову и в «Комсомоль-
ской правде» опубликована беседа журналиста В. Пес-
кова с Георгием Константиновичем.

На вопрос корреспондента, не было ли опасным
держать штаб Западного фронта в Перхушкове, в не-
посредственной близости от передовой, Жуков отве-
чает:

«Риск был. Ставка мне говорила об этом. Да и сам
я разве не понимал? Но я хорошо понимал и другое:
оттяни штаб фронта, вслед за ним оттянутся штабы
армейские, дивизионные. А этого допустить было
нельзя. Обстановка была такой, что командование
должно было чувствовать каждый нерв ожесточенней-
шего сражения, мгновенно реагировать на малейшие
изменения обстановки».

Я вслух прочитал это Голованову. Александр Ев-
геньевич взял у меня «Комсомолку», надел очки, пере-
читал сам и бросил газету на пустующую нелитератур-

деревянную лавку электрички. «Это было не так! — резко сказал он. — И я убежден, что, если б я сейчас об этом спросил Жукова, он бы ответил, что корреспондент его неправильно понял или что-нибудь еще.

Через несколько лет, 1 февраля 1975 года, я вновь спросил у Голованова, ставил ли Жуков вопрос о сдаче Москвы в 1941 году. Накануне показывали по телевидению кинодокументы о Жукове, где он отвечает на вопрос К. Симонова: «Почему штаб Западного фронта находился так близко от немцев, в Перхушкове?» Жуков сказал, что, если бы перенесли штаб к Москве, это подорвало бы в войсках уверенность в победе.

Голованов сказал так (привожу запись из своего дневника):

— Жуков написал, что 6 октября 1941 года Сталин у него спрашивал, отстоим ли Москву, и Жуков твердо ответил: «Отстоим!» А ведь было так, что он прислал генерала Соколовского к Василевскому (Александр Михайлович это должен помнить), чтобы тот в Генштабе принял узел связи для Западного фронта. Василевский с недоумением позвонил об этом Сталину, и тот дал нагоняй Жукову. Жуков предлагал сдать Москву, и так оно и было бы, если бы не Сталин.

— Но это надо подтвердить документально, — сказал я.

— Как подтвердишь? — ответил Голованов. — Большинство документов, показывающих истинную роль Сталина в войне, сожгли при Хрущеве. Так были уничтожены три тома моей переписки со Сталиным. Умрет Василевский, умрет Голованов, умрет Штеменко, и никто не узнает истинную правду. А ведь этот факт несколько не принижает роли Жукова, а показывает, сколько было сомнений и какими усилиями советского народа была достигнута победа под Москвой!

Но и сравнивать в этом деле Жукова с Кутузовым тоже нельзя, ибо сдача Москвы в 1941 году значила для нас куда больше, чем в 1812-м, когда она не была столицей. Жуков мог не знать того, что знал Сталин и что стало всем нам известно значительно позже: с падением Москвы против нас на востоке выступала Япония, и воевать в то время сразу на два фронта...

Рассказанное Головановым подтверждается выступлением перед читателями генерала армии С. М. Штеменко. Вот отрывок из стенограммы:

«Командный пункт Жукова в период угрожающего положения находился ближе к линии обороны. Жуков обратился к Сталину с просьбой о разрешении перевода своего командного пункта подальше от линии обороны, к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдет к Белорусскому вокзалу, то он займет его место».

Я согласен с Головановым, что приведенные эпизоды не принимают роли Жукова в Московской битве, но дополняют общую картину критической обстановки, когда решалась судьба человечества, и показывают Сталина.

— Кто имеет право считать себя полководцем? — рассуждал Голованов. — Наверное, тот, кто побеждает врага не числом, а умением, как говорил Суворов, и командует крупными соединениями войск — от армии и выше. Но иметь жезл маршала в руках — еще не значит быть полководцем. Во время войны было немало командующих армиями и фронтами, и многие выросли в истинных полководцев. Были и выдающиеся...

...Дорогой Александр Евгеньевич, я пишу эти строки и снова вижу вас, как вы мне это говорите. Мы сидим за столом на веранде, а вы что-нибудь крутите в руках и, начиная отвечать на мой вопрос, говорите:

— Я тебе скажу следующее дело...

С тех пор прошло столько лет, я встречался со знающими людьми, прочитал много книжек, понимаю, что мнение ваше субъективно, но это мнение личности. Как бы мне хотелось сейчас, в более зрелом возрасте поговорить с вами! Однажды вы сказали о Сталине: «Сколько раз я с ним спорил, а ведь он был прав, а не я! Я тогда был мальчишкой, но мне бы сейчас с ним поговорить...»

А я жалею, что мало видел Жукова и мало говорил с ним. Недавно мне прокрутили одну из магнитофонных записей, где Георгия Константиновича просят назвать несколько имен наиболее крупных полководцев Великой Отечественной войны.

— Наших? — спрашивает Жуков.

— Наших.

— Ну это вы мне трудную задачу ставите. Кого-нибудь забуду... Попробуй Конева не назови — он ведь тоже себя считает крупным полководцем!

Это тоже Жуков.

— Жуков — характерный представитель русского народа, — говорил Голованов. — Он стал выдающимся полководцем, не имея ни общего, ни военного образования. Два класса городского училища — вот все его образование, — смеялся Александр Евгеньевич. — Да еще, он мне сам говорил, в детстве покупал дешевые выпуски Ната Пинкертон и Шерлока Холмса. Все дальнейшие курсы по усовершенствованию не дают никакого фундаментального образования. Все, что имел Георгий Константинович, — это голову на плечах. Как же богата Русь самородками!

Познакомились они еще на Халхин-Голе, где Жуков разгромил японских самураев. Великую Отечественную генерал армии Жуков начал в должности начальника Генерального штаба. Голованов считал, что истинное его призвание — командовать войсками.

— Жукова я считаю самородком в военном деле, — продолжал Голованов. — Это, безусловно, великий полководец, хорошо разбирающийся в оперативно-тактических вопросах. В стратегическом отношении он был слабее, так как вопросами ведения войны в масштабе государства не занимался. В политическом отношении был безграмотен, да я и не помню, чтобы Сталин обсуждал с ним политические аспекты. Но что касается оперативно-тактических вопросов, здесь у Жукова была очень сильная хватка.

«Первое, что стало известно, — пишет Голованов, — это его деятельность под Ленинградом. Именно там проявились его воля и решительность. Это он с помощью Ставки и партийной организации Ленинграда остановил отход наших войск перед превосходящими силами противника. Проведенные им мероприятия требовали именно решительности, именно воли для их осуществления. Война — это не игра, она нередко требует чрезвычайных действий, и не каждый способен на них пойти».

Голованов не пишет о том, какие конкретно мероприятия провел Жуков в Ленинграде. А вот что рассказывал мне Александр Евгеньевич:

— Не зря Сталин послал его в Ленинград вместо Ворошилова, и он, применив там силу, справился! Ведь он расстреливал там целые отступавшие наши батальоны! Он, как Ворошилов, не бегал с пистолетом в руке, не водил сам бойцов в атаку, а поставил пулеметный заслон — и по отступавшим, по своим! Но скажу, что на его месте я точно так же поступил бы, коли решается судьба страны.

«Короткое пребывание Жукова в Ленинграде, — пишет Голованов, — привело к тому, что фронт был стабилизирован. Сталин отозвал Жукова в Москву и назначил командующим Западным фронтом в один из самых опасных, самых напряженных месяцев войны. Западный фронт был самым ответственным фронтом, защищавшим Москву. Командуя этим фронтом, Жуков показал и полководческий талант, и волю, и твердость, и решительность.

Жуков не имеет прямого отношения к Сталинградской битве, и к битве на Курской дуге, и ко многим другим операциям. Как правило, он был в числе тех людей, с которыми Сталин советовался и к мнению которых прислушивался. Жуков бывал на многих фронтах и не однажды помогал этим фронтам, а когда требовала обстановка, то по указанию Ставки и руководил боевой деятельностью этих фронтов».

В моем дневнике есть запись от 19 января 1970 года. Голованов рассказывает, как осенью 1942 года Сталин послал его вместе с Маленковым и Жуковым представителями Ставки под Сталинград. Полетели, долго искали командующего фронтом А. И. Еременко. Наконец нашли его и члена Военного совета Н. С. Хрущева в канализационной трубе. Жуков приказал доложить обстановку.

— Провели артподготовку, — сказал Еременко, — начали наступление, взяли первую линию траншей, вторую...

— Где пленные? — спросил Жуков.

— Пленных расстреляли.

— Где документы пленных?

— Уничтожили.

— Врете! — сказал Жуков.

И он тогда решил осуществить одну из своих задумок: провести наступление с помощью мощных прожекторов.

— Однако операция не удалась, — вспоминал Голованов. — То, что получилось у Жукова в 1945-м под Берлином, не вышло в 1942-м под Сталинградом. Не было еще у нас нужного взаимодействия родов войск. Атака захлебнулась, мои летчики отбомбили не там, где надо, а один самолет чуть было бомбой в нас не угодил... Обстановка сложилась так, что и Жуков ничего не мог поделать. И он лег спать. Он всегда так поступал в подобных случаях — когда ничего не получалось.

В это время Хрущев подошел к Маленкову: «Что вы слушаете этого поповского сынка? Г... он, а не начальник Генштаба!» Под «поповским сынком» подразумевался А. М. Василевский, из-за которого, как полагал Н. С. Хрущев, и состоялась наша поездка под Сталинград.

Маленков увидел, что я стою рядом и все слышу, и отвел Хрущева в сторону. Тогда я еще не знал о дружбе троицы — Маленкова, Хрущева и Берии. Сам Никита Сергеевич, у которого голова всегда была полна идей, но, — добавляя свою неизменную присказку, улыбается Голованов, — я тебе скажу следующее дело: если вдуматься, одна глупей другой; так вот, сам он не решался лезть со своими военными предложениями к Сталину, а избрал для этой цели Василевского, которому, как член Политбюро, поручил докладывать Верховному. Однако Василевский не торопился, и Хрущев нажимал на него. Пришлось доложить. Сталин выслушал и удивился:

— Кто это предлагает?

— Хрущев, — ответил Василевский.

— А, тогда все понятно. Зачем вы его слушаете?

Когда мы прибыли в Москву и доложили Сталину о положении под Сталинградом и Верховный спросил, что необходимо сделать для победы, Маленков и Жуков высказали свои соображения. Дошла очередь до меня, и Сталин, видимо, думал, что я буду говорить об авиации, а я сказал:

— Для победы под Сталинградом необходимо немедленно снять Еременко и Хрущева (Ох, как через годы отзовется Голованову это предложение! — Ф. Ч.).

Сталин согласился и спросил:

— А кого назначим?

— Кандидатура командующего фронтом может быть только одна: Константин Константинович Рокоссовский.

— Согласен, — сказал Сталин.

...В книге Жукова назначение Рокоссовского объясняется не совсем так, говорится как бы о равноценности кандидатур Рокоссовского и Еременко. Помню, как Голованов звонил Георгию Константиновичу: «Как же ты мог в своей книге поставить на одну доску Рокоссовского и Еременко?» — «Кого, кого? — видимо, не разобрав последнюю фамилию, переспросил Жуков. — Этого дурака? Ты учти, Александр Евгеньевич, в моей книге на пятистах страницах замечания Главпура!»

Так командующим Сталинградским фронтом, переименованным в Донской, стал К. К. Рокоссовский, блестяще завершивший Сталинградскую битву окружением и разгромом крупнейшей немецкой группировки во главе с одним из самых признанных германских полководцев фельдмаршалом Паулюсом.

— Жуков — волевой, энергичный командир, — продолжал Голованов, — умеющий моментально оценить обстановку и принять правильное решение. Не останавливался ни перед чем для достижения победы. Отношения со многими военачальниками у него были сложными. В свое время он служил под началом у Рокоссовского, был у него командиром полка, и тот дал ему аттестацию, в которой вместе с положительными указал ряд отрицательных качеств, в том числе грубое отношение к подчиненным. После победы под Сталинградом Жуков напомнил Рокоссовскому об этой аттестации.

— А разве я не прав? — спросил Рокоссовский. — Ты такой и есть.

— Верно, прав, — согласился Жуков.

— Одно дело — полководческие качества Жукова, — говорил Голованов, — другое — его отношение к людям, к подчиненным. Если б он матом крыл, — это ладно, это обычным было на войне, а он старался унижить, раздавить человека. Помню, встретил он одного генерала: «Ты кто такой?» — Тот доложил. А он ему: «Ты мешок с дерьмом, а не генерал!»

Можно отлакировать портрет до палехской шкапулки, но чем сильнее личность, тем ярче она обяза-

тельно проявится такой, какой была, верь или не верь Голованову.

— Под Великими Луками, — продолжал Голованов, — из корпуса генерала Пернева (в более поздние годы написание его фамилии было: Пэрн. — Ф. Ч.) перешла к немцам рота эстонцев. Как Жуков его распекал! И предатель, и сволочь... Даже неудобно было рядом сидеть в блиндаже. Я вышел и увидел, как Пернев, красный, пулей вылетел из блиндажа. Вхожу к Жукову, тот стоит и хохочет: «Видал, как он выскочил от меня? Буром! Знаешь, теперь как воевать будет!»

Жукову ничего не стоило после разговора с генерал-лейтенантом сказать: «До свидания, полковник!»

Уже в 50-е годы, когда Жуков стал министром обороны, во время инспекции войск к нему обратился полковник с жалобой, почему всем офицерам выдают плащи бесплатно, а с полковников вычитают полную стоимость. Жуков тут же распорядился: «Выдать подполковнику бесплатно!» — лишив нарвавшегося полковника одной звездочки.

— Когда мы отмечали в своем кругу сталинградскую победу, — продолжал Голованов, — был провозглашен тост за Жукова. «Не стану я пить за него», — сказал один генерал. Главком ВВС Новиков бросился бить этого генерала, а я стал его защищать. Новиков потом донес об этом Жукову, причем в искаженном виде. А после войны, когда Новикова посадили, он из тюрьмы написал Сталину клязу на Жукова. Мол, Жуков не считает Сталина великим полководцем, заявляет, что он, Жуков, выиграл войну, а не Сталин... Письмо обсуждалось на заседании Политбюро в присутствии военачальников. Отношение многих из них к Жукову в то время было отрицательным. Выступавшие, в частности, говорили, что он стал изображать из себя Наполеона. «Наполеона? — возмутился Жуков. — Наполеон проиграл войну, а я ее выиграл!»

В то же время Жукова защищали, но он почувствовал отношение к себе многих военных и сам попросился в отставку с поста Главкома Сухопутных сил. «Все-таки у Жукова это положительная черта: поймаешь за руку — не будет вилять, во всем признается честно», — повторял Голованов.

Георгий Константинович стал командовать Одесским военным округом, но тучи не рассеялись над ним. «Этим делом» руководили Абакумов и Берия, — пишет Жуков позже, но опубликовать при жизни не сможет. — Их усилия сводились к тому, чтобы арестовать меня. Но Сталин не верил, что я пытаюсь организовать военный заговор, и не давал согласия на мой арест».

(Как потом рассказывал Хрущев, Сталин якобы говорил Берии: «Не верю никому, чтобы Жуков мог пойти на это дело. Я его хорошо знаю. Он человек прямолинейный, резкий и может в глаза любому сказать неприятность, но против ЦК он не пойдет».)

«И Сталин не дал арестовать меня, — пишет Жуков. — А когда арестовали самого Абакумова, то выяснилось, что он умышленно затеял всю эту историю, так же как он творил их в мрачные 1937—1939 годы.

Абакумова расстреляли, а меня вновь на XIX съезде партии Сталин лично рекомендовал ввести в состав ЦК КПСС.

За все это неблагоприятное время Сталин нигде не сказал про меня ни одного плохого слова. И я был, конечно, благодарен ему за такую объективность».

— Я считаю, что Жукова снимали правильно и при Сталине, и при Хрущеве, — говорил мне Голованов. — Он не создан руководить армией в мирное время и принес немало вреда. Война — другое дело. А в мирное время к нему надо было отнестись с уважением и дать возможность отдохнуть.

Когда он был министром обороны при Хрущеве, стал окружать себя подхалимами, а людей, открыто говоривших ему о его недостатках, просто сметал.

Сравнивать его с Суворовым или Кутузовым нельзя. Те были политиками, а с Жукова этого и требовать невозможно — всего два класса образования! Он пишет в своей книге, что ему особенно трудно давался «Капитал» Маркса. И то, что его сняли с министра обороны, было и своевременным, и справедливо, ибо, пользуясь своим авторитетом в народе, он бы таких дров наломал! Он бы все Политбюро смел! А когда хотели снять Хрущева, проявил близорукость, не помог Молотову, а потом кусал локти, каялся...

Помню, как отзывался В. М. Молотов:

— Жуков — наиболее крупный наш военный,

а в политике у него ничего бы не вышло, хоть он и рвался.

Думаю, что Молотов сказал так еще и потому, что Жуков во время выступления «антипартийной группы» в 1957 году поддержал Хрущева, а не Молотова, что и определило победу Никиты Сергеевича — в значительной мере. Однако, когда через несколько месяцев Хрущев отправил в отставку и Жукова, Георгий Константинович не мог слышать его имени.

А. Е. Голованов рассказывал:

— Когда Жуков прилетел в Москву, не зная, что уже снят Хрущевым, его встретила на аэродроме не обычная свита, а порученец, сообщивший об освобождении с поста министра обороны.

— А кого назначили? — спросил Жуков.

— Малиновского, товарищ маршал.

— Ну, это еще ничего, — сказал Жуков, — а то я подумал — Фурцеву.

Это тоже Жуков.

Когда его проводили на пенсию, Голованов первый приехал к нему, чему тот очень удивился.

— Знал бы ты, Александр Евгеньевич, сколько я тебе зла сделал! За Берлинскую операцию из списка Героев вычеркнул... Прожил я жизнь до седых волос, а так и не научился разбираться в людях: кого возвышал, оказались подхалимами и ничтожествами, с кого взыскивал — настоящими людьми. Не боишься, что тебя заберут? А то ко мне два дня никто не звонит, раньше на брюхе ползали...

Сам Голованов пишет вот что: «Я был, пожалуй, единственный из маршалов, который посетил его сразу после освобождения от должности министра обороны, хотя сложившиеся отношения между нами, а более правильно, его отношение лично ко мне, были не лучшими. Своим посещением я хотел показать, что мое уважение к его военному таланту, к его воле, твердости и решительности остаются у меня, несмотря на его личное положение, независимо от того, является ли он министром обороны или просто гражданином Советского Союза».

Маршалы вспоминали минувшие дни.

— Помнишь, — обратился Жуков к Голованову, — как мы летали с тобой? И как нас в деревне чуть не прихлопнули?

Был такой случай. Как-то на фронте Жуков и Голованов жили в одной избе. Над деревней появился одиночный немецкий самолет, тихонечко подкрался, сбросил одну-единственную бомбочку точно на избу и удалился. К счастью, в этот момент оба полководца были в баньке на огороде. Взрывной волной их сильно ушибло, но обошлось. А могло бы как подфартить немцам...

Помню, как Жуков прислал Голованову свою книгу и потом позвонил по телефону:

— Я ведь в этой книге фотографии не всех маршалов поместил! А мы с тобой рядом стоим. Где ты такие сапожищи достал, Александр Евгеньевич?

— Жуков в последнее время заметно переменялся, — говорил мне Голованов в 1968 году, — стал человечнее. Сейчас он очень болен. Узнал, что у жены рак, и его тут же, в больнице хватил инсульт. Разговаривает с трудом, возят его в коляске. А когда был здоров, говорил: «Мы с Галиной Александровной думали, что у нас много денег, а оказалось, ничего нет. Пенсия 400 рублей, из них первой жене посылаю 200 — ей-то какое дело, что я уже не министр? Попросил солдата сдать мой баян в «комиссионку», принес 500 рублей. Я бы мог, конечно, ездить на трамвае, но ведь я одиозная фигура, меня будут снимать для иностранных журналов!»

Подумать только — Жукову было жить не на что! Деньги появились, только когда вышла его книга «Воспоминания и размышления», но эти деньги уже ушли на врачей... Такова Россия.

«Вклад Георгия Константиновича в Великой Отечественной войне велик, — пишет Голованов. — Нужно сказать, что И. В. Сталин высоко ценил военные способности Жукова, и я думаю, что нет такого второго человека, который получил бы столько наград и был так отмечен, как он. Что касается отношений Верховного с Георгием Константиновичем, то эти отношения я бы назвал сложными. Имел Верховный претензии и по стилю работы Жукова, которые, не стесняясь, ему и высказывал. Однако И. В. Сталин никогда не отождествлял личных отношений с деловыми, и это видно хотя бы по всем тем наградам и отличиям, которые получены Жуковым. В книге авиаконструктора Яковлева говорится, что Сталин любил Жукова, это, к сожалению, действительности не соответствует. Стиль

общения с людьми после ухода из жизни И. В. Сталина у Георгия Константиновича, к сожалению, не изменился, я бы сказал, он даже обострился, что и привело к тому, что ему пришлось оставить работу...

Хотя бы одним примером хочу я показать его военные дарования, его способности предвидения. При обсуждении Восточно-Прусской операции А. М. Василевский весьма оптимистично докладывал ее возможное проведение. Когда Верховный поинтересовался мнением Жукова, то последний сказал, что он полагает, что пройдут многие недели, а может быть, и месяцы, прежде чем мы овладеем Восточной Пруссией. Дальнейший ход событий показал, как оказался прав Георгий Константинович и каких усилий стоило нам проведение этой операции».

Что касается отношений Сталина и Жукова, Голованов приводил такой эпизод:

«Однажды Г. К. Жуков, будучи командующим Западным фронтом, приехал с докладом в Ставку. Были разложены карты, начался доклад. Сталин, как правило, никогда не прерывал говорящего. По окончании доклада он указал пальцем место на карте и спросил:

— А это что такое?

Георгий Константинович нагнулся над картой и, слегка покраснев, ответил:

— Офицер, наносивший обстановку, неточно провел здесь линию обороны. Она проходит тут. — И показал точное расположение переднего края (на карте линия обороны частично проходила по болоту).

— Желательно, чтобы сюда приезжали с точными данными, — заметил Сталин.

Для каждого из нас это был предметный урок. Вот и повоюй тут «по глобусу».

...Однажды приехал с докладом в Кремль и увидел у Сталина два новых портрета, написанных красками. Это были портреты русских полководцев Суворова и Кутузова. Почему именно эти портреты появились в кабинете Сталина? Ведь были же на Руси и другие, не менее известные полководцы, спасшие ее в прямом смысле от порабощения, такие как Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский! Не раз после появления этих портретов возникали в присутствии Верховного разговоры о Суворове и Кутузове.

— Нравятся? — спросил меня Сталин.

— Хорошие портреты.

— А кто больше нравится?

— Мне ближе Суворов.

— А Кутузов? Он ведь не только полководец, но и дипломат, мудрый в решениях и осторожный в действиях.

— Да, вы, пожалуй, правы, товарищ Сталин.

— А почему ты со мной соглашаешься? Суворов — 20 походов, 80 сражений, ни одного поражения! Умение быстро оценить обстановку, принять решение, в котором никогда не ошибался, а главное, солдаты шли за ним в огонь и воду, верили и всегда побеждали!

Мне ни разу не довелось слышать личного мнения самого Верховного, кому же из них он отдает предпочтение. За все годы общения с ним это был единственный случай, когда на заданный вопрос я не получил от Сталина конкретного, прямого ответа.

И все-таки однажды, когда снова зашел разговор о Суворове и Кутузове, я был свидетелем того, как Сталин долго, молча прохаживался по кабинету, остановился и сказал: «Если бы можно было распоряжаться личными качествами людей, я бы сложил качества Василевского и Жукова вместе и поделил бы их между ними пополам».

«Года минули, страсти улеглись», и вот что сказали эти два военачальника о самом Сталине.

— Мы победили потому, что нас вел от победы к победе наш великий вождь и гениальный полководец Маршал Советского Союза — Сталин! — произнес Жуков на Параде Победы 24 июня 1945 года. Это парадная речь в духе того времени, но не таков Жуков, чтобы говорить то, что противоречило его натуре. Годы спустя он скажет, что мы победили, потому что у нас был хорошо подготовленный, высокоидеологизированный молодой солдат.

Но вот что напишет Жуков в своей книге: «И. В. Сталин владел вопросами фронтовых операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела... Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным Вер-

ховным Главкомандующим. Кроме того, в обещании операций, создании стратегических резервов, в организации производства боевой техники и вообще всего необходимого для фронта И. В. Сталин, прямо скажу, проявил себя выдающимся организатором. И будет несправедливо, если мы не отдадим ему за это должное».

А. В. Василевский написал так: «По моему глубокому убеждению, И. В. Сталин являлся самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования. Он успешно осуществлял руководство фронтами и был способен оказывать значительное влияние на руководящих политических и военных деятелей союзных стран... И. В. Сталин обладал не только огромным природным умом, но и удивительно большими познаниями... Он поднялся до вершин стратегического руководства... и все советское военное искусство... показало силу, творческий характер, было значительно выше, чем искусство хваленной на Западе немецко-фашистской школы».

В последние годы стала еще заметней тенденция сталкивания Жукова со Сталиным. Помню, как на вечере памяти Жукова в Центральном доме литераторов ораторы захлеб клеймили Сталина, восхваляли Жукова и давали весьма своевольную оценку их взаимоотношениям. Тогда к трибуне вышел маршал авиации С. И. Руденко и заявил: «Во время войны я неоднократно был свидетелем взаимоотношений Сталина и Жукова и могу сказать, что то, что мы сегодня видим на экране, не соответствует действительности (а в президиуме сидел актер М. Ульянов, исполнявший в кино роль Жукова. — Ф. Ч.). Никогда Жуков не позволял себе чуть ли не левой ногой открывать дверь к Сталину и так с ним разговаривать. Могу твердо заявить, что отношения их были полны взаимного уважения. Со стороны Верховного это были отношения к талантливому полководцу, со стороны Жукова, как и положено в армии, отношения младшего по должности к старшему. Это были отношения людей, знавших цену друг другу».

Мне кажется, что по характеру Жуков в чем-то был очень близок Сталину — твердостью, решительностью, жестокостью, смелостью, волей. Конечно, характеры их различались. Если в славянском харак-

тере заложены инертность и одновременно противодействие ей, то в восточном — интрига и ее расследование. С точки зрения русского человека, естественное для восточного характера коварство и желание столкнуть друг с другом тех, с кем приходится работать, кажется чудовищным, хотя иные русские ныне и в этом преуспели.

В. М. Молотов рассказывал:

— Мы с Жуковым практически в одно и то же время выполнили одну и ту же задачу, отодвигая войну: я подписал Пакт о ненападении с Германией, а Жуков на Дальнем Востоке дал отпор японским самураям.

Как появился Жуков на Халхин-Голе? Сталин сказал наркому Обороны С. К. Тимошенко:

— Мне нужен такой командир, чтоб он не просто разгромил японцев, а свирепо порвал их на куски, чтоб у них вообще отпала охота идти на Север. Пусть устремятся в Океанию!

Таким командиром стал комкор Жуков.

Сталкивать Жукова со Сталиным начали еще при жизни Жукова, и вот как ответил на это сам Георгий Константинович в 1970 году в журнале «Коммунист»:

«Мне выпала сомнительная честь стать объектом упражнений бойкого пера господина Солсбери, и он с легкостью необыкновенной сталкивает Жукова со Сталиным и другими советскими маршалами, с подчиненными и т.д., лишь бы обосновать свою концепцию решающей роли "сильной личности"».

Жуков не боялся «братъ на себя», и Голованов мне рассказывал, как удалось многих военных и невоенных вытащить из ГУЛАГа, убедив Сталина в их невиновности. Жуков один из немногих, кому должны быть благодарны эти люди.

Вспоминаю, как сам Жуков говорил о Сталине:

— К моему сожалению, мои личные отношения со Сталиным не сложились. Но он уважал мою военную голову, а я ценил его государственный разум.

И, подумав, добавил:

— Сталин меня снимал, понижал, но не унижал. Попробуй меня кто-нибудь при нем обидь — Сталин за меня голову оторвет! — И показал рукой, как бы это сделал Сталин.

Думается, Сталин не просто уважал и ценил Жукова. Верховный Главнокомандующий понимал, что Жуков для народа во многом будет олицетворять Победу, и способствовал укреплению его авторитета.

Капитуляцию принимал — Жуков.

Парад Победы принимал — Жуков.

Два ордена «Победа» — Жуков.

Три Золотые Звезды Героя у единственного из полководцев — Жуков.

Заместитель Верховного Главнокомандующего — Жуков.

Известно, как в одном из документов переусердствовали и перед подписью Жукова напечатали не «заместитель», а «первый заместитель Верховного Главнокомандующего».

— Я не первый, а единственный! — возразил Георгий Константинович.

Думается еще вот о чем. У каждого крупного политика был полководец, который не имел и не должен иметь поражений. У Гитлера, например, таковым был Роммель. И когда англичане начали бить его в Северной Африке, Гитлер отозвал его оттуда, ибо понимал, что в сложившейся ситуации и Роммель ничего не делает, а у нации должен быть образ непобедимого полководца. Так же Сталин отозвал Жукова из-под Ленинграда, когда не получалось полное снятие кольца блокады: Жуков не должен иметь поражений, его нельзя подставлять.

И сам Жуков признает, что из первой послевоенной опалы он был возвращен не кем-нибудь, а Сталиным.

Жуков есть Жуков, а Сталин есть Сталин, и история обязана воздать каждому по заслугам.

Сам Георгий Константинович очень хорошо сказал в одном из своих писем: «Время все рассудит и расставит по своим местам. Историю пытались обмануть и обхитрить — бесполезно. Надлежащую службу своему народу можно сослужить только правдой и борьбой за нее».

«Если можно так выразиться, — писал А. Е. Голованов, — знатоками психологии ведения войны каждый

в свое время и в своих масштабах были, как мне лично представляется, Александр Македонский, Александр Невский, Дмитрий Донской, в более позднее время — Суворов, Кутузов, Наполеон и в эпоху XX века, конечно, Сталин. Совершенно ясно, что пословица «один в поле не воин» относится к каждому из перечисленных выше. Все они имели достойных полководцев. У Наполеона это были маршалы Ней, Мюрат, начальник штаба Бертье и другие, у Кутузова — Багратион, Раевский, Давыдов и другие, у Сталина — Жуков, Рокоссовский, начальник Генерального штаба Шапошников, потом Василевский и многие другие. Однако как решение вопросов ведения войны, так и вся ответственность за них лежала и лежит на плечах основных руководителей. Как пример можно привести, что всю ответственность за внезапность неожиданного по времени нападения Гитлера на нашу страну и первоначальные результаты мы возлагаем на Сталина, ибо он стоял во главе государства, хотя к этому имеют прямое отношение и С. К. Тимошенко — как нарком обороны, и Г. К. Жуков — как начальник Генерального штаба, и ряд других товарищей. К ним, как известно, каких-то особых претензий не предъявляется. Точно так же правомерно говорить и о стратегических, имеющих мировое значение победах и относить их тоже на счет тех людей, которые стояли во главе тех или иных кампаний или войны в целом и отвечали за их исход. Это логика. Великую всемирно-историческую победу во второй мировой войне одержали страна, партия и армия, руководимые Сталиным».

Опровергнуть это, вероятно, не сможет ни один противник Сталина.

Это — для истории. А для нынешнего состояния нашего общества главный символ победы — Жуков.

...Жуков сидел в кресле в зеленом мундире. Четыре Звезды Героя, не вразброс, как три в сорок пятом, а ровно скрепленные, блестели над многочисленными планками. Я видел его перед собой живого, настоящего, похожего на портреты, но лицо казалось более благодушным, расслабленным. Он только что выступал перед аудиторией, говорил о Московской битве. Впрочем, о чем он говорил, для меня тогда не имело главного значения. Я смотрел на Жукова. Он выступал

довольно долго и в общем ничего нового не сказал — может, потому, что это было одно из первых его публичных выступлений после второй опалы, и он старался не говорить от себя, читая заранее подготовленный текст.

Это было 30 ноября 1966 года. Поэт Михаил Львов пригласил Марка Максимова, Василия Субботина и меня почитать стихи в Московском химико-технологическом институте. Сказал: придет маршал Жуков. Зал, вернее, амфитеатровая аудитория была заполнена студентами и преподавателями до отказа — казалось, на люстрах висели! Полуопального маршала встретили овацией.

Ректор, перечисляя боевые заслуги Жукова, называл его по имени-отчеству, а фамилию, кажется, так ни разу и не упомянул, и в конце, под новый гром аплодисментов сказал:

— Георгий Константинович принимал капитуляцию фашистской Германии в 1945 году!

После выступления Жукова поэты читали стихи. Когда дошла очередь до меня, я, волнуясь, прочитал стихотворение, где были такие строки:

За труд войны, мучительный и долгий,
и вам, служивый, — вы меня спасли,
и маршал с грозным именем Георгий,
спасибо вам до матушки-земли!

Потом, в комнате президиума, мы обступили Жукова. Рядом с ним была жена Галина Александровна, высокая, красивая женщина. Завязался разговор. Василий Субботин попросил маршала подписать ему благодарность, полученную за взятие Берлина. Жуков стал отказываться — на благодарности была уже подпись какого-то генерала: «Что же, я ниже этого генерала буду расписываться?»

Все-таки подписал — в верхнем углу.

Я подарил ему свою книжку стихов «Красные асы», а он расписался мне на листке бумаги, вырванном из тетради в клетку, но ошибся датой — написал вместо 30-го 29-XI-66. Махнул рукой — ладно.

Он сидел в кресле, положив ногу на ногу и добродушно улыбаясь. Лицо очень волевое, особенно подбородок. Потом я написал такое стихотворение:

Маршал Жуков — сплошные звезды,
нога на ногу в кресле сидел.
Только глянет — станет морозно,
хоть давненько он не у дел.
Я спросил его о Ленинграде,
понимаю, мол, почему
победил Ленинград в блокаде,
но не взяли как — не пойму.
Головы крутым поворотом
мне ответили голос и взгляд:
— Там ведь я командовал фронтом,
как могли они город взять?
И замолк. И такая штука,
как подумаешь, нечем крыть:
это ведь не кто-нибудь — Жуков.
Подбородок его не забыть.

И правда, подумалось, как они могли взять Ленинград?

Запомнился еще один ответ Жукова. У маршала спросили, почему он не очень лестно отзывался о моряках.

— А вы скажите, что в первую очередь делает Россия, когда начинается война? — вопросом на вопрос ответил Георгий Константинович.

— Публикует царский манифест или обращение к народу...

— Неверно.

— Объявляет мобилизацию по округам...

— Нет.

— А что?

— Топит флот!

И это тоже Жуков.

Любопытный рассказ я услышал от моряков о том, как на одном из наших флотов, ожидая приезда министра обороны Г. К. Жукова, стали готовить для него крейсер и, зная его своеобразное отношение к морякам, назначили командиром крейсера молодого капитана третьего ранга, сделав его как бы неким козлом отпущения. А чтоб смягчить ответственность и непредсказуемые последствия, срочно повысили его в звании до второго ранга.

Во время плавания Жуков сидел в командирской каюте, и капитан второго ранга старался не попадаться ему на глаза. Однако Жуков вызвал. И спросил:

— Ну, как дела, подполковник?

Тот что-то ответил.

— Водку пьешь? — спросил Жуков.

Командир крейсера задумался.

— Ладно, вижу, что пьешь. Доставай, что там у тебя есть.

Выпили. Жуков говорит:

— Что же это у тебя такой большой пароход, а ты всего подполковник? — И обратился к своему помощнику: — Запиши ему полковника! А то неудобно: такой большой пароход, а он подполковник...

Прекрасно ведь знал Георгий Константинович, что не пароход, а крейсер, не подполковник, а капитан второго ранга, но два раза нарочно повторил. И командира корабля грустно осенило: приказом министра обороны ему будет присвоено звание полковника, спишут на берег, и станет служить на суше.

— Товарищ министр обороны! (Жукову нравилось, когда его так называли: «Маршалов много, а министр обороны один!») Если вы решили повысить мне звание, то прошу записать не «полковник», а «капитан первого ранга!»

— Тоже мне, напридумывали всяких рангов — таких и званий не бывает! Ладно, пусть будет капитаном первого ранга, раз такой большой пароход.

...Я был знаком с фотокорреспондентом Виктором Теминым, который известен тем, что успевал побывать всюду, быстрее всех, раньше всех, дальше всех и выше всех. Никто толком не знал, где проходил перелет по «Сталинскому маршруту», принесший участникам звание Героев СССР № 9, 10 и 11, а Темин уже встречал чкаловский экипаж на острове УДД. И быстренько отснял для истории. Во время войны Темину удалось получить от беспощадного Мехлиса картонный пропуск, подписанный Сталиным, позволяющий беспрепятственно бывать на всех фронтах. «Потеряешь — повешу!» — коротко уточнил Мехлис, вручая всеильную картонку.

30 апреля 1945 года Темин полетел во второй кабине «кукурузника» По-2 снимать с воздуха поверженный Берлин. В этот день над рейхстагом взвилось красное Знамя Победы. И конечно, Темин уговорил летчика сделать круг над куполом, хотя пространство там отчаянно простреливалось. «Щелкнуть» Знамя Победы Темину удалось только один раз: как назло, кончилась пленка.

Темин перезарядил аппарат, но пойти на второй круг летчик наотрез отказался: его «рус-фанер» был весь в дырках, да и рисковать в последние часы войны, видать, не очень-то хотелось.

Вернулись на аэродром. Но не зря Темин считался везучим: последний кадр пленки получился! Быстренько напечатав снимок, Темин рванул к стоявшему наготове «Дугласу» Г. К. Жукова и, показав командиру корабля магическую картонку с автографом Сталина, произнес:

— У меня срочный пакет для Верховного Главнокомандующего!

И полетел на «Дугласе» в Москву. Но уже на полпути экипаж получил радиogramму: «Самолет вернуть, Темина расстрелять. Жуков».

Фотокорреспонденту ничего не оставалось, как броситься в ноги летчикам:

— Ребята, вы всегда оправдываетесь, почему не смогли вовремя вернуться,— свалите на погоду, еще на что-то, а иначе меня расстреляют!

Уговорил, и приземлились в Москве, на Центральном аэродроме, откуда до редакции «Правды» рукой подать, и Темин положил на стол редактору доставленный снимок. Главный тут же поставил его на первую полосу первомайского номера газеты, подвинув другие материалы, и ночью первый оттиск «Правды» лег на стол Верховному Главнокомандующему: Знамя Победы над Берлином! Фото Виктора Темина.

— Фотокорреспондента и летчика наградить! — сказал Сталин.

Виктор Темин вместо расстрела получил орден Красной Звезды. А через много лет он встретился с Жуковым, и на вопрос, что составляет главную гордость его жизни, Георгий Константинович ответил:

— Горжусь, что свою родную столицу защищал, а чужую, вражескую взял!

Мария Георгиевна Жукова хранит записные книжки отца. В одной из них есть такие строки:

«На войне нет абсолютно бесстрашных военачальников. Побеждает тот, кто пересилит в себе страх».

И еще: «Охотники до нашей земли все еще есть и, думаю, не переведутся».

Хотелось бы, чтобы наши правители, нынешние и грядущие, не забывали об этом предостережении мужественного защитника Земли Русской...

В центре Москвы, возле нынешнего ГУМа, мальчишкой он зарабатывал себе на пропитание да на дешевые книжки помощником скорняка и не знал, что через несколько десятилетий победителем-полководцем проскачет здесь, рядышком, по Красной площади.

...Когда на белом коне он выехал из Спасских ворот принимать Парад Победы, шел дождь, и никто не видел, что по лицу маршала текли слезы.

«Славься, великий наш русский народ!» — играл оркестр по указанию Сталина.

И все же кое-что из того, о чем говорилось в стихотворении, сбылось. За время после его опубликования заслуженно получили Золотые Звезды Героев города Тула и Смоленск. Да и сам памятник построен, и экспозиция в нем, убежден, будет меняться, ибо не только Верховный Главнокомандующий представлен там, мягко говоря, не по заслугам.

Был в советской истории Полководец с большой буквы, которого можно было и нужно показать куда ярче и благороднее, чем это сделано на Поклонной горе.

Тем более, его почему-то старались не выделять из списка полководцев.

Я много слышал о нем от разных высоких военных, в том числе от Александра Евгеньевича Голованова, перед плащом которого с погонями Главного маршала авиации останавливаются пришедшие поклониться на Поклонную гору...

Я люблю субъективные мнения.

«Полководцем номер один я все-таки считаю Рокоссовского, — не раз говорил мне Голованов. — Он выше и Жукова, и Василевского. Правда, с Василевским его трудно сравнивать, тот штабист, и, когда его поставили вместо погибшего Черняховского на 3-й Белорусский фронт, он ведь себя не проявил. И на Дальнем Востоке он был просто удобным человеком для Ставки.

Рокоссовскому принадлежит Белорусская операция, которую считаю образцом, жемчужиной военного искусства. Она сильнее Сталинграда. А ведь с идеей Рокоссовского ни Жуков, ни Василевский не соглашались, один Сталин поддержал, в литературе сейчас все смешали. А я-то хорошо помню, как было...»

Когда в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга о Рокоссовском, я попросил Голованова написать о ней рецензию. Она была напечатана в журнале «Молодая гвардия». Приведу отрывок:

«Если бы меня спросили, рядом с какими полководцами прошлого я поставил бы Рокоссовского, я бы, не задумываясь, ответил: рядом с Суворовым и Кутузовым. Полководческое дарование Рокоссовского было поистине уникальным, и оно ожидает еще своего исследователя. Редкие качества характера К. К. Рокоссовского настолько запоминались каждому, кто хоть

раз видел его или говорил с ним, что нередко занимают в воспоминаниях современников больше места, чем анализ полководческого искусства Константина Константиновича. Да и сам Рокоссовский не любил, когда говорили или писали о его полководческом таланте. Он предпочитал, чтобы писали не о нем, а о его соратниках. Этим, очевидно, можно объяснить, скажем, то, что танковое сражение возле Прохоровки современному читателю известно больше, чем тот факт, что решающий вклад в дело разгрома немцев на Курской дуге внес К. К. Рокоссовский».

Это напечатали. А вот отрывок из второй части головановских мемуаров. Я хочу, чтоб те, кому дорога слава Отечества, знали мнение одного из его славных военачальников о другом полководце:

«Пожалуй, это наиболее колоритная фигура из всех командующих фронтами, с которыми мне довелось сталкиваться во время Великой Отечественной войны. С первых же дней войны он стал проявлять свои незаурядные способности. Начав войну в Киевском особом военном округе в должности командира механизированного корпуса, он уже в скором времени стал командующим легендарной 16-й армией, прославившей себя в битве под Москвой...»

Рокоссовский под свою ответственность, не получив никаких приказов свыше, вскрыл пакет и стал действовать. Война не застала его врасплох. И впоследствии он поступал так, как подсказывала обстановка, добиваясь отмены порой не очень умных приказов. Это было чревато. Могут возразить: все дураки, а он умный? Не все, но много. За свою жизнь я убедился в изобильном численном превосходстве таких в нашем Отечестве.

«Огромным усилием всех офицеров, представляющих собой управление группы наших войск, в процессе непрерывных боев удалось в короткий срок организовать сначала сопротивление врагу, не допуская его продвижения на восток. А затем мы начали переходить в наступление, нанося немцам удары то на одном, то на другом участке и нередко добиваясь успеха», — пишет о 1941 году Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг» — на мой взгляд, одной из лучших в нашей мемуарной литературе.

Невольно отвлекаюсь от текста и вспоминаю рассказы тех, кто знал Рокоссовского по 1941 году.

Генерал-лейтенант авиации Н. А. Захаров, с которым я работал в ГосНИИ гражданской авиации в конце шестидесятых годов, поведал мне вот о чем. Когда началась война, Рокоссовский со своим корпусом попал в окружение. Надо сказать, что войну он встретил в отличие от многих наших командиров очень подготовленно и грамотно. Перешел в контрнаступление и, разбив превосходящие силы врага, послал в вышестоящий штаб депешу с просьбой разрешить ему взять Варшаву. Естественно, он не знал общего положения на театре военных действий, и ему совершенно справедливо было приказано отступать. Рокоссовский, отступая, вывел свой корпус в расположение наших войск с соотношением потерь 1:2,5 не в пользу немцев. И это летом 1941 года! Такова цена полководца.

Как известно, за отступление орденов не давали. К боевым наградам Рокоссовского, полученным за первую мировую и гражданскую войны, добавился орден Красного Знамени. И еще одна деталь. В штабе корпуса не все однозначно восприняли намерение командира наступать на Польшу: ведь только недавно он был еще «врагом народа» и сидел в тюрьме. Первым сбежал из штаба представитель НКВД — на всякий случай...

Во время следствия в 1938 году Рокоссовский ни на кого не показал, ни одного человека не арестовали по его «делу». За это особо уважали Константина Константиновича. В семье Рокоссовского мне говорили, что Сталин спрашивал Константина Константиновича:

— Там били?

— Били, товарищ Сталин.

— Сколько у нас еще людей «чего изволите?», — сказал Сталин.

Он просил прощения у Рокоссовского. Возможно, это был единственный подобный случай.

Вспоминая Сталина, Константин Константинович однажды сказал:

— А как бы вы отнеслись к своей матери, которая вас незаслуженно наказала?

Могут возразить: как мог он так сказать? Однако

умный был человек, понимал и знал, по крайней мере, не меньше нас с вами, уважаемый читатель.

Рокоссовский отсидел два с половиной года, причем был заключен в Шлиссельбургскую крепость, в так называемый «зверинец». «Дело» на него не получилось — пришлось выпустить.

Вспомнили о нем «наверху». Говорят, сам Сталин...

Когда в форме и при орденах вышел из тюрьмы на улицу, спохватился, что переночевать негде, и попросился на ночь в тюрьму...

Свою книгу «Солдатский долг» маршал начал такими словами: «Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи».

Верно, в Сочи. Но побывал там после того, как его выпустили на свободу.

Когда его судили, один из «тройки» встретился с ним взглядом и понял, что этот командир не может быть предателем, засомневался в «деле», стал искать в нем неясности и отправил на переследствие. Через полгода отправил еще раз... Мир не без добрых и порядочных людей. Судьба сохранила полководца для Отечества.

Рокоссовский первым перешел в контрнаступление под Москвой.

Его 16-я армия вписала свою строку в ратную славу России.

«Глубокий снежный покров и сильные морозы, — пишет К. К. Рокоссовский, — затрудняли нам применение маневра в сторону от дорог с целью отрезать пути отхода противнику. Так что немецким генералам, пожалуй, следует благодарить суровую зиму, которая способствовала их отходу от Москвы с меньшими потерями, а не ссылаться на то, что русская зима стала причиной их поражения».

В Москве, у Кремлевской стены, — могила солдата, у которого нет на камне имени и фамилии, но известно одно: он был рокоссовцем. Это они, воины 16-й армии, писали белой краской на танковых башнях: «Бойцы Рокоссовского, вперед!» Это они, те, кто дожил до наших дней, с гордыми слезами на глазах говорят: «Я служил у Кости Рокоссовского!»

Интерес к этой личности возник у меня давно, с детства. Я был в «Артеке», и мы, пионеры, посетили военный корабль из Народной Польши, и польские

моряки, указывая на портрет Рокоссовского, гордились, что такой выдающийся «маршал», как они говорили, сейчас их министр обороны.

В студенческие годы я печатался в институтской многотиражке «Энергетик», где редактором работал М. Р. Дубовский. В 1941 году он был чекистом и зимой нес службу на одном из пропускных пунктов под Москвой. Ночью он остановил легковой автомобиль, где, кроме шофера, офицера-порученца и овчарки, сидел человек в полушубке и сапогах, предъявивший удостоверение на имя генерал-лейтенанта Рокоссовского. Однако на нужной странице удостоверения не оказалось печати. Пришлось задержать и вести несколько километров по шпалам до своего штаба, где задержанные были сданы по команде. Рокоссовский не возражал и не сопротивлялся — он уже имел дело с «органами». И шагал по морозу в хромовых сапогах...

Дубовский же, выполнив свою миссию, отправился отдыхать, но чуть свет его разбудили и вызвали к начальству. В кабинете вместо привычного начальника возвышался сам генерал Абакумов, а сбоку, на табуретке, опустив ноги в тазик с горячей водой, сидел Рокоссовский.

— Ты что же, генерал-лейтенанта Рокоссовского не знаешь? — заорал на Дубовского Абакумов.

— Был бы он в моей армии, я бы дал ему чертей! — сказал Константин Константинович.

— А мы и так дадим! — пообещал всемогущий генерал Абакумов.

— А я прошу вас, пожалуйста, не надо этого делать — ведь удостоверение у меня и в самом деле не в порядке, — попросил Рокоссовский.

На том и закончился этот мало кому известный эпизод обороны Москвы. Только ноги обморозил Константин Константинович.

А. Е. Голованов пишет: «Сколь велика была его известность у противника, можно судить по следующему эпизоду. У командующего 10-й армией генерала Ф. И. Голикова не ладилась дела под Сухиничами, которыми он никак не мог овладеть. Был направлен туда вместо Голикова К. К. Рокоссовский, который открытым текстом повел по радиосвязи разговоры о своем перемещении в район Сухиничей, рассчитывая на перехват его переговоров противником. Этот расчет ока-

зался верным. Рокоссовский прибыл под Сухиничи, и ему не пришлось организовывать боя за них, так как противник, узнав об этом, немедленно оставил город без сопротивления. Вот каким был Рокоссовский для врага еще в 1941 году! По одному и тому же плану, что не вышло у Голикова, получилось у Рокоссовского, к тому же без боя и потерь».

Это тоже цена полководца.

Несколько раз он чудом оставался жив, был тяжело ранен, да и немцы особо охотились за ним. Однажды, когда он вернулся с боевых позиций в свой штаб, избы не было, догорали разбросанные бревна. Но судьба хранила его для России.

Назначенный под Сталинград, Рокоссовский блестяще окружил более чем трехсоттысячную армию генерал-фельдмаршала Паулюса. Интересная деталь: плененный немецкий фельдмаршал отдал свое личное оружие — пистолет — именно генерал-лейтенанту Рокоссовскому, по рыцарскому обычаю, как побежденный победителю. Генерал-фельдмаршал Манштейн танковым тараном рвался пробить кольцо окружения под Сталинградом. Конечно, Рокоссовский продумал все варианты, какие может предпринять противник, конечно, поработала разведка, и все-таки нужны были особая интуиция и риск, чтобы именно туда, куда Манштейн двинет свои войска, стянуть чуть ли не всю артиллерию фронта и открыть такой сумасшедший огонь, который сорвал попытку прорыва к Паулюсу. Участник Сталинградского сражения писатель Ю. В. Бондарев, в то время молодой артиллерист, получивший две медали «За отвагу», рассказывал, что Рокоссовский приказал поставить пушки вплотную, ствол к стволу. Манштейн не прошел, и армия Паулюса прекратила свое существование.

Говорят, после победы под Сталинградом одним из первых ему прислал поздравление начальник тюрьмы, где он сидел в конце тридцатых годов. «Рад стараться, гражданин начальник!» — ответил ему Рокоссовский.

Оля, домашняя работница в семье Рокоссовских, говорила мне:

— Я тоже личность историческая: я ездила на автомобиле Паулюса с кремовыми диванами!

Она так отзывается о Константине Константиновиче:

— Такого человека не было и больше никогда не будет... Он уехал на фронт, а мы — в Новосибирск. Жили бедно, в общей квартире. А потом Константин Константинович очень прославился на фронте, к нам пришли городские начальники и дали двухкомнатную квартиру...

«Когда мы прибыли из Сталинграда, — рассказывал А. Е. Голованов, — нас принял Сталин, это после завершения операции «Кольцо», всех поздравил, пожал руку каждому из командующих, а Рокоссовского обнял и сказал: «Спасибо, Константин Константинович!» Я не слышал, чтобы Верховный называл кого-либо по имени и отчеству, кроме Б. М. Шапошникова, однако после Сталинградской битвы Рокоссовский был вторым человеком, которого И. В. Сталин стал называть по имени и отчеству. Это все сразу заметили. И ни у кого тогда не было сомнения, кто самый главный герой — полководец Сталинграда...

Это много лет спустя главными героями Сталинградской битвы станут А. И. Еременко и Н. С. Хрущев. Еременко командовал Сталинградским фронтом двадцать дней и был заменен Рокоссовским.

В канун двадцатилетия Сталинградской битвы, в 1963 году, Рокоссовский отказался лететь на празднование в Сталинград, узнав, что там уже Еременко...

Еще после Московской битвы «Правда» опубликовала портреты прославившихся командармов. Среди них был портрет красавца-генерала, который впервые был назван не «командиром Р.», а полной фамилией — Рокоссовский. Его узнала страна. После битвы под Сталинградом имя его прогремело на весь мир.

А. Е. Голованов пишет: «4 февраля 1943 года Рокоссовский был отозван Ставкой из Сталинграда, и ему не пришлось как командующему войсками Донского фронта принять участие в митинге, который был организован в Сталинграде по поводу разгрома противника и окончательного освобождения города. Присутствовать на митинге попросился Н. С. Хрущев, что ему и было разрешено, хотя никакого отношения к боевым действиям войск Донского фронта и лик-

видации окруженного противника он не имел, но принимал участие в обороне Сталинграда. Упоминаю об этом лишь потому, что, когда отмечалось двадцатилетие победы в Сталинградской битве, на всех экранах нашей страны Н. С. Хрущев показывался как главный участник этого события...»

А Рокоссовский принял новое назначение — он стал командующим войсками вновь созданного Центрального фронта, которому предстояло сыграть решающую роль в битве на Курской дуге.

Все действия Рокоссовского на Центральном фронте, если их сейчас проанализировать, говорили о том, что он ждет немецкого наступления и тщательно готовит оборону, чтобы противник попытался использовать, казалось бы, выгодную для него ситуацию. Об этом он написал докладную Сталину. Рокоссовского поддержал Жуков, и было принято решение о преднамеренной обороне. Рокоссовский был уверен, что именно на Курской дуге решится исход кампании 1943 года. С обеих сторон было сосредоточено огромное количество войск и техники. Не все в военном руководстве были согласны с ожиданием наступления противника.

«Например, Н. Ф. Ватутин и Н. С. Хрущев, член военного совета Воронежского фронта, предлагали нанести упреждающий удар по противнику, а проще говоря, первыми начать наступление на этом направлении, — пишет А. Е. Голованов, — что несколько колебало уверенность Верховного в принятом им решении вести здесь оборонительные действия. Бывая у него с докладами, я слышал сомнения в том, правильно ли мы поступаем, ожидая начала действий со стороны немцев. Однако такой разговор обычно кончался так: «Я верю Рокоссовскому!» — заключал Сталин».

С приближением лета нарастала напряженность. Чьи нервы крепче? Разведка давала, казалось бы, абсолютно точные данные о начале наступления, но названные числа проходили, а никаких наступательных действий противник не начинал. Прошел май. Опять всплыли разговоры об упреждающем ударе с нашей стороны. Рокоссовский переживал, как бы в Ставке не приняли такое решение. Соотношение сил было примерно равным, и преимущество будет на стороне обороны. Наступающий должен иметь значительное пре-

восходство в силах и особенно в средствах. Организованная оборона давала твердую уверенность Рокоссовскому, что он разгромит противника, а возможное наше наступление наводило на размышления. Тем более что Рокоссовский принадлежал к числу тех полководцев, которые планировали операции с минимальными потерями. Однако Ватутин по-прежнему был уверен в успехе предлагаемого им упреждающего удара...

В конце июня разведка донесла, что противник начнет наступление второго июля. Но ни второго, ни третьего, ни четвертого июля ничего не произошло. Напряжение росло.

«В ночь на пятое июля я был на докладе у Сталина, на даче, — пишет Голованов. — Он был один. Выслушав мой доклад и подписав представленные бумаги, Верховный сразу заговорил о Рокоссовском. Он довольно подробно вспомнил деятельность Константина Константиновича и под Москвой, и под Сталинградом, особенно подчеркнув его самостоятельность и твердость в принятии своих решений, уверенность в правильности, а главное — обоснованность вносимых им предложений, которые всегда себя оправдывали, и наконец Сталин заговорил о создавшемся сейчас положении на Центральном и Воронежском фронтах. Рассказал о разговоре с Рокоссовским, где на вопрос, сможет ли он сейчас наступать, последний ответил, что для наступления, имея в виду соотношения сил, ему нужны дополнительные силы и средства, чтобы гарантировать успех, и настаивал на том, что немцы обязательно начнут наступление, что они не выдержат долго, ибо перевозочных средств у них сейчас еле хватает лишь на то, чтобы восполнить текущие расходы войны и подвозить продовольствие для войск, и что противник не в состоянии находиться в таком положении длительное время. И наконец не то вопросом, не то с каким-то сожалением Сталин сказал:

— Неужели Рокоссовский ошибается?.. — Немного помолчав, Верховный сказал: — У него там сейчас Жуков.

Из этой реплики мне стало ясно, с какой задачей находится Георгий Константинович у Рокоссовского. Было уже утро, когда я собирался попросить разрешения уйти, но раздавшийся телефонный звонок остано-

вил меня. Не торопясь, Сталин поднял трубку ВЧ. Звонил Рокоссовский. Радостным голосом он доложил:

— Товарищ Сталин! Немцы начали наступление!

— А чему вы радуетесь? — спросил несколько удивленно Верховный.

— Теперь победа будет за нами, товарищ Сталин! — ответил Константин Константинович.

Разговор был окончен.

— А все-таки Рокоссовский опять оказался прав, — как бы для себя сказал Сталин. И, обращаясь ко мне: — Отправляйтесь, пожалуйста, на Курскую дугу, свяжитесь с Жуковым и помогайте им там. О том, что вы вылетаете, я Жукову сообщу.

Распрощавшись, я вернулся в штаб и оттуда — прямо на аэродром и сразу на фронт.

Считаю нужным привести изложенное потому, что у ряда товарищей сейчас существует уже укоренившееся мнение о том, что оборонительные действия на Курской дуге были заранее предусмотрены... Именно здесь, на Курской дуге, было решено нашим Верховным Главнокомандованием продолжить дальнейшие наступательные действия...»

Рокоссовский оттягивал это решение, просил у Сталина то пятьсот грузовиков, то снаряды еще... «Тянет Рокоссовский, — говорил Сталин. — А может, и правильно делает?»

В итоге Рокоссовский выиграл у таких опытных немецких полководцев, как фельдмаршалы Манштейн и Клюге. Тем более что Воронежский фронт, который должен был оказывать содействие Центральному, попал в очень тяжелое положение.

Рокоссовский потом рассказывал Голованову, что в ночь на пятое июля ему стало ясно: немцы сейчас начнут наступать. Жуков, которому доложили о сведениях, полученных от пленных немцев, поручил Рокоссовскому действовать по собственному усмотрению. За сорок минут до указанного пленными времени начала наступления Рокоссовский приказал открыть огонь из пятисот орудий, четырехсот шестидесяти минометов и ста реактивных установок. Это было в два часа двадцать минут, и только в четыре тридцать противник после нашего ураганного огня начал артподготовку, а в пять тридцать перешел в наступление.

Перед началом битвы, говорят военные, была «минута Рокоссовского». Минута раздумий, терпения, ожидания, выдержки. Минута, в которую все решил талант.

— Когда немцы перешли в наступление, у меня как будто гора с плеч свалилась, — сказал Константин Константинович.

А Сталин скажет так: «Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой».

...В 1944 году пришло время знаменитой Белорусской операции. В Ставке обсуждались разные варианты проведения этой операции. Основной вопрос — где нанести главный удар?

Предложение командующего Первым Белорусским фронтом генерала армии Рокоссовского было необычным: нанести одновременно два главных удара. До сих пор при прорыве подготовленной обороны противника наносился, как правило, один главный удар, остальные удары бывали вспомогательными, чтобы противник не мог определить, на каком направлении должен развиваться успех. Г. К. Жуков и Генеральный штаб были категорически против двух главных ударов и настаивали на одном — с плацдарма на Днестре в районе Рогачева. Верховный тоже придерживался такого же мнения. По логике, вариант Рокоссовского половинил силы и средства, что казалось просто недопустимым при проведении такой крупномасштабной операции.

«Если бы это предлагал не Рокоссовский, этот вариант при наличии таких оппонентов, как Сталин и Жуков, просто пропустили бы мимо ушей, — говорит Голованов, — в лучшем случае как необдуманное, в худшем — как безграмотное предложение».

Верховный попросил Рокоссовского пойти в другую комнату и еще раз подумать, прав ли он. Когда Константина Константиновича вызвали, он доложил, что своего мнения не меняет. Сталин попросил его еще раз выйти и подумать. Но когда он снова вернулся в кабинет Верховного, по-прежнему остался тверд и непреклонен, хотя прекрасно понимал, что ему теперь будет грозить в случае неуспеха. Верховному стало ясно, что только глубоко убежденный в правильности своего мнения человек может так упорно стоять

на своем. Предложение Рокоссовского было принято, и он своим фронтом, передний край которого шел на протяжении порядка девятисот километров, на правом фланге, впервые в мировой практике, нанес два главных удара, и это оказалось наиболее обоснованным решением. Именно там, где наносился второй главный удар, был достигнут наибольший успех, а с плацдарма у Рогачева такого успеха сразу достигнуто не было, и развиваться он стал позже.

Немцы попали в огромные «котлы». Белорусскую операцию изучают все военные академии мира. Она получила название «Операция Багратион» — в честь выдающегося русского полководца 1812 года. Но, наверно, немногие знают, что такое имя ей дано и потому, что Сталин называл Рокоссовского «мой Багратион»...

Белорусская операция — маршальский жезл Рокоссовского, за нее ему и было присвоено это высокое звание.

«Боевые действия руководимых им войск, — пишет Голованов, — снискали ему не только славу великого полководца в нашей стране, но и создали ему мировую известность. Вряд ли можно назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и в наступательных операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной культуре, умелому общению с подчиненными, к которым всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного положения, и в то же время обладая волевыми качествами и выдающимися организаторскими способностями, он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех, кто с ним общался». Об этом пишет в своих мемуарах и генерал Н. А. Антипенко: «Уважение к Рокоссовскому, к его личным качествам и военному авторитету было всеобщим и искренним».

В 1972 году мне позвонил один из соратников Рокоссовского и попросил подарить ему книжку моих стихов. Я выполнил просьбу и получил ответ, где были такие строки: «Особенно мне дорого стихотворение на смерть маршала Рокоссовского. Мне ведь посчастливилось всю войну быть с ним. С приветом — генерал-полковник танковых войск Г. Орел». Да, это тот самый Орел, который всю войну командовал танками у Рокоссовского.

В отличие от иного командующего, за которым следовала толпа разжалованных офицеров и генералов и кого старались избегать, Рокоссовскому, когда он приезжал в части, стремились попасть на глаза...

Его любили. Любили солдаты. Может быть, еще и потому, что по его поручению ездил по госпиталям генерал А. Г. Русских и награждал орденами и медалями раненых рокоссовцев. Лежавшим рядом, получившим ранения на других фронтах, наверно, было обидно... О рокоссовцах ходили легенды, говорили, что они — сплошь штрафники. Но это далеко не так, верней, совсем не так. Штрафников у Рокоссовского было не больше, чем у других командующих. Может, они громче прославились? Или потому так считали, что сам Рокоссовский — бывший «сиделец»?

Слыхал я рассказ о солдате, который прямо на дороге проволокой закручивал сапог. Машина не может проехать, остановилась. Из нее вышел командующий, спросил у солдата что-то насчет его занятия. Солдат, не поднимая головы, ответил:

— На Берлин идем, Гитлера е...!

Рокоссовскому до того понравилось, что он приказал наградить солдата орденом «за высокий моральный дух и политическую сознательность».

В наши дни иной раз прочитаешь о том, как некрасиво вели себя советские солдаты в поверженной Германии: грабили, насиловали... Наверно, такие случаи были, но за них карали, и сурово. Мне рассказывали, как на лесной поляне заседал военный трибунал, судивший нашего солдата за изнасилование немки. Потерпевшая была тут же. Мимо проезжал командующий фронтом. Остановился. Узнал, в чем дело. Спросил у немки, есть ли у нее претензии к солдату. Та отрицательно замотала головой.

— А его сейчас расстреляют. Вы хотите этого?

— Найд, найн! — закричала немка.

— Вот видите, — сказал Рокоссовский, — женщина не хочет, чтоб его расстреляли!

Солдат был спасен.

...Что немаловажно, его любили и офицеры. Сергей Сергеевич Наровчатов, поэт, боевой офицер, рассказывал мне, что служил под командованием Жукова. Но

когда в конце войны они узнали, что новым командующим у них будет Рокоссовский, все офицеры бросили вверх шапки и закричали «ура!». Пишу это несколько не в обиду Жукову, а как факт, рассказанный мне старшим товарищем по перу.

Голованов поведал мне, как произошла эта смена командующих фронтами. Во время Висло-Одерской операции наши войска были ослаблены и не смогли форсировать Вислу. Жуков, как представитель Ставки, взялся командовать фронтом Рокоссовского и потерпел неудачу. Сталин позвонил Рокоссовскому:

— От кого, от кого, а от вас, Константин Константинович, не ожидал.

— А я здесь не командую, товарищ Сталин. — ответил Рокоссовский... Жуков был снят с поста заместителя Верховного и назначен на фронт Рокоссовского, а Рокоссовский — на фронт Жукова.

«Такой приказ был, — говорит Голованов, — но, несмотря на это, Жуков принимал капитуляцию и Парад Победы как заместитель Верховного, хотя таким уже фактически не был. Я убежден, что в душе Сталин хотел бы назначить принимать Парад Рокоссовского, но умом назначил Жукова».

Голованов пишет: «Рокоссовскому, как лучшему из лучших командующих фронтами, было предоставлено право командовать Парадом Победы на Красной площади. И встретились опять два выдающихся полководца нашего времени — Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский — уже не на поле брани, а праздную Победу. Один принимал Парад, другой командовал им». Сталин просто так ничего не делал: два самых лучших, самых прославленных...

И вот еще из «полуопубликованного» Голованова:

«Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем. Сейчас еще не изучены и не подняты все материалы по Великой Отечественной войне, но можно сказать с уверенностью, что, когда это произойдет, К. К. Рокоссовский, бесспорно, будет во главе наших советских полководцев».

Не буду спорить. Это мнение Голованова, которое он всегда твердо отстаивал.

Так получилось — случайно ли, нет —
путь удивительный, долгий, —
с первых начальных и сабельных лет
рядом был Жуков Георгий.

Служат Отчизне с далекой поры,
с конных знамен диктатуры,
обе талантливы, обе щедры,
разные эти натуры.

Все было вместе: казарма, тетрадь,
плац или школьная парта.
Запросто можно друг другу сказать:
— Тут ты сыграл в Бонапарта!

Рядышком шли. Рокоссовский всегда
был на ступеньку повыше.
Дальше — заступят такие года,
кто о них кровью напишет?

И на московском крутом рубеже,
ставшем теперь легендарным,
Жуков командовал фронтом уже,
он был еще командармом.

Будут и фронт, и салюты Москвы,
будут герои воспеты,
время пойдет, не клоня головы,
прямо к Параду Победы.

Стрелкой секундной по красной стене
луч вдоль Кремля пронесется...
Выедет Жуков на белом коне,
на вороном — Рокоссовский.

Знать, неспроста было так решено,
и не случайно, заметим...
Вместе остаться в строю суждено,
рядышком — витязям этим.

И возле белого — конь вороной...
Лучших фон-боков сломили
два полководца второй мировой,
самых блистательных в мире!

...Много кривотолков ходит о назначении Рокоссовского в Польшу после войны. Некоторые историки считают, что Сталин решил избавиться от таких народных героев, как Жуков и Рокоссовский, потому что вроде бы видел в них конкурентов себе. Одного назначил командующим округом, а другого отправил

в Польшу. Эта версия явно не соответствует действительности.

Мы знаем, как снимали Жукова с должности Главкома Сухопутных сил в 1946 году. Рокоссовский отдавал должное Жукову как полководцу, высоко ценил его военный талант и вместе с тем считал, что требовательность Жукова к подчиненным часто переходит все границы, но он также требователен и к себе и цели добивается любым путем. Стиль его работы с людьми Рокоссовский считал недопустимым. Однако, когда Жукова снимали при Сталине, первым за него заступился именно Рокоссовский. Когда же его снимали при Хрущеве, в 1957 году, с поста министра обороны, первым, кто выступил против него, был тоже Рокоссовский. Надо сказать, что после отставки Хрущева возникло мнение вернуть Жукова на прежний пост, но ни один маршал не поддержал это предложение. Голованов, в частности, сказал: «Если вы хотите еще большей беды для армии и государства, ставьте Жукова». Кстати, в 1957 году многие маршалы предложили назначить министром обороны Рокоссовского, но он тоже был неудобен Хрущеву. Что же касается назначения Рокоссовского в Польшу в 1949 году, то это отнюдь не было ссылкой. Голованов так пишет об отношении Сталина к Рокоссовскому:

«Рокоссовский был полководцем, к которому с большим уважением, с большой теплотой относился И. В. Сталин. Он по-мужски, то есть ничем не проявляя это на людях, любил его за светлый ум, широту мышления, культуру, скромность и, наконец, за его мужество, личную храбрость, решительность и в то же самое время за его отношение к людям, своим подчиненным. Единственный, кого Сталин после Шапошникова стал называть по имени-отчеству, был у Верховного на особом счету».

После войны Рокоссовский был Главнокомандующим Северной Группы войск. В 1949 году его вызвали в Москву. Сталин пригласил на дачу.

Рокоссовский приехал на Ближнюю, прошел на веранду — никого. Сел в недоумении, ожидая. Из сада появился Сталин с букетом белых роз, и видно было, что он их не резал, а ломал, — руки были в царапинах.

— Константин Константинович, — обратился Сталин, — ваши заслуги перед Отечеством оценить невозможно. Вы награждены всеми нашими наградами, но примите от меня лично этот скромный букет!

...Мне этот эпизод напомнил встречу императора с генералом Ермоловым, у которого царь спросил:

— Чем тебя еще наградить, мужественный старик?

— Присвойте мне звание немца, — ответил Ермолов.

Рокоссовский ничего подобного не пожелал, но ему было присвоено звание поляка.

— Константин Константинович, у меня к вам большая личная просьба, — сказал Сталин. — Обстановка такова, что нужно, чтобы вы возглавили армию Народной Польши. Все советские звания остаются за вами, а там вы станете министром обороны, заместителем Председателя Совета Министров, членом Политбюро и маршалом Польши. Я бы очень хотел, Константин Константинович, чтоб вы согласились, иначе мы можем потерять Польшу. Наладите дело — вернетесь на свое место. Ваш кабинет в Москве всегда будет вашим!

Рокоссовский знал общее положение в Польше и сказал Сталину:

— Для меня там снова может повториться тридцать седьмой год.

— Тридцать седьмого года больше не будет, — ответил Сталин.

Сам Рокоссовский говорил, что его не очень-то прельщала такая перспектива, тем более что польский язык он почти не знал, но просьба Сталина — не простая просьба... Пришлось ехать.

«Я всегда буду поляком в России и русским в Польше», — как-то с горечью заметил он.

Вспоминая о польском периоде своей службы, богатырь двух народов (мать — русская, отец — поляк), Константин Константинович любил рассказывать, как ему дали красивую секретаршу, и она утром явилась к нему в кабинет с бумагами: «А там все по-польски написано, и я пытаюсь говорить по-польски — беру

русский корень слова и приделываю к нему шипящее окончание: «Разобрамшись, докладайте!» — дескать, разберись, а потом докладывай. Но секретарша смутилась и спросила, хорошо ли пан Рокоссовский знает «польску мову». Оказывается, я сказал ей: «Раздевайся, а потом докладывай!»»

Писатель Иван Шевцов рассказывал мне, как, будучи корреспондентом «Красной звезды», пробился в Варшаве к министру обороны Польской Народной Республики Рокоссовскому. Он сидел за столом в польской форме.

— Товарищу маршале! — обратился подполковник Шевцов.

Рокоссовский слегка улыбнулся. Тогда Шевцов приободрился и выпалил:

— Товарищ маршал Советского Союза!

— Вот так бы сразу! — сказал Константин Константинович и вышел из-за стола.

Красавец он был все-таки, ничего не скажешь. Наверно, самый красивый из наших полководцев. Я видел его портрет, вышитый шелком польскими женщинами.

Ни один артист ни в одном кинофильме не похож на него и не сыграл его так, чтобы это был Рокоссовский.

Молоденький драгун первой мировой с «георгием» на гимнастерке, подтянутый генерал 1941 года с шестью привинченными орденами и медалью «XX лет РККА», — чтоб видели, что армия жива! — и в конце войны на маршальском кителе одна главная награда — нашивка за тяжелое ранение...

Теперь уж можно рассказать — был у него роман с известной актрисой. Она даже пришла и рассказала об этом жене Рокоссовского Юлии Петровне. «Мы сами разберемся», — ответила ей Юлия Петровна, и актриса была поражена ее благородством. Ведь она написала письмо Генеральному прокурору СССР о том, что давно близка с Константином Константиновичем, а тот почему-то не хочет оформить юридически их отношения. Не известно, как реагировал главный законник страны — он не оставил следов на этом послании. Зато осталась резолюция другого человека:

«Суворова сейчас нет. В Красной Армии есть Рокоссовский. Прошу это учесть при разборе данного дела. И. Сталин».

Генеральная прокуратура уважила просьбу Иосифа Виссарионовича и вообще не стала разбирать это дело.

А актриса показывала друзьям золотые часики с выгравированной надписью: «ВВС от РКК» — как будто «Военно-Воздушным Силам от Рабоче-Крестьянской Красной...», а не «Валентине Васильевне Серовой от Рокоссовского Константина Константиновича».

Не знаю, кто бы рискнул разбирать это «дело» после такой резолюции, где Сталин, ни слова не говоря о сути «дела», поставил своего «Багратиона» рядом с Суворовым...

Польская форма ему шла, как и советская. Есть фотографии. На одной — он на похоронах Сталина. Вспоминаются стихи Суркова:

Вот перед гробом плачет маршал Польши ---
Твой никогда не плакавший солдат.

У гроба Сталина Рокоссовскому стало плохо. Ему делали укол...

В Польской Народной Республике, на ее высоких постах, он пробыл семь лет. В 1956 году там начались волнения, выступления против власти коммунистов.

«Польское Политбюро не знает, что делать. День и ночь заседают и пьют «каву», — говорил Константин Константинович. — А в стране сложная обстановка, убивают коммунистов... Я слушал-слушал, пошел к себе в кабинет и вызвал танковый корпус...»

В ту пору Польше не удалось порвать с социализмом. Но Рокоссовский был вынужден улететь в Москву — навсегда. Говорят, всего с одним чемоданчиком. Как обычно.

В Москве маршала двух армий принял Н. С. Хрущев и сообщил о назначении заместителем министра обороны СССР.

— По мне бы и округом командовать вполне достаточно, — ответил Рокоссовский.

— Да вы не подумайте — это мы потому вас так высоко назначили, чтоб полячишкам нос утереть! — ответил Никита Сергеевич. «И так он плюнул в душу, — вспоминал Константин Константинович. — Мол, сам-то ты ничего из себя не представляешь, это ради высокой политики сделано...»



К. К. Рокоссовский на фронте. На груди маршала — нашивка за тяжелое ранение. 1944 год.

Отдых командующего фронтом. 1944 год.





2



1



3



4



5



6



8



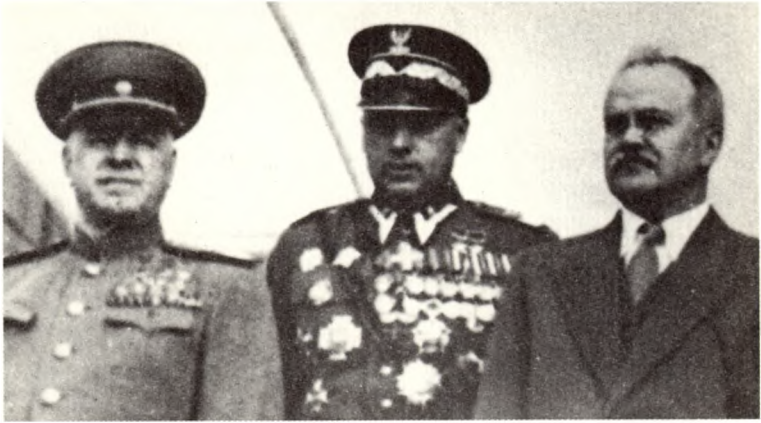
7



9

ГЕНЕРАЛЫ, ПОБЕДИВШИЕ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ.
1941 год:

1. Генерал армии Г. К. Жуков
2. Генерал-майор Д. Д. Лелюшенко
3. Генерал-майор А. А. Власов
4. Генерал-лейтенант В. И. Кузнецов
5. Генерал-майор П. А. Белов
6. Генерал-лейтенант Ф. И. Голиков
7. Генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский
8. Генерал-лейтенант И. В. Болдин
9. Генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров



Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, маршал Советского Союза и маршал Польши К. К. Рокоссовский, В. М. Молотов. Варшава, 1951 год.

Победа!

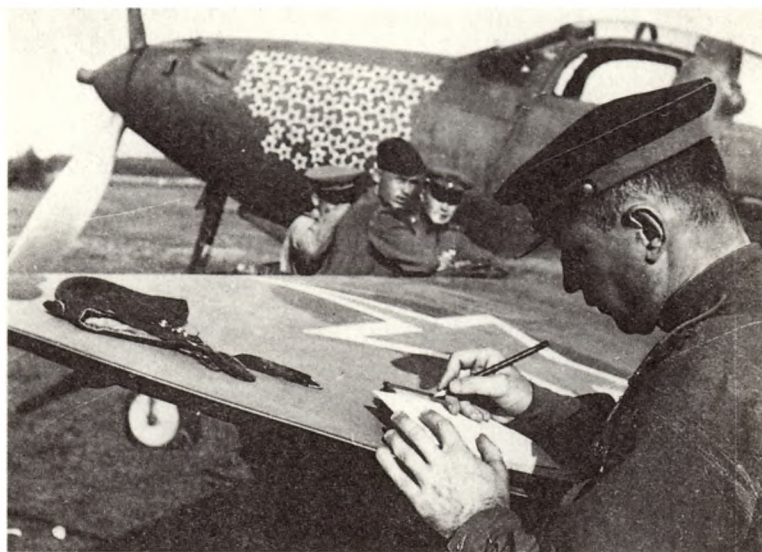




Легендарный командир знаменитой подводной лодки С-13, «личный враг фюрера» А. И. Маринеско. 1950-е годы.

Н. В. Щербина, Е. С. Евсеев, его сын Евгений и внучка Алена. Кишинев, начало 1980-х годов.





А. И. Покрышкин на плоскости «Аэрокобры» пишет письмо жене. 1944 год. Фронтовой снимок.

Дважды герой А. И. Покрышкин с летчиками-героями. 1944 год.





Встретились два трижды Героя: И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин. 1976 год. Фото Ф. Чуева.

И. Н. Кожедуб на похоронах А. И. Покрышкина. 1985 год.





А. И. Покрышкин и В. М. Молотов на даче в Жуковке. 1984 год. Фото Ф. Чуева.

Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Г. К. Жуков с моряками Балтики. 1956 год.





Юрий Гагарин. Первые снимки после приземления. Деревня Смеловка Саратовской области, 12 апреля 1961 года.



**Пламенный привет первому
советскому герою-космонавту
Юрию Алексеевичу ГАГАРИНУ**

Такие листовки сбрасывали с вертолетов над Москвой во время встречи Ю. А. Гагарина 14 апреля 1961 года.

С женой Валентиной Ивановной. Гжатск, 30 марта 1963 года.



«Битый небитого везет!»
1967 год. Фото Ф. Чуева.



Ю. А. Гагарин с автором книги. 1967 год.

М. А. Шолохов и Ю. А. Гагарин с молодыми писателями. 13 июня 1967 года. Фото Ф. Чуева.



М. А. Шолохов. 1967 год. Фото
Ф. Чуева.



М. А. Шолохов и Ф. Чуев. 1967 год.

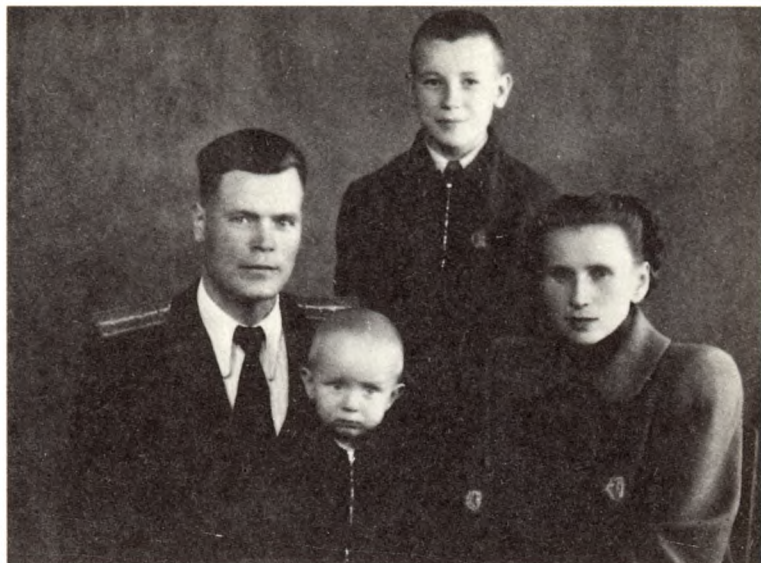


Я. В. Смеляков. 1950-е годы.



В. А. Солоухин. 1960-е годы.





Последнее фото с родителями. Октябрь 1953 года.



Феликс Чуев с отцом возле дома. Кишинев, август 1951 года.



Такие выиграли великую войну. Летчик 120-го Отдельного гвардейского ордена Александра Невского Инстенбургского авиационного полка Иван Григорьевич Чуев. 1945 год.

Но настоящий плевок будет впереди, когда Хрущев развернул антисталинскую кампанию. Он попросил Рокоссовского написать что-нибудь о Сталине, да почерней, как делали многие в те и последующие годы. Из уст Рокоссовского это прозвучало бы: народный герой, любимец армии, сам пострадал в известные годы...

Маршал наотрез отказался писать подобную статью, заявив Хрущеву:

— Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!

На другой день, как обычно, он приехал на работу, а в его кабинете, в его кресле, уже сидел маршал К. С. Москаленко, который предъявил ему решение Политбюро о снятии с поста заместителя министра. Даже не позвонили заранее...

«Встану утром, сделаю зарядку, умоюсь, побреюсь и вспомню, что мне некуда и незачем идти, — говорил Константин Константинович Голованову. — Мы свое дело сделали, и сейчас мы не только не нужны, но даже мешаем тем, кому хочется по-своему изобразить войну».

На одном из правительственных приемов, когда произнесли тост за Н. С. Хрущева и все потянулись к нему с рюмками чокаться, даже хромой, еле передвигающийся военачальник, в общем, все, — Рокоссовский и Голованов остались стоять на месте, а они самые длинные, самые заметные. Больше их на такие приемы не приглашали. Оба оставались в тени.

Уже при Брежневе на приеме в честь монгольской делегации Голованов подошел к А. Н. Косыгину, тогдашнему премьеру, и спросил:

— Что вы имеете против Рокоссовского?

— Я? Ничего, — ответил Алексей Николаевич.

Вскоре после этого в квартире Рокоссовского раздался телефонный звонок: немедленно прибыть в Министерство обороны, комната такая-то. «Так мне звонили только один раз в жизни, — говорил потом Константин Константинович, — когда я был командиром корпуса в 1938 году. Когда арестовали».

В Министерстве обороны его никто не встретил, даже вначале часовой не хотел пропускать. В комнате, куда назначили прийти, увидел человека в штатском.

— Вы кто? — спросил штатский.

— Рокоссовский.

— А, проходите. Мы тут собрались делать фото-альбом, маршалов фотографируем.

«А я подумал — все», — признавался Рокоссовский. ...Он был из тех людей, которых называют легендарными. Помню военную песню о батальонном командире, где есть такие слова:

Капитан, наш любимый комбат капитан,
капитан, гладко выбрит и чуточку пьян,
капитан, мы встаем по комнате «вперед!»,
капитан раньше нас на секунду встает...
И в честь него гремел салют московский,
он под Варшавой дрался впереди,
и не его ли обнял Рокоссовский,
срывая орден со своей груди!

Если о человеке поют, наверно, это что-то значит. Когда Жуков стал четырежды Героем, его поздравил Буденный, на что Жуков ответил: «Семен Михайлович, обо мне песен не поют, а о вас поют...»

По радио я слышал торжественную музыку, по духу напоминающую старинные марши русской армии времен Румянцева и Суворова. Дикторша сообщила: «Прозвучал созданный Михайловым во время Великой Отечественной войны марш "Рокоссовский"».

Не знаю, о ком еще из наших полководцев были тогда написаны марши для духового оркестра...

Конечно, это не самое главное. Но безразличия к фамилии Рокоссовского не было никогда, она вызывала восхищение. Рокоссовский — звучит как бой, как музыка Победы, как ратная слава. Красавец в генеральском кителе стоит на бруствере 1941 года. Пуля сшибает с головы фуражку, а он и не думает об укрытии. Что это? Бравада? Считайте так. Но тот, кто еще минуту назад помышлял сдаться в плен, не побежит к врагу, увидев т а к о г о генерала.

Немцы давали прозвища нашим полководцам. Был, например, «генерал Паника»... Рокоссовского враги прозвали «генерал Кинжал» — победу он добывал на острие кинжала, который, углубляясь в противника, окончательно поражает его.

Во время «холодной войны», когда американцы угрожали нам со своих баз в Турции и накалилась южная граница, в западной печати промелькнуло краткое сообщение: «Командующим Закавказским военным округом назначен маршал Рокоссовский — мас-

тер стремительных ударов и массовых окружений». Был ли вообще Рокоссовский в этой должности, я не проверял, но заметка возымела действие...

Все, кто знал Рокоссовского, говорят прежде всего о его человеческих качествах, которые на первый взгляд даже затмевали в нем талант полководца. Отмечают, что его скромность даже мешала ему громко сказать о себе.

Известный детский поэт С. Я. Маршак рассказывал, как на аллее одного из подмосковных санаториев он часто встречал высокого, подтянутого мужчину. Стали здороваться друг с другом, потом как-то вместе оказались на одной скамейке. «Было что-то очень знакомое в нем, в его выправке, — говорил Маршак, — и я спросил, не военный ли он?

— Военный.

— Наверно, были и на фронте?

— Воевал. Приходилось.

— Я тоже часто бывал на фронтах, — сказал ему Маршак и стал говорить о своих воинских доблестях. А потом поинтересовался фамилией собеседника — уж больно знакомое лицо!

— Рокоссовский, — просто ответил новый знакомый.

— Представляете мое состояние! — смеялся Самуил Яковлевич».

Что-то гордое согревает душу, когда под музейным стеклом читаю текст ультиматума, направленного гарнизону одного из немецких городов: «Я, маршал Рокоссовский, наголову разгромивший ваши войска под Сталинградом и Курском...»

Это писал наш полководец, именем нашей страны, на государственном языке нашего народа.

Когда я думаю о нем, жизнь его вспыхивает передо мной яркими картинками. Вот он в штатском костюме, на Выставке достижений народного хозяйства, едет в открытом экскурсионном троллейбусе, и кто-то его уже узнал и раскрыл рот от изумления, а он улыбается и жестами умоляет не привлекать внимание...

Вот в военной санатории медицинская сестра делает замечание одному генералу, сидящему под пальчатом солнцем с непокрытой головой, а тот ей отвечает: «Если с моей головой что случится, ничего страшного ни для кого не будет, а вот если с тем человеком что-то

произойдет, — генерал указал на сидящего на пляже Константина Константиновича, — то лично товарищ Сталин вам всем головы поотрывает!»

Бывший заместитель начальника военного санатория имени Фабрициуса в Сочи Николай Тихонович Лукашов рассказал мне, что Рокоссовский часто приезжал туда с женой.

— Ты мне громче кричи, а то я плохо слышу, — говорил он в последний свой приезд, когда уже болел и ходил со слуховым аппаратом.

«Во время войны это был самый большой авторитет на фронтах, все стремились попасть к нему, — замечает Лукашов. — Что касается Жукова, он был заместителем Верховного и мало командовал фронтами».

Рокоссовский рассказывал Лукашову, как его войска с моря заняли датский остров — весьма непростое дело. Попав на территорию маленького чужого государства, наши солдаты поразились, что дома не запираются, велосипеды стоят прямо на улицах. Но и островитяне обалдели от эпидемии воровства... К Рокоссовскому обратился глава государства, умоляя вывести освободителей, что и было сделано, а командующего наградили высшим датским орденом.

— Так и не удалось нам оккупировать Данию! — смеялся Константин Константинович.

Не раз во все времена подводила нас и на поле брани наша национальная особенность. В Бородинском сражении казаки Платова чуть было не взяли в плен Наполеона, но, заметив богатый обоз, не удержались, а императора Франции упустили, и тем самым изменили ход мировой истории...

В санатории имени Фабрициуса каждому маршалу для экскурсий и поездок по городу полагался автомобиль.

Н. Т. Лукашов вспоминает: «Я как-то иду в центре Сочи, смотрю — Константин Константинович стоит в очереди на автобус. Его никто не узнает. Я потом говорю ему:

— Почему вы не сказали, я бы вам дал машину!

— А я на рынок ездил, — ответил Рокоссовский».

В столовой он отказался от «маршальского» зала, сидел в общем. И все отдыхающие маршалы, узнав, что сам Рокоссовский обедает в общем зале, не реша-

лись на «маршалский», только один генерал армии важно восседал там...

После войны Сталин от имени государства подарил Рокоссовскому роскошный особняк на Патриарших Прудах. А что Константин Константинович? Разделив особняк на несколько квартир, он предоставил их своим сослуживцам по штабу фронта, с кем прошел войну.

Сталин узнал об этом и дал Рокоссовскому огромную квартиру в центре Москвы на улице Горького, в одном из тех домов, цоколь которого был облицован красным гранитом, привезенным в 1941 году немцами под Москву для сооружения памятника германскому солдату-победителю...

Не было в Рокоссовском жадности, хватательства, что ли. Это вызывало и восхищение, но и ненависть с гаденьким ворчанием исподтишка тех, кто, как им казалось, встал вровень с ним, а то и повыше, а он, — ишь ты, белая ворона, чистоплюй, аристократ, сталинский любимчик... Да, Сталин ценил его и за это, что тоже возбуждало зависть возивших вагонами барахло из Германии...

Вот он собирается на военный парад и в потрясающем своем мундире, в золоте звезд, бриллиантах ордена Победы выходит на лестничную площадку. Навстречу идет подруга дочери Ады.

— Ну как я выгляжу, Марина? — улыбаясь, спрашивает он.

— Конец света, Константин Константинович!

А он и в старости был очень красив — так, что и не видно было старости.

Вот его пригласили на празднование годовщины освобождения Минска. Праздник устроили необычный, с огромным количеством цветов. И не то чтобы букеты преподносили — было по-другому. Толпы народа образовали живой коридор, по которому шел Рокоссовский, и ему под ноги бросали розы. Это его последний праздник. Константин Константинович уже был тяжело болен. Он смущенно шагал, стараясь не наступать на живые цветы, но ему бросали их под ноги. И этим все сказано.

Выделялся он среди военных. «Он был как из лица», — сказал мне о Рокоссовском видный наш государственный деятель и очень порядочный человек Кирилл Трофимович Мазуров.

Незадолго до смерти к Рокоссовскому пришли из Министерства обороны:

— Константин Константинович, передайте нам свои просьбы — любое ваше пожелание будет выполнено!

Единственное, что он попросил перед смертью, — перевести своего зятя Виля Кубасова с Дальнего Востока в Москву. Потом Виль станет генералом...

Он умер в субботу 3 августа 1968 года. Хорошо помню тот день. Мы испытывали в Шереметьеве маленький самолетик Як-18Т, и я сидел в кабине, готовясь к полету. По радио передали сообщение...

Некролог был необычным. Ни до, ни после не помню таких слов в подобных официальных документах той эпохи:

«Один из выдающихся полководцев, воспитанных нашей партией, он отличался личной храбростью и большим человеческим обаянием... Личная скромность, чуткость к людям, беспрецедентное мужество и героизм в боях с врагами нашей Родины снискали ему всеобщую любовь и уважение».

«Образ Константина Рокоссовского — славного талантливой маршала, война-героя, коммуниста и интернационалиста, благородного, скромного человека — навсегда останется в памяти воинов Народного Войска Польского», — писал Войцех Ярузельский.

Боевые товарищи решили сделать необычные похороны. То, что они придут в Колонный зал и на Красную площадь, было ясно. Маршалы, получившие это высокое звание на полях сражений, договорились, что они, а не члены Политбюро, поднимут урну с прахом Рокоссовского и понесут к Кремлевской стене. А тогда еще были живы Жуков, Василевский, Конев, Тимошенко, Мерецков, Голованов, адмирал Кузнецов... Члены Политбюро должны идти за ними...

Однако эта необычность кому-то не понравилась, и похоронили не как планировали, в среду, а на день раньше, во вторник, и многих военачальников не было.

«Я, например, был твердо уверен, что похороны будут в среду, и сидел на даче», — признался Голованов.

В субботу умер маршал Рокоссовский.
Подумать только — маршал Рокоссовский!
Его-то

жизнь могла бы поберечь.
Лежит он в красной каменной могиле,
неважно, траура не объявили
хотя бы на день — не об этом речь.

Трудился много
и терпел немало,
сражался так,
чтоб меньше был урон,
и прожил, до конца не понимая,
что маршал Рокоссовский —
это он.

Моя держава славою богата.
Двух-трех имен хватило бы на всех!
Но есть такая слава —
сорок пятый,
которую не очень помнить — грех.

И в городишке, радостью согретом,
на площади, во всю ее длину, —
цветные, из материи портреты
трех маршалов, закончивших войну,

Прожектором подсвеченные, ночью
их звезды были далеко видны
значительным, победным многоточьем
второй великой мировой войны...

Заря дрожала, узкая, как меч.
И в тихий день, субботний, августовский,
ушел в портреты маршал Рокоссовский.
Его любили.

И об этом речь.

Урну несли члены Политбюро. Брежнев прослезился. «Раньше надо было плакать», — сказала ему вдова, Юлия Петровна... Я познакомился с ней много позже, когда впервые переступил порог их квартиры. Дом на улице Грановского стоит в барельефах бывших жильцов, как в орденах. Но почему-то до сих пор на нем нет мемориальной доски одному из самых прославленных его обитателей. «Пробивать надо», — услышал я потом, в квартире.

Местные власти Зеленограда просили переименовать их город в Рокоссовск — в 1941-м здесь был остановлен немец. Правительство отказало. А это имя

неплохо бы вошло в строй старинных подмосковных названий, органично звучит: Можайск, Волоколамск, Рокоссовск...

— Куда идете? — спросили внизу.

— К Рокоссовским.

...Юлия Петровна сидела на полу. Она раскладывала фотографии.

— Вот Константин Константинович умерший... Это он еще до ареста... Вот его жена, — говорит она о самой себе. — Вот их дочь Ада. Она недавно застрелилась...

Из пистолета Паулюса... Почему застрелилась, не беруся и не смею судить, ибо с огромным уважением отношусь к тем, кто решился на такой шаг. Отцовское мужество сцементировало ее характер... Остались Костя и Павел — внуки Константина Константиновича...

Я пытаюсь отвлечь Юлию Петровну от новой трагедии и показываю на фотографию двадцатых годов, где молодой комполка снят с молодой женой.

— Вот тоже Константин Константинович, — говорю я.

— Ой, как вы его узнали! — всплескивает руками Юлия Петровна.

Видно, что она уже очень больна. Такая жизнь не могла не оставить жестоких следов.

Листаю альбом и задерживаюсь на пачке писем. Это тоже легенда, романтическая история безответной любви незнакомой английской женщины к русскому генералу. Много лет писала ему письма некая Милзи, которую он никогда в жизни так и не увидел. И она его тоже. Влюбилась заочно, после Сталинградской битвы, когда его фотографии облетели весь мир. В своем доме она устроила для него комнату в русском стиле, собирала все, что связано с его именем.

Майская открытка с розовой ленточкой, написано печатными буквами по-русски: «Моему собственному возлюбленному Кон от его преданной и вовеки верной Милзи. 1962 г.».

Есть у Рокоссовского еще одна дочь — Надежда, очень похожая на него. Мать ее была военврачом. На фронтовом снимке — миниатюрная миловидная женщина рядом с высоченным генералом, которого невоз-

можно не узнать. Оба еще в петличках... После войны мать Нади поставила перед Константином Константиновичем вопрос ребром: или — или. Он дал дочери свою фамилию и отчество, но не ушел от Юлии Петровны, сказав:

— Она ко мне босиком в тюрьму приходила. Я ее никогда не брошу.

«После войны из маршалов со своими женами остались только Рокоссовский да твой покорный слуга», — говорил мне А. Е. Голованов.

...В комнате торжественная мука
окружает снимков колдовство.
Полусумасшедшая старуха
разбирает карточки его.

И мерцают в сказе о краскомах,
юных, как в буденовке страна,
маршальские звезды на погонах,
вечная кремлевская стена...

В квартире Рокоссовского нет музея, ибо купило ее у родственников не государство, а приобрел некий богатый человек...

Любил Константин Константинович бывать на своей даче в Тарасовке...

Солнце нижние стекла окошка
плавит так, что пожар на траве...
Рокоссовский копает картошку
в старых маршальских галифе.

Пот, как скань, в серебре ветеранском,
и лицо распалилось в жару,
взмokли плечи — не стал вытираться,
бронзовеющий на ветру.

И ложатся могучие клубни
на сыпучие гребни пластов...
А потом он побудет на кухне,
и заслуженный ужин готов.

И приятно, что сам потрудился,
сам сажал, сорняки воевал
на земле, где солдатом родился
и, конечно же, кровь проливал.

Ничего он не вспомнит, наверно,
лишь закат отпечатан в саду,
словно кони барона Унгерна
и Москва в сорок первом году.

Мне говорили, что на даче он любил сажать картошку и всегда сам ее выкапывал. Наверно, это от белорусского детства...

Дачу в Тарасовке после смерти маршала ограбили. Юные энтузиасты-мерзавцы побили светильники, поломали мебель, ходили своими убудочными ногами по рукописям великого полководца.

Растащили библиотеку, даже сочинения Мао Цзэдуна увели. Тот, кто сотворил кощунство, знал, чья эта дача, чью память он грабит. Рядом, на даче модного юмориста, ничего не тронули, только выпили водку и оставили благодарственную записку. Куда Рокоссовскому до этого актера?

Это уже нам цена, нынешним жителям России, о безопасности которой он продолжал думать до последних дней.

Вот листочек из блокнота маршала, озаглавленный: «Мысли мои» (подчеркнуто):

«Необходимо решительно отказаться от устаревших методов ведения боевых действий. Правильно используя всю силу ядерного оружия, применять это оружие для ведения боя в новых условиях особенностями и силой этого оружия (нужно думать)...

Оборона — как средство заставить противника сосредоточить свои силы в районах обороны для нанесения по ним ударов ядерным оружием и перехода от нее к наступательным действиям. О длительной обороне на одном месте не может быть и речи. Удар, преследование, остановки и опять удар...»

— А он так и делал, — говорит его внук, тоже Константин, тоже Рокоссовский, тоже высокий и красивый, тоже офицер, только погоны пока не маршальские...

Он был сыном времени, думал о защите Отечества и в нужный момент, конечно бы, не дрогнул.

Много легенд о нем...

В одном застолье я узнал, что шампанское с медалями на этикетках называют «Рокоссовский». Конечно, это уже черт знает что, но есть же коньяк «Наполеон»! Право, стоило завоевывать мир, чтобы твоим именем назвали напиток или торт...

Снова, где армия на рубежах,
там, где противник поближе,
в передрасветных речных камышах
тьнь Рокоссовского вижу.

Снова проходит, как между знамен,
утром, почти незаметен,
снова, как прежде, задумался он,
как защитить предра рассветье.

Словно бы, как перед Курской дугой —
память войны, не остынешь! —
Родина спросит, уже не впервой:
— Что, Константин Константиныч?

И все-таки когда я думаю о Рокоссовском, то вижу перед собой снимок двух молоденьких конников, у которых все впереди — и страшные испытания, и мировая слава. Ратная служба их проходила вместе, и вот едут рядышком комдив Рокоссовский и комполка Жуков. И хоть долго, наверно, их будут сравнивать, оба достойны. Видно, прав В. М. Молотов, который сказал мне как-то: «По характеру для крутых дел Жуков больше подходил. Но Рокоссовский при любом раскладе в первую тройку всегда войдет. А кто третий — надо подумать...»

Можно противопоставлять и спорить, кто лучше. Во всяком случае, каждый не хуже, ибо оба — наша ратная слава.

И через много лет те же два конника едут навстречу друг другу по Красной площади, и Рокоссовский, сдерживая коня и собственную улыбку, докладывает своему давнему сослуживцу Жукову:

— Товарищ Маршал Советского Союза! Войска Действующей армии и частей Московского гарнизона для Парада Победы построены! — И передает свернутый трубочкой рапорт.

Они едут рядом на белом и вороном конях, и под копытами — поверженные знамена германского вермахта.

Это — бессмертие.

ПОДВОДНИК НОМЕР ОДИН

...Он был свободным человеком, потому что сутью своей, характером и поступками исповедовал Свободу. Однако жизнь постоянно загоняла его в рамки времени и обстоятельств, ибо, как считал Достоевский, и, видимо, справедливо считал, свобода наступит тогда, когда станет все равно, жить или не жить.

Война дала ему свободу бесстрашия, свободу совершать подвиги, но опять же — свободу относительную, потому что подвиги, за которые полагались высокие награды, уравнивались наказуемыми проступками, и в итоге, везучему, ему не везло.

А судьба показала на него перстом с самого начала. У него была морская фамилия — Маринеско. В детстве он играл в оловянных, но не солдатиков, а матросиков. Его отец плывал кочегаром на корабле румынского королевского флота, бунтовал, попал в тюрьму, бежал в Кишинев, потом в Одессу, дядя тоже был матросом, да еще где — на броненосце «Потемкин». И сам он был одесситом, и одна из улиц Одессы сейчас носит его имя. Приехав в город, который люблю с детства, я решил найти эту улицу.

— Вы не скажете, где Спуск Маринеско? — спросил я прохожего.

— Вы имеете желание найти Спуск Александра Ивановича Маринеско? — подчеркнуто уважительно к имени героя переспросил прохожий. И не только показал, как пройти, но и попытался посвятить меня в подробности легендарной биографии своего земляка.

В той же Одессе на здании мореходного училища я увидел мемориальную доску с барельефом, и на доске было сказано, что здесь учился капитан дальнего плавания Александр Иванович Маринеско, который в годы Великой Отечественной войны командовал подводной лодкой С-13 и потопил невероятный тоннаж вражеских судов — общим водоизмещением 52 884 тонны. Моряки потом говорили мне — на одиннадцать Золотых Звезд потопил! Однако он не получил ни одной Звезды, а улица его имени и мемориальная доска появились в Одессе задолго до Указа к юбилею Победы — Александра Ивановича давно не было в живых.

— То, что Саша Маринеско не получил при жизни Звезду Героя, — говорил мне хорошо знавший Маринеско Герой Советского Союза адмирал Щедрин, — виноват только он сам.

Да, наверное, виноват. Но и вражеских судов-то он потопил больше всех подводников Балтийского и других флотов. У него на кителе, а потом на штатском пиджаке был только один орден Ленина. Имелись и другие награды, а носил только этот орден — без ленточки, привинчивающийся. Был в этом особый шик... Я помню из детства, как наш сосед летчик дядя Женя Евсеев носил только один привинченный орден боевого Красного Знамени, а мой отец — только гвардейский знак, тоже привинченный к гимнастерке. Асы...

Маринеско получил орден Ленина в 1942 году — он одним из первых прорвал блокаду Ленинграда и уничтожил вражеский транспорт «Хелена». По давней традиции за потопленный корабль противника подводникам на берегу подносили жареного поросенка. Сколько их получил Маринеско! Но надо было видеть, как он это делал...

Ветераны-подводники рассказывали мне, какое удовольствие доставляло всем на берегу возвращение из похода лодки С-13. Маринеско сходил на берег, на ходу снимая с рук краги и бросая их по одной назад, через плечо. За ним шагал матрос, подставляя пустое ведро под летящую крагу. Тоже особый шик — перед тем, как принять поросенка. Имел право.

Герой — он везде герой. В ночь под новый, 1945 год Маринеско сошел на берег в финском порту Турку и отправился с товарищем в ресторан. Стол на шесть

персон, хотя их двое, — гулять так гулять! Хозяйкой ресторана оказалась молодая шведка и, наверно, хорошенькая, да и ему всего 32 года. Двое суток провел он с этой шведкой. Приходил ее жених, но русский моряк прогнал его, прибежал посыльный с лодки, звал скорей вернуться, но и ему от ворот поворот. Вот так.

На третьи сутки вернулся на базу. ЧП. Загул в иностранном порту в военное время. Хотели судить, но решили, что такого командира лучше оставить в боевом строю — пусть топит фашистов и тем искупает вину.

И 30 января 1945 года экипаж подводной лодки С-13 под командованием капитана III ранга А. И. Маринеско потопил крупнейший немецкий лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением более 20 тысяч тонн с 8700 гитлеровцами на борту, среди которых было 3700 подводников.

Как после Сталинграда, Гитлер объявил трехдневный траур по всей Германии и назвал Маринеско врагом рейха номер один и своим личным врагом. «Густлов» был любимым кораблем Гитлера. Он спустил его на воду, на нем он хотел отпраздновать победу в войне. Это был корабль для знати — с бассейнами, зимним садом, гимнастическими и танцевальными залами... Погибла германская элита, весь цвет подводного флота. Маринеско лишил рейх почти ста экипажей подводных лодок! К тому же 30 января — годовщина прихода Гитлера к власти. Хороший подарок...

«Густлов», вышедший из Данцига, охраняли мощные корабли сопровождения. Однако Маринеско предпринял нелогичный маневр, бесшумно подкравшись со стороны берега, откуда потом уйти почти невозможно. Три торпеды врезались в «Густлов». 240 глубинных бомб тут же обрушились на лодку С-13, но, лавируя, она ушла от преследователей.

«Беспримерный подвиг, равного которому не знает история морских войн», — так оценил атаку Маринеско на «Густлова» Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков.

Но это не все. На обратном пути Маринеско топил вспомогательный крейсер «Генерал Штойбен» водоизмещением 14600 тонн с тремя тысячами солдат на борту и многочисленной техникой. Так наш моряк искупил свою вину...

В это время в Ялте заседали руководители антигитлеровской коалиции. Рузвельт и Черчилль просили Сталина поскорее занять Данциг. Адмирал Кузнецов пишет: «В тот день мы еще не знали, что советская подводная лодка С-13 под командованием А. И. Маринеско потопила огромный немецкий лайнер «Вильгельм Густлов», а чуть позже — транспорт «Генерал Штойбен»».

За этот поход Маринеско был награжден орденом Красного Знамени. Высокий, уважаемый орден, но, что говорить, совершивший подобный подвиг был бы немедленно удостоен звания Героя. Подвиг Маринеско обошли молчанием. Адмирал Н. Г. Кузнецов скажет по этому поводу: «История знает немало случаев, когда геройские подвиги, совершенные на поле брани, долгое время остаются в тени, и только потомки оценивают их по заслугам».

...Маринеско не ладил с начальством, и после войны человек с таким характером оказался не нужен на флоте. В 1945 году его понижают в звании, переводят на тральщик, он подает рапорт о демобилизации и пытается устроиться в торговый флот — до войны он плавал на торговых судах. Но и тут ему не повезло: ничтожный дефект зрения, на который всю войну никто не обращал внимания, не позволил Александру Ивановичу продолжить морскую биографию. Великий подводник стал работать завхозом в Ленинграде. Вскоре его окрутили мошенники и подвели под статью. Три года Колымы. Исключение из партии. Но партбилет не отдал. В лагере он оказался с бывшими карателями, полицией и просто «блатышами», которые пытались поиздеваться над морским офицером, но он сколотил вокруг себя группу матросов, признавших в нем боевого командира...

Отбыв срок, он вернулся в Ленинград, стал работать на заводе, восстановился в партии. Сослуживцы даже не подозревали о его фронтовых заслугах. Он стал болеть и жил очень бедно. Об этом узнал адмирал И. С. Исаков и каждый месяц из своей пенсии стал посылать ему по сто рублей, добился пересмотра его дела и восстановления в звании капитана III ранга. Но жить ему оставалось мало. Иногда он приезжал на

встречи ветеранов, и было забываемо, когда молодые подводники в Кронштадте преподнесли ему традиционного поросенка.

А вот еще минуты радости. Ветераны построились для прохождения торжественным маршем. Впереди — колонна Героев Советского Союза. Александр Иванович в пиджаке с привинченным орденом Ленина стоял позади, в общей колонне. Его узнали, и народ, собравшийся на площади, стал скандировать:

— Ма-ри-не-ско! Ма-ри-не-ско!

Люди требовали, чтобы он возглавил колонну Героев. Это была высшая почесть, доставшаяся ему при жизни.

Он умер в 1963 году, прожив всего 50 лет.

Над Балтикой
отчетливо и резко,
над пеленой баталий,
над волной
плывет морское имя —
Маринеско,
как силуэт подлодки голубой.
И сумрак славы
ленточкой струится
с далекой,
исчезающей кормы,
трепещет флаг,
как пойманная птица,
и волны —
как молдавские холмы.

...Я часто думал, когда же восторжествует справедливость, как будто это меня должны наградить. Я понимал: ему-то теперь все равно. И все-таки дрогнуло что-то внутри, когда в 1990 году я прочитал Указ о присвоении звания Героя Советского Союза, где среди нескольких фамилий, «забытых» в свое время, значилось: «...Маринеско Александру Ивановичу (посмертно)».

...Он похоронен в Ленинграде, сын Молдавии и России, Герой Советского Союза, герой страны, которой нет, но которая будет всегда, потому что дала таких героев.

СОЛДАТ ЩЕРБИНА

Много лет знаю Николая Васильевича Щербину, скромного труженика, доброго, душевного человека. Из того, что я не раз слышал от него, поведаю два эпизода — один военный, другой послевоенный, потому что жизнь еще только начиналась: в 1945-м Николаю было только 18 лет. А пошел он на фронт в августе 1941-го из родного села Веселинова, что на Одессине. И было солдату всего 14 лет...

— Девятого мая праздник для ветеранов, — говорит Николай Васильевич. — Они помрут, и праздник прекратится. — И добавляет с болью, которая многих не покидает сейчас. — Были почетными гражданами Берлина Жуков, Чуйков, Берзарин. Их лишили теперь этого звания, зато присвоили Горбачеву. Не позор ли это? Я почетный гражданин молдавского села. Может, и меня лишат такой чести? Видишь, что происходит в Молдавии!

Николай Васильевич каждый год ездит на «свой», молдавский плацдарм, встречается с однополчанами. Был и я на том живописном днестровском берегу. Там 17 апреля 1944 года наши перешли в наступление. Николай Щербина был уже сержантом, помощником командира взвода, и ему, семнадцатилетнему, подчинялись солдаты, среди которых одному было 42 года, другому — 46...

— В моем взводе убили на переправе командира, — говорит он. — Одиннадцать человек звание Героя получили в том бою. Там памятник стоит, где мы пробились.

— Про колодец расскажи, Николай Васильевич, — напоминаю я.

— Там не колодец, там ручей. Молдаване сделали выемку, раковину, как корыто, чтоб вода текла... Мы копали окопы. Немцы не стреляют, когда мы копаем, и мы не стреляем, когда они копают. А пить хочется. Я взял термос литров на десять и первым пошел к ручью. Только налил два котелка — навстречу немец, тоже с термосом. И оба мы без оружия, чтоб воду, значит, легче тащить было. Суворов говорил, что в походе и иголка тяжела... Так вот, только я налил два котелка воды, тут он передо мной.

— Рус, ком, ком! — пальцем поманил. Я такой простодушный, иду, думаю: «Может, он на нашу сторону хочет перейти...» Подошел я. Он мне как врежет! Я отлетел, встал. А он снова:

— Рус, ком, ком!

Я снова подошел, он опять как даст! И мы пошли на драку. Он мне как вье...т — до сих пор шишка на груди! Я потерял сознание. Он хотел меня сапогом добить. Но когда подошел, я очнулся, и только он ногу поднял, я его за ногу как хапану зубами! Он рукой попытался, а я еще раз изо всех сил укусил его, и он упал в яму — там рядом яма была. Но под рукой ни одного камня, только ил. Я закидал его илом, схватил своей термос и убежал. Пришел к своим. Вызвал меня заместитель командира дивизии по политчасти и говорит:

— Николай, мы тебе подберем людей, пойдешь за «языком». Без «языка» не возвращайтесь!

Отправилось нас семнадцать человек, из них пятеро должны были непосредственно брать «языка», остальные — отвлекающая группа, саперы, санинструктор...

— Кто идет?

— «Звездочка».

— Проходи.

Начало смеркаться. Увидели в сумерках: семеро немцев идут на нашу территорию, как потом выяснилось, тоже за «языком». Мы залегли, травкой прикрылись. Атаковали первыми, и все решила внезапность нападения. Четверых немцев убили, одного ранили, захватили в плен немца и румына — там немецкая и румынская армии стояли. Здоровенный немец попался, Мишка Одинцов его прикладом стукнул, иначе схватить не могли. В штаб доставили. Он упирается, ничего рассказывать не хочет. «Покажите,

кто меня взял!» — говорит. Чемпион по боксу оказался.

Вызвали в штаб Одинцова и меня. Я как глянул: это ж мой немец у ручья! И он меня сразу узнал. «Камерад!» — кричит. И все рассказал: как мы с ним дрались, оба без оружия... Тут-то мне и влетело от замполита, почему пошел за водой без автомата...

Но все ж наградили меня орденом Красной Звезды. Всех ребят из нашей группы наградили — кого орденом Славы, кого медалью «За отвагу»... А орден Славы я получил раньше — за Днепр. Лично Жуков вручал! — с гордостью отмечает Николай Васильевич. — Но я тебе скажу, что на Днестре было потрудней, чем на Днепре. Днепр с ходу форсировали, а на Днестре были еще страшной бои. Мы друг у друга адреса переписали: погибнешь — напишу тебе домой или ты моим напишешь.

После войны Николай Щербина стал строителем.

— Кунцево тогда еще не входило в Москву, — говорит он. — Первым секретарем кунцевского горкома партии был Евгений Иванович Налоев. Сталин у него на партийном учете стоял. Потом взял его в ЦК. А я в это время работал в кунцевской правительственной больнице, сделал там три комнаты с экранами от ядерных излучений на случай новой войны. Брала мы медные щиты и загибали их, как кровлю делают, обшивая стены, пол, потолок. Руководил нами Городецкий. Он потом вызвал меня и сказал:

— Будешь работать в Волынском на даче товарища Сталина. Но об этом никто не знает, кроме Налоева. Если кому скажешь — голова с плеч!

Отобрали туда сперва сто восемьдесят рабочих, потом сократили до ста двадцати. На сталинской даче мы тоже делали экранную защиту, но только в одной комнате. Так же обшили ее медными щитами, сверху припаяли медную сетку и покрыли поверх сетки штукатуркой, смешанной с бронзовой краской. Из комнаты получилась коробка. За стеной выкопали яму метра три глубиной, припаяли к медным щитам кабель и вывели его на медный колун, опущенный в эту яму, засыпали землей — сделали заземление. Хорошие были мастера. Сварщик Саша Гусев у меня работал, позже стал Героем Социалистического Труда... С повара Сталина Александром Ивановичем Веселовым

я там познакомился... Два дня работали. Когда все сделали, начальник смены мне сказал:

— Товарищ Сталин сейчас болеет, но хотел бы с тобой поговорить.

Это было 22 октября 1952 года. Иду, переживаю, конечно. Слышу:

— Заходите, заходите.

Он в шинели, в валенках.

— Почему же ты в дом не завел человека? Угостил бы его! — говорит он повару. Заводит меня в комнату, наливает коньяку стопку и себе маленькую рюмочку: — За хорошую работу!

А я уже осмелел:

— За вас можно выпить, товарищ Сталин?

Выпили. Он еще наливает. Я ему говорю:

— Я на работу должен приехать, товарищ Сталин.

— Зачем сегодня на работу? Запиши телефон, приедешь на работу, скажи начальству, пусть позвонят по этому телефону.

Машину подали — «ЗИС». Александр Иванович выносит коробку — в ней три бутылки коньяку, две бутылки вина, одна бутылка водки и четыре лимона. Все. (У Сталина росли свои лимоны на даче, и он очень ими гордился. Об этом мне говорили В. М. Молотов и А. И. Мгеладзе. — Ф. Ч.).

А перед новым, 1953 годом меня пригласил Евгений Иванович Налоев и вручил красный пригласительный билет на новогодний прием в Кремль.

Я приехал в Кремль, видел всех членов Политбюро и снова Сталина. В Георгиевском зале меня за самый дальний стол посадили. Выпил и закусил неплохо. Подходит человек в сером костюме:

— Николай Васильевич, пора ехать домой.

Выхожу — машина стоит, и в ней опять коробка, в которую на сей раз положили две бутылки коньяку, две «Столичной», три банки красной икры, трехсотграммовая баночка черной, ветчина, шоколад и, конечно, лимоны... Отвезли меня домой в Измайлово...

...В разное время мне довелось беседовать с маршалом Жуковым и отставным сержантом Щербиной. Оба солдата, оба воевали за Россию, оба не дрогнули перед врагом.

«ТРИЖДЫ ПОКРЫШКИН СССР»

Мне присылает открытки их Техаса американский летчик, с которым и познакомился в Анголе, — симпатичный и, как я думаю, душевный парень. Он собирает фотографии выдающихся авиаторов разных стран. Я открылся ему, что знал немало советских пилотов высокого ранга, и послал несколько снимков. Американец ответил мне из своего Техаса картонной бандеролью с любопытной книгой. Чуть не полгода добиралась она до Москвы, но ее, видать, непростая даже в эпоху «илов» и «боингов» одиссея стоила того: я держу в руках роскошное издание о советской авиации в годы второй мировой войны. Текст и снимки, многие из которых вижу впервые. Кое-где мой друг сделал закладки и пометил: «Это твои знакомые».

Вспомнив изучаемый некогда в школе и институте английский язык и положив рядом словарь, я постигал эту книгу. В одной из глав повествовалось о внезапном ударе германских военно-воздушных сил по советским аэродромам 22 июня 1941 года. Уничтожены сотни и сотни советских самолетов в один день, из них большая часть сожжена на земле. Однако 322 наши машины были сбиты в воздушных боях. Немецкие потери — 35 самолетов...

В книге это объясняется не тем, что многие наши самолеты были устаревшими, а неправильной тактикой ведения воздушного боя, применяемой Советскими ВВС. Она губительно господствовала до тех пор, пишет автор, пока русский старший лейтенант не избрал новые приемы, которые изменили ситуацию в небе в пользу русских. У него появилось более сотни

последователей, ставших настоящими асами. Его звали Александр Покрышкин.

В книге помещена фотография с такой надписью: «Возвратившийся со «свободной охоты» на войне советский ас полковник Александр Покрышкин в окружении других офицеров. Звезды на покрышкинской «Аэрокобре Р-39», построенной в США, означают 55 его побед».

Американцы не упустили случая подчеркнуть, что советский летчик воевал на их машине. Известно также, что президент Рузвельт наградил Покрышкина Золотой медалью Конгресса США и назвал его лучшим летчиком мира...

А у меня в детстве был другой снимок легендарного аса. В поселке Рышкановка под Кишиневом в синей молдавской мазанке тусклый свет низкого оконца полировал круглую лакированную рамку, на которую мама приклеила вырезанные из фронтовой листовки «Прочитай, передай товарищу!» изображения трех геройских звезд, обвитых лавром. Сам Покрышкин был незастеклен и не отсвечивал, а все время гордо смотрел вверх, сквозь потолок, в небо.

Что бы сейчас ни говорили, то было время героев, а талантливые «себе на уме» и «чего изволите» объявились для меня гораздо позже. Позже тех дней и вечеров на земле Молдавии. Как я потом узнал, в молдавском небе Покрышкин уже на второй день войны «завалил» первый фашистский самолет, а вскоре и сам был сбит.

С Александром Ивановичем я познакомился в зале Кремля на XVII съезде комсомола. Подошел, подарил ему свою книжку, где были стихи о героях России, о нем:

А кто они были, а кто они были?
Такие же люди, любили и пили...

— Мало пили. Некогда было пить на фронте, — сказал Покрышкин.

И мне стало неловко за свои наивные строки.

А через два года, в 1976-м, мы уже говорили как старые знакомые.

— Ты позвони мне и приезжай в Тушино, вместе полетаем, — сказал немногословный Покрышкин. В ту пору он руководил нашим ДОСААФом. А я все соби-

рался и откладывал: то дела, то просто внутреннее стеснение. Со многими неслабыми летчиками доводилось мне посидеть рядышком и за штурвалом, но летать с самим Покрышкиным! Дооткладывался...

Не такой у меня характер, чтобы о чем-то жалеть, но вот это не могу себе простить.

Когда он ушел на пенсию, мы еще не раз встречались — и на даче в Жуковке, и в гостях у его соседа по даче В. М. Молотова. Об одной из таких встреч я хочу рассказать подробнее. Было это 19 мая 1984 года.

На веранде рядом с Молотовым Александр Иванович Покрышкин и его жена Мария Кузьминична. Сели за стол обедать. Сперва было налито сухое вино. Покрышкин поморщился. Появился коньяк. Покрышкин смотрит групповой снимок летчиков-героев.

— Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Дзузов умер. Братья Глинки. Обоих нет. Этот здоровый, пил, курил... А этот не пил и не курил — рак.

— Я ведь тоже на фронте была всю войну! — говорит Мария Кузьминична. — Так что перед вами гвардии рядовой... Нет, сержант я, сержант — в высоком звании.

— А что, — говорит Молотов, — у солдат каждое звание имеет очень большое значение. Здоровье как? — спрашивает он у Покрышкина.

— Да война, знаете...

— У него спина болит, — отвечает за мужа Мария Кузьминична, — потому что во время войны его сбивали, он же падал прямо в лес с самолетом, у него поврежден позвоночник. А потом он перенес две очень тяжелые операции. Мы на Покровского молимся. Врачи сказали, что это война.

— Ты стреляешь, по тебе стреляют. Перегрузки большие. Сознание теряешь. Так четыре года, — кратко поясняет Покрышкин.

— С первого до последнего дня! — добавляет Мария Кузьминична.

Спрашиваю у Покрышкина о воздушных боях.

— Зафиксированных боевых вылетов у меня около семисот. Воздушных боев больше полутораста.

— И пятьдесят девять самолетов сбили лично, — добавляю я.

— Ну это засчитанных. Был приказ в сорок первом году: засчитывать, когда наши пехотинцы подтвер-

дят. Потом фотокинопулемет. Что, немцы нам подтвердят?

— А сколько всего вы сбили?

— По памяти — сбил девяносто машин, — говорит Покрышкин. Официально — пятьдесят девять, а остальные ушли в счет войны...

Зашла речь о тех, кто руководил войной. Покрышкин сказал:

— Я выращен Сталиным и считаю, что, если бы во время войны нами руководили слабые люди, мы бы войну проиграли. Только сила, ум помогли в такой обстановке устоять. — К Молотову: — Это вы сделали. И внесли большой вклад. Всегда мы вас ценили...

— Я никогда не был в Гори, — продолжал Покрышкин. — Приехали в воскресенье. Музей закрыт. Для меня открыли. Я, конечно, ожидал большего. Посмотрел все, в том числе и комнату с подарками Иосифу Виссарионовичу в день 70-летия. Я был членом комиссии, помню совещания по проведению 70-летия, участвовал, когда принимали подарки со всего мира...

Дали книгу отзывов. Я пишу: «Преклоняюсь перед величием революционера, вождя, под руководством которого мы строили социализм и разгромили немецкий фашизм». Коротко. Летчики-истребители коротко говорят.

Прилетел в Москву, вызывают в ЦК: «Что вы написали, вы понимаете?!» — «Что чувствовал, то и написал».

Мария Кузьминична рассказывает:

— Как-то раз Александр Иванович вылетел в Новосибирск, в свой родной город, решил остановиться в гостинице, потому что родственников там пол-Новосибирска...

— Пролет делал, — разговорился Покрышкин. — В 1959 году. Из Бурятии летел. Знаю, если объявлюсь, схватят, и пошло по заводам. А у меня всего два дня. Решил инкогнито. Прилетел, начальника аэропорта там знал, взял машину, поехали в город, в гостиницу. На мне форма. К окошку подхожу: «Может быть, какая бронь есть?» — «Поезжайте на Красный проспект, там наверняка есть». Приезжаю. Мест нет. «Пригласите администратора». Помялась немного, пошла, позвала. Выходит — лет 40 с чем-то: «Вам же сказали, что мест нет!»

Я говорю: «Что же мне, под своим бюстом спать?»

— Ах, Александр Иванович?! Мы для вас...

Сразу люкс. Потом пять лет не прилетал. Секретарь обкома звонит. «Не прилечу. Если в городе так плохо относятся к военным, не хочу. Это же безобразие».

...Покрышкин в сером пиджаке, кремовой рубашке. Огромный, как шкаф — да простится мне такое сравнение. Илья Муромец военного русского неба, первый наш трижды Герой, маршал авиации. Единственный летчик, о котором враг предупреждал своих по радио: «Внимание! Ас Покрышкин в воздухе!»

Немцы знали и боялись этого сибиряка. В одной из своих «авиационных» поэм я применил это предупреждение к вымышленному персонажу, собирательному образу героя-летчика. И получил письмо от Марии Кузьминичны Покрышкиной — Александра Ивановича уже не было. «За всю войну, — пишет она, — за всю войну ничего подобного не говорилось ни о ком из советских летчиков, кроме одного. Только: «Ахтунг! Покрышкин!»

У вас в «Крылатой книге», — продолжает Мария Кузьминична, — есть фотография, которую я раньше никогда не видела: Александр Иванович что-то пишет на плоскости своей «Кобры», а два его дружка за ним наблюдают и лукаво улыбаются. А ведь это он мне письмо пишет!»

Помню Покрышкина на молодежном фестивале в Берлине в 1973 году. Там я написал о нем такое стихотворение:

Идет по Берлину Покрышкин,
могучий, как русский народ,
и сотни улыбок, как вспышки,
во всех своих звездах несет...

— Я боялась, — говорит Мария Кузьминична, — когда его приглашали в ГДР, — ведь он лично столько немецких асов перебил — целую дивизию! Найдется еще какой-нибудь фанатик...

...Я стою в почетном карауле у его гроба и думаю о том, что всего каких-нибудь четыре десятилетия назад его противники многое бы дали, чтобы увидеть его вот так...

О сколько их его мечтали сбить?
На фронте не сумели победить.
Недвижен, отработал, как металл,
который хорошо повоевал...

На похоронах говорили, какой он был боец, какой человек. Вспомнили его формулу боя: «Высота — скорость — маневр — огонь» — и, конечно, то, что в войну с ним рядом не погиб ни один из его ведомых. Может быть, это выше всех его наград — и наших Золотых Звезд, и американской Золотой медали. Думалось, что придет на похороны представитель из посольства в Москве или венок пришлют хотя бы, но американцам тоже свойственно забывать даже таких Героев...

Зато пришел Иван Никитич Кожедуб. Не часто видели их вместе, особенно в последние годы. Два трижды Героя, два Богом данных нашему небу летчика-истребителя. Не буду повторять обывательские разговоры, а скажу то, что сам видел и слышал. Кожедуб собирался выступить на панихиде по бумажке, стоял, разбирал текст, потом махнул рукой, сунул «правильную» речь в карман шинели и сказал:

— Прощай, дорогой Александр Иванович! Прощай, крылатый рыцарь неба! Мы все учились у тебя...

Подошел к гробу и поцеловал в лоб.

Надо сказать, умер Покрышкин в неудачное время: наших руководителей раздражала борьба с алкоголизмом, и сидевшие за поминальными столами робко поглядывали то на нетронутое «Цинандали», то на главных запретителей за главным столом. Однако не выдержали боевые асы — хоть слабым вином, да помянули народного героя.

Когда я смотрел на него живого, казалось мне, что в нем поселилась спокойная, богатырская русская уверенность. Ни фотографии, ни скульптурные изображения не передают сполна его могучий облик. Такой былинный богатырь, казалось, должен был жить вечно, и сносу ему никогда не будет.

И мне жаль, что так и не решился позвонить ему тогда. А ведь мог бы полетать с Покрышкиным...

«Трижды Покрышкин СССР», — слышал я от одного школьника.

...Совсем недавно Мария Кузьминична поведала мне об интересном факте. Туристы из Германии,

прочитав фамилию летчика на Новодевичьем кладбище, вздрогнули и вспомнили вслух: «Ахтунг, Покрышкин!»

Р. С. Я прочитал интересную статью в журнале «Чудеса и приключения» «Загадка успеха воздушных асов», где сравниваются наши и немецкие летчики-истребители второй мировой. Хартман сбил 352 самолета, Баркгорн — 301, Новотны — 258, а лучшие наши асы — Кожедуб — 62 самолета, Покрышкин — 59, Гулаев — 57... Однако надо признать, что некоторые наши знаменитые истребители «раздавали» свои сбитые самолеты ведомым, если, скажем, ведомому не хватало количества сбитых для получения звания Героя. Среди тех, кто помог своим ведомым, молва называла имена Покрышкина, Амет-хана, Евстигнеева, Лавриненкова, Ворожейкина и других. Один дважды Герой мне прямо сказал:

— Я же не знал, что, оказывается, и третьей Звездой могут наградить, и раздал несколько своих сбитых друзьям.

Известный испытатель, Герой СССР, «один из Коккинаки», Константин Константинович, признался мне, что, когда в 1941 году он принял полк погибшего Степана Супруна, решили представить Супруна по-смертно ко второй Золотой Звезде, но недоставало сбитых самолетов: «мы с ребятами сложили сбитых противников и записали на счет Сени Супруна, который, конечно же, достоин звания дважды Героя, но надо было соблюсти формальность...»

И все же, даже если добавить эти неучтенные сбитые самолеты и считать, что тот же Покрышкин реально сбил не 59 официальных, а около сотни вражеских самолетов, о чем знал Сталин, и потому Александр Иванович стал первым в стране трижды Героем, все равно показатели германских пилотов значительно выше. Но справедливость заключается в том, что наши асы провели в несколько раз меньше воздушных боев, чем немцы. Так, у Хартмана — 825 боев, у Кожедуба — 120, и если разделить количество сбитых самолетов на число боев, то получится, что коэффициент эффективности у Кожедуба выше, чем у Хартмана. У Покрышкина он примерно равен коэффициенту гер-

манского аса Новотны, но надо учесть, что Александр Иванович в последний период войны уже командовал авиационной дивизией, и самому летать на боевые задания ему приходилось значительно реже. Справедливо отмечает автор американской книги, о которой я упоминал вначале, что Покрышкин мог сбить «больше или меньше, но это не имело столь решающего значения».

Думается, в конце войны наши асы по мастерству равнялись немецким, а такие, как Покрышкин и Кожедуб, их превосходили.

В детстве я спрашивал у своего отца, «сталинского сокола» второй мировой, какие национальности дали лучших летчиков. Он ответил:

— Немцы, японцы и татары.

Вот так. Как ни крути, а каждая нация имеет свои особенности, и у некоторых народов летчиков получается мало — в этом я убеждался на учебных аэродромах. Сам русский, мой отец в своем ответе не назвал русских, но это, безусловно, подразумевалось, ибо фотография Александра Ивановича Покрышкина висела у нас в доме...

О ГАГАРИНЕ

Все кажется, что он не погиб, что где-то рядом, только очень занят и, когда освободится, его можно будет увидеть. И тогда разум подсказывает, что было страшное 27 марта 1968 года, что время идет, память может потускнеть, и на мне, как и на каждом, кто знал его, лежит обязанность воскресить и оставить для людей проведенные с ним минуты, рассказать то, что говорил он сам, что довелось услышать от его друзей.

Не раз эта память и боль выливались у меня в стихотворные строки, но многое еще осталось недосказанным.

Каким он был?

Все больше искажений.

Меняются и голос, и черты,
и на холстах его изображений
все больше деловитой простоты.
И памятники кажутся манерней...

Что памятники! Имя на века.

И все ж: «Как хорошо, что я не первый», —
сказал, держа ладонь у козырька
Титов, когда слетело покрывало
под небом нестареющих цветов,
и то, что современникам предстало,
себе нежданно высказал Титов...

Каким он был?

Но только не угрюмым.

Да разве можем знать,
каким он был!

Он сам себя еще не допридумал,
свои черты еще не долепил.

Каким он был? Если бы меня попросили назвать основное в нем, я ответил бы так: посидишь с ним минут десять и забываешь, что рядом с тобой живой Гагарин, человек, который нес на своих плечах такую

славу, какой не было, не ошибусь, ни у кого их живых за всю историю нашей планеты. Наверно, непросто нести ее, такую всемирную. «Я от нее вспотел, — говорил он. — Столько лет в метро не ездил! И охота, да боюсь: сразу узнают».

Обычно говорят о его простоте. Да, он был скромн в своих родителей — Анну Тимофеевну и Алексея Ивановича, и все-таки он не был простым человеком — хотя бы потому, что был талантлив. Не зря Сергей Павлович Королев говорил, что при достаточном образовании из него получится крупный ученый. И он много учился и за несколько дней до гибели окончил Военно-воздушную инженерную академию, знаменитую «Жуковку».

Природа, наделив его многими хорошими качествами, дала и дипломатическую жилку. Сколько доброго он сделал для Родины за рубежом уже после того, как своим подвигом обратил внимание к нашей стране даже тех, кто почти ничего не знал об СССР. Он подружил с нами целые государства и народы. Семь лет его невероятной славы и около тридцати стран, которые он посетил, были не только для того, чтобы мир посмотреть и себя показать, хотя и это имело значение. Не было у нас дипломатических отношений с Бразилией — послали не государственного деятеля, не дипломата, а первого космонавта. Когда Гагарин вышел из самолета и сел в машину, тысячи жителей бразильской столицы подняли автомобиль с ним и несли на руках до президентского дворца. После этого визита наши страны обменялись послами.

Он умел говорить и с неграмотным африканцем, и с британской королевой. Ее величество принимала его не просто в своем дворце, а в зале для особо почетных гостей, в котором из представителей нашей страны, если взять в историческом плане Россию, были только двое: один из русских императоров и первый космонавт... За стол сели трое: Гагарин, королева и переводчик. У каждого по одну руку — шестнадцать вилок, по другую — столько же ножей. Какой тут вилок, каким ножом чего брать? «Ладно, — решил он, — посмотрю, что королева будет делать, то и сам». А она, как назло, не начинает есть, ведет светскую беседу. А гостя целый день возили, нигде не кормили, и он говорит:

— Ваше Величество, вы меня извините, но я простой летчик, отец у меня рабочий, мать — крестьянка, я никогда раньше не был в королевском дворце, впервые в жизни сижу рядом с королевой Великобритании и не знаю, какой тут вилок чего брать...

Елизавета улыбнулась.

— Мистер Гагарин, я родилась в этом дворце, выросла здесь и живу и тоже не знаю, какой вилок, каким ножом...

— Ну, тогда давайте будем пробовать все подряд! — «И я ей по-русски всего наложил в тарелку, ей так понравилось!» — рассказывал Юрий Алексеевич. Он умел запросто и естественно выходить из самых щекотливых положений. А ведь в любой стране за ним ходили толпы корреспондентов, каждый шаг его отражался в прессе — куда пошел, в какой магазин, чего купил, сколько денег потратил.. Вспомнить хотя бы случай в Японии, когда он приобрел своим дочкам красивые куклы, а вечером, на пресс-конференции, ему задают вопрос:

— Господин Гагарин, вы сегодня купили японские куклы. Неужели детей первого в мире космонавта Советское правительство не может обеспечить даже хорошими игрушками?

— Вот видите, — огорченно сказал Гагарин, — завтра об этом напишут все газеты, а мне хотелось сделать сюрприз своим дочкам.

Были среди зарубежных репортеров и такие, что пытались показать его с какой-то неприглядной стороны, умалить значение его подвига. Один американец договорился до того, что надо-де еще проверить, были ли на самом деле Гагарин в космосе, может, русские все это придумали... Однако то, что связано с космосом, при нынешней технике не придумаешь и не скроешь. Не зря, когда наши запустили очередной спутник и он передавал русские народные песни, на Западе всполошились: уж не запустили ли мы на орбиту хор Пятницкого?

В Англии Гагарина попросили выступить по телевидению, причем в штатском костюме:

— Вы теперь принадлежите не только своей стране, вы — гражданин Вселенной. Вы совершили такой подвиг, который не забудется, куда будет жить планета, вы побывали выше всех людей Земли, ваша дальней-

шая работа не имеет значения для человечества. Даже непонятно, зачем вы служите, летаете, носите эту военную форму...

— Я приду на выступление в военной форме, — ответил Гагарин, — потому что я офицер Советских Военно-Воздушных Сил и горжусь, что меня воспитала советская авиация. Да, я действительно побывал выше всех людей нашей планеты, я видел такую красоту, которую до меня никто не видел, но дело не в том, что я побывал так высоко, а в том, КТО и ЧТО меня туда подняли!

На другой день английские газеты поместили фотографии Гагарина под огромным заголовком: «КТО и ЧТО».

В Англии ему запомнился еще один очень торжественный прием, когда у входа в зал стояла женщина с детской коляской и он спросил:

— Наверно, не с кем было оставить малыша?

— Нет, я это сделала специально, чтобы, когда он вырастет, сказать, что он видел первого человека, покоровшего космос.

«Где вы нашли парня с такой рабоче-крестьянской биографией, с такой аристократической фамилией и с такой невероятной улыбкой?» — спрашивали за рубежом.

«У нас много таких», — хотелось ответить. И все-таки...

— Ты знаешь космонавтов, — как-то сказал мне Борис Алексеевич Гагарин. — Но правда же, Юрка лучше всех, и не потому, что мой брат!

И не возразишь. Каждый из них по-своему хорош, и все же первого определили безошибочно.

У комиссии был большой выбор: три с половиной тысячи кандидатов! Обязательные условия — все войсковые летчики, все добровольцы. К тому же вес не должен превышать 68 кг. Все наши первые космонавты были невысокого роста. Отобрали 100 человек, а в первый отряд из них зачислили 20. Из этой двадцатки наиболее подготовленными к первому полету в космос оказались шесть. Но из шести полететь должен был все-таки один, и 8 апреля 1961 года первым был назван Гагарин, а 10 апреля его утвердила Государственная комиссия.

Наверно, это было оговорено заранее, но, когда генерал Каманин докладывал о том, что в качестве

кандидата на первый космический полет представляется военный летчик (а все шестеро присутствуют здесь, все военные летчики), старший лейтенант Советской Армии (а они все старшие лейтенанты), в это время Королев на листе бумаги большими буквами написал «ГАГАРИН» и показал Каманину.

«А знаете, почему после собак решили послать в космос офицера? — подмигивал Гагарин друзьям. И сам отвечал: — Да потому, что офицерская жизнь наиболее похожа на собачью».

Космонавт Владислав Волков рассказывал, что есть в отряде традиция: когда космонавты едут на старт, автобус останавливается за полкилометра до ракеты, и ребята тайком от врачей закуривают. Начальство сначала пыталось возражать, но потом смирилось, ибо впервые на этом месте 12 апреля 1961 года остановился старший лейтенант Гагарин, чтобы через несколько минут занять место в космическом корабле.

Военные, встретившие его после приземления, называли «товарищ майор». Он удивлялся, не зная, что министром обороны уже подписан приказ. Необычен этот документ, проникновенные в нем слова и хочется привести его здесь:

«ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР № 77

12 апреля 1961 г. Г. Москва.

Космонавт Военно-Воздушных Сил старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется на корабле-спутнике в космическое пространство, чтобы первым проложить путь человека в космос, совершить беспрецедентный героический подвиг и прославить навеки нашу Советскую Родину.

Приказываю: в соответствии с положением о прохождении воинской службы офицерами, генералами и адмиралами Советской Армии и Военно-Морского Флота старшему лейтенанту Гагарину Юрию Алексеевичу присвоить внеочередное воинское звание майора.

Приказ объявить всему личному составу Вооруженных Сил СССР.

Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза
Р. Малиновский».

Это была самая первая награда Гагарину за его подвиг. На приказе, в левом верхнем углу, резолюция: «Каманину. Проверьте, объявлен ли этот приказ т. Гагарину. 18.04.61 г.» И подпись соответствующего начальника. Это по-русски. 12 апреля Гагарин побывал в космосе, 14-го он стоял в майорских погонах на Мавзолее, а 18-го «проверьте, объявлен ли этот приказ...»

Что творилось в Москве 14 апреля! Он не ожидал такого торжества. Я спрашивал у его брата Бориса, знал ли кто из родственников, что Юра полетит в космос.

— Даже отец и мать не знали. Отцу на переправе сказали об этом, а он в ответ: «Ты ерунду не пори, а давай лучше на том берегу по маленькой». Мать дома работала. Никто не знал. А я знал!

— Откуда?

— Он прислал матери письмо, просил приехать к нему. Мы были у него в марте 1961 года. Приехали в Москву в «Детский мир» купить костюм моей дочке. Вышли из магазина, у тротуара стоит черная «Волга». Я спрашиваю: «Юра, а у тебя скоро такая будет?» «Скоро», — сказал он и посмотрел на небо. «А денег где возьмешь?» — спрашиваю. «Тут одно дело предстоит, — отвечает он, — если все удачно обойдется, отломится мне на «Москвича», будем на рыбалку ездить!»

Этот искренний человек нисколько не рисовался. Он как бы сам до конца не понимал значения своего подвига — не то чтобы не понимал, но относился к нему как к важному и нелегкому делу, а не как к грядущей славе и ее атрибутам.

Я читал его письмо к матери от 13 февраля 1961 года. Он переживает за Валю, которой скоро рожать, просит привезти кое-что по хозяйству и две подушки, а то им с Валею не на чем спать, а главное, скорей самой приехать, — возможно, впереди у него будут такие дела, что свидеться больше не придется...

Никто не мог гарантировать, что он останется жив. До него запускали корабли с манекенами, но стопроцентной уверенности быть не могло. Можно продублировать систему, но не человека. К тому же в мае 1960 года первый пробный тяжелый спутник вместо торможения пошел вверх... Правда, второй, с соба-

ками, слетал нормально, но третий взорвался, а четвертый упал в Подкаменную Тунгуску и разбился. Таким образом, к марту 1961 года счет был 1:3 не в нашу пользу.

Взяло верх мужество Королева. Он решился на запуск человека и сказал в Центральном Комитете:

— Гарантировать я ничего не могу, но мы сделаем все.

Ему разрешили провести еще два зачетных пуска с манекенами. 9 и 27 марта две машины выполнили свои задачи, и предварительный счет побед и неудач сравнялся — 3:3. На втором запуске присутствовала вся шестерка космонавтов. А 11 апреля, когда ракету вывели на старт, Королев предложил устроить встречу первого космонавта и его дублера со стартовой командой:

— Пусть посмотрят друг другу в глаза, почувствуют взаимную ответственность, чтобы не получилось потом гвоздя в сапоге! — Одно из любимых королевских выражений.

В ту пору космонавт весь свой полет по сути являлся пассажиром, зависящим от Земли. Таково его положение и сейчас до выхода на орбиту. А Гагарину и Титову было запрещено что-либо трогать в корабле, разрешили только крутить «спираль Архимеда», чтобы контролировать их психику. Космонавт — исполнитель того, что придумано на Земле, поэтому и была столь уместна эта взаимная встреча творцов и исполнителей.

Тюльпаны на космодроме совсем невзрачные — хилые желтенькие цветочки. Да и немного их было в апрельской степи. Больше — пропыленная с осени поляна, пережари-поле да суслики. И все-таки тюльпаны... Нарвали их, байконурских, и преподнесли Гагарину и Титову. До этого стартвики пускали ракеты без людей, и были случаи — старт разносило. А теперь человек...

Правда, была предусмотрена система аварийного спасения: в случае неприятной неожиданности двое у перископа должны доложить Королеву: «Авария!» Главный, принимая решение, называет оператору па-

роль «Яхта», оператор нажимает кнопку, и из корабля выстреливается кресло с космонавтом, и, если ветер будет менее шести метров в секунду, человека спасут. Специально тренированные люди бросятся ему на помощь. Но хорошо, что ничего подобного не случилось, ибо, как после просчитали, авария происходит за 0,3 секунды, а спасательная операция требует как минимум 4-5 секунд...

Королев не любил кино съемку. Поэтому так мало кадров снято 12 апреля. Самого Королева снимали уже после полета Титова...

«А Гагарин — железный парень, только щеки порозовели и голос стал слегка глуховатым, но в голосе улыбка! — говорит Герой Социалистического Труда А. С. Кириллов, который в тот день был «стреляющим» — нажимал самую главную кнопку. — Гагарин шел, как Матросов на дзот».

Перед тем как включить зажигание, Кириллов почувствовал: вспотели руки. Взглянул на стоящего рядом Королева. Главный конструктор не спал всю ночь. «Глаза у него вместо карих стали черными, лицо побелело и, казалось, окаменело. Дрожащей рукой я нажал кнопку: прошли бы скорей 40 секунд, потом включалась автоматика...»

— Ну, поехали!

Он сказал не просто «Поехали!», а именно так. Как русский ямщик.

Кто-то подошел к Королеву:

— Сергей Павлович, можно тихонько: ура!

Но «СП» так рывкнул, что снова стало тихо. И только когда, поговорив со всеми службами, он убедился, что дело идет нормально, все стали целовать друг друга. И Королев, этот на вид суровый и отнюдь не сентиментальный Королев, подошел к «стреляющему», снял свою нарукавную повязку «руководитель полета» и сказал:

— Распишитесь мне здесь, пожалуйста, и поставьте число и время.

И все поняли, что этот момент стал историческим, момент, на который Королев работал всю жизнь. Человек пошел в космос.

— Вот этим, — Королев ткнул себя пальцем в лоб, — я понимал, что мы сможем такое сделать, но

вот этим, — он приложил руку к сердцу, — я не могу поверить, что мы сделали это сами, вот этими руками!

...Когда Гагарин улыбался с трибуны Мавзолея, внизу стоял никем не замечаемый человек с очень усталым лицом. С ним рядом женщина. Кто-то выбежал из проходящей толпы и, ни слова не говоря, преподнес Нине Ивановне Королевой букетик красных московских тюльпанов...

Такого праздника в Москве, говорят, не было с 9 мая 1945 года. Люди — их никто не просил и не заставлял — шли и шли через Красную площадь, и все хотели увидеть человека, побывавшего немислимо где. А вечером в Кремле был прием, тоже небывалый, и первый космонавт поднимался по мраморным ступенькам дворца под незабываемый марш Красного Воздушного Флота, марш, который звучал сегодня со словами, — его пел стоящий по обе стороны лестницы хор Большого театра:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор...

А Гагарин поднимался по ступенькам получать Золотую Звезду Героя СССР. В тот же вечер Звезда Героя Социалистического Труда была вручена Королеву, но об этом газеты не писали...

Дело совсем новое, о космосе и поныне мало известно. Пройдут годы, о первом 108-минутном полете будут созданы книги. О труднейшем полете. И будут названы многие их тех, кто обеспечил этот невиданный рейс.

— Как слетал, Юра? — спрашивали товарищи.

— Думал — мозги полопаются, — отвечал он. Многие сказано этими словами. Космонавт Петр Климчук, трижды летавший в космос, как-то признался мне:

— Я ни одного дня, ни одного мгновения не чувствовал там себя хорошо, а чувствовал себя так плохо, как никому не пожелаю. А еще работать нужно.

— А как же вы там работаете?

— Очень просто. Забьют тебе в ногу гвоздь — сначала больно, а потом привыкнешь, ничего, будешь ходить.

А Гагарин был первым на этом пути. Кроме психологического напряжения, он первым из людей испытал на себе тяжелые перегрузки взлета и посадки, ощутил настоящую невесомость, первым летел со скоростью 28 тысяч километров в час, увидел явления, известные только из теории. Когда корабль начинает спуск и под строго рассчитанным углом входит в плотные слои атмосферы, он ударяется о них и подскакивает, как шарик, только шарик взлетает на метр-полтора, а подскок корабля порой достигает двадцати тысяч метров. Корабль вспыхивает, ибо для него плотные слои, как для спички серный коробок, сгорают обмззка и антенна, прекращается связь человека с землей. К тому же, если тормозные двигатели отработают всего на две секунды больше или меньше положенного времени, корабль вместо нашей территории опустится в Северный Ледовитый океан или в Китай...

Гагарин приземлялся на парашюте отдельно от корабля. Тогда еще не была отработана система мягкой посадки, которая, кстати, не всегда довольно мягкая: Владислав Волков рассказывал, что после такой посадки он три дня сесть не мог. Ему журналисты говорят: «Присаживайтесь!» А он: «Нет, я лучше постою».

Первый полет был самым коротким, но за 108 минут — все впервые, впервые... Даже по тем немногим кинокадрам можно судить, с каким трудом Гагарин ловит карандаш, как осторожны движения...

«Ты что думаешь, я сразу в открытый космос вышел? — говорил Алексей Леонов. — Нет, я сначала палец высунул, посмотрел: нормально!»

Первыми Гагарина на земле увидели пожилая женщина с внучкой. Испугались: летит некто в невероятном одеянии, и страна еще жила под впечатлением сбитого американского шпиона Пауэрса.

— Не бойся, мать, я свой, русский! Где тут позвонить можно?

Телефон далеко. Машины, конечно, нет. Ехала телега. И первый в мире космонавт сел в нее и поехал искать телефон.

Первые минуты на земле. Несобранность, растерянность — эти слова к нему не подходят. Но был какой-то в его поведении элемент безразличия — видимо, из-за тяжелой, небывалой усталости. Пошел, снял

перчатки, бросил, снял часы, бросил на траву... А сельские механизаторы уже отвинчивали на сувениры приборы с его корабля. Подъехали военные:

— Что вы делаете?

— Да ведь мы не ломаем, мы аккуратненько, отверточкой...

...Два дня он отдыхал. А потом все, кто попал на Внуковский аэродром или смотрел в экран телевизора, все переживали за него, когда он шел по ковровой дорожке от самолета докладывать о выполнении задания: у него развязался шнурок на ботинке. «Только не упади!» — шептали миллионы людей. Под звуки авиационного марша он четко прошел и отпартовал.

Я нашел запись в старом своем дневнике. Привожу ее, не меняя ни слова, чтобы не повредить достоверности чувств.

«15 апреля 1961 года. Потрясен. Дни неповторимых минут в истории всего человечества. Майор Гагарин в космосе. 12-го я вышел из вуза, иду по студгородку, и вдруг — голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза...» Да, есть особое чувство, чувство России, которое называется «Побеждает СССР». Во мне оно сильнее всех остальных человеческих чувств.

Вчера была демонстрация на Красной площади. Москва встречает Гагарина, ликующая Москва. Мы шли колонной от института до Дзержинки, потом около 17 часов попали на Красную площадь. Сияющий космонавт, рядом — Климент Ефремович и Хрущев. А внизу — родные, близкие героя. Мать Гагарина плачет — еще бы! Вся площадь, вся страна несут портреты ее сына. Имя его, еще 12-го произнесенное впервые, звучало необычно, а сейчас оно стало самым геройским».

Казалось, Гагарин заслонил собой всех существовавших до него героев. Когда его встречали, милиционер оттолкнул за канат, на тротуар, пожилого человека. «Что вы делаете! — крикнули из толпы. — Это же Папанин!»

Когда-то Папанина и его друзей-полярников очень славно встречала Москва...

14 апреля 1961 года, впервые в жизни увидев Гагарина на Мавзолее, в красном галстуке поверх шинели, я и представить не мог, что буду знаком с ним лично.

Знакомство состоялось 1 февраля 1967 года во Дворце пионеров на Ленинских горах при вручении премий Ленинского комсомола. От имени ЦК ВЛКСМ я вручал эту почетную награду писателю Владимиру Чивилихину. Всех принимавших участие в торжестве собрали в маленькой комнате за сценой. Я знал, что должен быть Гагарин, и захватил с собой листовку, которую поймал на лету в день его встречи, где-то в районе улицы Чернышевского, когда колонной Энергетического института мы шли на Красную площадь. Такие листовки с портретом Гагарина и словами «Пламенный привет первому советскому герою-космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину» в тот день сбрасывали с вертолетов... И вот вхожу в комнату и вижу: живой Гагарин при всех регалиях сидит за столом. Когда меня ему представили, он сразу как-то просто сказал:

— Я тебя знаю. Тебя очень любит Леша Леонов. Как-то вечером он пришел ко мне с твоей книжкой стихов, и мы долго читали...

Конечно, неожиданно и приятно было услышать такое из уст первого в мире космонавта. Я подарил ему свою книжку «Красные асы» и попросил надписать заветную листовку. Теперь я храню ее рядом с самыми дорогими реликвиями... В тот вечер он расспрашивал меня о работе, о полетах — я тогда занимался в аэроклубе.

— И сейчас летаешь? Здорово! — запомнились его слова.

А летом меня пригласили в гости к Шолохову. В самолете я снова увидел Юрия Алексеевича. Он был в белой рубашке, серых брюках. Радушно поздоровался, улыбаясь своей неповторимой улыбкой. Как весело проходил наш полет! Гагарин почти не сидел на месте — то бегал к пилотам в кабину, то, стоя между рядами, шутил с бортпроводницами. Пассажиры просили у него автографы. От летчиков он вернулся с бутылкой коньяка, позади стюардесса несла на подносе лимон. Гагарин сам разрезал его, выдал каждому по дольке. Он был очень доволен, что вернулся из пилот-

ской не с пустыми руками, ибо перед этим кто-то на что-то намекнул... Он ходил по самолету в носках — привычка многих летчиков, а его туфли стояли под сиденьем. Кто-то спрятал одну туфлю, и Юрий Алексеевич долго искал ее.

— Новые, жена только купила...

Мы высказали предположение, что пассажиры уже искромсали его обувь на сувениры. Потом сжалились и незаметно подсунули туфлю...

На ростовском аэродроме прямо с трапа мы попали в огромную толпу встречающих, которая буквально засыпала Гагарина цветами. Потом плыли на катере по Дону. Вечерело. Мы сидели у борта втроем — с Гагариным и писателем Вадимом Кожевниковым. На берегу ждал стол, и, пока не скрылось солнце, все фотографировались с Гагариным. За столом мы были рядом, он рассказывал мне подробности недавней гибели Владимира Комарова... сделали все, что могли, спасти было невозможно... Потом Юрий Алексеевич попросил меня прочитать стихи о Комарове.

— Ты знаешь, перепиши мне это стихотворение, я передам его Вале Комаровой.

Здесь он думал о других. Нашли огрызок карандаша, клочок бумаги... Гагарин знал, как умирают пилоты, чем платят они за глоток высоты.

— Юра, говорят, ты был дублером Комарова? — спросил я у него.

— Я, — просто ответил он. Гагарин снова рвался в космос.

Он говорил мне об ощущении человека в невесомости, о том, что она не похожа ни на одно земное ощущение.

— Каждый мускул как будто ниточкой к чему-то подвешен. Законно!

Это его любимое словечко. Оно из нашего детства. Послевоенные мальчишки любили говорить «железно», «законно». В Гагарине осталось наше детство. Был теплый донской вечер, мы отмахивались от комаров, и на что уж я их не терплю, в тот вечер почти не замечал. Странное это ощущение — причастность к большой славе.

Вечером мы подходили к гостинице «Ростов», там уже собрался народ. Гагарину бурно аплодировали, и эта овация после проведенных вместе часов на берегу

Дона показалась мне неожиданной, словно я только сейчас вспомнил, что это — Гагарин. А люди стояли на тротуарах и на балконах — много людей.

Он пригласил к себе в номер, я читал ему два отрывка из поэмы о нем — хотелось написать что-то светлое, хоть немного на него похожее, о человеке, летчике, не книжном, не газетном. Откуда было знать тогда, что эти две главы станут началом поэмы, которая будет так скорбно называться — «Минута молчания», кто мог тогда подумать, что это его последнее лето?

Наутро был назначен вылет в Вешенскую, и Юрий Алексеевич сказал мне:

— Я сяду на левое сиденье, ты на правое, сделаем боевой разворот над Вешками, покажем невесомость, законно! — И подмигнул мне, указывая в сторону нашей делегации.

Когда наш ИЛ-14 рулил по аэродрому Базки, поэт Владимир Фирсов посмотрел в иллюминатор и сказал:

— Пионеров — тьма!

Пионеры бросились к Гагарину с букетами, и он без усталости фотографировался:

— Ну, кто еще хочет со мной сниматься?

Я тоже фотографировал его с ребятами.

Он рассказал, что на одном заседании, где он сидел рядом с членами Политбюро, в президиум передали записку: «Просим обратить внимание на поведение космонавта Гагарина. В перерыве он отказался сфотографироваться с нами».

— Спешил очень, — сказал Юрий Алексеевич. — Теперь всегда фотографируюсь.

Шолохов встречал нас в Вешенской. Все внимание переключилось на него, хотелось не пропустить ни одного слова. Не то чтобы я забыл про Гагарина, но казалось, столько раз еще с ним встретимся, поговорим.

В жаркий полдень играли с Гагариным в волейбол, гоняли на песке футбольный мяч, купались в Дону. Юрий Алексеевич прыгнул с высокого берега, ударился о подводную корягу и сильно, до крови поранил ногу. Разорвав майку, мы завязали рану. Несу его на плече, а он, улыбаясь, кричит:

— Битый небитого везет!

Вижу его веселым, как он рассказывает свой любимый анекдот — про верблюда. У одного хозяина верблюд выпил за раз пятнадцать ведер воды, у другого — шестнадцать и, стало быть, мог больше работать. «Как это тебе удается? Верблюды-то одинаковые?» — спросил первый хозяин второго. «Очень просто, — ответил второй. — Мой верблюд тоже больше пятнадцати ведер пить не желает, но, как только он допивает последнее ведро, я ему подставляю шестнадцатое, а сам в это время бью его сзади палкой изо всех сил, верблюд от боли: — В-с-сс-с! — и всасывает в себя лишнее ведро». Юрий Алексеевич очень смешно показывал, как шевелил губами несчастный верблюд.

В станицу Гагарин возвращался на «газике», меняясь за рулем с сыном Шолохова Мишей. Я фотографирую Шолохова и Гагарина в машине, Юрий Алексеевич смотрит на меня и говорит:

— А у тебя там пленки нет!

Гагарин умел знатно управлять автомобилем и, случалось, пугал гаишников. На его родине мне рассказывали, как он появился на гоночной машине, подаренной во Франции. Такого автомобиля в Гжатске еще не видели: «Уж не шпион ли какой поехал?» Смотрят: Алексеич! Остановился, предложил прокатиться. Нашелся один храбрец. Машина развилась на шоссе 240 километров в час.

— А она может и без руля, — сказал Гагарин и отпустил управление. Больше желающих кататься с ним не нашлось...

Любил он ездить на охоту, и об этом мне рассказывал смоленский поэт Владимир Простаков — они вместе охотились, остались фотографии. Надо, чтоб все, кто с ним встречался, знал его, сказал свое слово о нем. Надо оставить о нем побольше памяти, ибо все мы уйдем, а он — на века, для грядущего.

Вечером в Вешенской был митинг. Выступал Гагарин. Помню его в сером костюме, белой рубашке и галстук, с Почетным знаком ВЛКСМ на груди.

Наутро, очень рано, я должен был вылететь с Гагариным в Комсомольск-на-Амуре, но проспал. Храню командировочное удостоверение. Позже мне рассказали, что Гагарин летел на военном самолете. Вошел в самолет, разбудил экипаж. Летчики моментально вскочили на ноги и сразу же:

— Товарищ полковник, разрешите автограф!

Еще не раз я видел Гагарина. И сейчас вижу, как он, в шинели и папаше, спускается по лестнице в ЦК ВЛКСМ. За несколько дней до гибели он был в издательстве «Молодая гвардия», спрашивал обо мне, передавал привет. «Когда мы его женим? Хочу погулять на свадьбе!» — это последние слова, долетевшие до меня.

27 марта 1968 года под Москвой было сыро и позимнему пасмурно. Я работал в одном из авиационных научно-исследовательских институтов. В этот день мы не летали. Сидели в узкой комнате. Входит Саша, наш техник, тихо говорит с кем-то за моей спиной. «Разбился... арин... гарин». — «Кто разбился, кто?»

Я еще спросил:

— На машине?

— Нет, на самолете.

Мне казалось, что он мог погибнуть на земле, как будто я забыл, что он оставался летчиком.

Потрясенный, я пошел в курилку, сел на подоконник, достал записную книжку. Через несколько часов была написана «Минута молчания». О тебе, живом, я не успел рассказать радостной поэмой. Слова и похожи, и не похожи на тебя, ибо слеза душит слово. Это не поэма о твоей жизни, не ода в честь твоих ста восьми минут, это — Минута Молчания. Она в честь тебя, в честь всех погибших за небо...

Дома я достал его фотографии — их оказалось двенадцать. Время идет, а все нельзя равнодушно смотреть на его лицо, нельзя спокойно слушать пленку с его голосом.

Его хоронили 30 марта. На Красную площадь не попасть. Была минута молчания, и я стоял на площади Революции, приложив руку к козырьку летной фуражки — последняя почесть нашему Юре... Высокий, огромный генерал-майор авиации в низко нахлобученной фуражке шел, глядя вниз. Михаил Васильевич Водопьянов, один из первой семерки Героев Советского Союза, шагал вдоль гостиницы «Москва», и его никто не замечал. «Я хочу, как Водопьянов, быть страны своей пилотом». Гагарин любил Водопьянов в детстве эти стихи. Он родился в тот год, когда Водопьянов стал Героем. А в этот день мы проводили в бессмертие 11 175-го Героя СССР.

Жизнь продолжалась. В тот же день в Политехническом музее состоялся заранее спланированный вечер отдыха молодежи. Я должен был выступать, но, прочитав только стихотворение, посвященное памяти Гагарина, сказал, что считаю этот вечер сегодня неуместным. Наверно, я был не прав, и после меня на сцену вышли частушечники, и веселье продолжилось.

30 ноября — день рождения его отца, и Юрий Алексеевич обещал в этот день приехать в Гжатск и сказал, что будет уже в генеральской форме. Три дня не дожидаясь этого звания, только окончив академию имени Жуковского, получил инженерный диплом и готовился к новому полету. Он должен был стать звездным капитаном эскадры космических кораблей.

Летал он на самолете УТИ МИГ-15. Двухместная спарка. Старый знакомый самолет. Машина № 19. Сохранились полетные листы:

«1. У п р а ж н е н и е № 2. Контрольный полет в зону для проверки техники пилотирования. Время — 30 минут. Высота 5000 м.

2. У п р а ж н е н и е № 3. Контрольный полет по кругу. 8 минут. Высота 5000 м». Жил, чтобы летать...

— Мы вместе вышли из дому, — говорит космонавт А. Г. Николаев, — и Юра вспомнил, что забыл пропуск на аэродром. Летчики — народ немного суеверный, и я ему говорю: «Тебя все знают, пропустят». Он отвечает: «Нет, надо взять». Вернулся с пропуском, сели в автобус, приехали на аэродром, вместе позавтракали и прошли медосмотр. У Юры давление было как всегда 115 на 65, пульс 68, у меня 115 на 70, пульс 72. Когда стали переодеваться, Юра забыв удостоверение, вернулся, положил в карман: «Вдруг придется где-нибудь сесть на вынужденную. А то ехал как-то в машине без прав, милиционер остановил и не поверил, что я Гагарин. И мнения людей, окруживших нас, разделились. Но милиционер решил четко: Гагарин полковник, у него Звезда Героя, а это неизвестно кто. И продержал до вечера».

Так получилось, что Андриян Николаев последним на земле прощался с Гагариным 12 апреля 1961 года, тогда Юрий Алексеевич сказал ему: «Все за одного и один за всех!» — и нечаянно оставил ему на лице зарубку своим гермошлемом. А 27 марта 1968 года Николаев был последним, кто видел его живым.

В этот день Гагарин должен был вылететь самостоятельно. Но в авиации есть порядок: тебя имеет право выпустить в самостоятельный полет начальник не ниже заместителя командира по летной части. Вот почемуверяющим с Гагариным полет командир полка полковник Серегин — признанный ас. Это был последний полет двух пилотов 1-го класса, двух Героев Советского Союза. Что конкретно произошло с самолетом, сказать трудно. Может, отказала материальная часть, может, самолет свалился в штопор и не хватило какой-нибудь сотни метров высоты? Некоторые подробности я слышал от таких авторитетных людей, как Главный маршал авиации А. Е. Голованов, Герой Социалистического Труда академик В. П. Мишин, Дважды Герой Социалистического Труда академик В. П. Глушко...

«Когда он разбился, — говорит В. П. Глушко, — вызвали конструктора самолета. Выяснилось, что самолет построен в Чехословакии. Но чешские инженеры сказали: «Какие могут быть претензии? Мотор несколько раз был в перечистке, самолет отработал три ресурса, его на свалку нужно!» Оказывается, когда для тренировки космонавтов была организована летная часть, тогдашний Главком ВВС подписал приказ, по которому ее укомплектовали самолетами из других частей. А хорошую технику никто не отдаст. На одном из таких самолетов и погиб Гагарин».

МИГ упал в лесу на Владимирщине, ушел под березу. Гагарина опознали по клоку летной куртки с окровавленными документами. Те, кто пришел на место гибели, взяли с собой горькую память — кусочки оплавленного самолетного металла. Есть такой тяжелый осколок и у меня.

Самолет пробил подземные воды, возникло маленькое круглое озерко — несколько метров в диаметре. Много лет по срезанным березам можно было увидеть, как падал самолет. Почти вертикально...

За три дня до гибели его видел брат Борис. «А 27-го я иду по улице, возле меня машина останавливается, слышу: «Боря, Юра погиб». Я не поверил и до сих пор не верю».

Братья Борис и Валентин присутствовали при кремации. Больше никого не пустили. Отец на похороны не поехал. «Что я там на ящик закрытый буду смот-

реть?» С горя он почти ослеп, стал плохо слышать. В августе 1973 года его похоронили в городе, названном фамилией, которую он, отец, дал своему великому сыну. Мать стойко переносила огромное горе. Приветливая, умная женщина.

В октябре 1969 года с группой поэтов я побывал в небольшом городке с темными деревянными домиками, с наличниками на окнах. Смоленщина дала России и миру немало замечательных людей, но одно имя особенно прославило этот край. Город Гагарин... В гостинице мест, как всегда, не оказалось, и я ночевал у Бориса Алексеевича Гагарина. Он рассказывал, как они росли с Юрой, разница у них в возрасте небольшая, и из всех детей Гагариных Борис и Юрий были в детстве ближе друг к другу. Война, оккупация. Один немец даже пытался их задушить за то, что они играли «в Чапаева». Юра любил вспоминать, как они вредили фашистам... Голодные годы после войны.

«Какое тяжелое было детство! — говорит Борис. — Отец-инвалид, нас четверо у матери. Юра отцу плотничать помогал. Не то что хлеба — крапивы не было. После шестого класса уехал он в ремеслуху, а ведь отличником шел. В доме есть нечего, а обучение тогда платное было. Разве американские космонавты прошли сквозь такое?»

Я тоже подумал об этом, и как правильно, что именно такой парень, с таким детством первым полетел в космос! И не князя Гагарины, члены ордена иезуитов и государственные сановники, а простые русские люди Анна Тимофеевна и Алексей Иванович были его родителями. Я бывал у них в гостях, в их маленьком домике, построенном после Юриного полета, — две комнаты и веранда. Со всех стен смотрит сын. Вот его известный снимок с голубем в руках, вот он и Герман Титов. Во второй, крохотной смежной комнате, в которой обычно жил Юрий Алексеевич, большой его портрет во всю стену, написанный местным художником по фотографии из «Огонька» — Гагарин в белом кителе, без фуражки.

Он очень похож на мать. Мы сидим за столом, и я подолгу смотрю на Тимофеевну — брови, рот, улыбка у Юры от нее.

Алексей Иванович перед тостом говорит: «Прошу

принять участие». Юрина рюмка стоит нетронутой. Он бы сказал сейчас: «По капочке зверобойчику!» И мы бы спели шуточно переименованную космонавтами известную песню»:

Я верю, друзья, что пройдет много лет,
И мир позабудет про наши труды,
И в виде обломков различных ракет
Останутся наши следы!

И еще:

Мы кончили работу,
И нам пора в дорогу,
Пушай теперь охрипнет
Товарищ Левитан!

Племянница космонавта Наташа Гагарина вспоминает, как спрашивала: «Дядя Юра, а на солнце жарко?» — «Жарко». — «Стоять нельзя?» — «Нельзя». — «А сесть можно?» — «Ошпаришься!»

Все тут напоминает о нем. В этой школе он учился, а потом выступал перед выпускниками, здесь принимал избирателей, здесь навечно зачислен в списки рабочих завода...

Добрую память оставил о себе Гагарин как депутат Верховного Совета СССР. Стольким людям он помог! К нему шли. У него все были друзья — весь мир. Конечно, и возможности особые. Ни один министр не мог отказать Гагарину.

— Все, что здесь построено нового, — говорили мне его земляки, — всем этим мы обязаны Юрию Алексеевичу. Школу новую, спортивный зал отгрохали, гостиницу начали возводить, дороги... Французы молочный завод нам построили — уважение к первому в мире космонавту. Все мы очень его любили.

Тимофеевна повела нас из дому в избу напротив, где родился и вырос Юрий Алексеевич. Здесь должен открыться музей. Но изба стояла совсем пустая.

— Некому заняться музеем, — сказала Анна Тимофеевна. — Спасибо, детки, что вы приехали, не забываете. Был Юра живой, все приезжали, все было...

Признаться, сердце облилось кровью, когда я услышал эти слова и увидел мать первого космонавта с ключами в руках. Я написал письмо первому секретарю ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникову: «... В горо-

де, носящем имя величайшего нашего национального героя, мало пока еще сделано для увековечивания его памяти. Не открыт музей — некому всерьез поработать над сбором экспонатов. Больше всех сердце болит об этом у матери, Анны Тимофеевны Гагариной, — она-то и занимается будущим музеем. Показала нам пустую избу без единого экспоната. А ведь эту избу, где родился и вырос Гагарин, можно сделать местом всемирного паломничества в хорошем смысле слова, чтобы весь мир приезжал и смотрел, как мы за полвека от лаптей до космоса выросли!

Надо бы помочь в доведении до конца тех хороших гжатских мероприятий по благоустройству города (строительство новой гостиницы, приведение в порядок улиц, центра города и т. д.), которые начал Юрий Алексеевич как депутат Верховного Совета и которые сейчас почему-то законсервированы...

Мне кажется, за это должен взяться наш Ленинский комсомол, ибо Юра был лучшим из его сыновей...»

Надо сказать, что Е. М. Тяжельников принял срочные и действенные меры, и вскоре я с радостью прочитал в «Правде» заметку об открытии мемориального музея Ю. А. Гагарина на его родине.

А в июле 1972 года я побывал там вместе с Е. М. Тяжельниковым. В городе Гагарина работал первый студенческий строительный отряд, и ребята очень гордились, что трудятся именно здесь. Мы встретились с Анной Тимофеевной, посмотрели открывшийся музей. Он пока еще маленький — всего две комнаты. Школьные похвальные грамоты, форма ремесленного училища, полковничий мундир со Звездой Героя, красная земля с места гибели... Экскурсию ведет племянница Юрия Алексеевича Тамара. Она очень трогательно рассказывает о своем знаменитом родственнике. Странно подумать, но Гагарин был бы сейчас дедом: у племянников есть дети. А Тимофеевна уже прабабка, но держится бодро. Когда я послал ей на память «Минуту молчания», любовно изданную «Молодой гвардией», мне пришел конверт с таким обратным адресом:

«г. Гагарин,
ул. Гагарина,
ГАГАРИНА А. Т.»



Куда Москва Я-425
ул Дыбенко
дом 40 кв 19
Кому Цеву Ремису
Швановичу

Индекс предприятия связи и адрес
отправителя

г Таларини ст адл
ул Таларина 106
Таларина А П



Индекс предприятия связи места назначения

Дорогой Феликс Иванович
получила вашу книгу большое
большое вам за нее спасибо
спасибо что не забываете моего
дорогого сыночка Юрочку
мне очень тяжело но то что
вы его не забываете это очень
приятно и хорошо
поздравляю вас с праздником
первого мая желаю вам
больших творческих успехов
в вашем труде и крепкого
здоровья

до свидания

Богарини А П и А И

«Дорогой Феликс Иванович! — писала Анна Тимофеевна. — Получила Вашу книгу. Большое Вам за нее спасибо. Спасибо, что не забываете моего дорогого сыночка Юрочку. Мне очень тяжело, но то, что Вы его не забываете, это очень приятно и хорошо».

В Звездном городке стоит ему памятник и есть хороший музей. Я побывал там сразу же после гибели Гагарина со своим другом летчиком В. Можайкиным. Мы встретили космонавта Георгия Добровольского. Он тогда готовился к полету в космос, очень хотел полететь. Я принес ему еще не напечатанную поэму о Гагарине, и Добровольский был одним из самых первых ее читателей. Кто знал, что и его скоро не станет... Кровью покорителей неба пылают облака, нелегко достался человеку пятый океан, без жертв не дается и космос.

В Звездном, в музее, лежит партийный билет Гагарина № 08909627, пропуск «Везде», паспорт «Навечно», водительские права и талон предупреждений, найденные на месте гибели. Как хочется прикоснуться к его голубому теплозащитному костюму, к шинели, что висит в его рабочем кабинете!

В кабинете — портреты Циолковского, Кибальчица, Королева, на столе — текст выступления, которое должно было состояться на юбилейном вечере Горького в Колонном зале, письма, таблица полетов американских кораблей «Джемини». Записки в календаре:

26-го — Предварительная подготовка,

27-го — полеты.

28-го — к Вале.

Валентина Ивановна болела и лежала в больнице. 28 марта для Гагарина уже не было. Последним было утро 27-го.

Вот то, что вспомнилось о нем. Остальное — в стихах.

Была еще одна неожиданная посмертная встреча с ним. В Нью-Йорке в одной из ярких витрин я увидел его бронзовый профиль. Гагарин в гермошлеме, огромные буквы: СССР. И надпись внизу: «Гражданин № 1 планеты Земля». Рядом — скафандр Армстронга, в котором американский астронавт первым ступил на поверхность Луны. Медали с изображением погибших космонавтов: Гагарин, Комаров и три американца, сгоревшие при подготовке к полету. Эти медали побывали на Луне и в Звездном городке.

Я видел в Америке известную фотографию: Гагарин идет по ковровой дорожке докладывать о завершённом полете, и под ней надпись: «Человек, у которого все позади».

Всей своей жизнью и даже смертью он доказал, что это не так. Он остался летчиком.

Грядущие мальчишки из-за него придут в авиацию, мир с уважением назовет имена открывателей, и на каждой из новых освоенных планет в граните, в золоте, в неведомых пока неземных сплавах поднимется русский летчик Гагарин.

Слава его будет расти с каждым годом, ибо с каждым годом люди будут полнее осмысливать значение и величие его подвига.

Я очень счастливый человек — мне довелось знать его.

ШОЛОХОВ

Шолохов мешал. И друзья, и враги, все ощущали это. Мешал он не только потому, что большой талант всегда неудобен. Маршал Слова, он в шестидесятые годы стал лишним, как боевые полководцы, не позволявшие стоявшим у трона изобразить войну по-своему. Он мешал своим существованием, авторитетом Мастера, и, даже если молчал, все понимали, что может и сказать. А слова его ох как коробили нутро так называемой передовой тогдашней интеллигенции, ныне именуемой «шестидесятниками», у которых появились свои кумиры.

— Для меня самым большим праздником станет день, когда я прочитаю сообщение о смерти Шолохова, — слышал я в Центральном Доме литераторов, где сам классик почти не бывал.

И вот 21 февраля 1984 года он на 79-м году жизни наконец-то порадовал своих ненавистников, которые не могли простить ему, что он — это он, а среди них нет такого. Надо ли говорить, как опечалил его уход миллионы читателей и почитателей истинно русского шолоховского таланта.

В том же Доме литераторов с писателем Чивилихиным мы помянули Михаила Александровича. Как мало живем... Давно нет и Володи Чивилихина... Но кто мы? Однако мы были современниками Шолохова, читали его книги, сами причастны к литературе, и, если станем навозом для будущих гигантов, уже хорошо. Мы оба любили Шолохова, и, может быть, впервые я был согласен с официальным некрологом, где Михаила Александровича назвали «великим писателем нашего времени», «гениальным художником слова».

Когда уходит близкий человек, в тебе обрывается нечто значительное, подводится черта. С уходом Шолохова закончился целый мир в каждом, кто чувствовал этот мир. Тем более, если был знаком с автором и до сих пор ощущаешь щеточку его усов на своей щеке, когда он поцеловал, как бы благословляя...

О встрече молодых писателей с Шолоховым 13—14 июня 1967 года кое-что написали ее участники. Был и документальный фильм «Молодые гости Дона», который я так и не видел. Там мы, конечно, все молодые — Юрий Адрианов, Геннадий Серебряков, Олег Алексеев, Юрий Сбитнев, Владимир Фирсов, Василий Белов, Лариса Васильева, от ЦК Комсомола — Валерий Ганичев, Феликс Овчаренко, от журнала «Молодая гвардия» — главный редактор Анатолий Никонов, от ЦК КПСС — Юрий Мелентьев... Я в эту компанию попал случайно: не было бы счастья, да несчастье помогло. В ту пору ходило по стране мое ненапечатанное стихотворение о Сталине. Первый вариант его я написал еще в 1959-м, когда мне было восемнадцать лет. Я учился на втором курсе Московского энергетического института, и оно появилось в подборке моих стихов, вывешенной на факультете — такое практиковалось в те годы равнодушия к поэзии. Заинтересовались этим стишком не только любители словесности. Вызвали в небольшую комнатку. Побеседовал со мной аккуратный человек в коричневом костюме и в очках. Через много лет я дружески встретусь с этим самым внимательным моим читателем из Конторы Глубокого Бурения, как тогда называли между собой эту самую компетентную организацию...

А к стихотворению я вернулся в 1965 году — что-то не давало покоя. Было это по иронии судьбы 21 декабря, в день рождения Сталина. Я жил один, приехал ко мне с Дона мой друг поэт Борис Куликов, увидел, как я строчу стихи на березе, лежавшей на полу — стола не было, его заменяла прибитая к стволу фанера.

— Пишет стихи километрами! — воскликнул Борис. Так и появилось стихотворение, начинавшееся словами: «Зачем срубили памятники Сталину? Они б напоминали о былом могуществе, добытом и оставленном серьезным, уважаемым вождем». Что думал, то и написал. А вскоре, 4 февраля 1966 года, я прочитал это стихотворение на поэтическом вечере в Театре

эстрады. Поэтов любили, и такие вечера привлекали много народу. Но я не ожидал реакции зала на то, что прочитал. Возникли две враждующие стороны. Мои коллеги, сидевшие рядом на сцене, ошетились против меня. Вегин прочитал антисталинское стихотворение «Облака 37-го года», но оно не возымело действия на публику. Тогда, в 1966-м, я еще не понимал, что в обществе происходит некоторый сдвиг в сторону Сталина, не то что в 1959-м, когда любое выступление за Сталина воспринималось не только как политическая незрелость или поэтическое хулиганство, но и как кощунственная безнравственность. Впрочем, так продолжается и по сей день, а Сталина похоронить не могут. Однако в ту пору народ менялся, я оставался прежним. Было это перед очередным съездом партии, 23-м, но я не знал, что группа «шестидесятников» обеспокоилась возможной реабилитацией Сталина и написала письмо в ЦК. В угоду им со съездовской трибуны устами генсека Брежнева по поводу Сталина было произнесено: «Не очернять и не обелять». На деле это значило: молчать. Я же среди своих коллег и в печати получил титул «сталинист», который звучал как самое страшное ругательство. В дни работы партийного съезда я участвовал в агитперелете по городам Сибири и Дальнего Востока. Направил ЦК комсомола, может, чтоб в такое время я не мутил воду в Москве? Может быть. Однако в первом же городе нашего перелета Свердловске я прочитал «Зачем срубili памятники Сталину...» перед большой аудиторией. Слушали в напряженной тишине. А из Свердловского обкома партии, где подрастал будущий президент России, в Москву покатила «телега» о моем «антипартийном», «сталинистском» выступлении... Когда вернулся в Москву, со мной беседовали разные чиновники, но я чувствовал себя еще тверже, ибо знал, что правда за мной. Конечно, на душе было неприятно. В Союзе писателей меня постоянно оскорбляли. Единомышленников не видел, кроме некоторых членов редколлегии журнала «Октябрь» во главе с Всеволодом Анисимовичем Кочетовым. Но не преувеличу, если скажу, что в тот период я был по-человечески один. Каждую мою публикацию критики встречали в штыки — некоторые из них через десятилетия изменили свои суждения, а иные давно уж в Израиле или

США. Зарубежные радиостанции посвящали мне свои передачи, работая удивительно в унисон с отечественными средствами массовой информации — будущими глашатаями перестройки и развала державы. Партия уже переродилась...

Так прошел год. И словно ветошь, политая бензином, возникло в Московском отделении Союза писателей письмо из воинской части с Украины: одного майора-летчика исключили из партии за то, что он в купе поезда вслух прочитал мое неопубликованное стихотворение. Партийное руководство части интересовалось автором: кто он и почему до сих пор на свободе, если только за чтение его стихотворения приходится исключать из партии! Стихи ходили по стране помимом моей воли. Мне сообщили, что в Кишиневе артист Павлов читал «Зачем срубили...» в Зеленом театре — с большим успехом.

В эти дни, в июне 1967 года, меня вызвали в ЦК ВЛКСМ и сказали, что я приглашен к Шолохову, в Вешенскую. Ничего себе! Получил билет и командировочное удостоверение, завтра утром — вылет из Внукова. Добрым словом помяну Сергея Павловича Павлова, тогдашнего первого секретаря ЦК комсомола...

Когда я вошел в Ил-18, меня направили в хвостовую часть салона, а там, за перегородкой, — Павлов, его «завхоз» Светликов и первый космонавт Гагарин. Со всеми я был знаком раньше. Нет их уже на свете...

Основная группа шолоховских гостей прибыла в Ростов заранее, это меня не сразу нашли, я тогда летал в аэроклубе, в Тульской области.

Ил-18 привез нас в Ростов, переночевали в гостинице, утром вылетели на аэродром Базки и на автобусе — до станции Вешенской. Там нас встретил Михаил Александрович и сразу повез на берег Дона. День был такой ярко-солнечный, что для меня стал одним из самых памятных. Такую зеленую траву, зеленой обычной, я никогда раньше не видел. И небо было сочно-голубое, голубее обычного.

— Здесь у меня встретились Григорий и Акси́нья, — сказал Шолохов.

Он стоял и смотрел на нас, молодых, седой, в рубашке навыпуск, парусиновой шляпе. В тени деревьев на

траве постелили скатерть, он сам разложил водку, именно плашмя разложил закупоренные бутылки «Столичной». Пока варилась уха, он познакомился с каждым. Были и иностранцы — молодые писатели из Польши, Венгрии, Болгарии, Германии...

— На такой земле и должен был родиться Шолохов! — воскликнул Гоша Константинов, болгарский поэт.

Где он сейчас? С какими мыслями живет?

Колумбийская писательница, приехавшая инкогнито — таковы были отношения между нашими странами, — сказала, что ей не поверят на родине: она сидела рядом с Шолоховым и Гагариным!

— Ну-ка, парень, — обратился ко мне Михаил Александрович, — читай, за что тебя бьют в Москве!

Хорошо, что я кое-что потом записал, а то и самому не верится, что это было со мной. Мы стояли под дубом Григория и Аксины. Образовался кружок. Народу собралось немало, подъехало местное и областное начальство... Я начал читать «Зачем срубили...» Волновался, конечно. А тут еще сзади кто-то дергает за рубашку, мол, перестань, не надо. Шолохов это заметил.

— Вы и мне не даете ничего сказать, — бросил он. — Над Львом Толстым был один царь, а надо мной, — он повел рукой в сторону начальников, — от секретаря райкома до Кремля! Кричали «За родину, за Сталина!», а теперь что говорите? Читай, парень, до конца!

Ободренный, я добил стихотворение. Шолохов прослезился, обнял меня, расцеловал. Потом взял за руку, мы пошли по тропе, и он, поучая меня, говорил о жизни, о писательском труде. Рядом шагал поэт Владимир Фирсов и в другое ухо ласково советовал мне:

— Подонок, запоминай все, что тебе говорит Михаил Александрович!

А мне запомнилось одно:

— Так и пиши. Только не блядуй! Слушай меня, старика! — И добавил в шутку, показав на своего сына Мишу: — А его не слушай, он ихтиолог, в литературе ничего не понимает.

Стоим на поляне, Шолохов рассказывает, как был на африканской речке, где водятся хищные рыбки — пираньи.

— А арабы плавать не умеют, — говорит он.

— Как выяснилось, и воевать, — вставляет Володя Фирсов. Все засмеялись. Только что арабы потерпели поражение от Израиля... Когда поспела уха, запомнил-ся шолоховский тост:

— Здравствуй, Юра Мелентьев в Москве на Старой площади, а мы, казаки, на Тихом Дону!

День завершился митингом в станице. Народ собрался, конечно, посмотреть на Гагарина. Гости стояли на nasкоро сколоченных деревянных подмостках. Шолохов подозвал меня к себе, как бы подчеркивая свое отношение, вопреки Союзу писателей. Кто-то преподнес Михаилу Александровичу букетик ландышей, некоторое время он держал их, а потом отдал мне, — может, надоело держать. После митинга я принес ландыши в гостиницу, и один цветок сохранил меж страниц книги. Вот он сейчас лежит передо мной, засушенный много лет назад, но по-прежнему хранящий магию шолоховской руки...

— Дорогие свои! — обратился Михаил Александрович к землякам на митинге.

Мы тоже выступали, читали стихи...

Снова я попал в Вешенскую в мае 1995 года, на 90-летие Шолохова. В саду возле дома теперь две могилы — Михаил Александрович и Мария Петровна. Над ним большой камень, выбито: «Шолохов». И все ясно. Даже короче, чем «Здесь лежит Суворов»...

А на том месте, где в 1967 году был митинг, установлена стела и сказано на ней, что здесь выступал Гагарин...

Сын Шолохова Михаил Михайлович, невероятно похожий на отца, повел меня в дом, где сейчас музей. Во время войны немцы разбомбили шолоховскую усадьбу, она была заранее помечена на штурманских картах «Люфтваффе»: враг понимал, кем мы станем без таких, как Шолохов. Тогда погибла его мать, сгорели рукописи, черновики, книги.

— Здесь отец сидел, здесь мама, здесь ты, здесь я, — сказал Михаил Михайлович и усадил меня за тот же стол, где мы были вместе тогда, на второй день, 14 июня 1967 года...

Я проснулся в гостиничной комнате, где ночевал вместе с Юрой Адриановым, Олегом Алексеевым и Васей Беловым. Белова мы решили разыграть. Надо заметить, что внешне своей бородкой он напоминает одного из императоров династии Романовых, Александра Второго, пожалуй. С Олегом Алексеевым мы вышли на крыльцо, на котором покуривали три явно неопохмеленных казачка в штанах с лампасами и фуражках. Их благодарность за появившийся из наших тайников «портвейн» мы использовали в своих целях:

— Понимаете, ребята, среди нас присутствует отпрыск императорской фамилии. Конечно, это не следует афишировать, но ему будет очень приятно, если вы, казаки, царевы слуги, достойно поприветствуете его.

Один из нас вернулся в комнату:

— Вася, чего ты лежишь? Давай выйдем, подышим воздухом, погода отличная...

И вот на крыльце появился Василий Иванович Белов — бородка, августейшее обличье, — потянулся, посмотрел вокруг:

— Красота!

В это время казаки подровнялись и дружно гаркнули:

— Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!

— Черт знает что! — недоуменно буркнул Василий Иванович и вернулся в номер...

Это событие тоже стало одной из легенд нашей поездки...

Шолохов позвал нас к себе в дом.

— Моя старуха приглашает тебя на чашку кофе, — услышал я от него.

Мария Петровна стояла рядом и ничего не говорила. Потом я узнал от шолоховских земляков, что это самая высшая награда в устах Михаила Александровича:

— Считаю, что ты получил Шолоховскую премию! Таковой тогда еще не было, но зато был Шолохов...

Вот и уселись мы за длинный стол, где было все, кроме кофе. А может, и кофе был, не очень помню...

Писатель из Германской Демократической Республики не мог осилить рюмку:

— Как можно пить водку, если в ней сорок градусов и температура воздуха тоже сорок градусов?

Тут Шолохов рассказал почти новеллу, как он ехал на «газике» по голой степи, а навстречу — старый казак. Пришлось остановиться, наверное, нужно подвезти.

— Миня, нет ли у тебя чего выпить? — спросил старик.

— Да как же, дед, ты ее будешь пить на такой жаре?

— Тут-то ее и пьют! — ответил дед.

«Говорит, как пишет», — заметил кто-то из гостей. Неудобно было записывать и жаль, что не записал я те застольные рассказы. Но хоть своими словами передам то, что осталось в памяти...

В застолье Шолохов почти не пил. Как только его рука тянулась к рюмке, зорко сидевшая рядом Марья Петровна ловко отодвигала ее в сторону. Но вот Шолохов произнес:

— Как говорил мой друг Саша Фадеев, за прекрасных женщин! — И быстро осушил рюмку. Супруга и моргнуть не успела...

— Если бы не Маша, — продолжил он, — я бы «Тихий Дон» не написал. Ведь Мелеховы — это ее семья...

Пожились они юными, в 18 лет, и каково было ей, дочери зажиточного казачьего атамана Громославского, выйти замуж за какую-то голытьбу Миньку Шолохова! Родители, конечно, против. Да и потом жизнь выпала — быть на краю гибели, что зияла рядом со всемирной славой.

Молодого Шолохова стала поддерживать теща, заметив в нем литературный дар. Ее семья содержала чайную, в которой останавливались проезжающие казаки. Теща прислушивалась к их разговорам, выбирала наиболее интересный стол и подсаживала туда зятя. Здесь он схватывал казацкие словечки и выражения...

Я еще застал на Дону людей, которые помнили, как Шолохов протирали штаны в Новочеркасском музее над архивными бумагами. Многие удивляются, как смог он в 22 года написать первую часть своей великой эпопеи? А ведь именно в таком возрасте и пишутся значительные вещи. Однако сомнения в его авторстве возникли еще в тридцатые годы. Шолохов рассказывал, что выяснением истины занималась комиссия под председательством Надежды Константиновны Крупской, и он возил с собой чемодан черновиков. Был

даже суд, на который явилось шесть (!) «авторов» «Тихого Дона»... По его рассказу было видно, что ему надоело всю жизнь доказывать, что он не верблюд. Не раз вспыхивала эпидемия лжи против его авторства — уж больно заманчив роман и ситуация вокруг него! И только через несколько десятилетий компьютеры определяют: автор «Тихого Дона» — Шолохов.

Он говорил, а потом махнул рукой:

— Ребята, я же хороший писатель!

— Об этом весь мир знает, Михаил Александрович!

— Нет, вы не понимаете, я же написал «Лазоревую степь»...

Он подарил каждому из нас свои «Донские рассказы». Прежде я не обращал внимания на «Лазоревую степь», но, приехав домой, сразу же прочитал эти всего лишь восемь страничек настоящей, божественной прозы. Как профессионал, Шолохов, конечно же, гордился этим рассказом, написанным в 21 год. Не создай он больше ничего, о нем бы говорили как о многообещающем писателе...

Но стоит почитать, что творилось в нашей литературе в те двадцатые — тридцатые годы столетия! Шолохов, конечно, мешал. Не вышло с клеветой, с посягательством на «Тихий Дон», решили убить. Да ведь он враг! Махно его в свое время взял в плен и почему-то не расстрелял, а отпустил — не зря этот Шолохов стал автором антисоветских писаний!

Позвонил руководитель ОГПУ Генрих Ягода, с которым они были знакомы, и пригласил к себе:

— Приезжай, Миша, посидим, выпьем, поговорим.

...На углу большого стола с откинутой скатертью стояли откупоренная бутылка водки и банка шпрот. Генрих Эммануилович наполнил рюмки, чокнулись. Шолохов выпил, а Ягода говорит:

— Что-то неважно я себя чувствую, пожалуй, не буду пить. Давай в другой раз встретимся... Тебя отвезут.

Шолохов подцепил вилкой шпротинку, закусил и уехал.

В машине ему стало плохо. Резкая боль в желудке... Шофер же, ни о чем не спрашивая, повез его в больницу ОГПУ. Там — сразу же на операционный стол. Собрались врачи, просят подписать согласие на операцию.

Шолохов взглянул на врачей и внезапно под одной из белых шапочек увидел выразительные глаза молодой женщины, глаза, необъяснимо показывающие: не надо!

Он поверил этим глазам, отказался подписать и остался жив.

Другой случай подготовленной расправы более известен и подробно описан шолоховедями. Я бы не стал о нем упоминать, если бы... За шолоховским столом я знал всех, кроме одного человека. Когда поинтересовался, кто это, мне ответили:

— Лучший друг Михаила Александровича.

Да, это был И. С. Погорелов, тот, что уберег Шолохова от гибели позже, в 1938 году. В Ростовском управлении НКВД ему поручили арестовать Шолохова, а он его предупредил об этом. Окольными путями Михаил Александрович прибыл в Москву и затаился у Фадеева. Выпивали, конечно. Вызвал Сталин. Разобрался в «деле» и фактически спас Шолохова. В кабинете он ходил вокруг Фадеева и Шолохова, принохиваясь, потом спросил:

— Почему вы так пьете?

— Запьешь с такой жизни, товарищ Сталин! — ответил Шолохов.

— А сколько времени продолжается у вас запой?

— Неделью, товарищ Сталин, — признался Фадеев.

— Предлагаю решением Политбюро сократить запой у товарищей Шолохова и Фадеева до трех дней. А четыре дня пусть работают! — не то в шутку, не то всерьез подытожил Сталин.

Благодаря Сталину вышла и последняя, четвертая книга «Тихого Дона», которую печатать не хотели — «кулацкий роман». Рекомендовали Шолохову сделать Григория Мелехова председателем колхоза.

— Но «Тихий Дон» написал все-таки я, а не вы, — отвечал Шолохов.

— Художественному произведению нельзя выносить приговор, — сказал Сталин. — О нем можно только спорить.

Он и поставил точку над «и».

В 1941 году состоялось первое присуждение Сталинских премий. В области литературы премии Первой степени были удостоены три писателя: Сергеев-Ценский — за «Севастопольскую страду», Алексей

Толстой — за «Хождение по мукам» и Шолохов — за «Тихий Дон». Вот это уровень! А сегодня пишут, что тогда не было литературы...

...В тот день Шолохов много рассказывал о встречах с Иосифом Виссарионовичем.

— В 1942 году Сталин спросил меня: «Сколько времени Ремарк писал "На Западном фронте без перемен"»?

— Три года, — ответил я.

— Вот и вам за три года надо бы написать роман о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

— То ли случайно он назвал такой срок, — продолжал Шолохов, — то ли прозорливо угадал время окончания войны. Но в 1945 году я закончил первый вариант романа. Потом встретился с генералом Лукиным. Беседы с ним заставили меня многое пересмотреть. Хочу поговорить с Георгием Константиновичем Жуковым...

Насколько мне известно, эта встреча не состоялась — помешала болезнь Жукова... Шолохов долго трудился над романом «Они сражались за Родину». Рабочие «Ростсельмаша» пригласили его выступить. Он собрался познакомить их с новой главой. Перед отъездом стал перечитывать написанное. «Как плохо я пишу!» — сказал и забросил рукопись за шкаф. А секретаря попросил позвонить и извиниться, что не сможет приехать.

Писать всю жизнь на прежней высоте почти невозможно, а ниже он не хотел...

Один из своих дней рождения он отмечал в московском ресторане «Националь». Подошел метрдотель, пригласил к телефону.

— Да ну их, кто-то поздравляет, не пойду, — ответил Шолохов.

— Михаил Александрович, Сталин.

Пришлось подойти к телефону.

— Смотрю я на календарь, — говорит Сталин, — «родился выдающийся советский писатель М. А. Шолохов». Что же получается? Если друзья не приглаша-

ют к себе на день рождения, дай, думаю, я приглашу, — может, я тоже когда-нибудь стану знаменитым!

«Сидели со Сталиным всю ночь, — вспоминал Михаил Александрович. — С Хрущевым я пил водку, вино, все подряд. А со Сталиным пил только коньяк... Хрущев очень хотел, чтоб я написал о нем, прилетал ко мне сюда, но я хитрый старик...»

...Чтобы нас встретить и угостить, Шолохову дал денег совхоз «Тихий Дон». Своих средств на это у него не было, так что все разговоры о его личном самолете, открытом счете — досужие байки. В последние годы печатался он мало — откуда деньги? Я работал в издательстве «Советская Россия» и помню, как в начале 80-х мы решили материально поддержать Михаила Александровича, переиздав «Они сражались за Родину». Получили от Шолохова экземпляр издательского договора с его подписью. Расписался шариковой ручкой, и, видимо, на середине фамилии кончилась паста в стержне, и окончание подписи не получилось.

— Давно ручку не держал, — шутили в издательстве.

В это же время из Ленинграда его попросили написать что-нибудь для книги воспоминаний о Всеволоде Кочетове, к которому он хорошо относился. Позвонил редактор книги:

— Михаил Александрович, мы составим текст, пришлем к вам своего сотрудника, а вы прочитаете и подпишете.

— Между прочим, я и сам умею писать, — ответил Шолохов.

Додумались!

После войны по указанию Сталина Шолохову вместо разрушенного немцами дома построили новый. А через годы потребовали выплатить стоимость строительства. Сохранилась телеграмма Шолохова:

«Должен, не скрою. Отдам не скоро».

Свои премии — Сталинские, Ленинскую — он передавал землякам на строительство дорог, школы... Нобелевскую взял себе — решил поездить по белому

свету. Когда ему ее вручали («за «Тихий Дон» и другие произведения»), король Швеции сказал, что эта премия пришла к Шолохову поздно, но не слишком поздно, чтобы вручить ее величайшему писателю двадцатого столетия...

Согласно ритуалу, Шолохов должен был поклониться монарху, но он улыбнулся и сказал:

— Ваше Величество! Донские казаки даже своему государю-императору не кланялись!

Но кто помнит, скажем, как звали короля Испании при Сервантесе, а «Дон-Кихот» знают. Так же будут знать и «Тихий Дон»...

Его юмор незабываем. Приезжал к нему за интервью сотрудник журнала «Сельская молодежь».

— Как живешь, Петя? — спросил его Шолохов.

— Да вот женился, — ответил он.

— А сколько ж тебе годков?

— Да сорок с небольшим.

— Знаешь, Петя, жениться надо в двадцать с большим, — ответил Михаил Александрович.

Он размышлял: «Надо же — у Льва Толстого в 80 лет дети рождались. Потому и писал! Пока и пишется...»

...В тот же день 14 июня 1967 года мы ездили в хутор Кружилинский — хозяин повез нас на свою родину. Он сел за стол рядом с писателем Вадимом Кожевниковым. Тот говорил с Шолоховым на равных, вмешивался, добавлял. Это несколько удивляло... Что ж, он, как и Шолохов, тогда был секретарем правления Союза писателей СССР по работе с молодыми авторами...

Михаил Алексеев, создатель «Карюхи» и «Вишневого омута», рассказывал мне, как спросил у Шолохова:

— Михаил Александрович, а не кажется ли вам странным, что вы полковник и я полковник...

Шолохов ответил вопросом на вопрос:

— А тебе, Миша, не кажется странным, что я лауреат, и ты лауреат, я депутат и ты депутат, я секретарь и ты секретарь, я Герой и ты Герой?

...В Кружилинском поэты снова читали стихи, и Шолохов принял в казаки Олега Алексева, а потом

и меня, когда я прочитал стихотворение о старом русском солдате «Дедушка»...

Закончился второй день с Шолоховым, и было жаль, что он никогда не повторится, хотя я знал, что и не забудется...

А через месяц я получил большой синий пакет с коротким обратным адресом: «Станица Вешенская, М. А. Шолохов». В пакете рядом с сопроводительным письмом секретаря Шолохова М. Чукарина была фотография: я стою рядом с Шолоховым под дубом Григория и Аксины. На обороте — теплая дарственная надпись Михаила Александровича. Это была огромная поддержка для меня, ибо в Москве мое «дело» еще не закончилось, и в июле меня обсуждали в Союзе писателей. Четыре часа обсуждали, а верней, осуждали, обвиняя вплоть до китаизма.

Был и вопрос:

— А кому из писателей вы читали это стихотворение?

— Шолохову, — ответил я.

— Ну и какова его оценка?

— Прямо противоположная вашей.

— Шолохова не надо вносить в протокол, — сказал председательствующий Ярослав Смеляков.

В конце концов, не добившись покаяния, обязали меня написать свое отношение к неопубликованному стихотворению. Я пришел посоветоваться в журнал «Октябрь» к В. А. Кочетову. Он сказал:

— Напиши так, чтоб тебе не было стыдно через двадцать лет.

Я написал полстранички, за которые мне и сейчас, через тридцать лет, не стыдно...

А через два года мне снова посчастливилось встретиться с Шолоховым — в Ростове. Я туда попал с делегацией советско-болгарского клуба творческой молодежи... Говорили о творчестве и, конечно, о Шолохове. Когда мне дали слово, я сказал, что ценю «Поднятую целину» не ниже «Тихого Дона», но о ней почему-то говорят поменьше... О выступлении Шолохова на другой день появилась информация, что он говорил об ответственности писателя. И все. Да, говорил:

— У меня была очень крепкая глава в «Поднятой целине», где я сочинил текст белогвардейской присяги.

Но прежде чем печатать, решил почитать друзьям-партийцам. Они мне посоветовали: не стоит публиковать, потому что это может принести вред нашей партии. Я так и сделал.

А еще запомнилось, как Шолохов сказал, глядя на Ларису Васильеву:

— Над ней в прошлую нашу встречу распускал свои крылья Юрий Гагарин... — И добавил: — Впрочем, женщина для меня — терра инкогнито.

Для него-то, создавшего Аксинью, Дарью, Лушку... Хочется произнести по памяти: «Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяным придорожным цветом поздняя бабья любовь. С лугового покоса переродилась Аксинья...».

Напишите так, господа-ненавистники Шолохова!

И еще запомнилось: когда кто-то заявил, что писателей-патриотов обвиняют в антисемитизме, Шолохов воскликнул:

— Не такие уж мы антисемиты, как они русофобы!

Когда встреча закончилась, он, проходя, обнял меня и сказал:

— Вот и поговорить некогда...

Больше я не видел Шолохова. Но несколько раз звонил ему, когда он был в Москве.

— Можно Михаила Александровича? Это Чуев.

— Я, Феликс, я, — слышу в трубке. По телефону голос его казался жестче. — Болею, старческое все. Ноги болят. А ты как?

— Тоже плохо, Михаил Александрович.

— А ты-то чего?

— Голова болит, вчера выпил...

Он засмеялся, почувствовав родное.

— Пописываешь? — обычный его вопрос. — Ну, желаю всего наилучшего!

В 1971 году в одном из телефонных разговоров он спросил:

— Когда выйдут полностью мемуары Голованова? Что вы так долго тянете?

Я помогал Главному маршалу авиации А. Е. Голованову в работе над книгой его воспоминаний «Дальняя бомбардировочная». Главы ее печатались в журнале «Октябрь», но проходили с великим трудом через разные инстанции, о чем я и сказал Шолохову.

— А вот Алексей Николаевич Косыгин считает, что это одна из самых правдивых книг о войне, — ответил Михаил Александрович, и его словами я потом порадовал Голованова...

Вот и все мое общение с великим.

Еще как-то мне передавал привет от него побывавший в Вешенской главный редактор издательства «Молодая гвардия» Валентин Осипов. Но самый большой привет долетел до меня неожиданно, когда я открыл журнал «Огонек», где был большой очерк о Шолохове. Там упоминалось, что в его рабочем кабинете среди писем и бумаг лежала моя раскрытая поэма «Минута молчания», посвященная памяти Юрия Гагарина. Значит, следил, интересовался. По поводу этой одной журнальной строчки меня поздравляли больше, чем с какой-либо премией...

Светло вспоминать светлое, потому что, когда я задумываюсь о жизни, у меня такое ощущение, что надо мной всюду старались поиздеваться. Соченики, соседи, знакомые — каждый хотел показать, что он выше, лучше... Как будто так принято у нас — не знаю, как в других странах. Мне и самому тоже все время приходилось доказывать себе. И я завидовал людям знаменитым — вот кому хорошо живется! Ан нет. Издерганная неприязнью и завистью жизнь Шолохова известна по тысячам страниц, написанных о нем. Не дай Бог быть умным в России — убьешь самого себя.

Думаю, почему я так горько сужу о народе, к которому сам принадлежу? Может, потому, что в литературе больше люблю документальное, чем художественное. А наш народ отождествляет художественный образ с жизнью. Я же с детства невлюбил сказки: ведь это все неправда! Прочитав книжку, мне хотелось выяснить, а бы ли на самом деле такой герой?

С книгами Шолохова другое дело. Они полюбились сразу, потому что в них была правда, может, даже правдивее той, что владела жизнью, несуразной, жестокой, несправедливой.

И все же именно потому, что мы такие и так живем, у нас есть Шолохов. Мы, русские, лучшие из нас, можем все, что никто не сможет. Врач Демехов в 1947 году осуществил пересадку органов, пришел вторую голову собаке, которая действовала, как и первая, а мы

его заклеямили. Весь мир пользуется сейчас его фантастическими открытиями, а он живет у нас в забвении... Изобрели спутник, космический корабль, скафандр, но какой космонавт, в какой стране выйдет в открытый космос в порезанном скафандре, который ему сунул в корабль кто-то из отечественных балбесов? А Владимир Ляхов вышел. Закрутил бинтом и липкой лентой отрезанную ногу скафандра и работал в открытом космосе...

Шолохов вынес жизнь и умер, как говорится, своей смертью. Мучился болью последние дни. Стал весить 46 килограммов. Посадили на стул — сползает, спина не держит. Привезли самолетное кресло с Ту-154 — то же самое. Пришли бабки станичные, подруги Марья Петровны, насыпали в наволочку проса и усадили его. «Стал я просорушкой, — сказал, — от «рушить просо» стало быть». Попросил сигарету, закурил. Ночью отошел...

...Дороги перекрыли, паром через Дон не работал, билеты на поезда до Ростова и Миллерова не продавали. А люди шли и ехали на машинах из четырнадцати областей... Гений...

Я нашел запись в своем дневнике 21 февраля 1984 года:

«Сегодня проснулся с мыслью удивительной и странной: если умрет Шолохов, как назовут его — выдающийся или великий? Ему почти 79».

Есть какая-то космическая связь: я еще не знал, что в эту ночь он умер.

В звуке «Шолохов» шепчутся маки,
и волна догоняет волну,
и летят дончаки, аргамаки,
натянув горизонта струну.

О как больно летят, задевая
окончания нервов земли!
Плачь, родная земля золотая,
плачьте белым венком, ковыли.

Не затихнут о нем разговоры
новых листьев под ветром донским,
потому что, конечно, не скоро
кто-то в слове сравняется с ним.

КРИТЕРИЙ СМЕЛЯКОВА

...Меня давно просят написать о Ярославе Васильевиче Смелякове. Но что я могу сказать о нем? То, что знал его лично, встречался с ним, то, что он несколько раз произносил свои слова обо мне и моих стихах и кое-что было напечатано, то, что он стал моим «крестным» в поэзии, но кому это теперь нужно?

В моей жизни сбылось загаданное. Каждый день в утренних сумерках кишиневского предместья Рышкановка, шагая в школу, я переходил железнодорожную насыпь — и в этот момент, начиная с девятого класса, обязательно загадывал, что, во-первых, получу золотую медаль, а во-вторых, попаду на поэтический вечер, где прочту свои стихи и их высоко оценит знаменитый поэт не ниже Твардовского...

Сбылось, очень скоро сбылось. Школу я закончил с золотой медалью, ибо за все десять лет учебы не получил ни по одному предмету ни одной четверки за год и даже в четвертях. Мне семнадцать лет, я учусь на первом курсе физического отделения Кишиневского университета, и в наш студенческий клуб приехали московские писатели, среди них поэт Ярослав Смеляков. Ему в президиум передали несколько моих стихотворений. А я уже собрался уходить и стоял у дверей. Сейчас все это кажется сном, но было, было... Меня приглашают на сцену. 2 ноября 1958 года. Теплая молдавская осень. Я в светлой парусиновой курточке, в старых ботинках покойного отца поднимаюсь и вижу перед собой бородатого Вершигору — того, что «Люди с чистой совестью», кого-то еще и рядом с ними Смелякова. Великий улыбался, что было не столь характерно для него, как узнаю после. Четырнадцать лет еще впереди...

Смеляков, держа в руке мои стихи, указал на одно из них:

— Это читай всем!

Волнуясь перед залом, я во весь голос стал, как теперь говорят, озвучивать это стихотворение — слабенькое, как понимаю сейчас, но в нем были строки, которые понравились Мастеру, и он, перервав меня, воскликнул:

— Черт возьми, я б тоже так написал!

Это мне-то, семнадцатилетнему...

Конечно, студенческая аудитория восторженно приняла и его слова, и меня. Авторитеты были авторитетами.

Смеляков дал мне свой домашний адрес и в блокноте написал то, что берегу и по сей день:

«Дорогому товарищу Феликсу Чуеву — братский привет. Я надеюсь, что он будет большим, настоящим советским поэтом».

Это был, может, самый радостный день в моей жизни. Я прибежал в общежитие и прямо в ботинках лег на кровать на спину, счастливо глядя в потолок...

Через год я перевелся в Московский энергетический институт. Есть у меня такие стихи:

Я приехал в Москву,
я пошел к Смелякову,
он сидел в кабинете
в осеннем пальто,
он стихи перелистывал,
как участковый,
и свирепо милел,
если нравилось что.

Я принес ему в редакцию журнала «Дружба народов» тоненькую пачку стихотворений, он выбрал три и на обороте одного написал: «Коля! Направляю Вам студента Ф. Чуева с тремя стихотворениями, которые (после некоторой правки) можно дать у Вас в журнале. Я его знаю по Кишиневу, по 1958 году, с тех пор он вырос и посерьезнел, сейчас он учится в Москве. Яр. Смеляков».

Другие стихи ему, видать, не понравились, и он их сбросил со стола на пол. Из гордости я не стал поднимать их и пошел, но женщина, сидевшая в одной

комнате со Смеляковым, помню, ее фамилия была Дмитриева, догнала меня с этими стихами: «Что вы, ведь он так хорошо к вам относится!»

А Смеляков направил меня в журнал «Юность» — редакция помещалась в том же дворе Союза писателей СССР — к заведующему отделом поэзии Николаю Старшинову. В те годы «Юность» была очень популярна, и, пожалуй, все стихотворцы, и юные, и не очень, мечтали напечататься в этом журнале. К Старшинову стояла очередь страждущих, ненамного меньшая, чем за водкой в годы перестройки. Начиналась она во дворе и по коридору извивалась до кабинета. Часа два я простоял, Николай Константинович пробежал глазами мои стихи, прочитал еще раз, сказал несколько добрых слов и добавил, что предложит эти стихи начальству, но ждать придется довольно долго. Перевернув последнюю страницу, он увидел смеляковский почерк: «Коля!..» и так далее.

— Это Ярослав Васильевич написал? Что же вы сразу не сказали! Пусть тогда напишет врезку к вашим стихам — он редко кого хвалит!

Смеляков написал. И довольно быстро, всего через год, в октябре 1960 года в журнале «Юность» появилась страничка с двумя моими стихотворениями, фотографией и смеляковским напутствием. В ту пору событие не только для меня. Первая публикация в столице.

Потом мы встречались не раз. Был я у него и дома на Ломоносовском проспекте, привозил стихи. Смеляков больше ругал, чем хвалил, но зато это он ругал и хвалил. Он поддержал мой ранний прием в Союз писателей и даже написал предисловие к книжке в серии «Библиотека избранной лирики».

Последний раз я видел его осенью 1972 года у буфетной стойки Центрального Дома литераторов. Подошел к нему, поздоровался, а он громко сказал:

— Скоро меня снесут на Ваганьково, и Чуев напишет обо мне статью!

Я стал успокаивать его, но очень скоро он оказался не прав только в одном: не Ваганьково, а все-таки Новодевичье...

Гроб его стоял в дубовом зале ресторана Дома литераторов, где иной раз, бывало, сидели с ним... Из

всех выступавших на панихиде помню, как сказал Симонов:

— Он был самым талантливым из всех нас.

Стали поднимать гроб. Слева от меня был Евтушенко. Один из нас сказал другому:

— Вот что нас объединило!

Как и предвидел Смеляков, я написал о нем в журнале «Дружба народов», где он много лет проработал, и, кажется, впервые в печати назвал его великим русским советским поэтом.

У меня висит его большой портрет. Я часто вспоминаю Ярослава Васильевича.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В 1959 году Смеляков дал мне пригласительный билет на свой творческий вечер в Центральный Дом работников искусств. В президиуме он сидел рядом с Твардовским, и я слышал от него, что он придает этому большое значение.

После вечера к нему подошел его давний знакомый, с которым где-то вместе работали и не виделись не один десяток лет. Смеляков не проявил к нему никакого интереса — не то чтобы показывал свое величие и превосходство, а просто неинтересно, и все.

Выпивал он часто и крепко, но относился к тем редким в нашем Отечестве людям, которые, сколько б ни выпили, не теряли мысли и ясности головы. В таком состоянии он мог спокойно вести вечер поэзии, представляя своих коллег и глазами отыскивая в зале знакомых.

— А что, Михаила Аркадьевича уже увели? — спросил как-то у присутствующих, имея в виду дремавшего в зале Светлова.

Помню, стали просить почитать стихи его самого:

— «Любку»!

— «Кладбище паровозов»!

— «Если я заболею...»!

— Ну хорошо, — грубым, как всегда, голосом сказал Ярослав Васильевич и, как всегда, облизав губы, начал: — Если я заболею, к врачам обращаться не стану... Товарищи, уберите фотографа, он мне мешает!.. Обращусь я к друзьям... Я сказал, уберите фотогра-

фа, что я вам Эдита Пъеха, что ли!.. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду... Да сколько же можно снимать! Ну, знаете, я в таких условиях читать не могу!
Все выступление.

СМЕНИЛ ОБСТАНОВКУ

Смеляков несколько раз был в заключении. На одном из судов он сказал: «Я говорю как со дна океана...»

Когда у него спросили, почему он не пишет вторую часть замечательной своей поэмы «Строгая любовь», он ответил:

— Обстановку переменял — не пишется.

Первую часть он написал за колючей проволокой.

КРИТЕРИЙ СМЕЛЯКОВА

Смелякова боялись. Среди поэтов существовал как бы «критерий Смелякова», поэтическая планка высоты, что ли.

Молодой поэт Алексей Заурих принес ему в редакцию свою подборку. Смеляков пролистал стихи и сбросил со стола, кратко отрецензировав;

— В ж...у!

А с поэмой другого, уже известного поэта он поступил несколько иначе: подошел к окну, открыл форточку, сложил поэму трубкой и на глазах растерявшегося автора выбросил ее на тротуар улицы Воровского.

НА РЫБАЛКЕ

Николай Константинович Старшинов рассказывал мне, как он и его молодая жена пригласили Смелякова порыбачить. Сам Николай заядлый рыбак, а жена его впервые взяла удочку в руку, но, как часто бывает, новичкам везет, и она вытаскивала одну рыбешку за другой. Смелякова это злило:

— Черт знает что! Я, большой советский поэт, не могу поймать ни одной рыбки, а какая-то ... без конца ловит!

ПРИНИМАЛИ ЗАЙЦА

На заседании московской секции поэтов принимали в члены Союза писателей Анатолия Зайца. Было это в конце шестидесятых. Дрожал Заяц. Смеляков сидел на председательском месте и, облизав губы, спросил у секретаря секции поэтов Германа Флорова:

— Ну что у нас там еще?

— Последний вопрос. Прием в члены Союза писателей Анатолия Зайца.

— Ну, тут, по-моему, вопрос ясен, — сказал Смеляков. — Двух мнений быть не может. У нас же было решение: Зайца в члены Союза писателей не принимать!

— Не было такого решения, Ярослав Васильевич! — возразил Флоров.

— Герман, ты ничего не помнишь, потому что не ведешь протоколы, а я помню, что у нас черным по белому было записано: Зайца в члены Союза писателей не принимать. Все ясно.

— Я тоже не припомню такого решения, — заметил Константин Ваншенкин.

— Да не было этого! — воскликнул Владимир Туркин.

— Не было, не было, — заворчал Смеляков, — я же помню, что было! У Зайца вышла всего одна книжка, и мы не можем по ней его принять. Мне Егор Исаев на днях сказал, что у Зайца в этом году в «Советском писателе» выходит «суперпрекрасная книжка». Узнаете стиль? Так вот, подождем ее выхода и тогда будем решать.

— Да нет же, Ярослав Васильевич, у него вышло уже три книжки! — сказал Туркин, а бедный Заяц стал робко подвигать сборники по столу по направлению к Смелякову. Тот взял одну книжку — «Марш на рассвете»:

— Ну что это за книга — «Марш на рассвете»? «Ты на рассвете», «Я на рассвете»... К тому же они вышли у него где-то в Виннице...

— Не в Виннице, а в Москве, Ярослав Васильевич! — подал голос Заяц.

Смеляков уткнулся в титульные листы сборников: да, Москва.

— Так о чем речь, товарищи, я не понимаю? Меня ввели в заблуждение, — прорычал он. И обратился к Флорову: — Это ты, Герман, виноват, не ведешь протоколы! Хорошо, Заяц, читайте нам одно свое самое лучшее стихотворение. Но чтоб было не хуже «Любки Фейгельман», которую я читал даже в Московском горкоме партии! — почему-то сказал Смеляков и засмеялся.

Зяец стал читать длинное стихотворение, кажется, о друзьях. Я наблюдал за Смеляковым. Он уже сидел в полудреме, видимо, до заседания успел побывать в буфете. Похоже, стал засыпать. В это время Заяц с пафосом произнес очередную строку, что-то вроде: «поднять стакан вина с друзьями...» Смеляков встrepенулся:

— Неплохая строка! Поднять стакан вина с друзьями... Так о чем речь, товарищи? По-моему, вопрос ясен. Кто за то, чтобы принять Анатолия Зайца в члены Союза писателей? — И поднял руку.

Приняли единогласно. Поздравляя Зайца, я в этот день ему не завидовал.

ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЫ...

На одном обсуждении Смеляков сказал:

— Мне надели эти Евгенийи Онегины с партийными билетами!

ГОНОРАР

Как-то он выбирался из сугроба возле Дома литераторов, а выбравшись, сказал с сожалением:

— Вчера получил гонорар, хотел от Таньки спрятать и засунул в такси под сиденье...

СТИХИЙНЫЙ МИТИНГ

— У американского посольства готовят трибуну и стягивают милицию, — сказал он, — сейчас будет стихийный митинг протеста...

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Прочитав стихи юной симпатичной поэтессы, Смеляков сказал:

— Девочка, ты, может, и пробьешься, но ведь тебя за...бут!

Похоже, так и вышло.

ПОЗДРАВИЛ

Мне рассказывали, что в день свадьбы Евтушенко с Ахмадулиной в «Правде» вышла разгромная статья о Евтушенко. В то время это много значило. Молодожены решили зайти к Смелякову, чтобы тот их поздравил. Они предстали перед ним, и юная Белла сказала:

— Ярослав Васильевич, мы с Женей сегодня расписались и вот пришли к вам...

— Это мне напоминает свадьбу Гитлера и Евы Браун, — мрачно сказал Смеляков.

Он прочитал статью...

ПОЧЕМУ?

Ярослав Васильевич рассказывал, как был в гостях у Евтушенко:

— Вошел в прихожую. Смотрю: за дверью картина, сапоги видны. Неужели Сталин? Оказалось — рыба. А я подумал, Сталин. Это у Чуева бог — Сталин. А у меня Ленин. — Подумав, добавил: — А может, даже и Маркс. Дальше еще комната, там спит его эта Галя... Он достал из холодильника сухое вино, а я вообще не пью эту кислятину. Вышел на балкон, плюнул вниз, попал на его машину. Стою и думаю: «Почему я всю жизнь пишу за Советскую власть, и у меня двухкомнатная квартира, а Евтушенко пишет против Советской власти, и у него сто квадратных метров?»

(Что-то было в этих словах. Один из руководителей Союза писателей, помнится, сказал мне с улыбкой: «Хочешь получить квартиру — напиши заявление против ввода наших войск в Чехословакию, сразу дадут!»)

Такой уже стала Советская власть.)

КОММУНИЗМ

Смеляков однажды заметил:

— У всех разное представление о коммунизме. Евтушенко, например, представляет себе коммунизм так, что рабочие всего мира каждый день в определенное время будут ему аплодировать стоя.

РАЗБИРАЛИ, ПРОБИРАЛИ...

В 1967 году меня пробирали четыре часа на бюро секции поэтов за стихи о Сталине. Смеляков председательствовал и сказал в заключение:

— Мне надоело возиться с молодыми: Чуева вести от сталинизма, а Евтушенко к коммунизму!

Осенью того же года меня неожиданно наградили медалью, и Смеляков сказал:

— Знаете, Феликс, мы ваше дело решили положить под сукно.

ПОСЛЕ НАГРАЖДЕНИЯ

В Кремле писателям вручали правительственные награды. Мне и Олегу Дмитриеву дали по медали «За трудовое отличие». Обмывали в ЦДЛ. Олег проходит мимо столика, где сидит Смеляков с женщинами, обмывающий свой «трудофик» — орден Трудового Красного Знамени. Ярослав Васильевич снисходительно поздравляет Олега:

— Ну, медалька, это тоже ничего...

Ироничный Дмитриев отвечает ему:

— А вы знаете, Ярослав Васильевич, сколько человек сегодня получили «трудофика»?

— Ну, сколько?

— Шестьдесят семь, — говорит Олег, не моргнув глазом, разумеется, совершенно «от фонаря».

— Ну и что? — недоумевает Смеляков.

— А то, что медалью наградили только двоих — меня и Чуева. Вот и делайте выводы! — сказал Олег, быстро отошел в сторону, и весь смеляковский мат достался женщинам за столом.

Помню, Олег прочитал мне такую эпиграмму:

Яр. Смеляков, большой поэт,
в лесу столкнулся с росомахой.
Ее он испугался? Нет.
Он ей сказал: «Пошла ты на...!»

А Смирнов С. В. напечатал эпиграмму, где были такие строки:

Ярослав, маститый дядя,
громко буркнул, грудь горой:
— В поэтической плеяде
первый я, а ты — второй!

Это о Смелякове и Твардовском.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ

В 1968 году премию Ленинского комсомола присудили трем поэтам: В. Маяковскому (посмертно), Я. Смелякову и В. Фирсову.

Смеляков сказал:

— Конечно, рядом с Маяковским я говно, но и Фирсов рядом со мной тоже говно!

ФЛАЖОК

Сидим за столом в ресторане ЦДЛ — Ярослав Васильевич, донской поэт Борис Куликов и я, обедаем. Смеляков полез в карман, говорит мне:

— Что смотришь, думаешь, я оттуда орден Ленина достану?

У него орден Ленина стал пунктиком: трижды ему давали «трудовика» и ни разу — Ленина. Вынул из кармана только что вышедшую свою книжку «День России»:

— Этот Шиферович совсем ох...л: хочет, чтоб я ему посвятил стихотворение «Русский язык»!

Заговорили о том, кто под каким знаменем идет. Ради нелепости я сказал:

— А я иду под знаменем Алигер!

Смеляков от неожиданности даже уронил вилку в тарелку:

— А что, у Алигер есть какое-то знамя? — И сам же ответил: — По-моему, это не знамя, а свернутый флажок, с которым стоят на переезде, когда поезд уже прошел...

ВИНОКУРОВ

— Женя, я тебя выдвину на Государственную премию, — говорит Смеляков поэту Евгению Винокурову, — тебе ее, конечно, не дадут, но пошумишь ты здорово!

АВИАЦИЯ

Узнав, что я пошел работать в авиационный научно-исследовательский институт и участвую в испытаниях самолетов, Смеляков заметил:

— Там дерьма не держут.

НЕ ПОМОЖЕТ

Рассказывал Владимир Бушин, работавший в редакции журнала «Дружба народов», когда Смеляков заведовал там отделом поэзии. Главный редактор журнала Василий Смирнов решил посоветоваться с Ярославом Васильевичем:

— А что, если мы в одном из ближайших номеров напечатаем подборку стихов еврейских поэтов?

— Мы можем их напечатать, — ответил Смеляков, — но и после этого все равно не перестанут считать тебя антисемитом.

У ПАРИКМАХЕРА

Смелякова стрижет знаменитый цэдээловский парикмахер Моисей Михайлович. А Ярославу Васильевичу только вручили Государственную премию СССР за книгу стихов «День России». Указывая на медаль, он говорит:

— А знаешь, Моисей, она золотая!

— Ах, ах! Что вы говорите! — восхищается парикмахер.

— Да, золотая. И знаешь, что я с ней сделаю? — развивает мысль Смеляков.

— Интересно — что, Ярослав Васильевич?

— Отправлю в Израиль. Там же идет война. Им нужно золото.

Парикмахер ничего не ответил, замолк и необыкновенно молча достриг Смелякова, а занявшему место следующему клиенту сказал:

— Вы знаете, кто это был? — И сам ответил: — Это был Ярослав Смеляков! Большой поэт и большой интернационалист!

НОВЫЙ ЦИКЛ

Получилось так, что Смелякову в короткий промежуток времени вручили подряд несколько наград: орден, госпремию, еще орден...

— Из Кремля не вылезая, — гудел в ЦДЛ Ярослав Васильевич. И посылал по обычному адресу не понравившихся ему собутыльников. Его попытались осадить, но он еще более разошелся. Прибежал администратор Аркадий Семенович, маленький, с пронзительным писклявым голосом:

— Ярослав Васильевич, хоть вы и большой поэт, но мы не позволим вам оскорблять писателей!

Смеляков смерил взглядом небогатырского вида администратора и изрек:

— А тебя я сейчас возьму за шкурку и выброшу в форточку!

Олег Дмитриев, сидевший за соседним столиком, потирая руки, заметил:

— Да, против двух «трудовиков» и госпремии Аркашка не поперет!

И действительно, Аркадий Семенович удалился, а кто-то из пожилых литераторов сказал:

— На характере Ярослава, конечно, сказались его отсидки и финский плен. — И тут же добавил: — Но и до этого он был точно таким!

На месте Аркадия Семеновича возник директор писательского дома Филиппов и, сдерживая себя, твердо выдал:

— Ярослав Васильевич, вам надлежит немедленно покинуть помещение Центрального Дома литераторов!

Смеляков ничего не ответил, встал, подошел к буфету, купил у Муси самый роскошный бисквитный торт, быстро надел его на голову невысокому директору да еще сделал смазь кремом по лицу. И сел на свое место, продолжая много выпивать и слегка закусывать.

Филиппов побежал отмываться на кухню и, отмывшись, вновь возник у смеляковского столика:

— Ярослав Васильевич, как будем поступать? Милиция или психиатричка?

Смеляков сразу сообразил что альтернативы не будет и, поскольку хорошо знал, что в милиции бьют, мрачно ответил:

— Психиатричка.

Приехали санитары, забрали. В больнице он пробыл две недели и написал прекрасный цикл стихотворений...

Такие вот воспоминания у меня о Смелякове. А иное не запомнилось. Есть еще несколько стихотворений. Ими и закончу

ПЛАСТИНКА

Пластинка тонкая измялась,
я осторожно распрямлю
ее затертую усталость —
я этот голос так люблю.

Пусть под иголкой чуткой снова
спираль совет осенний день,
на тротуаре Кишинева
сутуло-кепочную тень.

Паркет студенческого клуба,
ломтями солнце на полу,
лучи, дробясь, щекочат губы,
и в полном зале я в углу.

Читал стихи поэт суровый,
угрюмо, без игры читал.
Во мне ж мое кипело слово,
как будто плавился металл.

Меня как будто бы не стало,
слова упали, леденя,
когда в тиши большого зала
внезапно вызвали меня.

Иду в застиранной тужурке
на сцену, в сбитых башмаках...
Как гордо, трепетно и жутко
стоять всего в пяти шагах

От настоящего поэта —
впервые вижу, рядом, вот.
Он говорит:
— Читай всем это! —
и мне мои стихи дает.

И я читаю, забывая
себя, его и целый зал,
а он встает, перебивая:
— Я тоже так бы написал!

Я в общежитие вбегаю,
в ботинках прямо на кровать,
лежу, сияю... Жизнь какая
меня крутнет, откуда знать?

Но этот голос из железа
как бы во мне меня открыл,
он словно душу мне надрезал
и слово кровью окропил.

Тот грубый голос не остынет,
и я внимаю в тишине:
«Должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране».

* * *

Что-то тяжело без Смелякова,
пусто в поэтическом дому,
хочется, чтоб рывкнул он сурово,
даже и не знаю почему.

Хочется со строчками на совесть
подойти к нему и почитать,
чтобы он, придав словам весомость,
называл на «вы» меня опять.

...Редко видел. Не точил с ним ляды.
Сдерживал и трепетность, и пыл.
Почему-то я его боялся,
почему-то он меня любил.

Вот сидит он рядышком с Твардовским
у большого зала на виду,
вот идет, сутулясь, по подмосткам,
и к нему сейчас я подойду.

ВИСКИ ПАМЯТИ СОЛОУХИНА

Не позвонит Володя Солоухин. Никогда не позвонит. Его отпели в храме Христа Спасителя, и патриарх сказал речь. Умер Владимир Алексеевич в 1997-м, 4 апреля, как раз в день моего рождения.

А ведь совсем незадолго позвонил, привычно окая:
— Володя Солоухин это.

Я собирался прийти к нему с бутылкой шотландского виски, потому что ему нравились слова из песни Вертинского:

Как хорошо с приятелем вдвоём
Сидеть и пить простой шотландский виски...

«Простой шотландский виски», — повторял он, со смехом выделяя «простой».

Как-то он пригласил меня на дачу в Переделкино и говорит:

— Я недавно был в Париже и прикупил там одну к о с с е т к у, Вертинский, «Песня о Сталине». Думаю, кому подарить? Конечно, Феликсу!

Мы тут же прокрутили «коссетку»:

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград!

Удивительная песня. Тем более Вертинский, в эмиграции. У нас в стране-то понятно. В сороковые годы у каждого советского певца была «своя» песня о Сталине. Максим Дормидонтович Михайлов паровозным басом гудел:

И смотрит с улыбкою Сталин,
Советский простой человек.

Великий Лемешев выводил бархатным тенором:

Богатырь народ-герой советский
Славит Сталина-отца.

Без голоса, но с чувством пел Утесов:

Так пять моряков умирали
На крымской горящей земле,
Но клятву матросскую Сталин
Услышал в далеком Кремле.

Бодро звенели голоса Бунчикова и Нечаева:

Сталинской улыбкою согрета,
Радуетя наша детвора.

А кто-то из знаменитых, «народных» певец щемящим откровением французской матери едва не доводил слушателей до слез:

И хоть вы не верите в бога,
Но все же я вам признаюсь:
В своей комнатухе убогой
За ваше здоровье молюсь.

Так было. Но Вертинский, его-то кто «за хвост тянул»? А он, грассируя, выводил:

Как высоко вознес он державу,
Вождь советских народов — друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей!

...Тот же взгляд. Те же речи простые,
Так же скупы и мудры слова.
Над военною картой России
Поседела его голова.

На даче Солоухина на стене — портреты последнего царя и царицы, фотография царской семьи. Мы не сходились во взглядах, скажем так, не во всем сходились, но это не мешало нам дружески общаться. Видимо, сказывалось то, что наши взгляды давно устоялись и состоялись, и каждый с уважением знал об этом.

— Что ж ты с Николашкой Кротовым носишь кольцо? — спросил у него один из писателей в Даре литераторов, указывая на перстень, сделанный из царской золотой монеты с изображением самодержца.

— Для кого Николашка, а для кого государь-император Николай Александрович, — поправил вопрошающего Солоухин. — И не такой уж он был кровавый, если разобраться. У Феликса тезка куда кровавее был, — подразумевал он, конечно, Феликса Держинского.

Надо сказать, в ту пору так называемого застоя ему доставалось за убеждения, как, впрочем, и мне за свои. В 1972 году и его, и меня вызвали на заседание партийного бюро. Предлог сформулировал председательствующий Сергей Васильевич Смирнов: «партизанская уплата членских взносов». Дело было в том, что мы платили взносы не лучше и не хуже других поэтов: гонорары непостоянны и непредсказуемы по времени. А главная причина нашего «промывания» заключалась, конечно, в его монархизме и моем сталинизме. «Неспроста нас с тобой вдвоем вызвали», — сказал я Солоухину. «Ох, неспроста, неспроста», — согласился он. Мы поехали после бюро к нему на московскую квартиру, и он упоенно читал опубликованные за рубежом стихи Цветаевой:

Белогвардейцы!
Белые грузди армии русской!

И еще:

Вопрос, как громом грянет: Где вы были?
Ответ, как громом, грянет: — На Дону!

— Я к тебе давно присматриваюсь, — признался Владимир Алексеевич. — Сначала не относился серьезно, думаю: Сталин, Сталин... А потом смотрю: ты прав. Он, конечно, был монарх. Ты молодой, не помнишь. А я был в войну кремлевским курсантом и видел его довольно близко. Стою на часах, осень, благолепие, Иван Великий золотится... Выходит на крыльцо Иосиф Виссарьоныч. По леву руку — патриарх Всея Руси Алексей, по праву...

— Молотов, наверно, — вставил я.

— Митрополит Крутицкий и Коломенский, — не моргнув, поправил меня Солоухин. — А чего ты улыбаешься? Попов уважал. Сказывалось семинарское образование...

В очередную встречу с Молотовым я рассказал ему об этом разговоре с Солоухиным, назвав его «один писатель». Вячеслав Михайлович посмеялся, догадавшись, конечно, кто это был, и в шутку спросил:

— А этот писатель вас не заставляет молиться?

Году в 1975-м я помогал Солоухину продать его машину — старый «газик». Этого видавшего виды «козла» купили мои знакомые грузины.

— Попроси лишнюю тысячку, у них денег много, а мне пригодится, — сказал он.

Грузины заплатили ему нормально, и мы еще несколько дней сидели за столом и, конечно, говорили о Сталине. Владимир Алексеевич рассказал, как во время его кремлевской службы в 1942 году приезжал Черчилль, шли переговоры со Сталиным. Солоухин как раз нес службу и поглядывал на дверь, которая по его расчетам вот-вот должна была распахнуться. По дорожке он приблизился к двери, чтобы, когда появятся высокие лица, застыть на месте и есть глазами начальство. Так было положено.

Так и вышло. Открылась дверь, возникли Сталин и Черчилль со свитой, и младший сержант Солоухин встал, как вкопанный. Приблизившись к нему, Черчилль остановился, внимательно разглядывая русского солдата, — была такая привычка у английского премьера: он как бы пытался понять, что же это за народ, как эти русские могут противостоять всемогущим арийцам? Порой он даже пуговицы крутил у солдат на шинелях, всматриваясь в глаза солдат...

Писатель Василий Шкаев, служивший в войну в советском посольстве в Англии помощником военноморского атташе, рассказывал, как Черчилль остановился возле него и стал принохиваться.

— Вот так и должно пахнуть от моряка, — сказал сэр Уинстон, — одеколоном и коньяком!

И вот Черчилль вплотную подошел к русскому парню в военной форме и разглядывал его.

«Все тоже остановились, и Сталин, конечно. А я был высокий, здоровый, молодой, красивый», — вспоминает оаек Солоухин.

— Да, с такими солдатами вы войну не проиграете! — произнес Черчилль. Но присутствующие выжи-

дательно смотрели на Сталина. Он стоял молча, по обыкновению заложив правую руку за борт своей солдатской шинели. И не сразу, через некоторое мгновение, потрогал усы и двинулся дальше. Он не улыбнулся, нет, но так потрогал усы, что все поняли: он доволен. А это было высшей наградой для советского человека. Сталин не сказал ни слова, но на другой день в Кремле построили часть, и младшему сержанту Солоухину генерал объявил благодарность — «за образцовое несение караульной службы и отличную строевую выправку».

— Он, конечно, был монарх, — заключил Владимир Алексеевич. — При нем в Кремль свезли царских орлов, трон появился.

— Он всегда там стоял, — заметил я.

— На почетное место передвинули, — уточнил Солоухин. — Лет десять бы он еще пожил — короновался бы! Ты зря смеешься, — обратился он ко мне. — Авторитет у него был огромный, мир его уважал и боялся, а народ и почитал, и искренне любил. Так что все к этому шло. А оно и неплохо было бы!

Владимир Алексеевич, как говорится, спал и видел торжественный выезд государя-императора из Спасских ворот, и великий коммунист и державник Сталин вполне устраивал его в этой роли.

— Никто не знает, что делал Сталин в первый день войны, пишу что растерялся. А это не так.

— А что он делал? — спросил кто-то из присутствующих.

— Молился о ниспослании победы. — Такова версия Солоухина.

...Помню, его еще вызывали на партийное бюро. Повод — семейная история. На горизонте и в жизни возникла некая юная Прелестница. Замаячил развод с женой, и партийное бюро секции поэтов, разумеется, не могло жить спокойно.

— Жена меня к себе не допускает, — заявил на партбюро Солоухин, а я не могу заниматься оно-низмом.

Надо сказать, это заявление встретило молчаливое сочувствие, особенно женской части партийного органа.

— Я даю семье 500 рублей в месяц на пропитание. А дочка плачет: «Папа, не уходи!» А что касается

имуущества, то коллекцию икон я делить не могу, она цельная. Некоторые иконы в ней не имеют цены — они выше шкалы. Не для партбюро будь сказано, но одну иконку мне подарил патриарх Всея Руси...

Было это в пору напечатанной в журнале «Москва» нашумевшей его повести «Приговор», и он сам находился в ее нерве. В повести как раз шла речь о Прелестнице — он назвал ее Евой. Я попросил экземпляр на память, он ответил:

— Принес домой пачку журналов, а жена все сожгла.

В этой повести он обрекает своего лирического героя на смерть от рака — такое у него тогда возникло подозрение к самому себе. Он сильно переживал и даже однажды признался:

— Тыщенок тридцать у меня есть на книжке, хватит несколько лет протянуть...

Годы шли, подозрение, к счастью, не оправдалось, и писатели в Доме литераторов злословили по этому поводу. Писатели вообще народ любопытный и, с точки зрения неписателей, люди страшные. Он берег себя, обедал в ресторане Центрального дома литераторов, а после обеда уезжал спать на дачу.

— Гость к нам пришел, — говорит он Прелестнице, — поставь на стол чего-нибудь.

— Да, мой повелитель, — отвечает Прелестница, подпиливая ногти и не двигаясь с места. Поговорили несколько минут.

— Там у нас бутылочка была, — напоминает он Прелестнице.

— Да, мой повелитель, — соглашается она и продолжает пилить ногти.

Сам принес бутылку и порезал закусью... Время Прелестницы вскоре прошло.

— Нет женщины, которая бы стоила больше двух тысяч долларов, — шутя утверждал он.

Не буду говорить о самом главном — о Солоухине-писателе. Его надо читать. Скажу только, что познакомился с ним не на «Владимирских проселках», не по «Письмам из Русского музея», а по стихам и какой-то повести шестидесятых годов, где Солоухин говорит о молодом писателе, которому со временем понадобится гладкий полированный стол, чтобы легче рукой водилось. Сам он таким литератором не стал.

В те годы популярен был Евтушенко. Когда у Солоухина спросили об отношении к нашумевшему поэту, Владимир Алексеевич ответил, что не променял бы свое творчество на его. Знал себе цену.

Я еще не был с ним близко знаком, когда на собрании Московской писательской организации он выступил после Евтушенко, который ругал мое стихотворение «Полутона».

— Все это потому, — сказал Солоухин, — что Евтушенко попросту завидует Чуеву.

Может, подоплека была иная, но сказал именно так.

В «Литературной энциклопедии» написали о почвеннических мотивах в моем творчестве. А я толком и не знал, что это такое.

— Значит, идешь от почвы, а не от поролона, — объяснил мне Владимир Алексеевич.

...Кажется, совсем недавно в Дубовом зале Дома литераторов мы отмечали 70-летие Солоухина. Среди гостей были и приехавшие из-за границы члены императорской семьи Дома Романовых. Организовал непосильное по нашим временам торжество молодой бизнесмен Михаил Хроленко, выпустивший и последнюю прижизненную книгу Солоухина «Соленое озеро».

С Мишей Хроленко у нас был связан один, как теперь говорят, проект. В последнее время это слово применяют не столько к техническим новшествам, как к всевозможным гуманитарным и деловым затеям. Как-то Солоухин сказал мне:

— А почему бы тебе не составить сборник стихотворений, написанных разными поэтами о Сталине, — ведь его воспевали все — от Ахматовой до Евтушенко! Прелюбопытная получилась бы книжечка, хе-хе! Ты это знаешь, тебе и карты в руки, а я написал бы предисловие.

Так и сделали. Я покопался в старых поэтических сборниках, составил книжку под названием «Дорогой подарок». Некоторые авторы были представлены не только хвалебными одами вождю, но и прямо противоположными по настроению и оценкам стихами на ту же тему, на небольшое время отстоящими друг от

друга. Рукопись с солоухинским предисловием была готова, но так и не вышла в свет из-за финансовых трудностей нашего спонсора. А другие почему-то не хотели...

Мы встречались, перезванивались. Я обнаружил свою дневниковую запись 21 декабря 1996 года:

«Позвонил Володя Солоухин, поздравил со статьей о Рокоссовском в «Советской России»:

— Сегодня еще кой у кого день рождения, — заметил он, имея ввиду Сталина.

Солоухину 73-й год. Он болеет. Я сказал ему, что мои знакомые и в 96 неплохо себя чувствовали.

— Я думаю, они пили кой-чего, — предположил Солоухин. — А вот Сталину кто-то помог умереть — это сто процентов!»

Последний мой разговор с ним. Как будто позвонил, чтоб попрощаться...

А 8 апреля его отпевали в еще не законченном храме Христа Спасителя — впервые такое. Патриарх назвал его настоящим христианином. Возможно, так и было, хотя сам Владимир Алексеевич однажды сказал мне:

— Я в Бога, конечно, не верую, но Бога уважаю...

Он верил в Россию, верил в человека и делил всех людей на чудаков и нечудаков, или чудаков на букву «м», как писал Шукшин...

Стояла у меня бутылка шотландского виски, думал — привезу Солоухину, чтоб он повторил: «Простой шотландский виски!» — и засмеялся... А, когда выпьем, и, как водится, покажется недостаточно, он скажет:

— Пойдем к Мише Алексееву, у него всегда есть в холодильнике...

В застолье Владимир Алексеевич рассказывал разные истории, связанные с писателями. Например, Расул Гамзатов признался ему, как пригласил поэта Александра Говорова: «Саша, приезжай ко мне в гости в Махачкалу!»

«А он, дурак, и на самом деле приехал!» — смеялся Расул.

Анекдоты от Солоухина я слышал редко, но из последних запомнил такой:

Учительница говорит:

— Петя, прочитай стихотворение.

— Стихотворение Некрасова. Поздняя осень, грачи улетели, — читает Петя.

— Петя, но почему же улетели? — спрашивает учительница.

— Клявать нечего, Марь Иванна, — отвечает Петя.

...Хотел я прийти к Солоухину с бутылкой виски.

Не получилось. Предполагаем, а нами располагают. И вот я сижу один и пью «простой шотландский», как положено, со льдом и тоником, поминаю тебя, Владимир Алексеевич. Мы не были близкими друзьями, но что-то тянуло к тебе — не только магнетизм твоего самобытного таланта.

Ты жил, как хотел, и написал то, что хотел. Тебе и сейчас многие могут позавидовать, ибо лучшая участь для талантливого человека в России — умереть, чтобы остаться.

ПОЧЕМУ Я НЕ СТАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Документальная повесть

1. ИЛЬИНСКИЙ БАЗАР

— Мы люди советские! Мы люди рабочие! Мы любим работать!

Наша хозяйка, Филаретовна, лежит на деревянном топчане, покрытом полосатой молдавской ковровой дорожкой. В комнате полутемно, не прибрано, грязно. Утренний свет упруго пробивается сквозь усуженное мухами оконное стекло и косым, неярким квадратом гостит на земляном полу. Хозяйкин муж, дядя Петя, Петр Иванович, сидит посреди комнаты за столом, целенаправленно уставясь на граненый стаканчик. На столе — ни скатерти, ни кусочка хлеба, только графин красного вина, уже неполный.

— Мы люди советские! — продолжает хозяйка, лежа на топчане. Она в красном платье с засученными рукавами. — Мы красные! У меня красный летчик на квартире! С женой и мальчиком! Иди ко мне, лебедь черный, я тебе что-то дам!

Хозяйка гладит мой невероятно белый для Молдавии чубчик и достает из кармана грецкий орех.

— Русские дали нам хлеб! Трэяскэ мареле Сталин!¹ — завершает она по-молдавски и вручает мне орех.

Я привык к ее ежедневным речам, которые в присутствии моего отца бывали еще продолжительнее, ярче и политически заостреннее. Хозяйка меня любит, дядя Петя тоже, и я чувствую к ним что-то хорошее, особенно к дяде Пете. Не в пример Филаретовне он говорил мало, даже голоса его не помню. И всегда

¹ Да здравствует великий Сталин! (молд.)

что-то делал: пил вино или работал, но чаще совмещал то и другое — у него это получалось. Иногда ездил на велосипеде, захватив деревянный ящичек с инструментами, а меня сажал впереди, на раму. Ехать было страшно: на нашей улице, да и дальше, здорово трясло, вот-вот свалишься. И однажды мы наконец упали. Дядя Петя на повороте не выдержал угол, машина наша завалилась, я оказался под цепью, с дяди Пети слетела его серая кепка, и он накрыл меня своим душным телом в латаном пиджаке. Больше я с ним не ездил. Однако он быстро искупил свою вину, изобретя для меня из палочек и ниток удивительную штуку — кувыркающегося гимнаста. Роскошная была игрушка! Нажмешь на боковые стойки — гимнаст делает «склепку», крутит «солнышко»... Первая игрушка, которая запомнилась. Потом появились купленные в магазине тряпичный клоун в колпаке, паровоз, пуленепробиваемый, спаянный в стиле «Уралмаша» из грубой, толстой жести, маленькая голубая «эмка» и зеленая пушка за 12 рублей 50 копеек... Это все мои дошкольные игрушки. Был еще принесенный отцом с работы деревянный «мессершмитт». Аккуратно выточен, покрыт лаком — однако не нравилась мне его грязно-серая окраска, к тому ж кресты и свастики... Пошла в дело бутылка голубого эмалита, «мессер» принял достойный цвет, а когда подсох, то его идейное перевоплощение было завершено красными карандашными звездами на крыльях и фюзеляже. По моей просьбе отец приделал к нему колеса из проволоки и двух деревянных шашек — на макете не было шасси. Этот «мессер» применялся при разборе боевых вылетов, а теперь война кончалась, и немцы сюда уже не залетали.

С утра до вечера носился я по двору с голубым самолетом, совершая взлеты и посадки. Нравился мне теперь его цвет, хотя на нашем аэродроме я не видел голубых машин: «кукурузники» и все пять «Ли-2» и «Си-47» были темно-зеленого, так называемого защитного цвета. Стояли еще два пятнистых, рыжих «харрикейна», но они, как и все заграничное, меня тогда мало волновали. Был еще один, правда, не голубой, а темно-синий «Ли-2» № 4155, да недолго был: где-то на Кавказе наткнулся в тумане на скалу, вылетели оба мотора, однако машина спланировала, все остались живы, только командир корабля Шишигин стал заикаться...

Отец летал вторым на «Ли-2» и «Си-47». Митрич, его командир, завидев меня возле самолета, делает суровое лицо и говорит:

— Фелікс, подойди ко мне! — Но я его не боюсь, потому что однажды он угостил меня румынской шоколадкой — экипаж летал в Бухарест, Яссы...

Своих детей у Митрича не было. Повзрослев, я узнал, что после войны сидел он с женой в ресторане, а к ней стали приставать. Четверо, шайка. Вышли на улицу, Митрича избили, а жену изнасиловали на его глазах. Умерла. Скоро он выследил их в том же ресторане и перестрелял за столом всех четверых. Очень ловко и быстро это сделал.

Отец уважал своего командира, говорил, что Митрич — фронтовой летчик, только выпить любит, и у него за это в войну два ордена сняли.

Митрич бывал у нас. Друзья отца собирались часто. Помню веселого чернокудрого дядю Колю Пчелинцева — он играл на аккордеоне. Вскоре он перебрался в Москву, позвонил мне 32 года спустя, и перед встречей я почти безошибочно представил его таким, каким и увидел, даже невольную поправку на седину к его кудрям мысленно сделал. Память, когда тебе четыре года, если ухватит, то навсегда.

В коридоре столько обуви, словно разулась сороконожка. Сапоги, стоптанные туфли, молдавские лапти-постолы. Кроме летчиков, приходили соседи-молдаване, друзья наших хозяев, ну и сами хозяева, конечно, были за столом, где возвышался неизменный графин, окруженный зеленоватыми стаканчиками. Хлеб, вареная кукуруза, соленый арбуз... Все уселись, и дядя Петя говорит отцу:

— Ну, Ваня, гай по стакану вина! — Я был единственным ребенком в этой взрослой компании, однако сидел за столом как равный. — Гай по стакану! — И вина мне давали слабенького и самую малость. А сколько я понаслушался!

Вот сосед наш, безногий Семен, служил в румынской армии, и теперь проклинает Антонеску: ногу Семени оторвала королевская бомба — своих отбомбили...

Один знакомый пилот рассказывает, как у его жены в оккупации пропала шуба, и он прислал такую же трофейную шубу из Германии, а жена узнала свои нитки на пуговице...

В войну отец летал к партизанам, вывозил детей из оккупированных районов, и по его рассказам я до сих пор представляю лицо немецкого пилота, сбившего его над Брянскими лесами. Геройски погибший летчик Мамкин, о котором через много лет напишут, служил в батальоне полку... За столом были самые обычные люди, ни одной знаменитости, а все так запомнилось. Многие взрослые давно забыли то, что помню я. События, фамилии... Касьянкина и Самарин — такое нашумевшее дело, все только об этом и говорили, а сейчас почти никто не знает, о чем речь.

Я сижу, навострив уши, меня пытаются чем-то занять, но вскоре забывают, и я слушаю новую историю. Летчика, героя этой истории, теперь уже не представлю, может, и не видел его, а вот жена его, высокая худая блондинка, запомнилась — верно, потому, что о ней говорили: ничего не ест, кроме шоколада. Она умерла и оставила дочку — младше меня. Летчик женился на другой и стал замечать, что дочь его тает и стала почти прозрачной. Случилось, отложили у него полет, пришел домой, жены нет, дочка спит. Взглянул и похолодел: на теле девочки набухали пиявки. У него хватило выдержки отвезти дочь в больницу, вернуться домой и дожидаться. Дождался и застрелил. Его оправдали.

Наверно, за столом рассказывали и другое, но мне запомнилось это. А из юмора осталось, как отец, обратясь к молдавскому застолью, сказал:

— Ешьте, ешьте!

Молдаване встали, недоуменно глядя то на отца, то на дверь. Отец не был силен в молдавском языке, а они — в русском. Вот и получилось, что русское приглашение начинать трапезу означало по-молдавски выйти за дверь. Недоразумение, конечно, быстро уладилось, и представители обеих национальностей дружно смеялись под звон граненых хозяйкиных стаканчиков. А хозяйка не преминула произнести тост за дружбу советских народов.

С молдаванами отец ладил. Позовет какого-нибудь виноградаря и долго обсуждает с ним преимущества того или иного сорта, вроде это ему когда-нибудь понадобится. Впрочем, отец однажды сам обрѣзал на зиму виноградные кусты возле дома, надеясь укрупнить ягоды. Однако эффект получился противополож-

ный: виноград уродился мельче обычного. Тогда отец пригласил знакомого молдаванина, вроде бы знавшего толк в этом деле, они долго сидели за столом и потом пошли обрезать кусты заново.

— Может, не надо? — засомневалась мама.

— Теперь специалиста привел, по науке обрежем, и никаких гвоздей, — ответил отец.

На сей раз осенью не стало никакого винограда — ни поесть, ни даже мелкого, на вино. Правда, выпивал отец редко. Можно сказать, вообще не пил. Раза два видел я его «хорошим»: седьмого ноября долго ждали его с демонстрации, да еще раз пришел домой нетвердо и принес бабушке отрез на платье. А так, если появлялись гости, давал мне рубль 15, и я топал в аэропортовский магазин за бутылкой «Алиготэ» или «Фетяски». На улице выпившим его никто не видел.

Улица наша была самой обычной в городском предместье, названном когда-то Рышкановкой — по имени помещика, говорят. Немошеная, разбитая телегами и редкими автомобилями, она осенью и весной становилась непролазной, и только отец умудрялся щеголять на ней в своих изумительно сверкавших офицерских хромовых сапогах — вечном предмете если не зависти, то, по крайней мере, разговора всех, кто знал моего отца.

Улица, как большая, глубокая морщина, врезалась в щеку холма, так что один ряд домов был ниже другого настолько, что крыши его лежали почти ровень с поверхностью улицы. Лиловые мазанки со щепочным верхом, сырыми стенами и глиняным полом — вот наша улица. Во дворах — вишни, сливы, виноград и зарзары — абрикосы, такие мелкие, что в ту пору молдаване считали неприличным выставлять их на базаре. У подножия холма тек ручей, судя по его руслу, некогда широкий, однако мне и тогда он узким не казался, ибо переходили его вброд только взрослые. Они называли эту грязную, коричневую от соседства кожевенного завода лужу Бычком. «Через Кишинев течет река Бык», — говорилось в тогдашнем учебнике географии.

За Бычком, на противоположном берегу, зеленел другой холм — с такими же мазанками, садами, зарослями американской акации и диких маслин. На плоской вершине холма, за дальними контурами черных на

закате тополей, — аэродром. Каждое утро он забирал к себе моих родителей — мама там тоже работала, в бухгалтерии, кажется.

Наша улица одним концом впадала в другие многочисленные улочки, по которым поселковые жители ходили в город, а другой ее конец, очень дальний, завершался крутым возвышением с каким-то каменным знаком наверху. Туда каждый вечер пряталось солнце и из-за камня осыпало улицу таким удивительным светом, смысл которого понятен только детству. Я никогда не был на том холме, а вот другой конец улицы, ее начало, знал хорошо — там я шагал в город с отцом или с матерью, а то и с обоими сразу. Дважды мы ходили фотографироваться. Первая карточка родителям не понравилась, на ней мы вышли отошавшими, а в ту пору фотографии посылали родственникам, и отцу, конечно, хотелось, чтоб его семья на карточке выглядела позажиточнее. Вот и снялись еще раз. Я смиренно сидел перед объективом и ожидал обещанной птички, ибо был менее информирован, чем современный ребенок, который ответит наивному фотографу: «Чем ерунду говорить, дяденька, вы бы лучше диафрагму проверили!»

Мама брала меня с собой в город, когда ходила в противотуберкулезный диспансер на поддувание, и я ждал ее у дверей. В помещение не заводила — боялась заразы. Мы идем по центру города, мимо сада-театра «Победа», по улице Ленина, бывшей Александровской, по площади с аркой Победы, где выбит приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении города — его потом замазывали, но буквы на мраморе проступали золотом, сбрасывая шелуху извести. Все это принадлежало мне, моему детству, все это мое и доньше, как День Победы 9 мая 1945 года. Я — в кремовой рубашке из парашютного шелка, в синих коротких брючках из старого отцовского кителя, в кармане — трофейная никелированная губная гармошка. Мама надушила меня одеколоном из пузырька со стеклянной пробкой — недавний подарок знакомых на день рождения. Мама сегодня в цветастом крепдешиновом платье, ее большая, золотистая коса уложена венком по тогдашней моде, но особенно красив отец в летной фуражке, зеленой гимнастерке с полыхающими на солнце погонами! Радио доносит слова

Сталина: «Вековая борьба славянских народов против немецкой тирании...» Мы стоим среди людей на площади Победы. Вернее, стоят мои родители, а я сижу у отца на плече, на боевом погоне, пушки прямо на площади среди бела дня палят в небо. Я испугался, меня успокаивают. Мы идем по улицам. Музыка Победы... Что пели в тот день?

На позицию девушка
Провожала бойца...

и —

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

и —

Черные ресницы,
Черные глаза...

Патефон доносит голос Петра Лещенко: «Пускай проходят века, но власть любви велика...» Может, в других местах в этот день пели другое, но у нас было вот так. День остался ослепительно ярким и закончился на мосту через Бычок, когда отец достал пистолет и салютовал в небо...

По воскресеньям мы с отцом иногда ходили на Ильинский базар. Тогда он еще существовал в городе — небольшая шумная толкучка, где продавалось все по потребностям, а больше, конечно, по возможностям времени. Арбузы, виноград, кошачьи шкурки на воротник, примусы, керосин в румынских бутылках, заткнутых фарфоровыми, как изоляторы, пробками с толстой проволокой...

— Ухли! Ухли! — выкрикивает чумазый человек, катя перед собой двухколесную тачку, а что в ней — не видно. Отцу неохота подходить, и он громко спрашивает:

— А что это такое?

— Их варят, — отвечает молдаванин.

Отец, не поняв, махнул рукой:

— Ну, ешьте сами.

Оказалось — уголь.

Отношение к русским самое дружелюбное. Мне прогибают гроздь винограда, отцу стакан муста — молодого вина. Батя еще не демобилизован, в военной форме. Мы подходим к каруце с арбузами. Хозяин

сидит верхом на товаре и перед каждым прохожим кромсает арбуз пополам. Таких половинок, одна алей другой, набралось много, они истекают алой жизнью и вянут на жарком солнце. Отец посоветовал хозяину не губить ножом весь арбуз, а вырезать на пробу маленький треугольник, как в России, и показал, как это делается. Хозяин мрачно посмотрел на арбуз, на вырезанный треугольник, на отца, отнял у него нож и сказал:

— Арбуз мой, я хозяин!

Частенько потом от отца слышал я эти слова в свой адрес, когда я бестолково упрявился. «Арбуз мой, я хозяин!»

Знакомый голос окликает меня:

— Лебедь черный!

Наша хозяйка «держит» тут небольшой деревянный ларек с вином и домашней колбасой — первое время после освобождения такой мелкий «нэп», видимо, дозволялся. Да и Советская власть в нашем городе до войны была всего год... Хозяйка любит мой белый чубчик и угощает меня зеленым сладким петушком на палочке. В лавке у нее порядка столько же, как и дома, да и не каждый базарный день она утруждается тут. В лавке собираются знакомые — одни и те же, как правило.

— Посмотри, — кивает отец на старика в черном костюме с голубой шелковой лентой через плечо. Старик показывает фокусы: двумя пальцами сжимает пятак и ломает пополам. Зовут силача Иван Михайлович. Через годы я пойму, что видел, застал живого Заикина — самого сильного человека на свете, непобедимого чемпиона мира по борьбе. Бывший авиатор, он здоровается с моим отцом, они садятся за стол или идут в другую «густэрь», где любил бывать еще Александр Сергеевич Пушкин — ему от своего дома сюда было рукой подать... Идет отец с друзьями, и я хвостиком тянусь.

Давно снесли пушкинскую «густэрь», нет сейчас Ильинского базара, по-новому украсился город детства, а я хожу по его улицам и, как сон, снова вижу яркие дни лета сорок пятого года.

Тем, однако, что мы бедны
и без всяких затей одеты,
мы не только не смущены,
а не знаем совсем об этом.

Смеляковские стихи я прочту лет через тринадцать — они как будто написаны и про мое поколение. Мы бедными себя не считали. Родители мои — живые, веселые, молодые — жили воистину скудно, но не было в нашем доме запаха бедности. Сам я с детства привык, чтобы на меня тратили как можно меньше. И так-то не баловали, но, если мама хотела что-то купить мне, сто граммов конфет например, я всегда интересовался, хватит ли нам денег до полочки и, как правило, просил не покупать. «Ишь, какой экономист!» — сказала про меня продащица кондитерского отдела. А я видел много настоящих нищих, видел, как их боялись и отовсюду гнали. Самому-то мечталось вдоволь поесть хлеба. И еще была мечта, такая же главная, как и первая, только по-другому главная: увидеть живого Сталина. Она казалась невероятной, невыполнимой, хоть и обещал отец свозить меня на праздник в Москву. А какие там были парады! Я читал журнал «Огонек». Сталин на Мавзолее, маршалы на конях... Была девочка Вера Кондакова, которой, наверно, вся наша детвора завидовала: Сталин обнял ее на Мавзолее. Где она теперь? С какими мыслями живет?

Я люблю себя тогдашнего. Не было во мне «ума с черного хода». Разве что мечтал иной раз найти сторублевку или хотя бы красную тридцатку, представлял, как она лежит у водосточной трубы, в грязи, а впрочем, может, это более поздняя придумка?

Такой тридцаткой меня как-то забавляли в парикмахерской, когда я не хотел стричься.

— Я стриг одну дамочку, — рассказывает отцу парикмахер, — так она и говорит: «Мастер, осторожнее, а то вы мне уши отрежете!» Я ей: «Не волнуйтесь, генеральша!» — «А как вы узнали, что я генеральша? По дохам?» — «Нет, — отвечаю я ей, — по ухам!» — и сам очень смеялся при этом, подобострастно глядя на отца. Когда отец собирался что-то произнести, парикмахер тут же прекращал щелкать ножницами и — весь внимание — говорил отцу: «Пожаста!» Отец ему рассказывал про солдата, что вернулся с фронта Героем Советского Союза и сказал своей жене: «Что же мы, Ляксандра, таперича с тобой будем делать? Ладно уж, свари мне, как это называется: тесто сыром напихается? Вареники, стало быть».

Тоже очень смеялись, особенно парикмахер. Кресло высокое, парикмахер маленький, усатый. На стене — портреты вождей и военачальников с усами, выбирай на любой вкус. Мне четыре года и до усов далеко. Когда это было? Как говорил один мой знакомый, раньше, чем три жены тому назад.

Парикмахерская помещалась на базаре, только не на Ильинском, а на Центральном, который, казалось, состоял из инвалидов. Безногие сидели в подшипниковых тележках, стучали деревянными культами по сбитому, истертому, шербатому румынскому булыжнику. Они вели устную пропаганду торговли и пили кислое вино. Некоторых забирали за спекуляцию папиросами и овечьими шкурками — смушками, которые особо ценились в эпоху кошачьих воротников. Многие из предметов обихода тогда не покупалось, а доставалось, находилось, кралось. Деньги были — ничего не купишь; а цены громадные, да и нет ничего в продаже. Однако выкручивались.

У входа на базар — винный ларек, с утра облепленный страждущими.

— Как пчелки, как пчелки! — ласково говорит о них старушка-уборщица. И тут же добавляет: — Всех стоящих мужиков война повыбила, остались только эти — третий сорт!

Отец разговаривает с незнакомым фронтовиком в старом морском кителе. Китель рваный, дырки стянуты медной проволокой. Владелец его летал и на «ишаках», и на «каталине», сбил четырнадцать «юнкерсов». Орденов нет — сняли за какую-то провинность. «Как говорит Ваня Кожедуб: “Подальше от царей — голова целей”», — повторяет он.

— А с утра напьешься — целый день свободен. Хорошее взял вино? — спрашивает фронтовик отца, хотя пьет и одеколон, и «ликер шасси» — авиационную тормозную жидкость.

Не грустили фронтовики.

— Что нам, малярам? Дождь идет, а мы красивим!

Наверное, многое из той жизни сейчас не смешно, как напечатанный анекдот, но люди печали не показывали. Возле тира звучит заезженная патефонная пластинка — подарок дружественной в войну Великобритании. Женщина поет по-русски с акцентом:

На эсминце капитан
Джемс Кенэди,
гордость флота англичан
Джемс Кенэди,
и недаром влюблены
в Джемс Кенэди,
шепчут девушки страны:
— Джимми! Джимми! —

Вызвал Джемса адмирал:
— Джемс Кенэди!
Вы не трус, как я слышал,
Джемс Кенэди!
Ценный груз поручен вам,
Джемс Кенэди,
В эсэсэр свезти к друзьям,
Джемс Кенэди!

Песня кончалась тем, что «носит орден эсэсэр Джемс Кенэди»... На базаре можно было услышать в вокальном исполнении и сурковские стихи:

На ветвях израненного тополя
Свежее дыханье ветерка.
Шел моряк, прощаясь с Севастополем...

За этой строкой обычно следовало:

— Братишки! Сестренки! Не обойдем бедного калеку, поможем по силе возможностей! Пара монет вас в жизни не устроит, а для меня — это большая помощь. Не для того же я езжу по Союзу, чтобы попросить вашу трудовую копейку! Спасибо, офицер! Желаю вам получить внеочередное воинское звание! Благодарю вас, рабочая дама! Желаю вам больших производственных успехов! Спасибо, пионерка! Вперед к коммунизму! Благодарю вас, сталинский сокол! Летать выше всех, быстрее всех и дальше всех! «На ветвях израненного тополя...»

— Когда человек перестает работать, — говорил отец, — он начинает размахивать руками, если они есть, и пить.

До добра это, конечно, не доводило, тем более что и жизнь не всегда высоко ценилась. Слышу у ларька такой разговор:

«У меня приятель пришел с фронта, так ему что курице голову отрубить, что человеку — все равно. Выпил с соседом и поспорил, что отрубит ему голову. И отрубил, что вы думаете. Восемь лет дали».

Отвоевав, Россия строилась, училась, воровала, спивалась, пахла горем и пирогами на рыбьем жире и, гордая, не просила ни у кого милостыни. Никто за нее не платил. Она заплатила за всех. И даже хлеб свой, не обильный в те годы, посылала в Европу, и Европа кормила им свиней. Голодая, Россия работала за троих, ибо не сбылась еще мечта сказочного Иванушки: лежать на печи да жевать калачи. Но если народ пел песни, радовался жизни, рассказывал анекдоты о себе и своем вожде, как тот обвел вокруг большого пальца западных лидеров, показав им дулю, если после такой войны у народа не угасли юмор и улыбка, этот народ воистину исторически и стоически велик!

2. ДРАГОЦЕННОЕ УТРО

В городе полно цыган. Гадали, выменивали — цыганыли. Они появлялись и на нашей улице — целыми таборами, с повозками, со всем скарбом. Толпой, без спросу заходили во дворы, прихватывали все, что попадалось под руку, — кружку, ложку, миску, рукомойник... Молдаване гнали их, и тогда они останавливались посреди улицы, играли на дудках, плясали. Поражало обилие детей — грязных и почти голых в любую погоду. Наслушавшись хозяйкиных рассказов, я боялся цыган — ведь они любят красть таких беленьких, как я, но любопытство побеждало, и я подолгу смотрел на улицу сквозь заборную щель. Однако цыгане в ту пору были самыми безобидными гостями. Если и стянут, то какую-нибудь, хоть и нужную в хозяйстве, но ерунду. И ходили они днем, открыто. Хуже было с ночными гостями. Те барабанили в ворота, окна, нередко являлись в милицеевской форме, под видом проверки документов. Сколько семей, особенно русских, погибло в ту пору в Молдавии! Свиристествовали «Черные кошки», «Маруси», националисты, остатки бандеровцев, не считая многочисленных неорганизованных энтузиастов разбоя. Слышала наша улица по ночам не соловьиные — автоматные трели.

Улетая, отец оставляет матери трофейный пистолет, она ночью не спит, ходит в лунном свете по комнате, в одной рубашке, с этим пистолетиком в руке. Окна открыты, иначе душно, не уснешь. На окнах «граты» — решетки, все русские их поставили.

Помню, ломились к нам на рассвете. К счастью, отец был дома. Хозяйский пес Цыган застучал лапой в стекло. Удивительно, умная была собака! Цыган зря не лаял, а если появлялись чужие, бежал к окну и стучал лапой, приглашая хозяев. Была и вторая собака — отец любил всякую живность и принес откуда-то хромого щенка, которого сам же за его физический недостаток и бесконечное тьяканье окрестил Геббельсом, а я повесил ему на шею немецкий «Железный крест» на ленточке. Соседские ребяташки прибежали поглядеть на Геббельса, однако недолго ему пришлось позировать: Цыган задушил его из ревности.

Так вот, застучали к нам на рассвете в ворота, и Цыган дал знать лапой в окно. Хозяйка крикнула в открытую форточку:

— Кто там?

— Открывай!

— У меня летчик на квартире, я его сейчас позову!

— Подавай сюда твоего летчика!

Отец посмотрел в окно: у ворот двое, автоматным прикладом вышибают задвижку. Вышел отец на крыльцо с двумя пистолетами в руках, произнес краткую речь, которую я не слышал, но видел, как гости поспешно удалились... Местные жители в ту пору охотно принимали квартирантами советских офицеров.

Осенью 46-го мы переехали на новое жилье — в жактовскую квартиру по другую сторону Бычка, поближе к аэродрому. Петр Иванович и Филаретовна жалели об этом и частенько нас навещали.

Новая хибара не бог весь какая, зато мы в ней сами хозяева. Это был одноэтажный глиняный дом на две семьи, впрочем, может, его строили и на одну семью, но сейчас проживали две. Крыша черепичная, и на каждой черепичинке по-румынски написано. Крыша сбоку напоминала кривую немецкую пилотку. Дом, устав от времени, присел на стену, выходящую к огороду. Отец называл нашу хибару «виллой». У торцов «виллы» были два небольших огорода и росло несколько вишен. Соседи занимали две комнаты с лицевого торца. Мы шагали к себе по дорожке мимо их квартиры. У нас была открытая терраска под навесом, где я часто играл, сюда же выходили два зарешеченных окна, вход на застекленную веранду, а в ней — дверь в первую комнату, узкую, с большой печью

и столом перед окошком. Эта комната служила нам кухней и местом вечернего сбора всей семьи. Смежной с кухней была вторая, последняя комната — спальня. От кухонной печи в спальне нагревалась «груба», где стояла моя кровать. Родители спали напротив меня. Между окнами стоял стол, за ним занимался отец, а потом и я, когда стал школьником. Вся одежда помещалась в чемодане под кроватью, пока отец не приволок коричневый фанерный шкаф, в узкую левую часть которого мама стала складывать продукты, а в широкую правую повесила два или три своих платья да летнюю форму отца. Не было модных в ту пору слоников за стеклом серванта, не было и серванта, да и само слово это я услышал впервые лет через двадцать. Стать бы сейчас моложе лет на двадцать, но чтоб прожитые двадцать тоже не пропали...

Шкаф, или, как его называли родители, гардероб, поставили в сухом углу возле моей кровати, ибо остальные углы даже летом не просыхали от крупных капель, а на подоконнике я как-то утром увидел самый настоящий гриб. Старый, изъеденный древоточцами шкаф я украсил переводными картинками. Меблировку нашей новой квартиры завершали на кухне деревянный топчан и две табуретки. Да еще в стену отец вмонтировал круглые часы с самолета По-2. Глиняные полы родители покрыли самолетной перкалью, и на кухню пришелся кусок красной звезды с фюзеляжа. Радио не было, электричества тоже, воду носили с улицы из колодца, об удобствах понятия не имели, да как-то и не думалось об этом. По квартире нет-нет да пробегали мыши, и одну я схватил ножницами. Отец принес кота, но тот оказался ленивым, и ночью нас разбудил его ненавистный крик: бедняга попал в мышеловку. Завели труженицу кошку, и она на Первое мая поймала огромную крысу.

По вечерам отец зажигал копилку, сделанную из сплюсненной латунной гильзы от снаряда, мы ужинали и говорили о международных делах. Нравились мне эти вечера, ибо только тогда я и видел своих родителей. Мама жарит картошку на постном масле, картошка мерзлая, сладковатая, но вкусная! Я любил потолок ее вилок в своем секторе сковородки, и с тех пор слово «толковый» напоминает мне вкус толченой картошки, так же как слово «согласие» — жареную

колбасу, которую я попробовал значительно позже. Мы с отцом едим со скovorодки, а мама отдельно, с тарелки. Мама у нас больная, и у нее все свое — и мыло, и полотенце, и тарелка. После ужина отец садится за «политику» — штудирует цветными карандашами «Краткий курс истории ВКП(б)» и пишет в тетрадь. Я, конечно, возле него, рисую свободными от «политики» карандашами «поле боя» с танками и самолетами, интересуюсь буквами, словами и тоже пытаюсь писать в своем блокноте. Чудо — у меня собственный блокнот! Какое было счастье, когда отец подарил его! В пять лет, осилив «Краткий курс» и «Евгения Онегина», — других книг не было — я выучился читать. Отец принесил «Правду», а когда и «Огонек», и я от строки до строки поглощал их на террасе, пока родители были на работе.

Мы с отцом играем «в карту». Большая карта мира висит на кухне справа от окна. Отец называет страну, море или полуостров, а я должен с закрытыми глазами найти это место на карте. Для этого он снимал ее со стены и расстилал на полу, иначе я не смог бы дотянуться ни до Исландии, ни до Чукотки. Коптящую гильзу, чтоб светлее было, тоже ставили на пол, в сторонке. И все же опрокинули мы ее. Из бокового отверстия потек бензин, полыхнули карта и перкаль. Отец не растерялся, бросил на пламя шинель. Жаль было карту и шинель, но пожар быстро ликвидировали.

В пять—шесть лет я знал фамилии глав всех мало-мальски значивших в ту пору государств. Друзья отца не без интереса и на равных вели со мной политические разговоры. Очень впечатлила тогда речь Молотова, в октябре 1946 года, когда он сказал, что «на атомные бомбы одной стороны могут найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой стороны». Через тридцать три года Вячеслав Михайлович подарит мне эту речь со своим автографом.

А тогда повторяли эти слова. Особенно нравилось «еще кое-что», чего, как сейчас узнали, тогда не было, но разве кто сомневался, что оно есть, будет, должно быть!

В зиму 47-го после иссушающей осени жить стало еще голоднее. Отца демобилизовали, он стал гражданским летчиком. Отменили знаменитый «паек НКО». По нему давали американский яичный порошок, сухое

молоко в пакетах (дернешь за веревочку — раскроется), вареную колбасу в овальных чикагских банках (нужно тянуть за жестяной хвостик). Вместо этого изобилия отец теперь приносил домой из аэродромной столовой кусочек черного хлеба, украшенный хвостом ржавой селедки. От себя отрывал. «Русские — великий и привлекательный народ, — прочту я через много лет признание бывшего американского посла в Москве Д. Кеннана. — Но нельзя помогать народу, не помогая режиму... В конечном счете, это их тяжелое положение, а не наше».

У мамы началось кровохарьканье. Нехорошее это слово, больное. Мама болела давно, с Дальнего Востока, с сорок первого года. Родила меня и заболела. Девчонка двадцати лет, простыла, воспаление легких, больница. Спасло ее, а заодно и меня, в ту пору то, что отца не сразу взяли на фронт, а держали в числе огромной армии на Востоке на случай японской агрессии. Отец летал над тайгой, знал охотников и привез маме медвежьего сала. Мама поправилась и всю войну работала.

Наша дальневосточная комната с круглым черным репродуктором и цветком алоэ, который я любил размазывать по стене, выходила окном на булыжную мостовую. Родители иногда ходили в кино, и отец нес меня на руках. Помню свой протест среди сеанса:

— Папа, хватит смотреть Суворова, пошли домой! — Меня отнесли домой, уложили в кровать, над которой с праздничной открытки улыбался вождь. Я знал стишок:

Дедушка Сталин,
мы подрастем,
красное знамя
тебе принесем!

Отец в синей летней форме склонился надо мной, и мы вместе повторяем:

Кáсе зýмя
тебе плинесем!

А я ему:

— Папа, неси булю, мама, неси хлеба!

И вот — отец во всем зеленом: в зеленой гимнастерке, зеленой пилотке на зеленом поле аэродрома возле зеленого самолета. Отец берет меня на руки,

что-то говорит, опускает на траву и уходит, улетает. Улетает на фронт.

Когда думаю, почему я, двухлетний, так ярко запомнил этот день, то понимаю: наверно, потому, что впервые увидел отца в зеленой полевой защитной форме, а привык, что он в синем кителе, синей фуражке. Да и первые мои дальневосточные годы видятся мне в синих, голубых, лиловых тонах. Море багульника на сопках, летнее небо над ним, белесый налет на ягодах голубицы, фиолетовый дымок костра, когда мама брала меня с собой на уборку картошки. Мама работала в аэропорту, шила ватники, гимнастерки, ходила на воскресники, мама — «все для фронта, все для победы!», а отец в это время летал за линию фронта, его сбивали, он успел и в партизанском отряде повоевать и, кое-как починив самолет и заклеив мешковиной дырки на нем, прилетел в свой полк, где вещи его уже разделили друзья... Когда от отца подолгу не было писем, приходило страшное: «Не вернулся на базу...»

В начале сорок четвертого мы с мамой поехали через всю страну в Запорожскую область, где выжили в оккупации мамины мать и сестра — мои бабушка и тетя Надя. По пути, на одном из вокзалов, мама меня чуть не потеряла, однако меня передали в открытое вагонное окно из рук в руки над головами стоящие колонной моряки в касках. Эти каски над бушлатами, штыки над плечами, отблески вечернего вокзала до сих пор озаряют память. Мама повезла меня на запад, не боялась, значит, уверена была, что немцы не вернуться.

На Украине мы жили в селе, в белой бабушкиной мазанке. У меня оказалось много родственников, добрая тетя Мотя приносила леденец или пряник «от зайчика», а старый прадед, запорожский казак и георгиевский кавалер, вырезал мне игрушки из тыквы. Мамин младший брат Николай воевал в пехоте, а отца не было. Бабушка подняла троих детей одна, в голодном тридцать третьем уехала с ними в Макеевку, работала на шахте, куском породы ее ударило по ноге, и мучилась она с этой ногой еще тридцать лет до своего последнего дня. Нищенски жили, однако маме удалось хорошо закончить семилетку, и она сразу же стала работать в парфюмерном магазине. В 1937 году ее посылали на курсы продавцов-стахановцев в Москву. Мама была старшей, и на ней держалась семья —

брат и сестра, — много ли могла заработать бабушка со своей больной ногой. И пенсию-то не сумела себе оформить — до конца жизни не получала ни копейки.

Про их отца, деда моего Ивана Евлампиевича, я узнал уже взрослым человеком, когда дед заехал ко мне, прочитав напечатанные в газете мои стихотворения.

— Стихи, внучек, у тебя от меня. Я тоже кропал. Написал про одного райкомовского деятеля, так он меня за это кулаком сделал, записал в ведомость. А я на селе был передовым — еще в 12-м году из Санкт-Петербурга выписывал журналы и презервативы, а когда колхозы начались, первым сел на трактор! Я и личное хозяйство вел по науке, а меня в кулаки записали! Загремел на Урал, выгрузили нас, врагов народа, в снегу, в лесу, сказали: «Тут и живите». Вырыли земляночки, стали лес валить. На шофера выучился. Но я тебе скажу, хватало и врагов, злой был народ. И первый гост, внучек, у тебя дома, я пью за Сталина, потому как хозяин он был настоящий; если б не он, Советской власти головку бы открутили, это я тебе точно скажу. Насмотрелся, наслушался... А когда вышла мне полная реабилитация, деньги дали за то, что, значит, незаконно пострадал, пенсию хорошую, купил я билет, вдарил телеграмму, прибыл в свое село и сказал так: «Дорогие земляки! Спасибо вам за то, что раскулачили меня. Я был тот самый кулак, что на кулаке спит, чтоб зарю не прозевать. А вы как были нищими, так и остались, а я теперь жертва культа, живу припеваючи!»

Крепкий был старик!

— Нет, ослаб я, внучек. То, бывало, две поллитры выпиваю и работаю, а теперь мне и одной хватает. Но ты, однако, мне в маленькую рюмку не лей, давай в стакан, ты же края видишь?

Был среди родичей еще один почтенный старец — отец Илья, который по каким-то связям объединял мамину и папину родню. Отцова семья до войны тоже жила на Донбассе, там и познакомились мои отец и мать — в парфюмерном магазине. Можно представить, что такое был летчик в 1939 году! Но я хотел рассказать про Илью.

Схимонах Илья был уважаем не только многочисленной родней, но и всей округой. Не только уважаем,

но и легендарен: угадывает события, предсказал, когда начнется война, лечил от недугов. Отец мой, ни в Бога ни в черта не веривший, заболел тропической лихорадкой и, когда не помогла медицина, обратился к Илье. Тот дал ему рубль:

— Купи себе, Ваня, что-нибудь! — И болезнь прошла.

Маме почтальон принес страшное: «Не вернулся на базу», и она побежала к Илье. «Вижу березы, лес, — сказал Илья, — и Ваня твой лежит в том лесу». После мама узнала, что отец в ту пору находился у партизан. Видно, Илья обладал каким-то даром, непонятным науке...

И отец вернулся с войны. Я сижу на бабушкиной веранде, рисую в толстой бухгалтерской книге. В ослепительном украинском солнце, за стеклянным переплетом проходит высокий военный в пилотке с вещевым мешком за плечами. Появляется на пороге веранды.

— Мальчик, а где твой папа?

— На фронте фрицев бьет. Он красный летчик!

— А хочешь, я буду твоим папой?

Я посмотрел на него и сказал: «Хочу». И он посадил меня к себе на колени.

А веранду заполняли соседи, прибежали бабушка и тетя Надя, торжественно вошел прадед при «Георгиях» и по всем артикулам российского воинства приветствовал победителя. Мама прибежала... Отец раскрыл вещмешок, вернее, то была парашютная сумка, а в ней — яблоки. Где он их нарвал или купил, не знаю. Гостинец с фронта. Все село сошлось. У многих погибли. Отец первым вернулся. Его отпустили раньше, осенью сорок четвертого, потому что авиацию дальнего действия начали сокращать, а летчиков переводить на более мирные задачи. Отца и с ним еще пять пилотов направили в Молдавию — создавать авиационный отряд гражданской авиации. Быстро собрали мы пожитки — и на поезд. По дороге заехали на Донбасс, к отцовской родне, его брату и теткам.

Отец родился в 1916-м на Орловщине, в деревне Татинка Болховского уезда. Сиротой вырос. Мать его, говорят, была красавица да веселая певунья — и поныне помнят Наталью татинские старухи. Молодую, убил ее тиф. Какие лекари? И сейчас-то в Татинку не во

всякую погоду доберешься... Отцу моему года не было, и сердобольные родственнички его к ней в гроб положили, — дескать, заведи с собой свое дитяtko, на кого ты его, сиротку, оставляешь? Не жилец он без тебя! Однако догадались все же не закопать младенца вместе с покойницей, и стал он расти среди двух старших братьев и сестры. Отец их, Григорий Иванович, пришел с первой мировой с двумя «Георгиями» и медалями, погоревал и женился снова. Мачеха есть мачеха, к тому ж злая оказалась. Своих детей у ней пятеро было, да от болезней через год-другой после нового замужества все повымирали, а чужих, мужниных, и сам черт не брал. Вот и злилась на них. А муж запил. Тяжел был на руку деревенский кузнец Григорий Чуев. Боль срывал на всем, что вокруг. Хмельной, ударился посреди двора о вишню, схватил топор, срубил, чтоб не мешала. Попался ему под горячую руку старший, Сергей, а в горячей руке был топор, и остался мой дядя Сережа калекoй на всю жизнь. А способный был, преуспел в первых пятилетках в металлургии, видным человеком стал, да старая травма не дала развернуться, и закончил он свои дни в доме инвалидов.

Сергей тогда сразу ушел из дому, другие дети тоже не прижились с мачехoй и стали работать. В 1930 году семья переехала на заработки на Донбасс, в Макеевку. Ушел из дому и стал шахтером мой дядя Филипп. И отец мой, запустив на прощанье в «Шарманку», как он называл мачеху, хорошим молотком, тоже покинул порог. В «Шарманку» промахнулся, однако дверь прошиб.

Пришлось ему в шестой группе навсегда распрощаться со школой, хотя в слабачках не ходил и по шахматам имел категорию. А дома что за жизнь — голодный, необмытый, оборванный. Даст кто из соседей кусок хлеба, да ведь не каждый день дадут. Ушел к старшему брату на шахту «Капитальная-Марковка», стал врубмашинистом вкалывать, первую пятилетку на-гора выводить. Филипп к тому времени женился, пришел домой со смены, глядит: братухино белье лежит в сенях, в углу, непостиранное. Не простил жене — выгнал из дому. Крепко держались друг за друга братья-сироты. А в 1936-м на «Капитальную» приехал летчик Григорий Таран. В войну он прославится и станет Героем. Так вот, Таран приехал на шахту и обратился к молодежи в ленинском уголке: «Ребята, кто

хочет летать?» Среди прочих записался мой отец, и старший брат поддержал его: «Давай, Ваня! Может, это и есть твое счастье...» Отец прошел строгую медицинскую комиссию, и его приняли в Батайское летное училище — тоже ставшее знаменитым, как и первый батин инструктор Григорий Таран, как многие-многие батайцы...

— Я провожал Ваню, — говорит дядя Филя. — Мы прощались и плакали оба, а люди проходили мимо и спрашивали: «Кто это так плачет?» — «Это брат с братом прощаются». И мир смотрел, дорогой Иваныч, как я провожал твоего папу в летную школу. После Батайска он служил на Дальнем Востоке, и я там был у вас в гостях — ты еще не родился, а я на Халхин-Голе воевал, красный политрук. В последний раз я видел твоего папу в конце 1944 года, когда он нас в Молдавию вез. — И плачет дядя Филя. Нынче на пенсии Филипп Григорьевич, в праздники надевает брюки галифе, синюю тужурку-наркомовку, комсоставовские сапоги, шевиотовую фуражку, какие после тридцатых годов редко кто носил, выходит на улицу и произносит громкие политические речи, за что в округе называют его Миронычем в честь незабвенного Кирова.

Мы уезжали из Макеевки в декабре сорок четвертого. Дымная ночь Донбасса. Пахнет гарью и лебедой, присыпанной угольной пылью, — вечный запах железной дороги. Так пах Донбасс.

Киев, разбитый Крещатик. Мама решила купить мне на зиму пальтецо или шубку, и мы с ней отправились на базар, а батя — возле вещей на вокзале. В чем были, в том и остались: отец в гимнастерке, мама в сереньком платьице, на мне — костюм, перешитый из чего-то батиного. Отлучился отец ненадолго — чемоданов как не бывало. Попросил новых знакомых из Нежина приглядеть за вещами, да увели их эти нежинские — небось подумали, барахло там трофейное. Так мы и прибыли в Кишинев. В дороге не помню глухого настроения у родителей, — пожалуй, только однажды мама сказала, глядя на густой фиолетовый, послезакатный пейзаж за окном, где проплывали нищенские села:

— Все люди как люди, едут кто на восток, кто в Одессу, а нас отец везет в Молдавию.

И вспомнила Пушкина:

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют...

Отец добавлял:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет...

и смеялся. Мама улыбалась и говорила о донецких тетушках, как те меня оценили: «Похож на Ваньку, но Галькино веселое лицо!» И еще она повторяла: «Какое счастье, что наш папа вернулся с фронта. Если бы он погиб, ты бы ходил в заплатках и совсем голодный».

9 декабря 1944 года мы втроем шагаем под луной по черной, блескучей грязи кишиневского предместья Рышкановка. Отец приводит нас в молдаванскую хибару — есть крыша над головой, живем! В представлении родителей, да и в моем тогдашнем понятии, мы жили замечательно. И у мамы со здоровьем, с легкими, поначалу неплохо было. Правда, ходила на поддувания в тубдиспансер. Выбила ее из колеи голодная зима 46-го года. Ночью шли с отцом по железнодорожным путям, и у мамы кровь горлом хлынула. Хорошо, что рядом вагон-ледник оказался и отец принес льда. Спасли. Но ей бы питание хорошее, подкормить бы, а чем? Весной лебеда пойдет, крапива, а сейчас? На карточки не разгуляешься, да и нечем их отovarивать после такого неурожая. Достанет отец отрубей или щербета — пир на весь мир! Бывали дни, когда, оставшись дома один — мне часто приходилось так, — я подходил к нашему коричневому шкафу, открывал левую дверцу, смотрел на пустые фанерные полки, вытаскивал ту, что пахла хлебом, и жадно облизывал. Боже, как хотелось есть! А сквозь тонкую кухонную стену слышится от соседей: «А Васька вкусненький, сладенький, жирненький!» Это они нарочно так громко говорят. Чавкают жареным поросенком и хвастают. Снова получили посылку от родственников из Америки.

Конечно, можно сетовать сейчас, что не та-де колбаса стала, крахмалу в ней много и соленая, как селедка. Но как вспомнишь... И кто знает, может, в будущем при таком развитии науки и неограниченности

ресурсов придет человек в магазин и увидит на полках только два пакета: «Вода» и «Еда»...

Терпелив наш народ и отходчив. Быстро забывает беду. В какой-нибудь Европе, где побогаче живут, чуть что не так — бастуют, возмущаются. Очень уж нужно довести наших людей, чтоб они вышли из равновесия. Понимающий народ. А тогда в 47-м, что и говорить! Всю зиму меня оставляли одного в квартире, строго-настрого наказывая никому не открывать, что бы ни говорили и ни сулили. Однажды кто-то долго стучал в дверь и канючил: «Мальчик, открой, дам конфетку!» По сегодня не знаю, был ли это настоящий вор, или кто из своих проверял мою стойкость. Но я забился в угол и не открывал, хоть и страшно было. Страху добавляли устные рассказы той поры. Говорили о человеческом ногте в студне на Ильинском базаре, о страшных круглых подвалах в развалинах города, где убивают советских офицеров, о бандитах, прячущих награбленное в богатых склепах Армянского кладбища, о женщине-вампире, зарывающей жертвы в собственном огороде, и много прочей жути рассказывалось. Что-то было напридумано, но однако же почти каждую ночь кого-то убивали или грабили, каждый день находили мертвых, опухших от голода.

Мы ждали весны. Ждали первой травы. За боковой стеной нашего дома, той, что грозила съехать в огород, в апреле мы сажали картошку, лук, сеяли укроп, редиску, а по краям грядок росли подсолнухи и кукуруза. Да еще несколько вишен и зарзара — абрикосина с мелкими плодами, однако сладкими, и на варенье хватало, если урожай. Но все это вырастет не скоро — к лету, к осени, а весной вся надежда на балку, овраг, где кончался огород. По дну балки тек Бычок, а берега были в крапиве, лебеде, да и щавель попадался. Собирали на суп.

В марте потеплело, и меня уже не заставляли сидеть в квартире, запирали ее на висячий замок, а в мое распоряжение родители предоставляли двор, веранду и ключ от замка. Целый день я носился по двору со своим перекрашенным «мессером». Играл чаще один — потому что любил сочинять разные истории — один, хоть и были у меня молдавские друзья, да и русские, что за стеной жили, Валерка и Юрка.

На веранде мне оставляли воду и что-нибудь на

обед: тарелку кислой капусты и кусочек влажного черного хлеба, посыпанного сахаром. Сюда же я выносил свои игрушки — паровоз и клоуна.

30 марта 1947 года я, как обычно, играл во дворе. Придумывал истории. Кое-что помню, есть любопытные, да некогда записать. Сочинял для себя, никому не рассказывал. Военные в основном истории. Так вот, играл я во дворе, и что-то понадобилось мне на веранде. Толкнул дверь, а она закрыта. Нажал язычок железной щеколды — не открывается. Значит, заперта изнутри. Но почему? Кем?

Побежал за дом, набрал кирпичей, сложил их перед большим окном веранды, влез на эту подставку и заглянул в окно. Ничего необычного. Дверь в квартиру, массивная, обитая войлоком, закрыта. Большой железный замок висит на могучих петлях. Однако пригляделся внимательней... В левом углу, у лестницы, стоял большой эмалированный таз, в котором мама летом варила варенье. Лестница, приставная, деревянная, вела на чердак с наглухо забитой крышкой — никто из семьи туда никогда не лазил.

Из-за таза выглядывала синяя куртка. Поглядел подольше — она зашевелилась. Вор! Я слез с кирпичей и побежал на улицу. Быстро сообразил: через несколько домов от нас жил Соколов, у которого есть пистолет. Повезло — Соколов оказался дома. Выслушал, положил в карман оружие, позвал еще соседа, и вторым мы поспешили в наш двор. Соколов плечом надавил на дверь, и после двух-трех попыток она, взвизгнув, как поросенок, отворилась. Мы ступили на веранду. Никого.

— Откроем квартиру, посмотрим там, — решил Соколов. Я дал ему ключ, и Соколов снял замок. Походили по комнатам, все на месте. Вышли. Соколов защелкнул замок, вернул ключ и посмеялся надо мной.

— Показалось! — решил и его сосед. Чего, мол, хотите от пятилетнего... Но я-то видел, видел своими глазами! Я видел, а мне не поверили. И когда Соколов с напарником ушли, я время от времени влезал на свой кирпичный наблюдательный пункт под окном веранды. И увидел: человек в синей рабочей одежде железной скобой, какими крепят телеграфные столбы, пытался выдрать замочное кольцо. Я снова бегом к Соколову. На сей раз он лениво выслушал меня и с еще

большей неохотой отправился со мной. Когда мы, опять с трудом открыв дверь, вошли на веранду, замок едва болтался на полувыдернутом кольце. Соколов посмотрел на кусочки древесины на полу, на потолок и чердачный люк, с краев которого осыпалась известка, и выбежал во двор. Я за ним, и мы увидели, как с нашей крыши прыгнул в огород человек в синем и побежал вниз к Бычку. Соколов рванул за ним, размахивая пистолетом. Вор спешил на другой берег по колено, по пояс в воде. Подоспел и соколовский сосед. За Бычком они схватили моего «гостя» и под руки привели во двор.

— Что с ним будем делать? — спросил меня Соколов, уже как взрослого. — Может, в подвале у вас закроем, пока отец придет?

— Что вы! Он же всю нашу солку сожрет! — Вор казался мне существом, способным запросто умять бочку квашеной капусты, а вовсе не молодым парнем, размазывающим слезы по лицу. Ненависть к воровству осталась навсегда, тем более что с того случая меня обворовывали одиннадцать раз, по мелочам и по-крупному. Однако поймать мне больше никого не удавалось, и я с удовольствием вспоминаю, что, перед тем как сдать нашего «гостя» в милицию, отец по дороге несколько раз приложил его к телеграфному столбу.

А красть-то у нас было нечего. Трех лет не прошло, как полностью обобрали нас в Киеве. Что успели нажить при голоде-то? Вот у соседей наших кое-что было, если сравнивать. Валерка как-то позвал меня к себе — родителей не было дома — и показал круглую коробочку с мелкими желтыми опилками. «Золото!» — прошептал Валерка. У нас были такие опилки на Дальнем Востоке, когда отец спас геолога. Еще Валерка показал пачку каких-то бумажек с одинаковыми военными картинками. Похожи на деньги, ан нет. «Облигации», — пояснил Валерка.

Когда я спросил у мамы, почему у нас нет таких, она ответила, что мы их давно сдали в Фонд обороны. Туда же мама отнесла и золото — подарок отцу от друзей спасенного геолога. Фонд обороны представлялся мне огромным богатырем, спасшим страну. Звучало непонятно и гордо. В Фонд обороны мои родители отдали и облигации, и здоровье, и ушли совсем

молодыми. А соседям нашим и в оккупации жилось неплохо. Хозяин служил у немцев в депо, жена его тоже где-то была при деле, бабка работала переводчицей в комендатуре. Моя мать прозвала соседку Пусей, а ее мужа Акакием Акакиевичем. Потом я понял, он весьма походил на жалкого гоголевского чиновника, особенно когда вернулись победители. Он первым заискивающе поздравил моего отца с медалью «За победу над Германией»... А почему — Пуся, я понял через много лет, когда прочитал «Радугу» Ванды Василевской, где у немецкого офицера любовница Пуся...

Я начал эти записки, когда мне было 11 лет. Сохранился блокнот. Может, не очень художественно получается, зато все «по правде», как было. Я не помню себя ребенком. Кажется, я им не был. Так говорят и мои знакомые. Какой-то случай подстерег меня родиться между Финской и Великой, в год Змеи, 1941-й. Плохая примета: похож на отца больше, чем на мать. Хотя родился в рубашке. 4 апреля. По летописи — день основания Москвы. Я — Овен, и вот какие познания почерпнул как-то из старого численника:

«Родившиеся в этом месяце великодушны, очень преданы тем, кого любят, но несправедливы и жестоки к тем, кто им не нравится».

Есть цветок и есть ствол, как говорит Егор Исаев. Цветок — на день, ствол — надолго. И если осталась во мне ствольность, то она оттуда, из той жизни, из той эпохи, что строили мои родители. Они не погибли на фронте, не пропали в освенцимах, они сгорели молодыми — после войны на войне.

А соседи наши застенные, застенчивые, что служили немцам, долго жили после моих родителей, возможно, живут и сейчас и получают по закону заработанную пенсию. И вор тот живет. Соколов его запер тогда в его же чулане, а ключ отдал мне. Вор жил рядом с нами, и его мать, старая молдаванка, обрадовалась, что ее сынок наконец-то попался!

Студентом, в шестидесятые годы, я приехал в свой город, зашел в голубую фанерную густэрь, пропахшую дешевым красным вином и мититеем — жареными перчеными колбасками. В таких густэрях всегда полно народу — рабочие, пенсионеры, причем редко кто напивался, в основном приезжие. Я взял себе или приобрел, как сказала бы одна изысканная современная поэ-

тесса, стакан красного «гибрида», что в ту пору был по 56 копеек за литр. Присел к дымному столу. Что-то знакомое выказал взгляд сидящего напротив человека. Нет, я не вспомнил его, не узнал, а он со спокойным любопытством разглядывал меня и, отхлебнув вина, назвал по фамилии, чтоб удостовериться, значит. Я кивнул. Дальше — молчание. Я допил и ушел, чувствуя, как, улыбаясь, он глядит мне вслед, постаревший и уже не в той синей одежде... А меня потянуло на нашу 32-ю улицу.

Улица 32, дом 37! Все «авеню» и «стриты» у нас в поселке были под номерами, как в Нью-Йорке. Сейчас они стали Летными, Аэродромными, Школьными... На теперешней Школьной летом 1947-го организовали детскую площадку. Здесь меня, шестилетнего, как и многих мне подобных, спасали от голода. Диагноз — дистрофия. Голод был повенчан с болезнями. Про мамино здоровье я уж говорил, она только из больницы вышла, а отца тоже положили в госпиталь — с желтухой. С летной работы сняли. Вот так. Когда выздоровел, назначили его диспетчером на аэродроме, а потом начальником службы движения. Сидел в тесной комнате среди многочисленных металлических коробок с мигающими лампочками и следил за полетами. Иной раз он брал меня к себе на работу — послушать радиоприемник. Передачи я любил исключительно про события в мире, политику, и доныне помню трансляцию митинга из Бухареста — провозглашение Народной Румынии. Выступала Анна Паукер, их министр иностранных дел, если не ошибаюсь.

Я любил эту комнату с большими картами под плексигласом, цветными карандашами и командирской линейкой на столе. Жаль, конечно, что отец не летает, он ведь был хорошим пилотом в войну, да и сейчас может По-2 хоть на платок посадить. На бреющем летал ниже земли, вдоль балок. Война научила, чтоб «мессеры» не сшибли. А совсем недавно сады опылял, над нашим абрикосом цветущим прошел. Теперь на земле. И заработок намного меньше. И мама перестала работать — куда ей с такими легкими? А семья увеличилась. С Украины, спасаясь от голода, приехали бабушка и мамина сестра, тетя Надя. На Украине, стало быть, тоже несладко было. И стал отец кормить нас пятерых на свою наземную зарплату.

Тетя Надя долго не могла устроиться на работу. Молодая, а специальности никакой, в оккупации была, да и до войны в школе не Бог весть как училась, в основном на «ДПГ», по-украински — «дуже погано». Поработала на кожевенном заводе, в других местах, но везде недолго, и объясняла это тем, что она «дуже нервена». Я запомнил ее работу в общепитовской столовой, потому что был там, и мне кое-что перепало. Тогда ходили доедать объедки, если достанутся, конечно, и если в тарелке не окажется не всегда докуренная «до фабрики», то есть до названия, «казбечина».

Тетя Надя была не из робких и, когда считала, что ее оскорбляют клиенты, за словом в карман не лезла: — Выбирай выражения, когда говоришь с интеллигентной женщиной, а то як зафирдефлычу по соплям!

С бабушкой она разговаривала быстро и без знаков препинания, как бы читая нудную повесть, сокращала слова и вместо «я кажу» говорила «я ку». Добрую тетю Надю я любил и называл «Котинские глаза» — за хитроватый кошачий разрез их...

В ту пору мы болели малярией. Мама, бабушка, тетя Надя и я — все болели, кроме отца. Я даже трижды болел. Эпидемия. По дворам ходили фельдшерицы с таблетками желтого американского акрихина. Он был горький-прегорький, и лицо от него становилось желтым. Мама заворачивала таблетку в папиросную бумажку, и я глотал. Болеть не хотелось. Как я ненавидел комаров с длинным хоботком, налетающих из балки, с Бычка, противно гудящих! Были такие, что подбирались тихонько, как глухонемые. Я знал, что из-за них меня трясет в страшном ознобе, мама накрывает меня всеми одеялами и меховой отцовской курткой, и все равно зуб на зуб не попадает. Потрясет — и снова в жар. Градусник показывает 41. Хочется кожу содрать, суставы ломит. Каждый звук бьет по внутренностям. Меняется вкус пищи, и сладкое кажется горьким.

В дни болезни купили мне игрушечную пушку за 12 рублей 50 копеек, тогда это казалось очень дорого, и, значит, я действительно сильно болел, коли мне купили такую. Правда, деньги эти я сам долго собирал в копилке, но игрушки покупались крайне редко.

После малярии я попал на детскую оздоровитель-

ную площадку. Страна спасала детей. Первый день прошел в муках. Давали молочную рисовую кашу с растопленным сливочным маслом. Сама белая, а озерко, яркое, как солнце, посредине. Вкусно очень. Впервые ел такую. Целый день болел живот.

Детская площадка помещалась на школьном дворе, где под деревянным навесом нас кормили, лечили и занимали играми. Вечером мама забирала меня домой, и мы шагали мимо стройки, где за колючей проволокой работали пленные немцы, небритые, заросшие, страшные в своих косых пилотках. Ненависти к ним не испытывал. Жалости — тоже. Был страх, а все другие чувства к ним придумались потом. Со мной тогда было именно так. Пленные строили дом и занимались разными поделками на продажу. 5 сентября 1947 года тетя Надя купила у одного из них аккуратную деревянную скамеечку за 5 рублей. До сих пор помню, что почем было и в какой день куплено.

Ходил по стройке сторож — георгиевский кавалер, старик Метати. Любил с пленными покалякать:

— Ганс, у вас в Германии есть колхозы?

— Колхозы?! — Ганс тарачит глаза и со страхом говорит: — Найн! Нет колхозы...

— Будут! — твердо обещает ему Метати.

— Найн, найн! — в ужасе машет руками Ганс.

— Не переживай — Сталинград был, и колхозы будут, — успокаивает его сторож.

Когда пленный стал возвращать на родину, в фатерлянд, стало быть, Ганс спросил у Метати:

— Вы на нас не обижаетесь, что мы на вас напали?

— Мы ни на кого не обижаемся — ни на вас, ни на шведов, ни на татар, ни на поляков.

— А кто же, дед, вам теперь без нас все достроит?

— Мериканцы напращиваются.

Мир накалялся, и я не знал тогда, что за океаном уже разработан план «Фентвуд», пострашней «Барбароссы», и для меня и сверстников уготован атомный костер.

— Это дело звестное, — комментировал начальник военизированной охраны аэропорта майор Кузьменко. Он всегда так говорил и был спокоен. У себя на службе перед проверкой повесил лозунг: «ВОХРА — родная сестра Красной Армии!». Отчитался на собрании перед

инспектором и закончил речь так: «Мы должны решить тую задачу во что бы то ни стало!»

— Вы же майор, надо грамотно говорить, — упрекнул инспектор.

— Я хохол, — ответил Кузьменко, — и у меня одни колхозники!

Инспектор стал говорить о недостатках службы, но майор показал ему из кармана горлышко бутылки, и гость выразил надежду, что все недочеты будут устранены.

— Это дело звестное, — согласился Кузьменко, и они удалились вдвоем...

Отцу дали путевку в Кисловодск. Отец совсем отошел — скелет, обтянутый кожей. Кисловодск был очень кстати. На курорт ездили поправляться, а не сгонять вес, как сейчас. У приехавшего из отпуска первым делом спрашивали: «Сколько набрал?»

Жить стало полегче. Москва всерьез занялась нашей республикой. Говорили, что раскрыто вредительство в снабжении. Прошел слух, что придет разбираться сам Сталин, ему много писали. Сталин не Сталин, но прилетел кто-то из очень высокого начальства и меры принял крутые. Потом узнали — Косыгин. Сталин его ценит и снялся с ним на крейсере «Молотов»...

Несколько дней в городе шло выселение. Во дворах стояли грузовики с открытыми бортами. Люди грузили свою мебель, скарб и куда-то уезжали. Никто не плакал, не причитал — словно перебирались в новые квартиры. Так было во многих дворах. Куда переселяли и за что, я не знал.

В ту пору я подружился с добрыми, забытыми молдавскими ребятами. Коля Епуре и его сестра Тамара жили с матерью и слепой бабкой в землянке. Мы по сравнению с ними были просто аристократами. Да и они на нас смотрели как-то по-другому, словно ожидали от нас самых благородных поступков. Я же однажды что-то не так сделал или сказал, и Тамара выдала мне укоризненно: «Русские, а не имеете совести!»

Закончилось выселение, прошли суды над работниками торговли и спекулянтами, на улицах стали продавать жареные пирожки с повидлом. В центре города, конечно. В магазинах появился коммерческий

хлеб — по 30 рублей за буханку. Мама давала мне красную тридцатку, и я с темного утра до обеда выставил очередь у обшарпанного глиняного магазина...

День, а верней, вечер 15 декабря 1947 года — незабываемый, счастливейший. Отец пришел с работы:

— Сегодня отменены карточки и снижены цены! — Он держал в руке газету. Хлеб, и не только хлеб, теперь можно покупать свободно, сколько хочешь. В такое даже не верилось. Да и сейчас, десятилетия спустя, если вдумаешься, потрясает этот шаг тогдашнего руководства. Только два года как кончилась война, даже Англия сидит на карточках, а у нас отменили! Радость и гордость — вместе.

Еще осенью поговаривали о денежной реформе, и тетя Надя раз, прибежав с базара, сказала, что там уже видели новые деньги: «Сталин нарисован». Рассказывалось и воспринималось как достоверное: и впрямь, реформа свершилась, но на купюрах Сталина не было.

Однако после отмены карточек наша семья не сразу стала жить сытно. Зима 48-го тоже выдалась голодной. Отец по здоровью не летал, да еще его избрали секретарем партийной организации. Иногда я встречал пожилых людей, кому помог отец мой в ту пору: то отрез на костюм выписал, то просто жизнь спас, вовремя отправив в санаторий. Только уже не записывали в его летную книжку, как в годы войны, «спас жизнь экипажу». Себя он только не щадил, мой отец, боевой пилот, сталинский сокол, железный большевик...

Зима 1948-го. Отец на курсах политработников в Киеве, мать в больнице. Достанет тетя Надя пшеничных зерен, потрет их, бабушка напечет лепешек. Правда, не каждый день. Еще капуста кислая была и огурцы соленые. Так что выжили, ничего. А летом опять будет лебеда, крапива, а там, глядишь, и огород поспеет, только б засухи не было, как в прошлые годы. Из стихийных бедствий случались у нас еще землетрясения, но это так, мелочь. Погремят тарелки в шкафу, подрожат стекла, покатится железная кровать на колесах. Вот в Ашхабаде потом было — да! Летчики говорили, жертв больше, чем в Хиросиме, весь город смело. А у нас разрушений почти не было, и люди не особенно боялись в своих мазанках. Правда, кое-кто, набравшись страху, бежал по улице, сшибая всех, будь

то женщина или ребенок. И в летнюю теплынь руки в шерстяных варежках — понятно почему. Под варежками кольца и прочее золото...

В июне 48-го снова не повезло Молдавии — теперь по-иному. В новом кинотеатре «Бируинца», что по-русски «Победа», показывали новый фильм «Поезд идет на восток». Мы с отцом смотрели. А перед этим были у мамы, носили передачу — мама наша снова лежала в больнице. В кино, среди сеанса, когда по ходу картины поезд остановился на одной из многочисленных и незапоминающихся станций, новенькие каменные стены кинотеатра дрогнули от грома. Потом еще и еще. Народ потянулся из зала. Мы с отцом стойко досидели до конца фильма, а когда зажегся свет и остатки зрителей хлынули к выходу, выяснилось, что двери не открываются, — ночевали в кинотеатре. Отец спал на полу, а я на голубом бархатном диванчике у зеркальной тумбы посреди фойе. Небо громыhalo всю ночь, а с рассветом, когда утихло, нам удалось выбраться на свет божий. Прежней улицы не было. Ее заменил глубокий ров с потоками воды. По его склонам торчали камни, обломки асфальта, корни деревьев. По улице-реке плыли мебель, доски, корыта, детские коляски. По извилистому берегу — остаткам тротуара — мы пробираемся из центра горока к себе, на Рышкановку. Сыро и зябко. Отец снял гимнастерку и надел на меня. Он шагал в майке, а я с ним рядом в зеленой до пят гимнастерке, как пугало. Город наш расположен чашей, и мы спускаемся по ее стенке вниз, как бы внутрь, и снова поднимаемся — теперь к своей улице. Ее тоже не узнать. Многих домов нет. «Вилла» наша, однако, выдержала натиск стихии, стоит, как мокрая курица, почти одиноко, но стоит! Тетя Надя и бабушка развязывают узел с вещами.

— 3 вечера полыло з неба, як з ведра! — наперебой говорят они. — Мы узел собрали, та наверх, на гору!

Ночь они пересидели у знакомых возле аэродрома. Там, на холме, дома не смывало.

Вечером ливень повторился, но уже не такой, как вчера. Стали рассказывать о жертвах наводнения. Особо досталось вокзалу — он в низине, и погибло много транзитных пассажиров. В общем, невеселые дела. Говорили, что вода в Днестре поднялась на 14 метров. В «Правде» появилась малюсенькая заметка о стихий-

ном бедствии в Молдавии и о том, что братские республики оказывают помощь.

На огороде я находил цветные черепки тарелок, непонятные страницы церковных книг, а то и ржавую пулеметную ленту и весьма пригодную немецкую гранату — «лимонку». Сейчас бы такую... Подойти и аккуратно бросить в окошко отделения милиции, где меня недавно садистски избили за то, что вышел в 12 ночи подышать возле дома и на вопрос субъекта в штатском: «Почему так поздно шляешься?» — ответил: «А что, в Москве комендантский час введен?»

...По вечерам разжигали костер, и ребята постарше складывали в него патроны, а когда и гранату положат и отбегут в сторону, а мы, мелюзга, наблюдаем из оврага. Старшие ведут счет рвущимся патронам, а потом подходят к костру. Да не всегда точно считали. В одном классе со мной учился Борька Чичасов — у него трех пальцев не доставало на руке. Борька очень стремился попасть в нашу подпольную организацию, в которой я будто бы состоял. Потом я выяснил, что никакой организации нет, это все Шурка Басанов придумал. Наговорил, сколько у них народу, сколько в пещере оружия припрятано, даже печать румынскую показал и какую-то бумажку с подписями: председатель Басанов, секретарь Ульман. Оказалось, они с Ульманом и составляли всю организацию, а меня третьим вербанили, потому что очень уж мне хотелось тайны.

Наводнение занесло огороды илом, и впервые после войны на них что-то уродилось. Мы даже поросенка завели и козу Майку — чтоб мама молоко пила. Мы с бабушкой пасли Майку в овраге у Бычка. Пасла в основном бабушка, а я так, время от времени по траве лазил. Трава высокая, сочная. Мне семь лет уже! Скоро будет восемь и когда-то, очень далеко, десять лет... Вечером лег на кухне на топчан и говорю:

— Мама, посмотри, ведь я уже не просто мальчик, а настоящий мальчишка! — И вправду, ростом выделялся среди сверстников. В этом году в школу. Не рвался, боязно как-то было.

У каждого свое детство. И мне всегда интересно читать о чьем-то детстве. Обо всей жизни — почему-то не так, а вот о детстве — да.

В июле меня отправили в пионерский лагерь в село Большой Фонтан Дубоссарского района, километрах

в 25 от нас. Местком выделил путевку — подкрепить перед школой. На грузовике с открытыми бортами нас, ребяташек, повезли от аэропорта. Дети авиаторов, почти все старше меня. Я никого не знал, — правда, были с детской площадки две девчонки — воображали, но они не в счет. А я так стеснялся влезть на грузовик, не умел, не пробовал никогда, однако сверху кто-то руку подал. Отец провожал меня и дал завернутый в газету кусок окорока.

В первый лагерный вечер мальчишки затеяли какую-то шумную игру, девочки жалась к воспитательнице, а я забился в темный угол площадки для пионерских линейк и горько плакал. До сих пор осталось то ощущение одиночества и обездоленности, мучившее меня теплым молдавским вечером 14 июля 1948 года. Иной раз в глазенках своих сыновей я вижу подобную муку, и мне становится так горько, как тогда, хотя с десяти лет я ни разу не плакал.

Утром, слюнявя химический карандаш, я написал родителям бодрое короткое письмо, наклеил припасенную марку и отправил треугольником. Писать уже умел. Правда, только карандашом, печатными буквами, однако в сентябре, в первом классе поразил учительницу, которая читала стихотворение, а ученики хором повторяли:

Осень наступила
высохли цветы,
и глядят уныло
голые кусты.
Вянет и желтеет
травка на лугах,
только зеленеет
озимь на полях.

— Что ты там делаешь? — спросила меня учительница.

— Пишу.

— Как? Зачем?

— Чтобы дома прочитать и выучить.

В первом классе мы писали карандашом, пером № 86; «скелетиком», тонким пером, не разрешали... А первое письмо из лагеря сохранилось: «...Здоровле мое хорошее. Поздравляю вас с праздником днем Военно-морского флота СССР». В ответ родители через кого-то передали мне 5 рублей, которые я сохранил и, приехав домой, купил у соседей котенка.

Лагерь запомнился рыжим, конопатым Славкой Долговым, который по ночам лазил под кроватями и напевал такую нелепицу:

— Масулик, пасулик, цынцун!

Становилось страшновато. В шумный тихий час заходил наш добрый доктор:

— Гыбята, а гыбята, а газве так можно?

Не действовало. Тогда его сменял физрук со свирепыми глазами, которые делали его лицо совершенно зверским:

— Пионэры! Спортсмэны! Цыц, вашу...

1 августа я был дома. Меня стали готовить к школе. Купили тетради, цветные карандаши «Спартак», с большим трудом достали букварь. А главное, мама сшила мне из синей китайки первый в жизни настоящий костюм — с длинными брюками. Отец сделал к нему ремень из ненужной ему теперь портупей. Поглядел на меня:

— Эх, если б у меня был такой костюм в детстве! Так хотелось учиться, да не давали. А тут все тебе — только учись.

Если был какой-нибудь праздник, отец восклицал:

— Подать мой самый лучший костюм!

— А он у тебя один, — отвечала мама.

— Подать и его!

И то это было потом, в конце, ибо единственный штатский костюм появился у отца за год до смерти...

Что ж, теперь, когда мой сын приносит плохую отметку, мне тоже хочется сказать, что в детстве не наелся хлеба досыта, а школу окончил с золотой медалью. Но я почему-то молчу.

Утро, августовское утро, оно не раз разбудит меня — все десять школьных лет. Оно прохладнее, чем в июле, роса холодней и тяжелей, скоро, как ни жаль, конец свободе, скоро школьный двор, еще не пыльный, в неярких предутренних тенях. И каждый раз оно такое, августовское утро, что понимаешь: никогда, никогда оно не повторится, никогда не будешь ты счастлив так, как сегодня...

В волнениях приближалось 1 сентября. Из событий тех дней помню гибель югославского генерала Арсо Иоановича — его портрет в пилотке был в «Правде» — и смерть Андрея Александровича Жданова. В нашей

семье государственные утраты воспринимались как личное горе.

Перед самой школой я опять заболел малярией. Словно два электрода, плюс и минус, вот-вот должны соединиться в голове — такая это болезнь. В школу я попал только 14 сентября. Отец и мать повели. До школы было километра три с половиной, и ходили пешком. Трамвай гремел только в центре города, да еще кое-где, только не на Рышкановке. Я попал в 1-й «А» к молодой и очень строгой учительнице Антонине Никитичне Смирновой.

— Бабушка, я тройку получил! Мама, я тройку получил! — Радость неопишуемая. Первая оценка — неважно какая. Главное, поставили оценку. Однако у домашних моя тройка радости почему-то не вызвала, и три дня мама издевательски протягивала мне за столом три помидора, три яблока, три сливы...

3. ФИНСКИЕ ДОМИКИ

Поселок наш назывался «Финские домики аэропорта», а короче — «Финские». Шесть деревянных одноэтажных домов, каждый на две семьи. В 1950 году получить квартиру было сложнее, чем сейчас место на Ваганьковском кладбище столицы. Но кому дать, в аэропорту решали сообща, всем миром. После жесточайших споров мы оказались в числе счастливых — потому что мама болела. Как радовались: две комнаты и веранда! Весной мы с мамой разбили перед домом клумбы — я заранее собирал цветочных семян в городском парке. На грядках лук, редиска, помидоры, картошка. Осенью отец заколол кабана — большим трофейным ножом с надписью по лезвию «Ulles für Deitchland». Так что зиму с мясом были. А коза наша Майка, объевшись земли, сдохла. Большое несчастье — маме было нужно козье молоко.

Рядом с нами жили Евсеевы. Символический забор между дворами, который не столько от соседей, сколько затем, чтобы подчеркнуть законченность участка. Глава Евсеевых — дядя Женя, Евгений Сергеевич.

Дядя Женя! Я помню вас еще в 1949 году — мне восемь лет. Вы тогда впервые приехали в Кишинев и посетили нашу старую хибару, нашу «виллу». Мы

пили чай во дворе за деревянным столом, под вишней. Вы были в темно-синем кителе с орденом Красного Знамени. Боевого! И не обычного, с красно-белой ленточкой, нет — орден был привинчен к кителю. Послевоенные мальчишки высоко ценили Красное Знамя, связывая с ним самые легендарные подвиги отцов. Но привинченный орден казался нам еще почетней, он появился раньше тех, что с ленточкой, и получить его, мы считали, было труднее. Потом я узнал, что у вас есть еще ордена, но носили вы только этот.

— Мой новый командир, — сказал отец. Он к тому времени прошел медкомиссию и снова стал летать — теперь вторым на Ли-2. Я всегда стеснялся гостей, но вы, дядя Женя, стали рассказывать мне о своих сыновьях — их четверо: Алик, Вадим, Слава и Женя, — сразу я не запомнил имен, потом, позже, мне предстояло дружить с ними, драться и снова дружить. Вскоре после знакомства вы с отцом взяли меня в полет. Первое крещение воздухом было не из приятных. Впрочем, не первое: меня еще грудного отец возил с места на место на бомбардировщике Г-2 — это мне говорили. И все-таки первое то, что запомнилось. Я вижу кабину Ли-2 — старого труженика авиации, который и поныне скромно и достойно уютит пятый океан рядом с так называемыми лайнерами. На левом сиденье вы, справа — мой отец. Я стою посредине, и у меня перед глазами плечи двух сильных людей. Мы летели из Кишиинева в Бельцы — полчаса туда, полчаса назад, но как я намучился! Вы с отцом меня намучили. Штурвал ходил то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Земля плыла откуда-то сбоку, а небо снизу... Дома весь вечер я проклинал самолеты, летчиков и авиацию.

Хорошо помню вас, дядя Женя, много раз помню. За домами среди грецких орехов рос виноградник, правда, винограда на нем не было — мы обрывали кисти еще зелеными, но зато на деревьях устраивали тарзаньи гнезда, веревки вместо лиан... Строили модели самолетов, болтались на турнике — его соорудил мой отец, дядя Ваня, как его все называли. Заводилой у нас был Алик Евсеев, мы его звали Большой, он учился в седьмом классе! Побавивались мы и Вадика. Зато каждый вечер на стене своего дома он показывал нам кино из самодельного фильмоскопа. С третьим, со Славкой, мы были младшими в нашей компании,

и Славку звали Малый, в отличие от Алика Большого. А Женя, четвертый ваш сын, Ненька, в расчет тогда не шел — он только начинал ходить.

Когда мы дрались, нас мирили отцы, и в знак примирения мы что-нибудь дарили друг другу. Вадик преподнес мне свой рисунок самолета Р-5 — он уже тогда здорово рисовал. А потом умер мой отец, и мирить стало некому. Да и отпала необходимость: мы перестали ссориться, и ваши сыновья навсегда теперь стали считать меня своим.

Отец лежал в пассажирском зале аэропорта, и летчики в комбинезонах, еще не остыв от неба, сдирая шлемы, вставали в почетный караул. Тогда я впервые увидел, как плачут взрослые мужчины, много мужчин сразу. Вы недолго были у гроба, дядя Женя, вы как-то быстро ушли, но я никогда не забуду то ваше лицо. Годы прошли, а вы говорите мне:

— Большой был летчик. И молодой какой... Сейчас бы, знаешь, кем он стал бы? Мало ты пишешь о своем отце. О нем всю жизнь можно говорить...

Мы сидим у вас дома, я столько знаю о вашей семье, в которой пять летчиков.

В семье не летала только тетя Катя, Екатерина Павловна, авиационная мама. Всю войну работала, растила ребят, ждала весточки с фронта. Где-то над Мурманском или над Ростовом пробирался меж курстов зенитных вспышек бомбардировщик капитана Евсеева... Четверть века пролетал дядя Женя. Где только не черкнул по небу! Сибирская тундра, Ледовитый океан, Карелия, Сталинград... Возил зимовщиков на Север, доставлял боеприпасы партизанам, бомбил фашистов на донских дорогах. В 1932 году ивановский ткач поступил в Тамбовскую летную школу. Время, когда в ответ на ультиматумы мирового капитала комсомол пошел летать. Суровое и прекрасное время красных асов, наивное и честное, как свидетельство, выданное курсанту Евсееву «в том, что он 9 июня 1935 года в добровольном порядке совершил спуск с самолета У-2 на парашюте с высоты 600 метров». Много сменилось облаков на небесных постах, много там пройдено дорог, а точнее, 3 миллиона 800 тысяч километров, 15 тысяч часов в воздухе. Журналисты расшифровывали: это столько-то суток, это почти два года в небе! Мне ж хочется не делить, а умножить эту

цифру на секунды, на мгновения. Кто летал, тот поймет, что такое эти 54 миллиона секунд в воздухе!

Теперь на пенсии. «Вылетался весь», — говорит тетя Катя. Однако не покидает аэродром «старый Евсей», на земле учит небу молодых пилотов.

И приезжают сыновья. Редко они собираются вместе — то один прилетит, то другой. Даже фотографии семейной нет. Есть старая, на ней в летной форме только двое — отец да старший сын Алик. А Женя, младший, там еще в пионерском галстуке. По несколько лет не собираются вместе, да и нелегко это сделать — в разных концах Союза гремит летная фамилия Евсеевых. В Якутии знают Алика, чукчи, как родного, встречают Вадима: «Этик, Вадик!» Славу хорошо знают в Средней Азии и Молдавии, Женю — в Архангельской области. Четыре сына, четыре характера. Скромный, добродушный Алик до гражданской авиации был летчиком-истребителем, лихой, изобретательный Вадим тоже был военным летчиком, только морским, энергичный Славка, друг мой Славка, Малый, с которым мы три года просидели в школе за одной партией, — встретишь такого на улице и подумаешь: красив, как летчик! — и, наконец, Женька, у которого все впереди.

«Я часто бываю в Кишиневе и всегда захожу к Евсеевым. На этот раз мне особенно повезло: кроме стариков в доме были сразу два сына: Слава и Женя. Проговорили всю ночь — рано утром разлетались в разные концы. Славка играл на гитаре, много новых «летных» песен услышал я в ту ночь, даже собственные стихи под самодеятельную музыку...

Сегодня все Евсеевы — летчики гражданской авиации. И как говорится, дай Бог, чтоб так было всегда, чтоб они летали только на гражданских машинах. Но знаю: именно такие парни спасли Отечество в самые трудные времена, таким были вы, дядя Женя, и, если придется, сотни таких парней заслонят родную землю. И среди них рядышком пойдут пять пар краснозвездных крыльев орлиной семьи Евсеевых». — Так я рассказал о них в «Комсомолке» в 1967 году.

Умерла тетя Катя. И вместо Алика теперь — строгий обелиск с портретом красивого военного летчика. Отлетали Вадик и Женя. И только Славка, верный Славка, командир тяжелого Ту, нет-нет да и прилетит,

и мы вспомним про наши Финские... А недавно я впервые привез в Кишинев своих сыновей, чтоб увидели могилы деда и бабки, которые не дожили до внуков. А назад, в Москву, нас вез Славка, он специально для этого попросился в рейс. И щемяще было услышать кому-то безразличное, но только не мне: «Полет выполняет экипаж Молдавского территориального управления гражданской авиации. Командир корабля — пилот первого класса Евсеев Вячеслав Евгеньевич».

Были мы снова и на наших Финских. Вспомнили, как ногой били ляngu — кусочек кожи с шерстью, на который пришивалась свинцовая кругляшка, — кто сколько раз стукнет, да еще как на орешнике выуживали тарантулов из норок...

То было в эпоху «Тарзана». Каждую из четырех серий мы смотрели по несколько раз, и на орешнике, на деревьях устроили гнезда. Веревки вместо лиан, вайсмюллеровские крики при прыжках с дерева на дерево... Мы со Славкой сидим в гнезде, а сосед наш, Генка Быленок, угощает черешней. Он лезет за ней в карман, достает ржавую гайку, рогатку, голову воробья, чинарик, а потом и горсть ягод. Никогда больше мы не будем так близки к природе...

В Кейптаунском порту
с пробойной в борту
«Жанетта» поправляла такелаж...

Кто из моего поколения не помнит эту залихватскую песню, живописную драку английских и французских моряков!

А боцман Раузер
достал свой маузер,
и оземь грохнулся
гигант француз, — цуз, цуз...

Позже я узнал, что в других широтах нашего детства фамилия боцмана в песне была Раунинг и доставал он, соответственно, браунинг, но смысл оставался прежним.

Часто на мотив «Песни артиллеристов» мы горланили:

Горит в зубах у нас большая папироса,
идем мы в школу двойки получать,
пылают дневники, залитые чернилом,
на первом же листе стоит огромный кол!

Мать, услышав, сердилась, и говорила: «Хоть кол теши ему на голове!» А для меня «кол теши» сливалось в одно слово, и я не мог понять, что это за «колтеши» да еще на голове?

Вспомнили, как любили все загадочное, легенды, но не знали, что это — легенды, думали — правда. Верили, что у Всеволода Боброва на левой «смертельной» ноге повязка — как ударит этой ногой, так судьба его удаляет с поля, потому что в Англии он убил мячом обезьяну, защищавшую ворота не то «Арсенала», не то «Челси». Мы ни разу не видели настоящий футбол, радио в поселке не было, а когда в начале 50-х родители купили радиоприемники, мы стали слушать репортажи Вадима Синявского, талантливые, как, вероятно, и тогдашняя игра наших лучших команд. Слушаем передачу, а кто-то:

— Пацаны, у Сталина есть приемник: видно того, кто говорит!

А вот в это не верилось.

Темнеет. Мы вылезаем из гнезд, и Вадька налаживает самодельный фильмоскоп. На стене евсеевского дома смотрим диафильм «На Берлин!» — как наши летчики бомбят германскую столицу. Изображение нерезкое, пленка подгорает, но интересно! Ждешь не дождешься, когда стемнеет.

Тепло. Лето. Прозрачные виноградные листья на освещенных верандах. Мотыльки, летучие мыши... Матери зовут нас по домам. Отец, как обычно, посылает меня на пеленгатор — это недалеко, на пригорке, метров пятьсот от нашего дома. Я должен войти и сказать дежурному заученную фразу:

— Скажите, пожалуйста, куда папа завтра летит и во сколько? — Дежурный позвонит на аэродром и ответит мне. Каждый раз я стеснялся туда ходить, а надо. Даже кажется, и сейчас вот-вот пойду туда.

Раз-другой отец посылал меня и на самолет — то за одежной щеткой, круглая такая, лакированная, то еще за чем-то. Бывалый темно-зеленый Ли-2. Запах масла, кожи — самолеты еще не пахли полиэтиленом... Охранник с винтовкой. Знает меня, пропускает в кабину. Если не вчера, то когда все это было, или не было вовсе?

Старшие из нашей команды «финских» по вечерам отправлялись в город, в парк, в кино. Скоро и мне туда

дорога. Там страшновато. На тротуаре мальчики в клешах, в тельняшках под расстегнутыми рубашками, в кепках-«лондонках» с тремя выдернутыми посередине нитками. Небрежно грызут семечки и могут попросить двадцать копеек. Отказывать им не стоит. Правда, кому-то вроде бы с десяти дали 9 рублей 80 копеек сдачи...

...По утрам ходили занимать очередь. Туговато было с сахаром. А муку давали только перед праздником по три кило в одни руки. Масло сливочное еще не «выкидывали» в магазины, и отец, когда летал в Москву, привозил по полкилограмма...

Мы еще не сыты, но уже не голодали. Большим подспорьем стали огороды. Видать, начальство сообразило, что наша авиация долго не протянет, если каждой семье не выделить за аэродромом по десять соток, а многодетным — по пятнадцать. Весной поле распахали и поделили. Надо было копать и сеять. Кукуруза, подсолнухи, картошка, да возле дома еще лук, редиска, помидоры, когда это свое — большое дело! К тому ж коза, поросенок, и какой вкусной была домашняя колбаса!

Честно говоря, работать на поле я не любил, однако заставляли, как и других детей. Хочется побегать, когда тебе 9 или 10 лет. Особенно в тягость была прополка. Ныла пропаленная солнцем спина... Когда не стало отца, а мама еще жила одно лето, но совсем слегла, весь мой класс однажды пришел помочь мне на участке.

Школа, моя любимая, родная школа, никогда, никогда не будет ничего лучше...

— Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина — Сталина будьте готовы!

Во втором классе, 12 октября 1949 года, в день 25-летия Советской Молдавии, меня приняли в пионеры. Вожатая повязала заранее купленный мамой красный шелковый галстук. Я болею, у меня температура, но разве можно пропустить такой день! В городе праздник, в центре пустили троллейбус, прилетел Семен Михайлович Буденный! Я стал пионером!

— Ответь за галстук!

— Ответь за свой!

— Не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита!

Для нынешних детей наивно, а тогда подбегали друг к другу с такими словами, хватали за галстуки...

В декабре снова праздник — 70-летие Сталина. Выступил директор школы:

— Пусть живет Сталин тысячу лет!

А иначе тогда и не мыслилось.

Школьная елка, девочки в синих шароварах ведут хоровод, потом я с табуретки читаю стихотворение Марка Лисянского «Родина», первый, еще не переделанный автором вариант.

В четвертом классе, когда отмечали столетие смерти Гоголя, я выучил наизусть большой отрывок из «Тараса Бульбы». Волнуюсь и стараюсь еще и потому, что в зале сидит мой отец.

— Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Некоторые слова я только видел глазами в книге, но никогда не слышал и потому произносил неправильно: «на́гое дерево»... Когда ребенок растет в не очень интеллигентной среде, тем более без радио, многие слова он произносит с неправильным ударением, зная их только из печати. Помню, я говорил «Виктор Гю́го», читал на афише «Жарко́е лето», вполне уверен, что это название не спектакля, а мясного блюда. Кое-что и поныне не могу понять на слух. Недавно, подойдя к очереди, спросил, что дают.

— Чичеокó! — ответила женщина.

— Что?

— Чичеокó!

Я переспросил несколько раз и столько же раз услышал это «чичеоко». Очередь уже начала смеяться. Оказывается, продавали торт «Птичье молоко». А тогда, на школьном вечере, за «на́гое дерево» из «Тараса Бульбы» мне все-таки присудили первое место и вручили книгу в синем переплете с золотым тиснением — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Где она? Пропала, как гербарий, коллекция камней, марки — все пропало после смерти мамы. Или я сдал ту книгу в букинистический — жить надо было.

Отец нечасто бывал в моей школе, и я, конечно, боялся его посещений. Особенно когда родительское собрание. Однако возвращался он довольный: меня хвалили, да и молоденьким учительницам, теперь я понимаю, он наверняка нравился.

Отец обещал показать мне Москву, праздничную демонстрацию, чтоб я увидел живого Сталина, но не получилось. Зато сам возил меня в «Артек». Мы летели над строительством Каховской ГЭС, садились в Одессе, Николаеве, Херсоне, Симферополе... Я впервые увидел море.

В 1955 году, когда не стало родителей, я снова был в «Артеке», на 30-летию лагеря, и пел в пионерском строю:

И помнит каждый час
любимый Молотов о нас,
как много сделал этот человек!

Мы приветствовали Вячеслава Михайловича — он навестил «Артек», носивший тогда его имя. Через много лет я стану частым гостем в доме этого человека.

Если б можно вернуться — на один день, да нет, на один час, вернуться маленьким, первоклашкой, пусть в голод, в сырую квартиру, в длинную, холодную зимнюю дорогу до школы, вернуться в свои мысли: сейчас я в первом классе, а что будет во втором? Рядом шагает второклассник и пугает: «А примеры знаешь решать?» И все же вернуться, чтоб был отец, а мама говорила о том, какой я счастливый, что он пришел живой! Только бы прикоснуться к его жесткой, теплой, колючей щеке, а не к холодному, шершавому камню обелиска... Как трудно через годы войти в родимый дом, где живут другие люди, представить все, как было, где что стояло. «Кушай, Феля, тюрю, молочка-то нет». А я уж и забыл эту похлебку. К тому ж отец называл меня «Тюрей».

Кто ты был, отец? Мальчишка, деревенщина, сирота. Ходил в шестую группу, имел категорию по шахматам. Что видел? Горе и небо. Что чувствовал? Обиду и любовь. Что любил? Орловщину, небо, семью, песню «Вдоль по Питерской». Чего добился? Умения летать на самолете, который сгорал в воздухе за 12 секунд. Великой Победы и вечной моей сыновней любви. Я меряю свой возраст твоим, особенно твои военные годы. В 27 ты летал в тыл врага, в 27 я был инженером-испытателем на новом реактивном. И вот я старше тебя...

Отец был высоким и очень стройным. Сероглазый, чернобровый, с большим, жестким чубом и скуластым, мужественным лицом, мне он казался красивым. «Красавцем не был, но очень интересный, — говорит самая строгая женщина в нашем аэропорту — начальник медицинской службы Тамара Васильевна, все летчики ее боялись. — Отец был обстоятельный, любил пофилософствовать и лишнего раз не улыбнется».

Его привезли на третий день, 17 марта. Привез его экипаж. Когда отец слег, друзья даже в отпуск ушли, чтобы их по другим экипажам не разбросали. И вот последний батин круг над городом в утреннем пробивающемся свете...

Когда он лежал в пассажирском зале аэропорта, я в полукилометре играл в «знамя». Нарочно. Мне 12 лет, я начал взрослеть, и потому, заглушая боль, играл с ребятами. Несколько раз, встрепенувшись, я приходил к отцу — и с мамой, и с бабушкой, и один. Отец лежал в цинковом гробу внутри деревянного, коричневого. На цинковом было стеклянное окошечко, но я попросил, чтоб металлическую крышку сняли совсем. И еще попросил, чтоб гроб наклонили ко мне:

— Дайте я поцелую его. — Четыре пилота сняли гроб со стола и по диагонали наклонили ко мне.

— Ну, поцелуй, поцелуй, — сказал один из них. Я тронул губами ледяной лоб. Отец сильно изхудал, и между воротничком кителя и горлом ему приспособили сложенную в несколько раз зеленую обложку ученической тетради. В зале и от отца пахло одеколоном «Шипр» и траурной зеленью. Заходили авиаторы, прощались.

Гроб медленно везли через весь Кишинев и даже по центральной улице — редкий случай. Город стоял на тротуарах. На углу священник крестом осенял процессию. Я шел за гробом и видел большой, огромный, развевающийся отцовский чуб, и мартовские снежинки падали на него. Вадька Евсеев шептал мне:

— Все равно не выдержишь, когда будут опускать в землю, спорим, заплачешь!

Я выдержал.

Сколько человек говорило у могилы — не помню. Вижу, как выступает ветеран войны летчик Ржев-

ский — я впервые узнал, что он его однополчанин. И очень помню самые последние слова перед погребением. Их сказал наш замполит Кузнецов:

— Прощай, Иван Григорьевич Чуев! Прощай, сокол! Прощай, летчик!

Когда ударил первый ружейный залп салюта, под ногами у меня качнулась насыпанная земля, и я чуть не свалился в отцовскую могилу. Кто-то подхватил меня под руку и удержал. Грянул гимн, раздирая все внутри. Вадья сказал:

— Это играют только тогда, когда хоронят патриота.

Дома были поминки. Чернокудрый дядя Володя Иванушкин пришел последним, запыхался — он успел прилететь из Адлера, опоздал на похороны, но привез на свежую могилу гору живых цветов...

На поминках люди говорили, что отец жил не для себя. Был партийным секретарем, председателем местного комитета, распределял путевки, отрезки, а себе — ничего. С начальником отец не ладил. Приезжала сверху высокая комиссия снимать его с секретарей, и на партийном собрании первым вопросом на голосовании звучало «кто за то, чтобы снять?», а не «кто за то, чтобы оставить?» Однако все — вопреки — проголосовали за отца. И это при Сталине.

Отец был высоким.

А я всегда суеверно боялся ходить в одном ботинке. Бабушка говорила: кто-то из родных умрет. Я боялся, чтоб отец не попал в грозу, чтоб с самолетом чего не случилось. Мой отец, а потом и мать — послевоенные военные потери, не вошедшие в двадцать или тридцать пять миллионов. Кончилась война, но крутилось еще ее огромное колесо, и с него слетали жертвы. Я наяву видел фронтовиков, друзей отца, и от них знаю, что такое летать на войне.

Пилоты ходили в кожанках, красивые, молодые. Я думал тогда, да и теперь так кажется, что только летчики имеют право носить кожанку. А нынче носят все. Летчики тогда редко надевали ордена. «Ишь, — рассуждали, — мало того, что живой пришел, так еще и нацепил!»

— Отец, напиши Швернику, тебе ведь положен орден боевого Красного Знамени и медаль «Партизану Отечественной войны»!

— Ни к чему, — отмахивается отец. — Побрякушки... Да и не платят за них теперь. Работать надо — и никаких гвоздей!

Осенью, в теплом октябре, мы сидели с отцом перед домом и ели мелкий черный кисловатый виноград — свой, с куста.

А спали мы с отцом на одной кровати во второй, маленькой комнате. Я не любил с ним спать — тесно. Зато часа в четыре утра, а то и раньше, он уходил на полеты, и наступало блаженство: я вытягивался во всю кровать по диагонали. Опять это слово влезло... Тогда, в пассажирском зале, по диагонали наклонили отца...

Любимым героем отца был Чапаев. Батя говорил: «Вот кто мечтал пожить, увидеть наше время!»

А что такое наше время? Нет не нашего времени, оно все наше. Все, что было потом, после отца, для меня — пересиливание, обезболивание, приглушение любви. Отцовское лицо на время заполняли другие лица, мамина нежность была в других женщинах, да не навсегда. Все, что потом, — подтверждение детства, укрепление первой, истинной веры, которую всю жизнь приходится отстаивать.

Не хватает памяти, чтоб все вместить, и все-таки помню. Тогдашние взрослые забыли, а я помню. Гляжу на календарный листок и вижу тот же день, но много лет назад. Не думал, что вспомню именно это. Сегодняшние понятия назывались другими словами. «Немец» и «фашист» были синонимами. Кто мог тогда подумать, что всего через каких-то несколько десятилетий мы будем занимать деньги у разгромленной Германии, да еще Западной! Мы не слыхали «джинсы», «сафари», не знали про Аллу Пугачеву. После детства я услышу «биеннале» и «аутодафе», «лайнер» и «дизайнер» и другие невкусные слова. Но слово «толковый» доньше напоминает мне жареную толченую картошку, а фамилия «Зоценко» — тертую морковь.

Сейчас проще. Сынок на улице спрашивает отца: «Папа, а что по-русски — зодчий?» — «Архитектор», — отвечает отец.

Память слов — тоже святыня, на которую человек имеет право, как на свободу сновидений. И право на будущее, в котором будет лучше, чем сейчас, и для этого мы росли с таким чувством, чтобы завтра, если

нужно, умереть за Родину. В Александре Невском мы видели героя нашей войны и с удовольствием узнавали, что дублером Черкасова снимался генерал Доватор. Мы смотрели «Молодую гвардию» и думали: «Зря все это показывают: ведь в будущей войне враг будет знать секреты работы наших подпольщиков».

Непросто доставались билеты на «Клятву», «Сталинградскую битву», «Падение Берлина». Сейчас эти фильмы не повторяются в кинотеатрах, как неповторимо детство. Может, они в чем и наивны, но ценны были тем, что сделаны о войне сразу после войны. Михаила Чиаурели считают классиком киноискусства, а его фильмы не показывают. Кино снимали на совесть. С каким интересом смотрится и сейчас даже порезанный хрущевщиной «Валерий Чкалов»! Думал ли я, что пройдут годы, и Георгий Филиппович Байдуков будет выступать на моем творческом вечере, что я буду беседовать с летчиком № 1 мира Михаилом Михайловичем Громовым — но это уже в то время, когда для молодежи будет более знакома фамилия, скажем, Кальтенбруннер, нежели Громов или Байдуков. В клубе Академии имени Жуковского молодая гардеробщица разговаривает по телефону: «Сегодня у меня народу полно, хоронят какого-то Коккинаки...»

Я не говорю, что раньше было лучше, было по-другому. Как в шутку говорят, раньше писатель был Горький, Бедный, Голодный, а теперь стал Дик, Темин и Злобин. Руководителями творческого союза становились крупные мастера слова, а теперь руководители СП становятся крупными мастерами. Хорошо, когда среди них есть пусть не инженеры, но хотя бы техники-смотрители человеческих душ.

Однако не хочу ни сравнивать, ни делать выводы, ибо, когда нынешний семнадцатилетний говорит о том, что, если начнется война, он сдастся в плен, чтоб не погибнуть на безымянной высоте, а в плену станет героем Сопротивления или попросту поживет по-человечески — это бравада или влияние литературы; хуже, когда семилетний стремится в игре стать Плохишом («Мальчища убьют, а Плохиш живой останется»), хуже, когда бывшую партизанку школьники встречают снисходительными смешками, шутко, когда, чтоб сграбастать на продажу ордена, убивают прославленного адмирала, чудовищно, когда два взрос-

лых сына, найду в реке труп утонувшего отца, используют его как наживку для ловли угрей... Я беру крайности, моральный садизм, но такое проходило по нашим судебным процессам. Неужто и вправду люди становятся чужими друг другу — жена мужу, мать сыну и даже сын отцу и наоборот? Меня родители учили говорить правду, и я старался так поступать вопреки услышанному позднее совету: «Не думай. Если думаешь, не говори. Если говоришь, не пиши. Если пишешь, не подписывайся. Если подписываешься, не удивляйся».

Однако, когда поднимаюсь по лестнице Центрального Дома литераторов, по одну сторону вижу портреты писателей — Героев Советского Союза, по другую — Героев Социалистического Труда. Не хочу никого обидеть, но, право, лица Героев Советского Союза мне кажутся симпатичнее...

4. ДЕНЬ АВИАЦИИ

Торжественное утро аэродрома. Самый большой праздник. Лицо нашего соседа дяди Димы с шести утра пурпурно, как общевойсковое знамя. В аэропорту — выставка самолетов и таблички с их данными. Типов немного: различного применения Ли-2, Ил-12, По-2, да недавно появившийся Ан-2 — «СХ», как тогда его называли. Возле аэродрома продают крушон и мороженое, а на летней эстраде конферансье с бабочкой, как у плюшевого кота, грохочет в микрофон:

Римский папа
грязной лапой
лезет не в свои дела,
и зачем такого папу
только мама родила!

Дальше шла сатира на американцев в Корее, там война, мы следили за линией фронта по сообщениям, и мама не отпускала меня в пионерлагерь — как бы летом и у нас война не началась. Дядя Дима по вечерам сидел на крыльце, уставя в газету сизый нос, и любовно выговаривал имена китайских генералов в Северной Корее, особенно нравился ему Пын-Дэ-хуэй, фамилию которого наш сосед произносил громо-

гласно, на весь двор и получал укоризненный окрик его жены, тети Вали:

— Дима, здесь дети!

Наши отцы и друзья наших отцов выполняли в корейском небе, как принято теперь говорить, свой интернациональный долг, и я слышал от них то, о чем не писали газеты.

...С эстрады громкоговоритель доводил до сведения:

С трескучим шумом мчится «виллис»,
Владелец «виллиса» богат.
За этот «виллис» уцепились
Шуман, Шумахер, Сарагат.

В куплетах «протаскивались» руководители западноевропейских стран, поддерживающих американцев. Мне это было не столь интересно, потому что выступал на эстраде мой дядя Коля, мамин брат, и его программу я не раз видел на аэропортовских вечерах самодеятельности. В 1950-м он вернулся из армии, с Дальнего Востока, и отец помог ему устроиться в аэропорту — в порту, как все говорили.

Самым интересным в День авиации было катание на самолетах. Катали над городом на Ли-2, круг делали, «коробочку». За деньги, конечно. Двадцать пять рублей за билет, но таких денег тогда у нас ни у кого не было. Однако катали наши — дядя Женя Евсеев, и дядя Миша Зверев или мой отец. Они-то возьмут «зайцем», только не попасть бы на глаза строгому командиру авиагруппы Герасимову — у него фуражка хоть и всегда на глаза надвинута, и куда смотрит он, не ясно, однако замечал все, говорил громово, трубно, как бы не слыша собственного голоса, только нота «до» проходила по голосовым связкам.

Лучше не встречаться с Герасимовым на летном поле. Опасен был в День авиации еще один человек — завхоз Телешевский. Он всегда слыл большим начальником, а в этот день — особенно. С удовольствием козыряя встречным, авиаторам, завхоз был немилосерден к мальчишкам. Если Герасимов никого не удостоивал собственным взглядом, то глаза Телешевского, казалось, готовы были выпрыгнуть на тебя, как лягушки. В те годы гражданские авиаторы, как и железнодорожники, да и другие служащие, носили погоны. По-

жилой лейтенант стал известен чуть ли не всему городу тем, что в праздник 25-летия республики, когда на трапе самолета появился Семен Михайлович Буденный и молдавские руководители двинулись по ковровой дорожке встречать его, Телешевский, опередив их на мгновение, вылез из-под крыла и вытянулся перед Буденным:

— Товарищ Маршал Советского Союза! Лейтенант административной службы гражданской авиации Телешевский!

— Очень приятно! — добродушно шевельнул усами полководец Первой Конной, пожал руку нашему завхозу, а вслед за ним и всем руководителям Молдавии.

...На летном поле выделялась врезанная в небо двухметровая фигура комэска Чурюмова. Илья Муромец нашей авиагруппы, он, когда влезал в самолет, казалось, натягивал его на себя, как рубаху. Чурюк, как его называли, входил в десятку лучших гражданских летчиков страны. В небе он был от Бога. А на земле не везло. В Москве под машину попал, долго лечился. В семейной жизни не склеилось. Чурюмов повесился. Но это случилось много позже моего детства.

Его уважали. Отказали в воздухе оба мотора, а он сумел спланировать и посадить тяжелую машину с пассажирами. Поговаривали о вредительстве, и у нас в порту стали работать чекисты.

Отец мой тоже попал в переделку. Уважение к нему я почувствовал на торжественном собрании, когда его встретили громом аплодисментов за спасение пассажиров, экипажа и самолета. В январе 1952-го отец летел из Ленинграда, и перед посадкой заело шасси, только одна «нога» вышла. С крыльца я видел, как отец делает «коробочки» над городом и почему-то не садится. Раньше «коробочка» — и приземление, а сейчас — круг за кругом. Я побежал на аэродром. Командир группы мрачно стоял на КП. Руководитель полетов, стараясь быть спокойным, по радио давал отцу рекомендации.

— Пусть убирает левое и садится на брюхо! — прорычал командир. Я понимал, что это значит. Если и не погибнет, то без ног останется.

Над зааэродромным леском показалась батина машина с одиноко торчащей левой ногой. Самолет навис над снежным полем, белым, как лица людей на КП, чиркнул колесом по взлетно-посадочной полосе, и снежный салют поднялся над аэродромом. Бросились вперед санитарная и две пожарные машины, однако не понадобились. Все были живы-здоровы, пассажиры и экипаж. Отец вышел последним.

— Ну как, Иван Григорич! — прорычал командир группы.

— Ничего, — улыбнулся отец.

Дома он снял китель — мокрый насквозь. Ничего!

Я любил это «ничего», любил его «будем живы!» и «никаких гвоздей!». Все это соответствовало моментам, какие со мной тоже будут — были потом, когда я учился летать на планерах, прыгал с парашютом, когда, стреляя, попал в горлышко бутылки, лежащей на голове товарища — в присутствии друзей. Безрассудное дело, однако тот, на чьей голове лежала бутылка, стоял бледный, но верил в меня. «Ничего!»

Где-то я читал, как немецкий кайзер Вильгельм, путешествуя по Сибири, угодил в безнадежный снежный буран, а возница повторял одно и то же непонятное русское слово «ничего», и они в конце концов благополучно добрались до станции. И после, в первую мировую, когда кайзеру докладывали о безнадежной военной ситуации, он произносил по-русски «ничего!», видимо, предполагая в этом слове магический выход из безвыходного положения.

...А День авиации еще не кончился. Возле отдела перевозок узнавалось, что катает сегодня дядя Миша Зверев, наш сосед. А если он — значит, повезло, покажемся. Подбежишь к нему — он молча покажет на место радиста в пилотской кабине.

Круг над городом, ярким, солнечным городом, который строился, и, шутка ли, за пять лет после войны поднялся. Не зря отец говорил, когда мы только приехали сюда в декабре 1944-го:

— Какой у нас будет город в 50-м году!

Я видел наш город с воздуха и днем, и ночью — однажды дядя Женя взял меня и своего Славку на ночные полеты, но это когда уже отца моего не было.

Покататься на самолете — праздник, а так жизнь в поселке казалась будничной, обычной.

— Галя, твой прилетел! — кричит соседка Нина. — Валя, а твой в Минводах сидит, погоды нет!

Встречали, провожали, иногда хоронили... Как легко я пишу об этом — хоронили. А когда самого коснулось... Нет, я помню похороны каждого нашего летчика — до отца и после.

Пилота Шипачева нашли в разбитом самолете обугленного. В руке, черной, сожженной, он намертво сжал красный партийный билет. Хоронили на главном городском кладбище — Армянском, которое, наверно, потому так называлось, что в конце Армянской улицы расположено. На похоронах отец стоял в полосатой трикотажной рубашке, прислонясь рукой к старому вязу.

— Сейчас Шипачева зарыли, скоро так же и Чуева понесут, — сказал отец.

Не стоило ему так говорить. Через три с половиной года его похоронят на этом месте, под вязом. Так похоронят, как никого из наших не хоронили.

Но были и другие прощания.

Любовь часто до добра не доводит, смотря какая любовь, конечно. Был у нас летчик, геройский парень, четыре ордена на фронте заработал, Савин фамилия. И вот влюбился этот Савин. Ходил с ней, ходил, потом она, разумеется, ему изменила и за другого собралась. Он это быстренько разузнал, хоть и работал тогда не в городе, а на «точке» — опять на своем По-2.

В воскресенье, с утра пораньше, вылетел Савин с «точки» без разрешения и стал кружить над городом. Кружит Савин над городом, пилотаж показывает, да какой! У нас в поселке комэск Семен Палыч выскочил на улицу и кулаками вверх тычет — это когда Савин в метре от его окна плоскостью прошел. Чертыхается комэск, а наш герой взмыл над орехом, высунулся по пояс из своего «кукурузника» и поклонился людям. В красной майке и синих трусах высунулся, чуб черный, кудрявый. Все смотрят снизу на самолет и не понимают, к чему такое хулиганство.

А он ее искал. По всему городу — над пляжем искал, над базаром, из кинотеатра людей повыгонял,

на центральную площадь садился и снова взлетал. Крутил, крутил фигуры, все выжал из По-2, а потом завернул петлю и при выходе из нее так и вонзился в двухэтажный дом, в окно второго этажа угодил. Я стоял и смотрел, как вдали на пригорке сблизились самолет и дом, и вместо них возникло большое оранжевое пламя, и больше не было ни дома, ни самолета, только пламя. Кинулись пожарники, огонь сбили, дом снова, как стоял, так и стоит, а самолета нет. Самолет, когда в окно влетел, обломал крылья и перевернулся. А сам пилот, говорят, целый остался, только задохнулся. Точно рассчитал: это было ее окно. А она в это время сидела у портнихи. Да и в доме никто не пострадал, только ее комната обгорела.

Савина похоронили без почестей. Как собаку закопали. Даже столбика деревянного с пропеллером не поставили, теперь и могилку не найти — сровнялась с тропой.

Нечасто бываю там, но все-таки приезжаю. Холмики, обелиски, пропеллеры... Зброшены старые могилки, стерлись надписи, и только детская память подсказывает, кто из летчиков где похоронен. Нехорошо это.

Летчики... В детстве я не встречал людей интересней, чем они. Не встречу и потом. Как первую любовь. Она случилась в шестом классе.

Я писал записочки однокласснице Тане Ивановой и получал за это по мордам от второгогодника Гутовского. Во вторую смену, когда кончались уроки, было темно, я провожал домой Таню, которая, конечно, жила в противоположной от меня стороне. С портфелями в руках топали мы меж развалин, вдоль страшных сырых рвов, где в войну немцы развлекались расстрелами, мимо круглых бетонных подвалов, где совсем недавно бандиты убивали русских. Вдвоем нам не страшно, да мы и не думаем об этом. Таня рассуждала, что наши встречи ни к чему не приведут, вот если бы мы были постарше, учились в техникуме, как ее брат... А мой одноклассник Борька Чичасов рассуждал иначе:

— Лучше объясниться в школе. Когда станем взрослыми, будет труднее.

Я разделял его мнение, и от Таниного дома возвращался поздно по лунной булыжной мостовой, по

истерзанному немцами, румынами и «Седьмым сталинским ударом» тротуару, по черной, как отцовский сапожный крем, грязи. Цокот конного патруля, длинная тень одинокого прохожего, наплывающая сзади, — не уркаган ли? Не с ножом? Темная дорога тянулась километра четыре. В нашем переулке из темноты навстречу мне выросстал огромный отец. Лаяли собаки, выскакивали из-под заборов под ноги, отец отбивался от них румынским костылем из коровьих рогов... Отец доводил меня до дому, и при свете керосиновой лампы родители устраивали мне проработку. «Ничего, он одумается», — говорил отец. Но не бил, хотя за другие дела мне не раз доставалось офицерским ремнем.

Все это со мной происходило впервые и, может, как в цирке, казалось интересным оттого, что видишь фокус и не догадываешься, в чем тут дело. А когда со временем поймешь, станет обидно, до чего прост и неинтересен фокус...

Учительница моя, Антонина Никитична, сказала так: «Ничего, что ты дружишь с девочкой. Ведь не обязательно вы потом поженитесь. Вот я училась в школе, и у нас дружили мальчик и девочка, а когда выросли, она вышла замуж за другого дядю, а он женился на другой тете».

Но это меня как раз не утешало и не устраивало. Нравилась Таня Иванова...

5. СТАРАЯ ЧАСОВНЯ

Щели ее стен напоминали очертания рек на географической карте, что висела в нашем классе. На крыше, на окнах росли деревья, довольно большие. Стены давно не мазали, и из-под облупленных слоев молдавской известки рыжели кирпичи, крыша тоже была рыжей, совсем заржавела и прохудилась, а на месте креста по вечерам вспухал красный огонек — сигнал идущим на посадку самолетам.

Церковь стояла посередине не то чтобы площади, но определенного плоского пространства, ограниченного четырьмя приземистыми одноэтажными домами — столовой, санчастью, ремонтной мастерской и штабом Молдавского отдельного авиационного отряда. За штабом плоскость обрывалась, сходила вниз,

в туман, и получалось, что церковь и все строения вокруг нее стоят на холме. Левее санчасти, за полосой кустарника, вязов и акаций выпукло серебрился утренней росой просторный аэродром.

В самой церкви был склад, и там работал бойкий и общительный Володя Розенберг, у которого занимали деньги. Про церковь говорили, что она историческая: не то Суворов велел ее построить, не то Кутузов отмечал в ней очередную победу. Так говорили взрослые.

Но, во всяком случае, было ясно, что она не просто старая, а старинная, и с ней связывали нечто военное и, вероятно, героическое.

Это конец сороковых — начало пятидесятых годов, это моя Рышкановка — утопавшее то в непролазной грязи, то в раскаленной пыли захолустное предместье Кишинева, самое светлое и дорогое пристанище моей памяти. Когда не стало родителей, я старался не ходить на аэродром, да и позже, приезжая в свой город на каникулы, не появлялся на знакомом холме. Знал только, что аэродром перенесли, а на месте прежнего летного поля выстроили зеленый жилой район. Но лет через двадцать я все-таки пришел туда. Тянуло.

Из всего, что знал и помнил, там осталась одна церковь. Она стоит посреди цветущей площади. Снесены четыре прежних барака, а там, где была торговая палатка, пропорол небо высоченный памятник-шпиль. На нем написано по-русски и по-молдавски: «Дружинникам, болгарским ополченцам, сформированным в Кишиневе и доблестно сражавшимся вместе с русской армией за освобождение Болгарии от турецкого ига». Подхожу к церкви. Она теперь нарядная, белая, как тот непиленный сахар-рафинад, за которым я когда-то здесь стоял в очередях. Над входом табличка: «Мемориальный музей болгарских ополченцев (филиал историко-краеведческого музея)». Рядом, на мраморной доске, читаю:

«Здесь, на Скаковом поле, 12/24 апреля 1877 года был объявлен манифест о начале войны с Турцией. В связи с этим состоялся парад русских войск и сформированных в Кишиневе первых трех дружин болгарского ополчения, ставших основой болгарской национальной армии.

Часовня сооружена в 1882 году в память о походе

русской армии 1877—1878 гг. и освобождения Болгарии, Сербии и Черногории от турецкого ига».

Вот оно что. Через много лет узнал я, вокруг какой церкви играл в детстве «в ловитки», да и не церковь она, оказывается, а часовня, значит, без алтаря внутри.

Вхожу туда, где давно не бывал. Музей небольшой такой, насколько позволяет площадь часовни, но емкий, впечатляющий. У входа — старинная литография «Неистовство турок над болгарами»: «Чудовищные жестокости совершаются по всему пространству Болгарии. Со всякого пункта, населенного мусульманами, выступили верхом на лошадях шайки изуверов, которые отправились грабить болгарские деревни. Деревни предавались пламени, а их несчастные жители обращены в бегство, преследовались и были убиваемы, как дикие звери, женщины наравне с мужчинами, девицы предавались смерти».

Вижу списки болгарских добровольцев, прибывших из Болграда в Кишинев 9 апреля 1877 года. Захария Иванов, Богдан Николов, Митко Петков... Что это за болгары и откуда они появились на юге России, в тогдашнем бессарабском городе Болграде?

Из истории известно, что после побед Румянцева и Суворова над турками, после присоединения Бессарабии к России, в начале XIX века на берега Прута и Дуная, в днестровские плавни устремились сотни тысяч болгарских беженцев. Пятое столетие их мучили янычары, и болгары видели свое спасение в братской по крови и духу России. Так на территории Бессарабии возникла маленькая Болгария. Когда-то, еще в VII веке, здесь на 12 лет задержались кочевники протоболгарского хана Аспаруха, стремившегося с востока на Балканы. Во Фракии протоболгары смешались со славянами, и новый народ получил то имя, которое носит и поныне. Конечно, не так проста история «великого переселения», есть в ней и кровавые страницы, но прошло 12 веков, и потомки аспаруховских протоболгар стали заселять юг Бессарабии. А там испокон веков сложилось многонациональное население — из бежавших крепостных, запорожских сечевиков, гонимых церковью и властями вольнодумцев... Между людьми разных наречий, как и принято в России, существовала приязнь, и болгары были принимаемы

здесь с легким сердцем. Переселение их в Бессарабию поощрялось и русским правительством, ибо, кроме спасения единоверных братьев, была еще цель надежно заселить освобожденные земли. Россия предоставляла беженцам значительные льготы: крепостное право на них не распространялось, землю они получали даром, и на первые 70 лет освобождались от налогов. Сюда бежали люди из всех слоев угнетенного болгарского населения: и бедняки, и зажиточные землевладельцы, и немногочисленные в ту пору интеллигенты. Постепенно на территории другой страны сложилось болгарское общество, свободное от тирании и объединенное патриотическими устремлениями. Образовалось 61 поселение, и их центром стал Болград. Здесь не только крепла восходящая еще ко временам Кирилла и Мефодия дружба русского и болгарского народов, но и создавалась основа грядущего освобождения самой Болгарии.

Много доброго сделал для болгарских переселенцев тогдашний генерал-губернатор Бессарабии Иван Никитич Инзов. Да, да, тот самый, при имени которого мы привыкли вспоминать Пушкина. «Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым, — писал Пушкин А. И. Тургеневу. — Старичок Инзов сажал меня под арест каждый раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда — но зато добрый мистик и в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гишпанской революции».

Александр Сергеевич не раз добрым словом помянет столь чуткого к нему начальника. И мы всегда будем благодарны Инзову за Пушкина, вдохновенно и вольно проведенные опальные кишиневские годы. «Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я...»

Так вот, Иван Никитич Инзов, герой 1812 года, человек редкого благородства, стал главным попечителем болгар на юге России. Хочется упомянуть об этой его воистину выдающейся роли, тем более что даже в Большой Советской Энциклопедии об этом не сказано. А он постоянной заботой о переселенцах заслужил у них такую любовь, что после его смерти (умер в отставке, в Одессе) болгары настоятельно просили разрешения властей перезахоронить его в Болг-

раде. И добились своего. Тысячи людей, от самой Одессы, от села к селу, 300 верст несли на руках гроб с телом русского генерала и похоронили его в эмигрантской своей столице с наивысшими почестями. Благодарную память хранят о нем и потомки тех переселенцев: в Болгарии есть местечко Инзово. Во времена моего детства и в Кишиневе была улица Инзова...

Из эмигрантов, живших под покровительством России, стала создаваться болгарская национальная армия. 11 апреля 1877 года в Кишинев, где находилась главная квартира действующей русской армии, прибыл император Александр II. На другой день он объехал построенные войска, и кишиневский епископ Павел огласил царский манифест:

«Всем нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции... Исчерпав до дна миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным».

После молебна император скомандовал: «Батальоны, на колени!» — и сам опустился на землю. Знамена окропили святой водой.

Тысяча первых болгарских ополченцев — три дружины — прошли парадным строем на кишиневском Скаковом поле и вместе с русскими отправились на Балканы — к Плевне и Шипке. Вечером того же дня кавалерия заняла Барбашский мост, и дорога к Дунаю была открыта. 14 апреля передовые отряды заняли Браилов, через неделю на Дунае ударили русские батареи, и начались кровопролитные сражения на Балканах, где рядом с русскими героями показали себя и кишиневские дружины болгарских ополченцев.

«Молодцы, болгары! Благодарю за хорошую службу и храбрость, которую вы показали в бою! Вы сражались не хуже ваших товарищей по оружию — бойцов русской армии», — сказал герой русско-турецкой войны генерал М. Скобелев.

«Вы — ядро будущей болгарской армии. Пройдут годы, и эта будущая болгарская армия с гордостью скажет: мы потомки славных защитников Ески-Загры!» — говорил о первых болгарских ополченцах не менее популярный в Болгарии генерал И. Гурко.

Эти первые ополченцы, те самые Ивановы, Николовы, Петковы, жили в Бессарабии, сто из них — выпускники Болградской гимназии, ставшей гордостью всего народа. Есть в Кишиневе улицы Христо Ботева, Болгарская, Пловдивская, а на бывшем Скаковом поле построили кинотеатр «Шипка» — рядом с часовней. Она была воздвигнута через четыре года после победоносного завершения русско-турецкой войны.

Вот она какая, эта часовня. Бюсты Н. Г. Столетова и Ф. И. Толбухина стоят рядом. Два полководца двух войн, столь много значивших для России и Болгарии. Мундир дожившего до наших дней героя Шипки К. В. Хруцкого, как бы связавший героическую историю дружбы наших народов.

«Знамя дружбы». Оно принесено в дар воинам Красной Армии 17 сентября 1944 года жителями болгарских сел Казичане и Кривена. «Сим победишь», — вышито на фоне братского рукопожатия. Сим победишь. Зачем я пишу об этом? Прочитают эту главу и скажут, что она лишняя в моей повести. Пускай так кто-то считает, я не буду снимать ее, потому что вырос на земле, где меня учили уважать людей другой национальности и дружить с ними мой отец и мать.

6. ОТКУДА ЭТО ВСЕ?

Откуда это все во мне? Когда началось? Наверно, тогда, когда я лежал рядом с отцом на кушетке, окруженный толстыми книгами, напечатанными на грубой желтой бумаге, — это «политика», как говорила мама. Отец дома не расставался с «политикой». Газеты из номера в номер печатали огромные речи на сессиях ООН, я читал их не без интереса.

Можете смеяться или жалеть меня, но моими героями на какое-то время стали дипломаты: я любил читать речи Молотова и Вышинского... В школе — все десять лет сплошные пятерки и без напряжения золотая медаль, хотя был уже без родителей. Почему учился на «отлично», вначале и сам не задумывался. Не заставляли, не подгоняли, а так получилось, что в первом классе стал отличником, понравилось и захотелось держать марку и после. В школе говорили, чтоб

мы стремились походить на Ленина, учиться, как он. Я и учился — пожалуйста, и уже во втором классе учительница мне сказала:

— По учебе ты достиг Ленина, а вот по поведению...

Мне же в ленинской учебе виделась первооснова того, как он стал руководителем государства, председателем Совнаркома. В том же втором классе после приема в пионеры меня избрали председателем совета отряда, и эту важную должность я с упоением нес из года в год и в школе, и в пионерских лагерях, пока не стал комсомольцем. Даже в «Артеке» трижды избирали. Нравилось руководить, это право давала отличная учеба, авторитет среди сверстников, и лет в 11 задумал я, когда вырасту, стать ни много ни мало Председателем Совета Министров СССР — тогда это была самая высокая должность в стране. Но чтобы получить власть, мало ее очень любить. Для этого, как я понимал, надо закончить юридический — как Ленин. Я казнил себя за каждую случайную четверку, за все, что, казалось, может помешать исполнению цели. Однако к 14 годам я нежданно лишился родителей, и надо было думать, как жить дальше с трехлетним братом и парализованной бабушкой. Теперь уж до самого окончания школы я не знал, кем хочу стать. Стало ясно, что поступать надо туда, где будут кормить и одевать за казенный счет. Однако ни в суворовское училище, ни в нахимовское меня не взяли — перерос, а спецшколы ВВС в тот страшный для меня 1955 год навсегда закрылись. Пришлось кончать десятилетку. Целью — временной — стала золотая медаль, она откроет двери в любой вуз, в тот же авиационный институт, о котором я начал подумывать в 9-м классе, ибо захотелось славы авиаконструктора, чтоб летали по небу самолеты с моим именем.

Я суеверно мечтал о золотой медали. По дороге в школу, у железнодорожного переезда, загадал место, где каждый день должен подумать о медали — иначе не получу. Однако сбывшееся не всегда приносит радость. Так было и со мной. Привилегии медалистам в тот год отменили, пришлось поступать на общих основаниях, и в МАИ я не попал. Поступил в своем городе в университет на физическое отделение физмата, сдав за три дня пять вступительных экзаменов,

все на пятерки. А через год перевелся в Московский энергетический институт. Знакомые советовали идти в Литературный, меня же не тянуло туда по нескольким причинам. Во-первых, я не считал литературу занятием, достойным мужчины, а настоящими поэтами могут быть люди особенные и, прежде всего, очень красивые внешне — как Есенин, Блок, Эминеску. Помню, как я искренне, дикарски хохотал, увидев в книжке лошадинообразное лицо Пастернака — никогда не видел человека с таким лицом да еще с такой фамилией. А потом прочитал его стихи и запомнил наизусть на всю жизнь.

Гением я себя не считал, и мне нужно было иметь твердую специальность, чтобы прокормить брата и себя. Во-вторых, думал я, писать стихи можно на любой работе, верней, после нее: Пушкин не кончал литинститута. В-третьих, и это связано с «во-первых», я весьма сомневался в своих литературных способностях. Писать стихи начал в девять лет, жажда печатной славы. Еще составлял кроссворды, головоломки, отправлял в пионерскую газету «Юный ленинец». Их печатали, несколько раз я побеждал на конкурсах по этому делу, а стихи мои тоже занимали первые места на фестивалях пионеров и школьников. Читал стихи со сцены и даже вел школьные передачи на республиканском радио. Все это доставляло гордую радость, потому что уже захотелось отметиться в этом мире.

В восьмом классе стал ходить на занятия литературного объединения при молодежной газете, однако считать себя поэтом не смел, и, стало быть, нечего мне делать в Литературном институте. Лучше стать посредственным инженером, чем плохим поэтом, ибо такой инженер все-таки приносит пользу, а плохой поэт только вредит. Отсюда возникло в-четвертых и в-основных, почему я пошел в технический вуз и стал изучать точные науки: хотелось быть там, где можно принести больше пользы, где труднее будет все даваться. Там, где легко, и дурак сможет, думал я, а вот сумеете осилить дело трудное и нелюбимое! Дело, от которого пользы будет больше, чем от того, что тебе по душе. Учиться на факультете автоматики Московского ордена Ленина энергетического и закончить его было весьма непросто. В институте нестерпимо захотелось

научиться летать — заиграла отцовская кровь. После школы пытался поступить в летное училище — не прошел по давлению. В том году я трижды поступал: в летное, в МАИ и в Кишиневский университет. Теперь в институте несколько лет «пробивал» аэроклуб — сумел, поступил, научился, вылетел самостоятельно! И медицину можно превозмочь.

Еще при жизни родителей я испытал первое большое личное горе. 2 марта 1953 года на уроке пения мы разучивали молдавскую песню:

Лукрэм ку ндрэзнялэ,
Трэм букурос,
Кэ Сталин н'э дат
Ноуэ трай норокос! ¹

А на перемене учителя ходили мрачные, и на уроке физкультуры преподавательница сказала шумному ученику Кобзарю:

— В то время, как отец лежит в таком состоянии, ты... — И в классе стало тихо-тихо. Слух уже прошел по школе.

Мне поручили каждое утро слушать радио, приносить и зачитывать вслух бюллетени о состоянии здоровья. Моя обязанность продолжалась недолго. 6 марта я, как всегда, включил приемник, но почему-то опоздал к началу передачи, и первое, что услышал, было: «...Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Да здравствует великое, всепобеждающее знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!»

Такие слова были необычными, и страшный холодок почувствовал я в себе. В передаче наступила пауза, и затем Левитан произнес ледяным голосом: «Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Сталина».

И — мамин крик. Горе было воистину безмерным. Нынешнее молодое поколение вряд ли поймет, что такое было само понятие «Сталин» в ту пору. Говорю правду, потому что не могу, не умею быть предателем.

Что знал я о нем?

¹ Работаем с охотой, живем радостно, потому что Сталин дал нам новую, счастливую жизнь (*молд.*).

Я на вишенке сажу,
Не могу накушаться.
Дядя Сталин говорит:
— Надо маму слушаться!

Это — в самом начале, на Дальнем Востоке. А потом в Кишиневе, на Ильинском базаре — петушинный бой, один петух — Сталин, другой — Гитлер, и первый непременно побеждает.

В пионерском лагере мы пели:

Строй друзей идет за нами следом
По дороге солнечной вперед,
Мудрый Сталин нас ведет к победам,
Крепость мира строит весь народ.

На очередной спевке я забыл последнюю строку, тут же сочинил ее сам и спел:

Коммунизм построит наш народ...

Вожатая издевается надо мной: «Коммунизм построит наш народ!» Неправильно!

Хотелось сказать ей в ответ: «А что, не построит?» — и развести демагогию на этот счет, но я тогда еще не знал, что это такое. А каждое упоминание Сталина вызывало гордость за державу. Не только десятки стихотворений и песен о нем, нет, было нечто большее, что я знал, а вернее, чувствовал в нем. Слово вождя — это победа. Его ждали, ему верили. Знали: если он скажет, то что бы ни случилось, пусть хоть камни с неба посыплются, а будет так, как он скажет. Знали: капиталисты боятся не только нашу державу, но и его лично, и потому он был надеждой на мирную жизнь.

...Мама со слезами вставляет в старинный металлический оклад бабушкиной иконы цветной огоньковский портрет. Мама не верила в Бога, но сделала так, чтоб было красиво. Генералиссимус в обрамлении торжественного русского православного металла.

— Теперь будет война, — сказала мама. — Война будет...

— Все образуется, — сказал отец. — Ничего. — Он только что прилетел и входит в кожаном реглане и летной фуражке.

На школьном траурном митинге наш директор Камышов в защитном «наркомовском» френче что-то

говорит со шербатых цементных ступенек. Я помню его слова 1949 года, будто слышал их совсем недавно: «Пусть живет Сталин тысячу лет!» А вот даже Сталина не сумели спасти. Я не плакал, но было тяжело.

9 марта в день похорон лучшим учащимся школы поручили возложить венок к его памятнику. В центре города, у кинотеатра «Патрия», в серой бетонной шинели стоял вождь — такой, каким он давал клятву своему учителю Ленину.

— Высокая честь для нашей семьи, — сказала мама, провожая меня.

Мы несли школьный венок в общей городской колонне, по сырому марту, по исчавканной грязи улиц. Город пришел к памятнику. Громкоговорители передавали траурный митинг с Красной площади Москвы. Сверху, вместе с мокрым, жгучим снегом долетала речь Молотова — она была самой прочувствованной. «Плачет Вячеслав Михалыч», — шептались в толпе.

Много лет спустя, каждый год в этот день я буду сидеть за столом у Молотова: 9 марта день его рождения.

Там, в толпе, слушая трансляцию, я ожидал, что кто-то из руководителей, скорей всего Маленков, произнесет клятву Сталину, подобную той, какую он дал Ленину. Но этого почему-то не случилось... Общей горе помогло мне ровно через год по-мужски встретить смерть родного отца.

А через три года, в 1956-м, будет двадцатый съезд партии, в 1957-м — сообщение «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова». Не укладывалось в голове. Я сочинил стихотворение «Мы не верим!», где страстно защищал «антипартийцев». Это свое первое несогласие с властью предержавшими я переписал на папиросную бумагу, как нелегальную прокламацию, и раздавал друзьям. 15 лет мне было...

Кто работал вместе с Ильичом,
Заложил в семнадцатом фундамент,
Тот оплеван в пятьдесят седьмом!

Это о Молотове.

Сталина ругали с трибун на молчаливых собраниях. Позже я прочту у Маркса: «Нет ничего подлее разрешенной храбрости». А в те дни я впервые увидел

большую ложь. Хрущев заявил, что Сталин скрыл завещание Ленина. «Как скрыл? — думал я. — У меня на полке стоит книга 1936 года издания, где в одном из выступлений Сталин цитирует ленинское «Письмо к съезду» и не только не скрывает сказанное о нем самом, но и комментирует. Тираж книги — 315 тысяч экземпляров, все могли прочитать, да и читали, не обращая особого внимания. Однако с трибуны съезда это было преподнесено как новость, и многие так и восприняли. Я впервые столкнулся с подлостью взрослых. Родителей моих уже не было, и, горячась, я поругался с родственниками. От меня отворачивались. Как мне тогда не хватало отца!

Прав был столь измученный российским идиотизмом Лермонтов: «Странные вещи происходят в моей стране: разумному нужен разум для глупости, а язык для молчания».

В ту пору мне открылась одна из характерных черт моего народа: забывание. Когда я спорил, когда напоминал факты и доказывал, те, кто стремился к истине, искренно и удивленно соглашались со мной: «А ведь верно, это было...»

В школьных учебниках выкалывали глаза «антипартийцам», вынесли из Мавзолея Сталина, переименовали города и стали ломать памятники. Помню, как это было. Набросили цепи, рванул трактор. Цепи порвались, а он стоял, прямой, непреклонный, такой, каким клялся Ленину. Нашли шабашников, взорвали. Знали: не встанет он... В газетах, речах пытались отделить Сталина от Ленина, противопоставить их друг другу. Вот, дескать, какой хороший был Ленин и какой негодяй Сталин... Уже тогда мне стало ясно, что взрывают не просто Сталина, идет большой подкоп под Ленина, но, когда я об этом пытался говорить и даже написал стихи:

Тому сегодня Сталин неугоден,
Кто с Лениным не очень-то в ладу,

меня жестко оборвали и стали нещадно сечь в печати.

На институтском вечере в МЭИ писатель Илья Эренбург поносил Сталина. Я написал ему возмущенную записку. Его публичный ответ напомнил мне героя Ильфа и Петрова Паниковского, который назвал

Бендера ослом, но после того, как Шура Балаганов показал ему волосатый кулак, сказал: «Нет, почему же, я очень уважаю Остапа Ибрагимовича!»

Так же и Эренбургу пришлось назвать Сталина великим человеком.

Я написал стихотворение о Сталине, начатое в 1959 году: «Зачем срубили памятники Сталину...» Прочитал в своем институте, когда осуждали культ личности. Да еще в стенной газете поместили. Неприятностей хватило на много лет. Однако ни из института, ни из комсомола меня не вышибли. Нашлись люди, которые и тогда кое-что понимали. Чекист, служивший ранее в охране Сталина, спасая меня, говорил, что я юн, зелен, ничего не понимаю, что таких надо не наказывать сурово, а воспитывать...

Когда меня будут принимать в партию, на собраниях припомнят и это стихотворение. Один выступающий заявил, что я себе придумал биографию, что мой отец не летчик, не воевал... Расчет был, как я понимаю, спровоцировать меня. «У Фельки биография будет кристальная», — говорил отец. И вспомнилось письмо его однополчанина: «Я хочу рассказать Вам о героических полетах Вашего отца...»

Хорошо, что не дожил отец до теперешнего времени, а то, может, тоже сказал бы, как один славный наш летчик: «Знал бы, что так будет, не воевал бы!»

...Как я гордился им, когда в четвертом классе, 23 февраля, в День Советской Армии, он пришел к нам в школу на сбор отряда! Высокий, ладный, и — теперь я понимаю — молодой, он стоял в летной форме возле учительского стола и рассказывал о подвигах авиаторов в годы войны. Что конкретно говорил, не помню. А до этого была торжественная линейка, звеньевые сдавали мне рапорты, и отец смотрел. Вечером по Молдавскому радио рассказали о нашем сборе, на котором выступил участник Великой Отечественной войны, летчик, командир корабля «товарэшул Чуев».

Через два года в школьной стенгазете была моя заметка «Подвиг отца» с его фронтовой фотографией. «Мой любимый герой — мой отец», — писал я. И рассказал о том, как его сбили, как он воевал у партизан и потом на своем же самолете вернулся в полк.

Я гордился им при его жизни. Гордился, когда на демонстрациях он нес знамя нашего авиаотряда,

а я шел возле строя сбоку и любовался им, гордился, когда он перегонял новый самолет и взял меня с собой. Отец в кабине сидел в тубетейке, я стоял рядом. У самолета отказали тормоза, и мы чуть не погибли... Он просил не рассказывать маме.

Я гордился им, когда он отвозил меня в «Артек», и в симферопольском аэропорту на подножке автобуса сказал сопровождающей:

— Я сам лично прилечу за ним!

Он слег, когда пришел из рейса, из Минвод, 6 ноября 1953 года. Меньше месяца пролежал в нашем лечсанупре, а потом его решили отвезти в Москву на операцию.

...Сашке, моему брату, еще двух лет не было, он приплясывал на рыжей пожухлой траве аэродрома: «Топ-топ, топака, там яма глубока, там мышки живут и лягушки живут!»

Батю провожали в Москву. Люди старались не смотреть на нас. Они уважали отца, собрались на летном поле и прощались с ним навсегда. Отец летел пассажиром. Потом я узнал, что он вошел в пилотскую кабину и попросил экипаж: «Ребята, дайте я подержу немножко».

Он был в потертом кожаном реглане и летной фуражке. Потом этот реглан и фуражку привезут вместе с гробом...

Мы вернулись домой. Кровать была незастеленной, и вмятина от него осталась. Я долго не заправлял постель, прикасался, трогал эту холодную, как предчувствие, вмятину от его тела.

В Москве ему сделали операцию, и по нашему поселку пошли слухи, что он умер — это уже в январе 1954-го. Я не поверил, но ничего не сказал матери. А он тогда не умер, хотя тетя Вера Секачева, самая активная в нашем аэропорту, успела прибежать к маме, которую ей поручили подготовить к горестной вести. То, что она явилась, уже было нехорошим знамением, ибо добрая и говорливо-сердобольная тетя Вера всегда выполняла подобные функции.

До отца в Москву тоже докатились слухи, и он написал маме: «Коль меня похоронили, значит, долго жить буду! Говори всем, что Иван у тебя бессмертен».

С тех пор я не верю в народные приметы. Многие из них глупы и лживы.

После операции отцу лучше не стало, и его письма из больницы, написанные химическим карандашом, остались в разводах маминых слез.

В феврале мама отпустила меня на несколько дней к нему в Москву с отцовским экипажем. Шесть часов летел я «зайцем» до аэродрома Быково. Командиром был батин второй пилот Белозеров, а поверяющим — Чурюмов. Самолет перегоняли без пассажиров. Чурюмов выходил из пилотской в пустой салон, садился и смотрел на меня.

Мама дала мне с собой несколько крутых яиц и кулечек самодельного сладкого печенья, забыв про соль и хлеб. Потому, может, и запомнился обед на высоте: крутые яйца с посыпанным сахаром печеньем.

В Быково сели в сумерки, экипаж отправился в профилакторий, а я с бортмехаником дядей Гришей Коркишко поехал в Москву. По заснеженному, в морозных искрах перрону станции Быково топали ребятишки, и через плечо у них висели ботинки с приклепанными коньками. Такое я видел впервые. В нашем поселке если у кого и были настоящие коньки, то их привязывали веревкой к ботинкам, в которых ходили в школу. Впервые я был в Москве, впервые видел метро — станции «Комсомольская» и «Сокол», лестницу-чудесницу, которая, как кишка мясом, начиналась людьми.

Мы вышли на «Соколе», обогнули церковь «Всех Святых», кладбище возле нее и подошли к проходной Центральной больницы Аэрофлота. Было поздно, темно, но нас пустили. В накинутых на плечи белых халатах двигались мы по длинным пустым коридорам за нянечкой, пока она не постучала в одну из одинаковых дальних дверей справа:

— Иван Григорьевич, к вам гости!

Он лежал в палате один. То, что приподнялось с подушек, испугало меня. Так исхудал. Смотреть было морозно, и только голос, голос от него остался. Радостный, веселый, никогда не унывающий мой батя!

— Вот, сынок, сейчас не я привез тебя в Москву, но батяка выздоровеет, поправится, снова начнет летать, сам отвезет тебя на Ленинские годы, а Саньку — в первый класс! — Так он говорил, так оно и будет, думалось. Дядя Гриша поддакивал. Когда мы вышли из

больницы, он качал головой и тихо повторял, не глядя на меня: «Иван Григóрович, Иван Григорович...»

В коридоре ко мне подошла врачиха, ласково со мной говорила, спрашивала, как учусь, как братик, как здоровье мамы, — все про нас знала.

Три дня пробыл я в Москве, видел и Красную площадь, и музей Революции, и музей подарков Сталину. Но главное — я в последний раз видел живого отца. Когда уходил из палаты, взял со столика две карамельки «Театральные», положил в карман, и долго, десятки лет хранились они у меня в Кишиневе и Москве.

Дома я снял с полки две книги «Войны и мира» и тихо сказал себе: «Последний его подарок».

Он все знал — нам не говорил. А когда улетел в Москву на операцию, то не матери, а мне сказал наедине: «Умрет батька, напиши дяде Филе и тетке Наташе. Вот адреса».

С самого раннего детства я больше всего боялся потерять отца. Не попал бы в грозу, не разбился бы... Я суеверно ждал его из каждого полета. И когда он так заболел, я не верил, что он умрет, думал — герои умеют все, и если умирают, то не так, как все.

В моем понимании мой отец был героем настоящим. Как Громов. Как Чкалов. Не зря на первой странице его записной книжки я прочитал чкаловские слова: «Ни своей работой, ни своим поведением я не позволю оскорбить ваше доверие. Всю жизнь до последнего вздоха отдам делу социализма».

Было страшно потерять отца. И с каждым годом становится все страшней оттого, что потерял его.

Мама — другое дело, я за нее не так боялся, хоть она и болела всегда.

7. БУДЕМ ЖИТЬ

Мама всегда болела и не считала, что ей на этой земле выпал удел долгожительницы. Переживали мы и за моего младшего брата, когда он хворал младенческой болезнью. Отец после полета, не сняв реглана, тяжело опустился на стул и сказал: «Не будет у нас братика».

Кто бы тогда подумал, что уйдет отец, такой молодой, 37-летний... Он все переживал, что если разобьет машину, а сам останется живым, то сядет в тюрьму на 25 лет...

Мартовским вечером Николай, мамин брат, мой дядя, принес телеграмму из Москвы. Мама лежала на кушетке. Я был в другой комнате, когда услышал мамин крик. Подошел к столу, прочитал: «Иван Григоревич скончался сегодня в 14 часов...»

...Лежит в теплой молдавской земле русский летчик, один из создателей гражданской авиации Молдовы.

Самая страшная потеря — та, которая останется невосполнимой на всю дальнейшую жизнь. Потом будет много хорошего — школьные успехи, «Артек», первые влюбленности. Будет еще немало тяжелого, но это — самое сильное, хотя всего через год умрет мама. Помните, как перед сном мама заставляла вас мыть ноги? В тазике грелась вода, а иной раз прямо холодной приходилось мыть — летом. Сажу на веранде, на скамеечке, которую тетя Надя купила за пятерку у пленного немца, сажу в трусиках и по очереди опускаю ноги в тазик. Зябко, вода холодная. «Пятки потри! — говорит мама и протягивает мочалку — кусок летного резинового амортизатора. — Ну уж ладно, вытирай».

Темень за окнами. Электрический фонарь на столбе покачивается, мошкара заполнила конус света. Вытер насухо ноги, хорошо подошвам. И — спать. Завернешься в одеяло и представляешь, что летишь в самолете к дальним мирам...

И все-таки о маме у меня меньше воспоминаний, чем об отце, хотя она каждый день была перед глазами. Отца-то я меньше видел и всегда бежал к нему навстречу, когда он после полета появлялся на пригорке с небольшим коричневым чемоданчиком в руке. В этом заветном чемоданчике лежал для меня новый «Огонек» и, что немаловажно, два-три бутерброда с колбасой или голландским сыром, а то и с ломтиком холодной говядины. Бабушка называла эту роскошь «мйнтусы». Отец отрывал эти «минтусы» для меня от своего летного питания в профилактории. Мама говорила, что до войны была такая колбаса, вкусная-превкусная, сало в ней квадратиками, «Лю-

бительской» называлась. Москвичи ели ее с чаем — мама тогда в Москве училась. А я дивился — как это, колбасу с чаем?

Когда резали кабана — праздник. Сала хватало на всю зиму, да еще окорок коптили.

Резали и козлят, но я не любил козлятину. Подала бабушка на стол, а я не ем. И уговоры не помогают — больно не нравился мне запах и привкус этого мяса. Выручил бабушку мой дядя Николай:

— Вот ходил на базар и специально для этого барчука стоял в очереди за говядиной! — и положил на стол мясной сверток. Потом я ел и похваливал: «Ну, цэ другэ дило!» — в детстве я разговаривал на трех языках — русском, украинском и молдавском, в зависимости от того, с кем имел дело.

Мясо, разумеется, было козлинное.

В общем, уже не голодали, но ели еще не досыта. И с продуктами было аккуратно. Матери соседского Виталика, продавщице, за краденый бочонок селедки пять лет дали.

...А я бегаю по винограднику, придумываю различные истории.

— Носится як скаженный! — говорит бабушка. — Сто чертив тобі в печинку! Растэ, як бурьянына у поли. Ось повэрну тобі головку, будэшь назад дывытыся!

Мама стоит перед зеркалом и красит губы карандашом «Тактика». Отец стал называть ее «Галина Ермолаевна» — после фильма «Кубанские казаки», в шутку сказал, а соседка стала так величать, хотя мать была Ивановной, а стенки тонкие, все слышать.

Мама все ходила в туберкулезный диспансер на поддувание, я иду рядом и по дороге читаю вывески и плакаты: «Пятилетку — в четыре года!», «Пейте советское шампанское — лучшее виноградное вино!»

Отец улетал и прилетал, а мама была каждый день. Часто она лежала в гамаке меж вишнями, а после смерти отца даже летом была в теплом пальто. Она сильно сдала, когда его похоронили. Бежали к ней соседки, утешали. Потом я узнал, что ее считали умной. А ведь образование — всего семилетка да курсы продавцов-стахановцев в Москве. Однако много читала.

Когда мне десять лет исполнилось, в 1951-м, первая учительница моя, Антонина Никитична, подарила мне три книги: «Алые погоны» Изюмского, «Подпольный обком действует» Федорова и «Мы — советские люди» Полевого. Всего два дня рождения, больше таких праздников у меня не было, а я и сейчас не люблю отмечать свои даты, зато был и продолжается для меня один большой праздник, который подарили мне родители. Не знаю, писал бы я стихи, если б не этот праздник, — во всяком случае, тогда я не собирался стать поэтом. Не мужским казалось мне это занятие. Когда в третьем классе я сказал отцу, что хочу быть летчиком и непременно реактивным, он посоветовал стать хирургом. Как-то в кабине своего самолета он познакомил меня с одним хирургом: «Вот дядя — или спасет, или зарежет!»

Самого батю спасти не смогли...

А я стал подумывать об юридическом образовании, и наш сосед дядя Дима Федоров сказал: «Зачем тебе юридический? Людей судить? Юристы будут скоро не нужны. Коммунизм наступит. Да и летчиком не советую быть. Отойдет и эта профессия. Раньше на нас смотрели, как на богов, теперь мы просто извозчики, а дальше вообще не понадобятся. Другое придумают».

Чужая работа иной раз кажется легкой — со стороны. Легка она бывает и тому, кто с легкой душой ею занимается. Но у того, кто со стороны ею займется, вряд ли что получится. Для меня в любом деле главным было найти подтверждение своим прежним мыслям. Даже если я знал наперед, что меня ждет неудача, я непременно шел к ней, чтоб самому себе доказать правильность первоначальной догадки.

И еще — всю жизнь меня мучила тяга к соучастью. Еду в «Артек» в июле 1953-го. Сажу в автобусе рядом с незнакомым мальчиком. Хочется поговорить.

— Да, пятьдесят третий год богат событиями, — начинаю я. Он молчит. Я продолжаю в том же духе. Он молчит без интереса. И вот так всю жизнь ищешь соучастия... А сейчас еще труднее: выросла такая порода — говоришь, как в пустоту.

«Артек»! Сегодня отец на самолете отвезет меня в Симферополь. Встаю рано, вместе с ним, мама режет помидоры, жарит яичницу. Рядом с ним я иду на

аэродром, потом надо незаметно, «зайцем», пробраться в самолет. Я в белой рубашке, красном галстуке, тонких брючках, отец — в темно-синем форменном костюме с золотыми погонами, в фуражке — как ему не жарко? Июль в Молдавии уже с утра греет хорошо.

...Держу сейчас в руке артековское письмо от мамы: «Ты уже, конечно, знаешь, какую большую радость добыл нам Вячеслав Михайлович в Женеве — радость для всего человечества, кто хотел мира». Так писала мама об одном из руководителей страны. Потом я читал Молотову это письмо. Говоря более поздним языком, мать моя была очень патриотична и гражданственна.

В последний свой год, это был 1955-й, она уже не могла ходить в кино, а телевизоров тогда еще не было (в Москве, когда я ездил к отцу, видел КВН и через водяную линзу смотрел пьесу «Не было ни гроша, да вдруг алтын»). Но в нашем городе еще без телевизоров обходились). Я ходил в кино и пересказывал маме все фильмы, какие смотрел. После «Звезды» по Казакевичу, где главную роль сыграл Крючков, и герой его гибнет, подорвав себя гранатой, мама сказала: «Да, так умирать могут только русские».

Мы с мамой были солидарны в чувствах. Больше я не встречал такой женщины, хотя мечтал встретить. Тщетно.

Месяца за полтора до ее кончины знакомые вывезли ее в кинотеатр на фильм «Командир корабля». Говорили, что один актер там очень напоминает нашего отца. Мама посмотрела и расплакалась. Последний раз она была в кино.

Лето. Начало июня. Цветет акация. Мы вынесли во двор сушить зимние вещи: валенки, батины унты, летнюю куртку, кожаный реглан. В карманах реглана я нашел монетку, старый трамвайный билет — это все отцово. Кое-где карманы были дырявыми — зимой в них пробрались мыши. Не хотелось выносить эти вещи, а надо. Не хотелось потому, что знал я: мама снова будет плакать. Плачет она каждый день, вот уже больше года. Смотрит со своей кушетки на отцовский портрет и плачет. Я снимал портрет со стены, прятал, а она находила и снова вешала. В последние свои дни стала с ним разговаривать. Таяла на глазах, и ничего

врачи не могли с ней поделаться. Любила она его очень. И он ее, наверно. Уж как она болела, а он ухаживал за ней, на удивление всем. Не помню, чтоб они ругались. Завидовали им. Может, и была у отца когда какая женщина, но маму он не обижал никогда. Уже когда болел и лежал в Москве, пришло ему в эскадрилью новогоднее поздравление от какой-то дамы, которое доброжелатели тут же передали матери. Она лишний раз всплакнула, посмотрела на меня и Сашку и сказала: «Он вам отец и вы должны его любить!»

А через год я сдавал экзамены за седьмой класс — он тогда был выпускной, и по окончании давали свидетельство. Экзаменов было много, семь или восемь, два сдал, как всегда, на пятерки. Когда готовился к третьему, маме стало совсем плохо. Попросила сходить за кефиром. Я принес две бутылки, она выпила стакан. Пришла врачиха, послушала ее, ничего не сказала. Потом мама отругала меня за какое-то непослушание: «Вот когда увидишь мать на этом столе, вспомнишь!»

Ночью она снова разговаривала с отцом. Лунный свет падал на ее кушетку, резко вычерчивал отцовский портрет на противоположной стене. За окном буйно цвела акация и заглушала запах лекарств. Яркая луна сквозь оконную раму положила большой черный крест между маминой кроватью и стеной с портретом...

Мама сидела в постели и со всеми подробностями рассказывала отцу о нашем житье-бытье, задавала ему вопросы, делала паузы, словно слушая ответы, отвечала на его вопросы, которые слышала только она, но смысл их я понимал по ее ответам. Было таинственно и жутко...

Я тихонько подошел к ней: «Мама, не надо, спи, мама».

Она не обращала внимания. Бабушка отвела меня в сторону: «Оставь ее. Это ее душа полетела к отцу и разговаривает с его душой».

Такое объяснение было не для меня, и я ушел спать в другую комнату. Однако, как и во все предыдущие ночи этого страшного года, я часто просыпался, потому что мама сильно кашляла. Иногда повторяла:

— Была б я здорова... Внучат понянчить...

Кашель с мокротой и кровью душил ее особенно ночью.

Утром я застал ее сидящей на кушетке. Наверно, совсем не спала.

— Сынок, вызови мне санитарную машину, я поеду в больницу.

Телефон был в аэропорту, я побежал звонить, потом долго сидел на обочине дороги, ожидая машину, чтобы шоферу не искать наш дом.

Идти она не могла. Села на носилки в своем коричневом зимнем пальто с черным каракулевым воротником. В жаркий июньский полдень сидящую на носилках в зимнем пальто ее внесли в кремовый фургон с красным крестом. Соседи подходили к окну машины, прощались.

В больницу она с собой ничего не взяла. Сказала, чтоб завтра утром я к ней приехал и привез 50 рублей. Наутро я собрался к ней и по дороге решил зайти за дядей Николаем — мы договорились вместе поехать в больницу. Николай сдавал экзамены за десятый класс вечерней школы. В школьном дворе мне встретился его одноклассник.

«Мать домой будете забирать или как?» — спросил он меня.

«Зачем же ее забирать, ведь ее только вчера в больницу положили!»

«Так она умерла».

В слезах явился Николай, и весь жаркий солнечный день 6 июня мы с ним, как и год назад, ездили по учреждениям, получали свидетельство о смерти, договаривались о похоронах. Плохо договорились. Маме вырыли могилу на том же кладбище, где и отец, но далеко от него, в четырехстах шагах. Сказали: нет места. Надо было, конечно, кому-то дать «на лапу», но нечего было давать, да и не знал я в 14 лет, как это делается. А они так любили друг друга.

Обидно, что служивший у немцев сосед тихо живет и поныне, продавщица, украшавшая бочонок селедки, отсидела свое и тоже здравствует, а мои родители ничего не брали для себя и только отдавали — их нет. Наверное, они б жили и сейчас, если б больше думали о себе, а не о Родине.

Настала ночь — первая без мамы. Пустая кушетка. Недопитая бутылка кефира. Пяльцы, нитки му-

лине. В шкафу — панбархатный отрез, подарок отца. Так и не сшила мама себе панбархатное платье, а мечтала. Часики «Звезда». Туфли, цвета какао с молоком, дорогие, триста рублей отдали. Три платья — одно, голубое с цветочками, было ее любимым. В нем мы ее и похороним завтра. Больше ничего от мамы не осталось — ни одежды, ни ценностей. Даже колец обручальных не было у моих родителей.

На следующее утро гроб привезли домой. Мама лежала на столе между кроватью и стеной с отцовским портретом, в голубом цветастом платье, золотая ее большая коса покоилась на груди. Мама была спокойна и красива, тридцатичетырехлетняя мама моя. Казалось, не болезнь dokonала ее, а просто успокоилась мама, отошла. Я не плакал.

Пришли медики. Тут я громко выступил, сказав, что ничего они не умеют и вообще полное ничтожество...

У гроба стояли дядя Николай, тетя Надя — «Котинские глаза», бабушка и трехлетний брат мой Сашка. К отцовскому гробу мы его не брали — совсем был мал. Вадик Евсеев сделал два снимка своим «Фотокором».

Похоронили маму в полдень. Процессия была скромной и не столь торжественной, как у отца. Речей не говорили. До сих пор ощущаю в руках комки рыжей глинистой земли с корнями и сухими стеблями. Они рассыпались, ударяясь об обтянутый красной материей гроб. Зеленый деревянный столбик без надписи встал над бугорком. Это недалеко от могилы Ивана Заикина, того самого, которого я видел рядом с отцом в яркое лето сорок пятого года.

Пришли домой, сели с бабушкой на крыльце, теплом, нагретом.

«Як же мы теперь жить будем?» — спросила бабушка.

«Будем, — ответил я, подражая отцу. — Будем жить, и никаких гвоздей».

Соседский Виталик, мать которого досиживала срок за украденную бочку селедки, злорадно сказал мне: «Мою мать скоро выпустят, и она придет домой, а твои родители были честные и потому никогда не вернуться, ага!»

Вадик Евсеев дал мне на орешнике «беломорину». Я впервые закурил.

«Надо же, — сказал он, — и сегодня не заплакал!»

В тот же день нам предложили меньшую и худшую квартиру вместо наших двух комнатушек. Всем в ту пору было трудно с жильем. «Это дело известное», — говорил майор Кузьменко.

Бабушку вскоре парализовало, дядя Николай уехал к молодой жене в Москву. Тетя Надя немногим могла помочь своей матери — у нее самой трудно складывалась жизнь семейная. Брата удалось устроить в круглосуточный детский садик, и хоть меня не взяли ни в суворовское, ни в нахимовское и я вынужден был пойти в восьмой класс, и хоть крохотную пенсию за отца после смерти матери еще урезали, а на бабушку не платили вообще, мы стали жить-поживать. Добра не нажили, но выросли с братом. И в детдом не пошли — я считал себя взрослым.

Детство кончилось, и мне казалось, что оно ушло за гробом отца, когда деньги и хозяйство в доме легли на меня. Но оно кончилось только сейчас, когда нужно было думать и о брате, и о куске хлеба, о настоящем и будущем.

...Приезжаю в Кишинев и с вокзала, с сумкой через плечо, иду на кладбище. Меж усопших бродят живые — родственники, студенты, влюбленные. Красивое в Кишиневе кладбище. Большой зеленый парк. Страшно мне туда ходить. Как в детстве, страшно. А все же хочется выкопать то, что осталось от мамы, и перенести к отцу. Я было собрал все нужные бумаги — и решился. Страшно.

Если б я был художником, я бы написал две картины. На первой — самолеты уходят на запад по фиолетово-синему небу над сопками Дальнего Востока. Вслед им смотрит мальчишка с развевающимся белым чубчиком... На второй — тот же мальчишка, уже подросший, держит в руках две горсточку рыжей земли. Милая Молдавия, которую никогда теперь уже не различаю, что бы ни случилось...

Можно построить дом, какой был тогда, можно увидеть день, напоминающий прежний, прожитый, можно отыскать в толпе женщину, похожую на маму. Это можно. Но детство кончилось. Стали жить...

Мне минуло пятьдесят, а я жду, когда повзрелею, чтобы избавиться от всего этого и жить, как другие. А может, и другие такие же, только не говорят?

...У меня в Москве, на окне, выросла из косточки виноградная веточка. Она тоскует по родной земле, доставляя мне и грусть, и радость. У нее никогда не будет плодов, но растут зеленые листочки. А разве для счастья обязательно нужны сладкие ягоды?

1980—1992

ВЕТЕР ИСТОРИИ

Мне довелось беседовать с десятками людей, работавших с И. В. Сталиным или хотя бы встречавшихся с ним. Кое-что вошло в мои книги, статьи, стихотворения, но, конечно, не все. Нередко в дружеских беседах я рассказывал то, что слышал на протяжении многих лет. Друзья убедили меня, что это пропадет, забудется, нужно записать... Вот то, что вспомнилось...

ЗАСЯДЬКО

Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности. Предложили директора одной из шахт Засядько. Кто-то возразил:

— Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!

— Пригласите его ко мне, — сказал Сталин.

Пришел Засядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил выпить.

— С удовольствием, — сказал Засядько, налил стакан водки: — За ваше здоровье, товарищ Сталин! — выпил и продолжил разговор.

Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько — хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в сторону и сказал:

— Засядько меру знает.

Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра и снова бы-

ло заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:

— Засядько меру знает!

И много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность...

ПРОБЛЕМА ДОЛГОЛЕТИЯ

Академик А. А. Богомолец выдвинул теорию долголетия, и Сталин дал ему под это дело институт. Однако сам академик умер в 1946 году, прожив всего 65 лет.

— Всех надуд! — сказал Сталин, узнав о его смерти.

БУЛГАНИН

После войны Н. А. Булганина назначили министром обороны, и он стал готовиться принимать парад — учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу, и он тренировался в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и сказал:

— Ты сидишь на лошади, как начальник военторга!

Сразу возникает штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме... Парад принимать стали на автомобилях.

«Все-таки в чувстве юмора Сталину не откажешь!» — смеялся генерал-полковник А. Н. Пономарев, рассказавший мне этот эпизод.

МАО

Представляя Мао Цзэдуну киноактера Бориса Андреева, исполнившего главную роль в фильме «Падение Берлина», Сталин сказал:

— Вот артист Борис Андреев. Мы с ним вдвоем брали Берлин.

Об этом мне рассказал присутствовавший на этом приеме писатель Михаил Бубеннов, автор знаменитой в то время «Белой березы».

Когда Мао Цзэдун был у Сталина, он попросил разрешения поселить 20 миллионов китайцев на советском Дальнем Востоке.

— У меня своих 200 миллионов хватает, — ответил Сталин.

БЕЗ ПСЕВДОНИМОВ

Сталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку, сказал: — Алексеев, — называя свою настоящую фамилию.

— Джугашвили, — ответил Сталин, пожимая протянутую руку, и прошел к своему креслу.

АРТИСТ И НАРОД

После оперы, где одну из партий исполнял артист Большаков, причем не совсем удачно, Сталин спросил:

— Он что, Народный артист СССР?

— Да, товарищ Сталин.

— Какой щедрый у нас народ! — заметил Сталин.

РЕЙЗЕН

Певец Рейзен был любимцем у Сталина. Он заметил его еще в тридцатые годы, перевел из Ленинграда в Москву. Рейзен пел на всех правительственных концертах.

Позвонил ему Поскребышев:

— Марк Осипович, вы сегодня поете, мы пришьем за вами машину.

— Нет, вы знаете, я не смогу: меня уволили из Большого театра.

Но Поскребышев знал: Сталин заметит, что концерт прошел без Рейзена.

— Мы за вами пришьем машину, Марк Осипович.

...В кремлевском кабинете ходил Сталин. Перед ним навьютяжку стоял Беспалов. Когда в кабинет вошел Рейзен, Сталин, указывая на него, спросил:

— Это кто?

— Рейзен, товарищ Сталин.

- Народный артист Советского Союза?
- Да, товарищ Сталин.
- А ты кто?
- Председатель Комитета по делам искусств Беспалов!
- А он кто?
- Народный артист Советского Союза Марк Осипович Рейзен!
- Солист Большого театра?
- Так точно, товарищ Сталин.
- А ты кто?
- Председатель Комитета по делам искусств Беспалов!
- А он кто?
- Народный артист Советского Союза солист Большого театра Союза ССР Марк Осипович Рейзен!
- Он солист, а ты говно! Вон отсюда!

«ИВАН СУСАНИН»

В Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки «Иван Сусанин». Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять финал «Славься, русский народ!» — церковность, патриархальщина...

Доложили Сталину.

— А мы поступим по-другому, — сказал Сталин, — финал оставим, Большакова снимем.

ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА

Разные люди, которым довелось смотреть кинофильмы со Сталиным, рассказали мне много эпизодов на эту тему. Вот один из них.

В 1989 году смотрели «Поезд идет на восток». Фильм не ахти какой: едет поезд, останавливается...

— Какая это станция? — спросил Сталин.

— Демьяновка.

— Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала.

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ»

Оказывается, по пьесе Н. Погодина «Кремлевские куранты» был снят и художественный фильм. Сталин его посмотрел и сказал:

— А что, русского не нашлось, чтоб эти часы запустить?

Дело в том, что роль наладившего главные часы страны в фильме исполнял еврей.

Картина не пошла, так мы ее и не видели.

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

После правительственного просмотра фильма «Незабываемый 1919-й» все ждали, что скажет Сталин. Но он молчал. И лишь, выходя из зала, изрек:

— Слишком много света!

И все.

Создатели фильма обратились к Берии, чтобы он разъяснил значение этих слов.

— Двух солнц не бывает! — истолковал Лаврентий Павлович.

В фильме было много Ленина и Сталина, и Ленина пришлось подрезать. Хотя, скорей всего, Сталин имел в виду другое: парадность, отрыв от реального...

ПИСАТЕЛИ

Сталин говорил:

— Художественному произведению нельзя выносить приговор — о нем можно только спорить.

...Когда создавали издательство «Советский писатель», Сталин сказал, что это издательство Союза писателей и теперь Пушкину и Толстому негде будет издаваться. Нужно еще одно издательство. Так возникло издательство «Художественная литература».

...Партийному работнику Поликарпову сообщили, что хотят направить на работу ответственным секретарем в Союз писателей. Поликарпов взмолился:

— Я привык работать с нормальными людьми, а писатели — они же пьяницы, совершенно неуправляемые...

Когда об этом доложили Сталину, он сказал:

— Передайте товарищу Поликарпову, что других писателей у меня нет.

Ираклий Андроников ловко изображал различных деятелей, умел копировать и Сталина. Тот узнал об этом и при встрече попросил изобразить его.

— Вас — нэ решаюсь! — сказал Андроников, сделав жест рукой с воображаемой трубкой.

ПРЕМИИ

Писательницу Веру Панову за новый роман представили к Сталинской премии — в третий раз после того, как она за предыдущие романы получила премии первой и второй степени последовательно. Комитет, прочитав роман, решил на этот раз ей премию не присуждать. Но вмешался Сталин:

— Давайте дадим — третьей степени. Но передайте товарищу Пановой, что четвертой степени у нас нет.

Сталин спросил у Фадеева, почему не выдвинули на соискание Сталинской премии писателя С. Злобина за роман «Степан Разин». Фадеев ответил, что Злобин не занимается общественной работой, его нигде не видно...

— А может, он в это время пишет? — спросил Сталин.

СЕКРЕТАРИ

...Сталин позвонил в Союз писателей, но его не смогли соединить ни с Фадеевым, ни с Сурковым — ни с кем из руководства. Отвечали только их секретари. Сталин спросил у членов Политбюро:

— Почему погибла Римская империя? — И сам ответил: — Потому что ею стали управлять секретари!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Сталин сказал Демьяну Бедному:

— Вы знаете, почему вы плохой поэт? Потому что поэзия должна быть грустновата.

РАЗГОВОР С ПАСТЕРНАКОМ

Ночью раздался телефонный звонок в квартире Пастернака:

— С вами говорит некий Сталин. Борис Леонидович, что вы думаете о поэте Мандельштаме?

Пастернак, знал, что Мандельштам арестован, и сказал:

— Иосиф Виссарионович, давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Товарищ Пастернак, — ответил Сталин, — в свое время мы лучше защищали своих друзей! — И повесил трубку.

Говорят, после гибели Мандельштама совесть мучила Пастернака всю жизнь...

ПОДУМАЙ О СВОЕМ

Артист Абрикосов на приеме в Кремле крикнул:

— За ваше здоровье, товарищ Сталин! — и выпил стакан водки залпом.

Сталин тихо сказал ему:

— Подумай о своем.

Одному из авторов Государственного гимна поэту Эль-Регистану Сталин сказал:

— Почему вы допиваете все рюмки? С вами будет неинтересно беседовать.

Об этом мне рассказал С. В. Михалков.

ВСЕ — ЗА, ОДИН — ПРОТИВ

За одну из своих симфоний был выдвинут на соискание Сталинской премии по предложению Жданова композитор Голубев. Все знали, чей он протеже, и не

сомневались, что премию он получит, к тому же первой степени. Когда списки лауреатов принесли на подпись Сталину, он спросил:

— Голубев... Симфония... Все — за, один — против. А кто этот один?

— Шостакович, товарищ Сталин.

— Товарищ Шостакович понимает в музыке больше нас, — сказал Сталин и вычеркнул Голубева из списков лауреатов. Симфония и вправду была слабой, но все голосовали за...

СЫН ЦАРЯ-«МИРОТВОРЦА»

Государь Александр III в одной из своих поездок согрешил с некоей особой простого звания, которую просил сообщить ему, если вдруг кто родится у нее.

В положенный срок государь получил извещение, что родился мальчик. В ответ пришла высочайшая телеграмма: «Отроку дать имя Сергей, отчество мое, фамилия — по прозвищу». Так и появился на свет Сергей Александрович Миротворцев. В свое время он сумел избежать трагической участи царской семьи, ибо не распространялся о своем происхождении. Однако позднее, в тридцатые годы, чекисты раскопали, чей он отпрыск, и стали готовить его дальнейшей судьбе соответствующий эпохе удел. Бумага о нем поступила Сталину, и тот написал на ней следующую резолюцию: «Он не виноват, что его отец был такой блядун».

С. А. Миротворцев стал профессором, имел заслуги и получил Сталинскую премию.

ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ...

Молотов рассказывал, что над Сталиным, когда он плывал по Черному морю на пароходе «Троцкий», подшучивали из Политбюро:

— Долго ты еще будешь на Троцком ездить?

Зато из Одессы Троцкий отплывал навеки за рубеж на пароходе «Ильич». Может, случайность...

А когда еще до этого он отправлялся с огромным количеством багажа на поезде малой скоростью в ссылку в Алма-Ату, он выяснил у Сталина:

— Тише едешь, дальше будешь?

— Дальше едешь, тише будешь, — уточнил Сталин.

И БУДЕННЫЙ...

Сталин отправился отдыхать на Кавказ. Его сопровождали соратники. Поезд остановился в Ростове-на-Дону. Было это в начале тридцатых, и с охраной еще не очень усердствовали. Из вагона вышел Ворошилов. Народ на перроне не ожидал явления наркома обороны и охнул от изумления:

— Ворошилов!!!

За ним вышел глава правительства, и еще более опешивший народ воскликнул:

— Молотов!!!

Ну, а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди как бы сами собой выстроились и заплодировали.

Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то же время останавливая овалцию. Когда шум утих, из тамбура внезапно показался замешкавшийся Буденный. И на перроне какой-то казачок воскликнул:

— И Буденный, е... т... м...!

Казалось, что после выхода Сталина уже ничего не могло случиться — ан нет! Все дружно захохотали, в том числе и сам Сталин. С тех пор, когда сталинское руководство собиралось вместе и появлялся Семен Михайлович, Сталин неизменно говорил:

— И Буденный, е... т... м...!

Во время Московской битвы Буденный сказал Сталину, что новых шашек нет, и кавалеристам выдали старые с надписью «За веру, царя и отечество».

— А немецкие головы они рубят? — спросил Сталин.

— Рубят, товарищ Сталин.

— Так дай же Бог этим шашкам за веру, царя и отечество! — сказал Сталин.

ЗАЖДАЛИСЬ...

Нарком высшей школы Кафтанов во время войны ведал научными разработками. Арестовали начальника минометного управления, с которым он контактировал. Кафтанов, знавший об этом аресте, на заседании Политбюро сказал Сталину, что четыре дня не может дозвониться до этого товарища, и добавил:

— Прошу вас, товарищ Сталин, наказать его!

— А где он? — спросил Сталин.

— У нас, — ответил Берия.

...Через некоторое время этот товарищ появился в дверях.

— Садитесь, а то мы вас жаждались, — сказал Сталин.

ОЦЕНКА

Конструктор артиллерийских систем В. Г. Грабин рассказывал мне, как в канун 1942 года его пригласил Сталин и сказал:

— Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите — Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?

— Мне все равно, товарищ Сталин.

Дали и то, и другое.

«БУДЕТ НЕФТЬ...»

Во время войны Сталин поручил Байбакову открытие новых нефтяных месторождений в довольно короткий срок. Когда Байбаков возразил, что это невозможно, Сталин ответил:

— Будет нефть — будет Байбаков, не будет нефти — не будет Байбакова!

Вскоре были открыты новые месторождения в Татарии и Башкирии.

ВАННИКОВ

Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его наркомом. Ванников сказал:

— Завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний экз. Какой у меня будет авторитет среди подчиненных?

— О вашем авторитете мы позаботимся, — ответил Сталин. — Нашел время сидеть!

Утром, когда Ванников приехал на работу, на его столе лежала «Правда» с Указом о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.

ДЕСАНТ

Фронтовик Л. Д. Петров, друживший с зятем Молотова, рассказывал мне, как во время войны в Автономную Республику немцев Поволжья наши выбросили десант, переодетый в фашистскую форму. «Своих» встретили как своих — ожидали...

Решением Государственного Комитета Обороны все это автономное национальное образование выселили, а десантная часть получила звание гвардейской.

Я не знаю, чтобы переселенные немцы так возмущались своей судьбой, как, скажем, чеченцы или крымские татары.

На юбилее Расула Гамзатова в 1993 году я сидел в президиуме рядом с Джохаром Дудаевым и слышал, как он с гордостью сообщил, что во время войны чеченцы поднесли Гитлеру белого коня. А ведь раньше отрицали!

ЧЕТЫРЕ ТАРАНА

Летчик Борис Ковзан — уникальный герой Великой Отечественной войны, который совершил четыре (!) воздушных тарана и остался живой. Он рассказывал мне, как после вручения Звезды Героя его пригласил Сталин и подробно обо всем расспросил. Поинтересовался, чем дальше собирается заниматься Ковзан.

— Вернусь в свою часть, буду продолжать воевать, — отвечал изрубленный металлом летчик-истребитель.

— Думаю, вы уже достаточно повоевали, — сказал Сталин. — А вот подучиться бы не мешало, скажем, в академии.

— Я не потяну, товарищ Сталин, — честно признался Ковзан.

— А вы дайте мне слово, что будете учиться!

— Обещаю, товарищ Сталин.

— А как у вас дома дела?

— Только вот родился сын.

— Поздравляю! Стране нужны люди.

Когда летчик вышел во двор, его ждала машина, и на заднем сиденье он обнаружил большую коробку, где лежали пеленки, распашонки — все для новорожденного...

Ковзан вернулся в свою часть, его вызвал вышестоящий генерал:

— Что будем делать?

— Служить, — ответил летчик.

— А какое слово вы дали товарищу Сталину?

«Все знает», — подумал Ковзан. Пришлось поступать в академию, где он на вступительных экзаменах не ответил ни на один вопрос и был принят.

СОМНЕНИЕ

Маршал бронетанковых войск Катукوف рассказывал, что однажды в кабинете у Сталина он упомянул фамилию генерала Иванова.

— Это не тот Иванов, который изменил своей нации? — спросил Сталин.

Прежде у Иванова была еврейская фамилия.

— Тот самый, — ответил Катукوف.

— А русской нации он не изменит?

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Начальник Генерального штаба Красной Армии А. М. Василевский показал И. В. Сталину целую папку кляз на генерала армии И. Д. Черняховского. Речь в них шла о том, что у него много женщин.

— Что будем делать? — спросил Василевский.

— Что будем делать? Что будем делать? — задумался Сталин. — Будем завидовать!

ЦУНАМИ

После войны от сильного цунами на Курильских островах погибло 28 тысяч человек, среди которых было много военных.

В одной воинской части остался жив солдат со знаменем. Когда об этом доложили Сталину, он решил представить солдата к званию Героя. С солдатом побеседовало начальство, и он сказал, что во время стихийного бедствия думал о том, как бы уцелеть, а знамя ему только мешало, и он вообще случайно оказался возле него. Сталин, узнав об этом, сказал:

— Как жаль, что у нас нет награды за честность!

И велел все-таки поощрить солдата. Маршал Василевский приказал сшить ему форму из офицерского материала и дать отпуск домой на 30 суток, не считая дороги.

ВЕЧНАЯ СЛАВА

Генерал И. Н. Рыжков рассказывал, как в приказе Верховного Главнокомандующего впервые появились слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины!»

— Поехали с Василевским к Сталину. У нас в проекте приказа было: «Вечная память...» Сталин прочитал и предложил заменить «память» на «славу»: «Память отдает церковным», — сказал Сталин.

ЦЕРКОВЬ

К Сталину обратился патриарх Всея Руси Алексий с просьбой разрешить открыть церкви в Москве.

— Открывайте, — сказал Сталин. — Русским матерям есть за кого помолиться, есть по ком поплакать.

Приободренный патриарх осмелился попросить разрешения открыть и духовные учебные заведения. Сталин разрешил открыть богословские школы, а насчет семинарий сказал: «История знает случаи, когда из духовных семинарий выходили неплохие революци-

онеры! А впрочем, от них мало толку. Вот видите, я учился в семинарии, и ничего путного из этого не вышло».

Мне об этом рассказал бывший начальник югославской гвардии Момо Джурич — ему довелось лететь в одном самолете с нашим патриархом и даже пить с ним водку.

Вот еще любопытный эпизод на эту тему. В первую мировую войну был тяжело ранен один врач-хирург. Понимая, что шансов выжить у него почти нет, он дал обет, что если не умрет, то станет служить Богу. И выжил. И сдержал обет, став сельским священником. Во вторую мировую войну он ушел в партизаны и, как наиболее грамотный, стал начальником штаба партизанского отряда, но, поскольку были раненые и больные, пришлось ему вспомнить и свою первую профессию. И многих он спас.

На приеме в Кремле в честь отличившихся партизан он был представлен Сталину, которому рассказали его историю. Сталин поинтересовался, чем он будет заниматься после войны. Тот ответил, что вернется в свой приход. Сталину, видимо, хотелось обратить его к медицинской деятельности, и он сказал: «Эх, какого хирурга мы потеряли в вашем лице!». «А какого пастыря потеряла церковь в вашем лице, Иосиф Виссарионович!» — ответил поп-хирург-партизан.

КОЛЛЕГА

...В Москву из Парижа приехал крупный деятель православной церкви, который в свое время учился вместе со Сталиным в Тифлисской духовной семинарии. Захотел увидеть своего соученика и, получив приглашение, спросил, в какой одежде лучше прийти — в церковной или мирской?

— Лучше в мирской, — посоветовали ему.

...Встретились тепло. Потом Сталин тронул штатский костюм гостя и сказал:

— Бога не боишься, а меня испугался?

УТОЧНИЛ

Начальник Воениздата генерал Маринов был похож на грузина, черноволосый, кучерявый, с усиками. Во время его доклада Сталин внимательно смотрел на него и потом спросил:

— А кто вы по национальности, товарищ Маринов?

Сказать, что он грузин, вождю народов, к тому же грузину, Маринов не решился, но нашел выход:

— Я грузинский еврей, товарищ Сталин.

На что Сталин ответил:

— Товарищ Маринов, я знаю так: или грузин, или еврей.

ОТВЕТ ЧЕРЧИЛЛЮ

На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал:

— Но Львов никогда не был русским городом!

— А Варшава была, — возразил Сталин.

ОТВЕТ ГАРРИМАНУ

Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:

— После того, как немцы в 1941 году были в восемнадцати километрах от Москвы, наверно, вам сейчас приятно делить поверженный Берлин?

— Царь Александр дошел до Парижа, — ответил Сталин.

БУТЫЛКА БАЛТИЙСКОЙ ВОДЫ

В результате наступательной операции советские войска вышли к Балтийскому морю, и командующий генерал Баграмян решил порадовать Сталина, послав ему бутылку балтийской воды. Но пока эта бутылка добиралась до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм и потеснить наши войска с побережья. Сталин

уже знал об этом и, когда ему вручили бутылку, сказал:

— Верните ее товарищ Баграмяну, пусть он ее выльет в Балтийское море!

ПОМИДОРЫ

Во время посещения Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Сталин обратил внимание на то, что экспонируемые помидоры подпортились, и, когда сдвинулись в машину, напомнил:

— Помидоры не забудьте убрать! Но только помидоры — я больше ничего не говорил.

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ

Чан Кайши назвал Сталина «великим учителем», на что Сталин заметил:

— Тоже мне, дети!

РАССКАЗЫ А. И. МГЕЛАДЗЕ

Я вернулся с воинских сборов из Тбилиси. Встречался там с Акакием Ивановичем Мгеладзе, бывшим Первым секретарем ЦК партии Грузии в последние годы жизни Сталина. Пересказываю Молотову.

Акакий Иванович вспоминал, как обедал у Сталина на даче в Боржоми, и тот сказал:

— Давайте пригласим Хрущева. — И позвонил.

Хрущев выехал, но что-то долго его не было. Наконец приезжает и говорит:

— Товарищ Сталин, безобразия, гонят стада овец, перекрыли дорогу! — И обращается к Мгеладзе: — Ты там распорядись, чтоб этих пастухов наказали!

Но все обошлось, ни один пастух не пострадал.

У Сталина бутылки стояли.

— Я хочу выпить за нашего дорогого товарища Сталина! — воскликнул Хрущев.

Все налили вина, Хрущев подошел к Сталину:

— Товарищ Сталин, я хочу за вас выпить водки, потому что за такого человека нельзя пить какую-то

кислятину! — И налил себе полный стакан водки. Выпил. Все выпили вина. Короче, он одинпил водку и быстро уснул на диване.

Сталин сказал:

— Ну вот, теперь мы можем спокойно поговорить.

— М-да, — заметил Молотов.

— Хрущев любил выпить? — спрашиваю Вячеслава Михайловича.

— В ту пору не выделялся.

Мгеладзе рассказывал и о Сулове.

Позвонил Сталин: «Приедет лечиться Сулов, обрати на него внимание, он туберкулезник, прими его получше».

Я хорошо его принял. А он столько говорил о Сталине: «Пойми, ведь только благодаря Сталину мы все так поднялись, только благодаря Сталину все у нас есть. Я никогда не забуду отеческое внимание Сталина ко мне. Если бы не Сталин, я бы умер от туберкулеза. Сталин меня вытащил, Сталин меня заставляет лечиться и лечит!»

Может, он рассчитывал, что Мгеладзе все это передаст Сталину?

Ну, а что говорил Сулов о Сталине в хрущевско-брежневские времена, напечатано в газетах...

ЛИМОНЫ

Сталин ходил с Первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами, которые вырастил сам в своем лимоннике:

— Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли!

И так несколько раз, между разговорами на другие темы:

— Попробуйте, хорошие лимоны!

Наконец собеседника осенило:

— Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить их из-за границы.

— Слава Богу, догадался! — сказал Сталин.

СЕРГО КАВТОРАДЗЕ

Известный грузинский большевик Серго Кавторадзе долгое время был не у дел. О нем как бы забыли. Занимал с женой комнату в коммунальной квартире, где сосед постоянно ругал его за невыключенный свет в туалете или невынесенное ведро с мусором. И вот после войны — телефонный звонок:

— Серго, это ты? Ты живой? Кто говорит? Лаврентий говорит!

— Здравствуйте, Лаврентий Павлович!

— Ой, как не стыдно! Просто Лаврентий... Забыл старых друзей, не звонишь, не заходишь! А мы сидим, вспоминаем старых друзей, товарищ Сталин спрашивает: «А где наш Серго Кавторадзе?» Я позвонил к себе на службу, мне сказали — ты в Москве. Приезжай к нам, я за тобой машину пришлю.

И вскоре Кавторадзе оказался за одним столом со Сталиным и Берией. Посидели, и Сталин говорит:

— А теперь, Серго, поедем к тебе, посмотрим, как ты живешь.

— Товарищ Сталин, уже поздно, и я, если б знал, сказал бы жене, она бы что-то приготовила...

— А мы возьмем бутылочку вина и тихо, скромно поедем, — сказал Сталин.

И поехали. В одной машине — охрана, во второй — Берия, в третьей — Сталин и Кавторадзе, в четвертой — бутылка с охраной...

Кавторадзе позвонил. Дверь открыл его сосед:

— Мало того, что он свет в туалете не тушит, он еще приходит в три часа ночи!

Сзади, из-за плеча Кавторадзе, выглядывал человек в шляпе, пенсне и белом кашне. Сосед тут же скрылся. В коридор проникла охрана, перекрыв входы-выходы. Кавторадзе хотел пойти первым, чтоб разбудить жену, но Берия опередил его. Он приоткрыл дверь в комнату, просунул голову в шляпе, пенсне и кашне и лукаво произнес:

— А кто к вам прие-е-хал!

Сталин побыл недолго. Гости уехали. Наутро у входа в ванную Кавторадзе сказал задержавшемуся там соседу:

— А мыться надо побыстрее!

— Слушаюсь! — сказал сосед и вытянулся.

Вскоре позвонил В. М. Молотов и сообщил Кавторадзе, что он назначен Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Румынии.

ОЦЕНИЛ ХРУЩЕВА

Когда Хрущев на заседании Политбюро после войны высказал свои соображения по строительству агрогородов — газ, водопровод и т. д., — Сталин выслушал, подошел к нему, погладил по лысине и сказал:

— Мой маленький Маркс!

НА ОЗЕРЕ РИЦА

Бывший комендант Большого театра, а фактически один из охранников Сталина А. Рыбин рассказал мне, как ездили со Сталиным на озеро Рица. Поехали в полной уверенности, что на даче все готово к приему вождя. Но, как обычно у нас, все оказалось не так — даже спать было негде и не на чем. Легли прямо на берегу — в спальных мешках. Среди ночи Сталин проснулся.

— Ну и храпите же вы! — сказал он охранникам, взяв свой спальный мешок и пошел досыпать один.

— Уж он и простак был донельзя, этот Сталин! — запомнилась мне дословно фраза А. Рыбина.

Иногда Сталин, закатав свои брюки с лампасами, ходил босиком по воде. Я и спросил А. Рыбина, было ли у Сталина на ноге шесть пальцев, о чем прочитал в одном «демократическом» издании в разгар перестройки. Рыбин даже опешил:

— Если б было, мы бы, наверно, сразу обратили внимание...

В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, заметил:

— Товарищ Сталин, я не пойму, кто из вас кого охраняет?

— Это что, — ответил Иосиф Виссарионович, — он еще мне свой пистолет в плащ сунул — возьмите, мол, на всякий случай!

В «МЕТРОПОЛЕ»

...Сталин приехал в ресторан «Метрополь». В фойе было пусто — чекисты постарались. И только гардеробщик выскочил навстречу:

— Разрешите помочь, Иосиф Виссарионович?

— Пожалуй, это я еще умею делать сам, — сказал Сталин, снимая шинель.

...Сергей Михалков сидел, все время глядя на Сталина, как бы призывая его обратить внимание. Сталин почувствовал это и сказал Мао Цзэдуну:

— А это писатель Михалков. Его невозможно не заметить! — имея в виду, видимо, и высокий рост Сергея Владимировича.

Молотов сидел, как обычно, рядом со Сталиным. Улучив момент, когда Вячеслав Михайлович вышел, Михалков подсел к Сталину. Молотов вернулся и, заметив, что его место занято, отошел в сторону. Но Сталин сказал:

— Товарищ Михалков, на двух стульях трудно сидеть!

ПЕТРУ ГРОЗА

Премьер-министр Румынии Петру Гроза после банкета сказал Сталину:

— Вы знаете, я очень люблю женщин.

— А я очень люблю коммунистов, — ответил Сталин.

ЕДИНСТВЕННЫЙ, И ТОТ...

Сталин сказал лидеру чехословацких коммунистов и первому президенту Чехословакии Клементу Готвальду:

— Ты во всей своей стране единственный порядочный человек, и тот пьяница!

ПРОЦЕНТ ТОЧНОСТИ

Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов.

— Сорок процентов, товарищ Сталин.

— А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов.

КАРТЛИНСКИЙ

Рассказывал поэт Семен Олендер:

— В двадцатые годы я написал стихотворение, в котором обругал и Сталина, и Троцкого, — между ними шла непримиримая борьба. Отнес в «Комсомолку». Стихи попали к Надежде Сергеевне Аллилуевой. Мы не знали, что она жена Сталина, знали — муж работает в ЦК.

Через несколько дней мне позвонил некто, назвавшийся Картлинским, и сказал, что ему непонятна в стихах моя позиция: ругаю одновременно и Сталина, и Троцкого.

— Они мне оба не нравятся, — ответил я.

— Вы что, хотите стать советским Лермонтовым? Так запомните, что вы не Лермонтов, а товарищ Сталин не Николай Романов! — И повесил трубку.

Потом я узнал, что Картлинский — один из псевдонимов Сталина. К Дзержинскому меня все-таки вызвали, тем дело и кончилось.

ВИНОВАТА ВОЙНА

После битвы под Сталинградом Сталин осматривал город, вернее, то, что от него осталось. Неожиданно на перекрестке двух прежних улиц в автомобиль вождя въехал грузовик. За рулем — женщина. Увидела Сталина — в слезы.

— Да вы не плачьте, — стал успокаивать ее Сталин, — моей машине ничего не сделалось, она бронированная. А вы свою поправьте! — И обратился к подбежавшим милиционерам: — Вы ее не трогайте, она не виновата, виновата война.

«ШПИЛ»

Был период, когда Сталин долго работал на даче и никуда не выезжал. Решили покатать его по ночной Москве. Сопровождающему наказали:

— Запоминай все, что товарищ Сталин скажет, где и по какому поводу!

Когда вернулись, начальник спросил сопровождающего:

— Ну как, что говорил?

— Молчал, всю дорогу молчал.

— А может, все-таки что-нибудь сказал?

— Кажется, одно слово только... Шпил!

— Шпил? Где он это сказал?

— Когда проезжали Смоленскую площадь.

...В это время на Смоленской строили новую «высотку». На следующий день собрали строителей и постановили: вверху никаких украшательств, венчать здание должен строгий шпиль!

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

После победы в 1945-м, отмечая исключительные заслуги И. В. Сталина в Великой Отечественной войне, Политбюро ЦК ВКП(б) постановило:

1. Переименовать столицу СССР город Москва в город Сталин.

2. Присвоить И. В. Сталину звание Генералиссимуса Советского Союза.

3. Наградить И. В. Сталина вторым орденом «Победа».

4. Присвоить И. В. Сталину звание Героя Советского Союза.

Сталин категорически отверг эти решения. По первому пункту его поддержал Молотов, и этого было достаточно, чтобы Москва осталась Москвой.

Вопрос о Генералиссимусе обсуждался несколько раз, и последний штрих внес Рокоссовский:

— Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал, вы меня наказать не сможете!

Сталин улыбнулся, махнул рукой. А потом не раз жалел, что согласился:

— Я ведь политический деятель, а не военный, зачем мне это звание?

Убедили и с орденом «Победа». А Золотую Звезду так и не принял.

— Я не подхожу под статус Героя Советского Союза, — сказал Сталин. — Я не совершил никакого подвига!

Художники рисовали его с двумя звездами — Героя Социалистического Труда и Героя Советского Союза, но нет ни одной подобной фотографии, потому что Золотая Звезда Иосифа Виссарионовича Сталина до конца его жизни хранилась в Наградном отделе Президиума Верховного Совета, и ее впервые увидели на красной подушечке за гробом...

ОТВЕТ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ

Бывший школьный учитель Сталина прислал ему письмо с просьбой дать ему займы от государства пять тысяч рублей на постройку дома. От Сталина пришел пакет, на котором было написано: «Народному учителю». Тогда еще не было такого звания, но этого учителя стали называть только так.

В письме Сталин ответил, что у нас нет закона, по которому государство могло бы дать займы такие деньги. «Обычно я не беру гонораров за свои произведения, а сейчас взял и посылаю Вам три тысячи. Больше у меня нет, к сожалению. Но я позвоню Первому секретарю вашей партии Берии, чтобы он нашел возможность предоставить Вам недостающие две тысячи».

— Не мог сразу ко мне обратиться! — сказал Берия.

Домик построили...

ПОЛК ОХРАНЫ

В октябре 1941 года, когда положение Москвы стало угрожающим, заговорили о переезде Сталина в Куйбышев, где было оборудовано помещение для Ставки. Но никто не решался спросить у Сталина, когда же он покинет столицу. Поручили задать вождю

этот щекотливый вопрос командиру полка охраны. Тот спросил не напрямую, а так:

— Товарищ Сталин, когда переводить полк? Состав на Куйбышев готов.

— Если будет нужно, этот полк я поведу в атаку, — ответил Сталин.

ЯКОВ

Известно, что, когда Сталину через шведский Красный Крест предложили обменять Якова на плененного в Сталинграде фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил: «Солдата на маршала не меняю». Известно также и другое его высказывание: «Нам нужно сейчас взять в плен как можно больше немецких генералов, чтобы их всех обменять на одного человека — Эрнста Тельмана».

В газете «Красная звезда» от 15 августа 1941 года я прочитал такую корреспонденцию с фронта:

«Среди наших командиров мне довелось встретить сыновей славных героев гражданской войны. Они не уступают отцам в героизме. На одной батарее, громившей немцев прямой наводкой, я встретил капитана — сына легендарного Чапаева. Он дерется самоотверженно и честно. На этом же участке фронта я видел сына Пархоменко — старшего лейтенанта, который храбростью напомнил мне своего отца.

Изумительный пример подлинного героизма и преданности Родине показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего боевого поста, уничтожая врага».

В газете не сказано, что уже более месяца сын Сталина находился в немецком плену, оставаясь верным присяге, Родине и вождю.

19 ноября 1977 года в ресторане «Арагви» с Евгением Джугашвили отмечали посмертное награждение его отца орденом Отечественной войны первой степени. Один из гостей, генерал КГБ, рассказывал, что после войны арестовали германского разведчика, которому Риббентроп поручил вести работу в лагере с пленным Яковом Джугашвили. Немцам никак не удавалось сделать снимок улыбающегося Якова. К нему подослали эзэсовца-грузина с пачкой любимых папирос Якова.

Ожидали, что это произведет желанный эффект, ибо Яков был заядлым курильщиком, как и его отец.

...Он сидел посреди камеры, мельком взглянул на предложенные папиросы и отвел глаза.

— Яша, я пришел к тебе как грузин к грузину, — сказал ээсовец.

— Тогда почему ты в этой форме? — ответил Яков вопросом.

...В 1945 году в Потсдаме Сталину предложили поехать в Заксенхаузен, посмотреть, где погиб его сын.

— Я приехал сюда не по личным делам, — ответил Сталин.

Маршал Жуков пишет, что Сталин очень тяжело переживал гибель старшего сына, но никому этого не показывал.

МЕХЛИС

Секретари правления Союза писателей СССР Фадеев и Макарьев пожаловались Сталину на главного редактора «Правды» Л. З. Мехлиса. (Об этом мне рассказал писатель Михаил Бубеннов.)

Сталин сказал в ответ:

— Это страшный человек, Мехлис. Просите о чем угодно, но с ним я ничего не могу сделать. Он работал у меня помощником, и был случай, когда уборщица не успела протопить печи в Кремле, опоздала на работу, что-то у нее дома случилось. Мехлис ее уволил, — дескать, не заботится о здоровье товарища Сталина. Она пришла ко мне в слезах, и я ее восстановил на работе.

Но не тут-то было! Ко мне является Мехлис и кладет мне на стол заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Я удивился, а он говорит, что поскольку я отменил его приказ, то теперь у него не будет авторитета среди подчиненных. Я ему говорю: «Забери заявление и иди работай!»

Он послушался, забрал заявление, но часа через два снова приходит: «Я все обдумал и все-таки считаю нужным подать заявление». Я ему говорю: «Слушай, не морочь мне голову, порви это заявление, я сижу здесь, ты сидишь там, иди работай!»

Послушал, но через некоторое время снова приходит. Я вынужден был отправить его в «Правду». Это страшный человек. Ничего не могу с ним поделать, — повторил Сталин.

...Генерал-лейтенант Г. Ф. Самойлович, Герой Советского Союза, рассказал мне такой эпизод. Когда Мехлиса, виновного в крупном поражении наших войск, решили предать суду военного трибунала, он явился к Сталину и упал на колени:

— Товарищ Сталин! Прикажите расстрелять эту дурацкую жидовскую башку!

— Ну, раз такая самокритика, — сказал Сталин. Мехлиса простили...

ПИСЬМО И. В. СТАЛИНА В ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ

*от 16 февраля 1938 года
по поводу готовящейся Детиздатом
книги «Рассказы о детстве Сталина»*

Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует массой фактических погрешностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, «добросовестные» брехуны), подхалимы.

Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождя, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория.

Герои делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры.

Народ делает героев — отвечают эсерам большевики!

Всякая такая книжка будет вредить нашему общему большевистскому делу.

Советую сжечь книжку.

И. СТАЛИН

ДВА ПИСЬМА ДОЧЕРИ

Привет и низжайший поклон Светланке-хозяйке
от ее секретаришки, т. е. от
т. Сталина

Товарищ хозяйка! Письмо твое получили мы, твои секретаришки, и обсудили с большим удовлетворением. Спасибо тебе, что ты помогла своим письмом разобраться в сложных международных и внутренних вопросах. Пиши почаще, хозяйка. Просим.

Я здоров (а Вася тоже), но скучаю, так-как нет со мной моей хозяйки.

Целую тебя крепко, моя воробушка, моя радость.

Твой папа И. Сталин

8/IV—36 г.

Светланке-хозяйке.

Хозяйка! Получил письмо и открытку. Это хорошо, что папку не забываешь.

Посылаю тебе немного гранатовых яблок. Через несколько дней пошлю мандарины. Ешь, веселись.

Васе ничего не посылаю, так как он стал плохо учиться.

Погода очень хорошая. Скучновато, так как хозяйки нет со мной.

Ну, всего хорошего, моя хозяйюшка.

Целую тебя крепко.

Секритаришка Светланы-хозяйки

бедняк И. Сталин.

8/X—35 г.

ДОСТАЛОСЬ И ЖДАНОВУ

Во время войны Сталину сказали, что его сын Василий на дальней даче пьет с женой одного артиста. Сталин велел привезти сына. Когда Василий вошел в кабинет, Сталин снял ремень и хлестанул его по лицу:

— Подлец! Ты подумал, что люди скажут о твоём отце? Идет война, а ты пьянствуешь!

Жданов попытался защитить Василия, но Сталин хлестанул и его — сгоряча.

НА ФРОНТЕ

Во время одной из своих поездок в действующую армию на Калининском фронте Сталин застал пьяного генерала.

— Нашел время пить! — сказал Верховный. Но тут же добавил: — Вы мне Ивана Михайловича не обижайте!

(Рассказал А. Т. Рыбин, сопровождавший Сталина в поездках на фронт.)

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Я вспомнил рассказ П. Попиводы о том, как в 1949 году отмечали 70-летие Сталина в Большом театре. Сталин был мрачен, не слушал речей, выходил из президиума за кулисы, курил. За кулисами навстречу ему попал венгерский лидер Матиас Ракоши.

— Сколько вам лет, товарищ Ракоши? — спросил Сталин.

— Пятьдесят шесть, — вытянулся Ракоши.

— Комсомолец, — сказал Сталин и похлопал его по плечу.

ЗАДАЧКА ПО МАТЕМАТИКЕ

Дочь А. Н. Поскребышева Наташа рассказала мне, как в детстве позвонила отцу на работу:

— Это папа?

— Это не папа. А что ты хочешь? Может, я помогу?

— Не получается задачка по арифметике...

И долго вдвоем со Сталиным они решали по телефону задачу про бассейн и трубы, по которым вливается и выливается вода...

Потом Наташе влетело от отца за то, что она отнимала время у самого Сталина...

ЧЕЛОВЕК И КОЛЛЕКТИВ

Генерал-лейтенант Ветров рассказывал, как он воевал в Испании и потом докладывал в Кремле. Всем в его части нравились колесно-гусеничные танки. Сам Ветров считал, что они хоть и быстроходны, но часто переворачивались на ходу и были легко пробиваемы. Но Сталину он доложил мнение своих сослуживцев.

— А ваше личное мнение? — спросил Сталин.

— Так считает весь полк, коллектив, — ответил Ветров.

Тогда Сталин повернулся к членам Политбюро и сказал:

— Вы знаете, товарищи, иногда бывает, что весь коллектив не прав, а один человек прав.

В перерыве Сталин подошел к Ветрову:

— Ну скажи, молодой, много испанок перепортил? ...Ветров получил повышение в наркомате.

* * *

Генерал Мерецков просил у Ставки дополнительно корпус для решения боевой задачи. Все были против. Сталин молчал. Мерецков расстроился.

После заседания к нему подошел Сталин и сказал:

— А корпус я вам все-таки дам.

Оказалось, правильно.

ПРЕДИСЛОВИЕ ВОЖДЯ

В 60-е годы в редакции журнала «Октябрь» журналистка Елена Микулина рассказывала, как в молодости, в 1929 году, написала брошюру о социалистическом соревновании, тыкалась с ней в различные печатные органы и издательства, но нигде не брали:

— План забит, бумаги нет...

В общем, как всегда.

Ходила-ходила и добрела до Центрального Комитета партии:

— Я хочу попасть на прием к секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину.

— Товарищ Сталин очень занят, — ответила ей женщина в приемной, не поднимая головы.

— У меня очень важное дело.

— Товарищ Сталин очень занят.

— Но у меня важное неотложное дело.

— Какое дело?

— Я написала брошюру о социалистическом соревновании...

— Единственное, чем я могу вам помочь, — сказала женщина из приемной, — посоветовать вам оставить у нас вашу брошюру, мы вам ответим.

Делать нечего, оставила рукопись.

Дней через десять в коридоре общежития, где жила Елена Микулина, раздался телефонный звонок, и ее пригласили к аппарату.

— С вами говорит Товстуха, — раздалось в трубке.

— Какая голстуха?

— Не какая, а какой, — с обидой в голосе уточнил говоривший. — Помощник товарища Сталина. Товарищ Сталин ознакомился с вашей работой и хотел бы с вами поговорить.

Помощник назвал день и время и спросил:

— Вам удобно?

— Конечно удобно!

В назначенный день и час журналистка была в главном кабинете страны. Вошла — никого нет. Огляделась — Сталин стоял у маленького столика и листал газеты. Он был в штатском костюме и галстук — мало кто видел его в такой одежде. Из газет потом Елена Микулина узнала, что в тот день Сталин принимал английскую правительственную делегацию...

— Какая молодая, а такие умные книжки пишет, — сказал Сталин. — А в чем ваши трудности, на что вы жалуетесь?

— Не могу нигде напечатать, товарищ Сталин.

— Да, у нас это очень трудно. Как же вам помочь?

«Я подумала, одного его звонка достаточно, чтобы все было немедленно сделано», — вспоминает Е. Микулина.

А он ходил по кабинету, рассуждал:

— Как же вам помочь? А что, если я напишу предисловие к вашей брошюре?

Такое ей и в голову не могло прийти!

— У меня много работы, — продолжал Сталин, — но, если вы потерпите дней десять, я напишу предисловие.

— К вам так трудно попасть, товарищ Сталин, у вас в приемной ЦК такая мегера сидит...

— Она не мегера, у нее трудная работа. А я пришлю вам предисловие по почте.

Сталин понимал, что, когда выйдет брошюра неизвестной журналистки с его предисловием, она сразу станет всесоюзно знаменитым человеком, и он спросил:

— А что вы собираетесь делать дальше?

— Хочу поехать по стройкам пятилетки, написать...

— Это хорошо.

— Но я работаю в журнале «Крестьянка», там сельскохозяйственный профиль, и меня не пошлют на промышленные объекты.

— Я думаю, что вас командировает наша газета «Правда».

— Но я там никого не знаю.

Тут Сталин впервые улыбнулся и сказал:

— Пошлют!

А Елена подумала о том, что в кабинете у Сталина нет ни секретаря, ни стенографистки, нигде ничего не фиксируется...

Но дней через десять в общежитие ей действительно принесли пакет с грифом «Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)». На нескольких страничках на машинке там было предисловие Сталина.

Она взяла эти странички и отправилась в издательство, где ей упорно отказывали.

Увидев ее, редактор воскликнул:

— Товарищ Микулина, я же вам объяснял, что план забит, бумаги нет...

— А если к моей брошюре будет предисловие одного из членов Политбюро? — спросила Микулина.

— Ну, тогда издадим в этом году, — улыбнулся редактор.

— А если будет предисловие товарища Сталина?

— Издадим немедленно, — развел руками редактор.

Больше не говоря ни слова, она положила перед редактором предисловие Сталина.

Тот быстро пробежал странички, еще раз прочитал, бережно взял текст в руки и исчез. Микулина осталась одна. Минут через двадцать появились трое: редактор, главный редактор и директор издательства.

— Товарищ Микулина, — обратился директор, — что же вы ко мне не зашли? Эх, молодежь, учить вас надо! Ко мне следовало сразу зайти, вот договор подпишите, пока касса не закрылась, получите гонорар...

Когда Микулина вернулась в свое общежитие, по всей Москве пролетел слух, что сам Сталин написал предисловие молодой журналистке. Первым к ней прибежал корреспондент журнала «Огонек»:

— Товарищ Микулина, как бы нам это предисловие отдельно напечатать...

Микулина решила справиться на этот счет у помощника Сталина, позвонила Товстухе, и тот ответил:

— Мы это предусмотрели. Отвечайте корреспондентам, что скоро эта статья будет опубликована в газете «Правда».

Все это может показаться фантастикой, но я открываю 12-й том сочинений И. В. Сталина и на 108-й странице читаю заголовок: «Соревнование и трудовой подъем масс. Предисловие к книжке Е. Микулиной «Соревнование масс».

Сталин пишет:

«Социалистическое соревнование есть выражение деловой революционной самокритики масс, опирающейся на творческую инициативу миллионов трудящихся...»

Я думаю, что брошюра т. Е. Микулиной является первой попыткой дать связанное изложение материалов из практики соревнования, демонстрирующее дело соревнования как дело самих трудящихся масс. Достоинство этой брошюры состоит в том, что она представляет простой и правдивый рассказ о тех глубинных процессах великого трудового подъема, которые составляют внутреннюю пружину социалистического соревнования.

11 мая 1929 г.».

Четыре странички в 12-м томе, заканчивающиеся такой сноской:

«Правда» № 114,
22 мая 1929 г.

Подпись: И. СТАЛИН.

АКТЕРЫ

Сталину очень нравились Борис Андреев и Петр Алейников, воистину великие актеры советского кино.

— Говорят, вы пьете, ребята, — с сожалением сказал им Сталин.

— Пьем, — мрачно сознался Борис Федорович.

— А вы не пейте, — посоветовал им Сталин.

— Не будем, — так же мрачно согласился Андреев.

— Вот те крест, не будем! — добавил Петр Мартынович.

Некоторое время держались...

ЗВОНОК РЕДАКТОРУ

В одной из местных партийных газет Сталин прочитал передовицу, где были такие слова: «Товарищ Сталин учит...» И приводилась цитата, однако почему-то существенно искаженная.

Сталин позвонил редактору:

— Вы пишете: «Товарищ Сталин учит...» Товарищ Сталин так не учит!

Редактор продолжал работать и, кажется, больше не ошибался.

ВЕТЕР ИСТОРИИ

В. М. Молотов и А. Е. Голованов рассказывали мне, что в 1943 году Сталин сказал:

— Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!

Содержание

| | |
|---|-----|
| От автора | 3 |
| Великий нелюбимец | 5 |
| «Кто пилот Байдукофф» | 29 |
| Приемный сын Сталина | 57 |
| «Выше окружающих людей...» | 71 |
| Посадили по делу «Промпартии»... | 91 |
| «Лиссабон» | 102 |
| Чекист | 152 |
| Памятник при жизни, или «Маэстро» | 209 |
| Неписочный маршал | 219 |
| Секреты «мистера Брауна» | 277 |
| Маршал с грозным именем Георгий | 307 |
| Мой Багратион | 332 |
| Подводник номер один | 364 |
| Солдат Щербина | 369 |
| «Трижды Покрышкин СССР» | 373 |
| О Гагарине | 381 |
| Шолохов | 406 |
| Критерий Смелякова | 423 |
| Виски памяти Солоухина | 438 |
| Почему я не стал премьер-министром. <i>Документальная повесть</i> | 447 |
| Ветер истории | 526 |

Феликс Иванович Чуев
СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ
Беседы. Воспоминания.
Документы.

Редактор *А. Дубровина*
Младший редактор *Е. Дубровская*
Художественный редактор *В. Горин*
Технический редактор *В. Кулагина*
Корректоры *М. Денисова, Т. Ширма*

Лицензия ЛР № 070099 от 03.09.96 г.
Сдано в набор 10.12.97. Подписано в печать 03.02.98.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 29,16.
Тираж 30 000 экз. Изд. № 97-224-ДО. Заказ № 3112. С 774.

Издательство «КОВЧЕГ»
совместно с издательством «ОЛМА-ПРЕСС»
109146 Москва, Воронцовская, 23
Полиграфическая фирма «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16



ФЕЛИКС ЧУЕВ

Феликс Чуев (р. 1941) автор нашумевших книг "Сто сорок бесед с Молотовым", "Так говорил Каганович". В новой его книге – сенсационная информация "из первых рук", уникальные документы и фотографии из личного архива автора.

« В ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ

16 февраля 1938 года

Я решительно против издания " Рассказов о детстве Сталина". Книжка изобилует массой искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны, подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.

... Книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Советую сжечь книжку.

И. СТАЛИН »

ISBN 5-87322-840-X



9 785873 228409 >